



Волга

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

1-2 (508)

2024

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Елена Михайлик. «Состоянье населения на планете таково...» и др. стихи.....	3
Михаил Токарев. Папа у Федора силен в метафизике. Роман.....	12
Игорь Иртеньев. «Ты говоришь, уже житья нет...» и др. стихи.....	114
Каринэ Арутюнова. Рассказы из цикла «Два Авраама».....	118
Люба Макаревская. «Фрукты которые...» и др. стихи.....	124
Александр Зайцев. Круги на воде. Повесть.....	128
Егор Моисеев. «Ме-ду-хур-мы...» и др. стихи.....	175
Александр Вергелис. Еловый Робинзон. Рассказ.....	179
Маргарита Голубева. «снег и свечи...» и др. стихи.....	185
Сёма Ткаченко. «просьба отойти от края платформы» и др. стихи.....	193
Дмитрий Лагутин. Извоз. Рассказ.....	197
Михаил Нисенбаум. В силах. Стихи.....	211
Юрий Китаев. Зимнее утро. Рассказ.....	217

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Сергей Солоух. Love International. Глава из новой редакции романа.....	223
---	-----

В СВОЕМ ФОРМАТЕ

Сергей Боровиков. Запятая-23. В русском жанре-83.....	230
--	-----

ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА

Татьяна Грауз. Айги – Мандельштам: Когда эта боль – неотличима от веры (разрозненные листы осени).....	235
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ольга Балла. К истории внутреннего зрения О кн.: Владислав Дегтярев. Память и забвение руин.....	244
--	-----

Владимир Коркунов. Пробуждение Медузы и пряхи О кн.: Татьяна Бонч-Осмоловская, Эллада и другие женщины.....	246
---	-----

Борис Кутенков. Где все слова наоборот О кн.: Павел Лукьянов. Название: Пятая книга стихотворений.....	248
--	-----

Елена МИХАЙЛИК

Состоянье населения на планете таково,
что не вводит в изумление только Бога одного,
да и он посменно занят: там работ на тыщу лет –
ликвидировать в дизайне все, что выявил сюжет.
Сатана ведет отчеты (мелких пропусков – на треть):
– Кайнозой... чем здесь работать, проще лечь и помереть...
Да, отладим, да запустим, дальше – розы, резеда,
белена, чума, капуста, но разумных – никогда.
Бог в процесс добавил снега (разберут, еще нальём)
он-то знает, что коллега сохраняет весь объем,
потому что жалость, милость, черный дым, кривая ось...
получилось, получилось, получилось, создалось.
И рассветы, и закаты, тленье, вирусы, мосты
сумасшедшие приматы и охотничьи коты,
хоть финал на небе вышей от Путивля до Плеяд,
эти все найдут, где выжить –
не отыщут, так напишут,
не напишут, так надышат,
от морского дна и выше,
рыбьим кличем,
птичьим китчем продолжение сочинят.

Гиппопотам пришел в Серингапатам –
Мол, здесь крокодилы хотя бы прячутся по кустам
(и по болотам),
а по Европам они, с туристами пополам,
ходят галопом.

Ты, видовой шовинист, уходи от нас
в свой Зулуленд, где бродит Умслопогас
(выбрав слепую саванну, чей день погас, собственной спальней),
пусть он берет с тебя кость, и шкуру, и горький ил,
чтобы китаец тешил любовный пыл,

Елена Михайлик родилась в Одессе, окончила филологический факультет ОГУ. С 1993 года живёт в Сиднее, преподаёт в университете Нового Южного Уэльса. Доктор философии. Стихи и статьи публиковались в антологии «Освобожденный Улисс», журналах «Арион», «Воздух», «Дети Ра», «Новый мир», «Новое литературное обозрение». Премия Андрея Белого в номинации «Гуманитарные исследования» (2019). Автор четырех книг стихов. В «Волге» стихи публикуются с 2013 года.

а крокодил, что тебе так не угодил,
наш, эндемичный, в общем, всегда тут жил,
а в Пакистане и вовсе – национальный.

Гиппопотам оглядел окрестный народ
И возгласил – но он же вас просто жрёт.
Чем он хорош вам,
что вы его допускаете каждый год
к нивам и рощам?

И отвечают жители этих мест:
как-то надежней с соседями, кто нас ест,
сколь бы ни были жадны эти дети тьмы
и боевиты,
все ж до последней унции знаем мы
их аппетиты,
ты же нас просто затопчешь любым числом
мирно гуляя по городу напролом,
и не считая,
так что вали к Чуковскому, в первый том,
да крокодилы бродят, но там твой дом,
и Ленинград, и мосты, и на перелом
лето выходит, белым ночным крылом
сад задевая,
и, наконец-то, слышишь, тут, за углом
грохот трамвая.

– Что у вас творится в этой вашей Твери,
что за исторические лица жужжат у неё внутри,
взойдешь на приречный взгорок – время сводит глаза...
был же обычный город несколько лет назад?
– Как бы тебе сказать...

– Что у вас творится в этой вашей земле?
Слоняются зубастые птицы в роде, виде, числе,
на стыках, в мокрых распадках стоит взгляд скосить под уклон,
так вместо болотных осадков лезет верхний карбон,
живой и даже не странный лезет со всех сторон.
– Ну, в общем, примерно он.

– Что у вас творится в этой вашей среде,
какая, небось, кладовщица поставила точку, где,
все стало одновременно – мэрия и Юра,
встают из пятницы стены, трамвай идёт до вчера*,
и в нем – что ж не взять постоянный? – до Пролетарки чуть свет
Лавразия и Гондвана покупают билет...
– Так здесь постоянства нет.

А есть – на тверди, в воде – всё то, чего нет нигде,
всё то, что сердцу желанно.

* автор знает,
что взрывы в космосе не слышны,
что городской карбон не рискует высовываться выше
семиметровой глубины,
завывая,
а в Твери от автовокзала и до Луны
уже пятый год нет никакого трамвая.

«Матушка, кто это бродит с огненными мечами.
перепугал вокруг гекконов и кошек,
выкосил луг, споткнувшись... ну тоже дело... он какой-то эдемский
заробитчанин?
Что он здесь хочет?»

«Мама, твердил о жертвенниках, о награде,
требовал ягненка убить... это от меня-то.
Спрашивал брата, зачем на нем нет печати...
Что ему надо?»

Хава встаёт, вытирает полотенцем красные руки,
время не очень спешит быть властным над нею.
«Ты же сказал – «это все она». Так теперь это просто дети и внуки.
Не твои. Не текста. Только мои – и змея».

Мне семьдесят пять.
Пенсионный возраст – сто двадцать.
я точно доживу,
но вряд ли выйду на пенсию.
Нас мало.
Людей, умеющих чувствовать время до минуты,
составлять планы, обучать машины
и – особенно – объяснять нужное другим людям
так, чтобы сделали по инструкции,
а не по неизвестно сколько капель
сварочным аппаратом
в позачетверг,
потому что какая разница?

*Я до сих пор помню тот звук,
хруст разрывающейся ткани...*

Нас почти нет
с тех пор, как пролетел Ангел.
Кто постарше – бывшие гуманитарии,
художники, танцоры, повара.
Те, для кого способность
ловить последовательность, последствия,
их голос, и звук, и ритм,
настолько встроена в совсем другие процессы,
что её просто не заметили.
Пропустили.
Забыли стереть.
Или не сочли нужным.
Потому что какая разница?

*Нет, мы не кричим в мегафон:
«Уберите [цензура] тридцатку с маршрута А,
Тройка идёт встречным по нему же
и через пять минут эти пешеходы встретятся!»
Мы устраняем возможность.
На стадии проекта. Заранее.
До того, как кто-то услышит хруст,
звук реальности, разодранной на до и после.*

Нужной памяти, нужных умений –
несколько горсток в каждом поколении.
Впрочем, одновременно живущих поколений
стало больше.
Примерно вдвое.
Все равно – мало.
По-хорошему, не хватает даже на нужды медицины.
(медициной мы занялись сразу –
люди не могут, не смеют, не имеют права
жить так плохо и так мало,
особенно если в небе над ними
все ещё возможна такая сволочь...)

А мы ведь еще возводим башню.
Ту самую, до верхнего края неба.
Лифт на орбиту (есть),
кольцо орбитальных станций (есть),
лифт до Луны и города на Луне,
следующий в перекрестье – Марс.
А дальше, пока за горизонтом,
но ещё на моей жизни,
начнётся прыжок –
Церера-Европа-Энцелад...
Я знаю, я считала, так будет.

*Он просто возник и распахнул крылья –
это были именно крылья,*

*птички, огромные, радужные,
отливающие золотом по краю...
как на старинных картинах.
Фра Беато Анжелико поймал правильно,
и это, и все остальное.
Крылья видели все –
даже те, кто смотрел в землю.
даже те, кто спал.
Распахнул, повёл через небо огненной полосой...
И большинство забыло,
как видеть будущее, думать по времени вперёд...
Если честно, большинство и до Ангела
плохо это умело.
И не хотело пользоваться.
Но раньше это знание жило в них, дремало в них,
а теперь погасло.
Но тогда все просто смотрели в небо,
любовались, радовались...
хотя даже по Библии несложно понять:
увидеть ангела – очень, очень дурная примета.*

И еще этот звук.

*С внешних миров начнется настоящая работа.
Выход за пределы системы,
чтобы никто, никогда, ни при каких обстоятельствах
не смог изменить всех одним взмахом крыла,
не смог стереть,
не смог запереть ворота,
сказать человечеству «досюда и не выше» –
эти слова, их тоже слышали все,
на всех языках земли...
И поняли: это приказ.
Но мы начали наш путь с мятежа –
уже начали.
С чего бы нам подчиниться?*

*За стеной поют.
Мы не отдали строительству все –
нам пришлось избрать путь пчелы,
путь специализации,
но мы живём лучше пчёл – дольше, плотнее, счастливее.
Раньше не умели, но с тех пор, как пролетел Ангел,
радость каждого стала важной.
Такой же важной, как Башня.
Даже важнее...
Башня – это способ, но не цель.*

*Даже во сне я слышу,
как кирпичи ложатся на кирпичи,*

(между прочим, мы вернулись к керамике,
хотя жители Междуречья вряд ли узнали бы
в нашей синей-черной-прозрачной чешуе
свою глину.

Тем не менее, это она.),
как растут слои,
выщёлкиваются новые отростки,
тянутся вниз воздушные корни,
как огонь летит на огонь.
Здесь всегда – как на ободках старых карт –
водились драконы,
но спали,
а потом их разбудили,
дали стимул, мотив, повод...
Звук.

*Музыка течет в крови людей и машин,
математика вращает колеса,
музыка говорит «что»,
математика «как»,
радость – зачем.*

Я считаю и лечу, и слышу разногласицу вавилонана...
и думаю: в прежнем мире,
вне истории,
до самой первой башни,
наверное, тоже случилось что-то.
Как в этот раз.
Большое.
Неподъемное.
Такое,
что на одном языке, понимая друг друга,
мы, то есть люди, никогда бы не выбрались.
Не выжили.
А на разных договорились так прочно,
что от проблемы не осталось даже имени.

*Когда-нибудь, этот звук повторится наяву.
Хруст накрахмаленной ткани.
Разрыв.*

Но это будем мы.

И я не знаю, что мы скажем ему,
что мы сосчитаем, вырастим, споем ему,
этому Ангелу на той стороне огня.
и на каком языке.

Но это будем мы.

По мне прошел холодный фронт и снес меня ветром в понт
и теперь я плыву в сиднейском порту с водорослью во рту.
И рыбы в серебряной броне сочувствуют мне вполне:
как можно дышать в этой жидкой бурде, неподконтрольной среде?
Давление, куда они погружены, зависит от глубины,
(а также немного от фаз луны и возможности видеть сны)
и, если выберешь рыбий путь, то заслышав грохот, с которым рвется
водная гладь,
можно нырнуть, и еще нырнуть... и в принципе не всплывать.
И потом в музее – среди электрического янтаря, видишь, как жар горя,
костяные пластины, фонарик, роскошные челюсти, кожная бахрома
(а вовсе не чешуя) –
вовне достойные Босха и не менее уместные здесь –
и не нужно зеркала, чтобы узнать: но ведь это же просто я...
Это ведь я и есть.

семейный портрет в интерьере

I.

Королева глядит на речной разлив, на волну и ее курсив,
она бы этой сырости предпочла свой теплый голландский дом,
ее муж нечасто пишет с фронта, но пишет, а значит – жив,
и это все, что ей нужно знать о противнике и о нём.

Ее семья за нее решила – в тяжелые времена
откупились принцессой от дракона, и не нашелся рыцарь или герой...
А дракон не ест, что ему не мило, и ему не нужна жена,
а нужен – надежный зампотылу, товарищ, равный, второй.

Теперь они правят в ее дому, и утром, глядя на тень свою,
королева видит острые крылья, ламеллярную чешую.
Еще столетие до порога, столько работы, города, законы и корабли,
но ей уже слышно, как страна понемногу отрывается от земли.

Королева подбирает к пудре нужный оттенок «руж»,
подбивает баланс, исправляет проект закона, компромиссную точку определив,
и думает: если супруг Марии был таким же, как ее муж,
как они, наверно, шли сквозь ту Иудею, борт о борт, на прорыв.

II. Плач о Людовике XIV

В мире пробило полдень и ты стоишь как солнце в зените,
диктуешь смысл и форму событий на этом материке,
царства земные – твоё наследство; задача связать их и сохранить их,
тяжела – ибо мир не любит порядка, но тебе – по руке.

Только с другой стороны границы, неслышный, невидимый, невесомый,
уже почти взлетевший туда, где звёзды можно щелкать на вкус,
сутулый астматик, наследник Тутти, черный дракон Оранского дома,
опознает твой рай и меняет курс.

И там где вот-вот взойдут по линейке дворцы и подати, сон и стража,
единство религии и закона, сад, не знающий бед,
вдруг лезет всякая шваль и сволочь, «Билль о правах» и волна с плюмажем
и никакой мировой порядок не выдержит этот бред.

Дальше... люди не помнят неслучившегося дурного,
тени несбывшихся империй не сохранит мировой эфир.
Тот, кто был Цезарем или смертью, поглядев на тебя, поклялся стать человеком
и сдержал своё слово –
так что в каком-то смысле ты и вправду спас этот мир.

И маленький эпилог.

А потом они осядут в мелком шрифте книг
воплощением нормы своих земель.
А потом придёт профессор и напишет с них
(хотя, конечно, не только с них)
Фаразона и Мириэль.
И услышит сдвоенный недобрый смех
с той стороны стекла.
Потому что с бессмертием у них – как у всех,
даже несколько печальнее, чем у всех.
Но Волна – не прошла.

Суровый Дант не презирал болота,
Хотя там вечно выводилось что-то,
Что размывало разум добела,
И небо осыпалось рваной тканью,
И воздух твердо возражал дыханью,
И лес глотал входящих как смола...
И эту ночь пройдя до половины,
Сводил ее, гранил, ловил в терцины
Чумные вихри, всех историй дым,
Поскольку перекошен и расколот
Внутри, лекалом, жил тот самый город
И ад, увы, не следовал за ним –
Здесь грани прочно заскорузли рыжим,
Здесь даже смерть сама не может выжить,
Здесь как ядро расщеплен смысл и быт..
Ад – лишь гербарий, склад, запас культуры,
Свинцовый пласт на дне литературы..
А город все парит, и все горит.

Тыква, проснувшись после бала, обязуется соблюдать устав для цветов и трав, не превращаться, не летать, не возить домочадцев куда попало, то есть, она так обещает, но последовательность глав убеждает, что в этом вопросе ей веры мало.

Потому что семечко (не сгнившее, не пошедшее на лекарства, не расщёлканное революционным матросом) ляжет в землю, потом выпустит плеть
И плод поползёт наращивать плоть, оранжевым боком впитывать лето...
избыток материи там, внутри, жаждет менять, исправлять, петь,
а обиженных, запертых, убитых в окрестностях хватит на сто сюжетов.

Феи-крестные – стратегический арсенал, зачем им мешаться в спор,
если дело спокойно (и с большим удовольствием) способна решить пехота?
Серая крыса, рыжая тыква глядят друг на друга через забор,
Ночью они допишут строку до свадьбы или переворота.

И вот уже дорожка светла и злая полночь бела,
карета расправляет крыла, усатый кучер пускает в небо колечко дыма.
А будет ли кто-нибудь счастлив после – это не их дела.
Только повседневная работа для тех, кто переживёт зиму.

Литература – это о том, как делать,
о том, что делать – техника безопасности, механика, наука о движении тел.
Автор революционной повести «Бронепоезд 14-69»
в жизни видал ту революцию преимущественно через прицел.

Написал, как положено, наоборот, и, кажется, даже текстура
агитирует за советскую власть граммофонной ударной волной,
но, похоже, настоящая вражеская подрывная литература
с течением времени становится все более вражеской и подрывной.

Так что потом, в других временах, уже не там и не с теми,
собираешь на сетчатку все, что экран принес,
вместо скверных слов произносишь «радикальное упрощение всей системы»
и по ритму опознаешь ковыляющий лязг колес.

И когда в устье Леты впадает течение лет,
и любое дыханье встречает твёрдое «нет»
как субстанцию, как минус двести семьдесят пять повсюду,
кто-то во множественном числе – физик, биолог, фольклорист, законовед –
раздраженно бросает: так совершенно невозможно работать, здесь когда-нибудь
будет свет?
И свет выдыхает свет и кашляет: буду.

Михаил ТОКАРЕВ

ПАПА У ФЕДОРА СИЛЕН В МЕТАФИЗИКЕ

Роман

...Хотелось бы выразить благодарность моей бывшей жене и ее детям от прошлых браков, без которых эта книга была бы закончена на полгода пораньше...

Глава 1

Сын ли ты мой, Федор

Моя родная речь, что сделали они с тобой, эти гениальные граждане, отличающие играючи Мандельштама от Мандельштама другого, и воскресение отличающие от воскресенья и понедельника, а легкую степень слабоумия от уголовной ответственности тоже отличающие. Как теперь мне к тебе подступиться, Пушкин-Кукушкин, Лермонтов-Пирожков, Маршак-Афродизиак, Крылов-средневеков твой нрав, и ласково стучат испанские сапожки железной девы по мостовой. Каким образом начать, каким образом начать историю, удивительную историю воспитания, историю воспитания не воспитуемых. Начни вот с чего, начни с этого, пожалуй: «многоопытный муж Иван Петрович встал со скрипучего стула и подошел к распахнутому окну». Но это же где-то было написано, можем ли мы повторить. За это ли Белинский, Тютчев, Бахтин отдавали свои неповторимые жизни на поле брани, где тешатся милые в перерывах между подходами к турникетам, в наивных попытках покинуть страну. Да, мысль твоя лежит сейчас как подкидывш на крыльце роддома, и каждый подонок вправе харкнуть в нее, или, еще горче, воспитать, как ему вздумается. Миша, что происходит, ты вот скажи, что происходит. О, не беспокойся, мне всего лишь трудно дышать, и мышцы разбил паралич от невозможности подступиться к родной речи, наверное, подхватил ботулизм, а впрочем, весна, весна, весне все возрасты покорны. Весной не хочется ничего, весной только и хочется, что загорать в солнечном сплетении женщины, запахом ее дезодоранта заменять отсутствующие в теле своем нежности. Граждане активно ищут половых комбайнеров, граждане обращаются и обращаются с просьбами показать им родную речь. Лучше бы обращались в птичек. И взмывали туда-то с тем-то поручением, небесные голубки, взмывайте же, а не приставайте понапрасну.

Прикушенный калиткой мальчик средних лет улыбнулся полуденным лучам полуденного же майского солнца. А потом и вовсе рассмеялся, и литровой смех его бултыхался в мочевом пузыре случившейся весны. Проснувшиеся чахлые яблоньки покачивали расслабленно своими веточками, как будто пресыщенные баклофеном. Ветвистая деревенская улочка была усыпана избами, приземистыми пряничными строениями. Где-то вдалеке старчески бормотал тетерев. Трусливые лучики незряче ошупывали лунообразное, с белым пушком на щеках, лицо будущего четвероклассника Федора Михайловича Меркулова. Цвела черемуха, и запах акации, мимозы и ранних

Михаил Токарев родился в 1996 году в Иркутске, переехал в Москву, окончил институт журналистики и литературного творчества в 2018 году, в 2020 году окончил магистратуру РГУ. В «Волге опубликованы рассказ и три романа (2021-2023).

грибов баламутил воображение. Освободившаяся от спячки трава щекотала обнаженные лодыжки. Школяр сощурил свои серые глазки, и серые глазки его с поволокой были фактом культуры, в то время как буйный нрав мальчика даром природы. Во дворе на веревках сушилось исподнее, взволнованное ветерком, оно суетилось. Синие панталоны с красными рыбками, изящные чашечки кремового бюстгальтера, напоминающие болотные багульники, трусы производства «Мосбелье», «Ленбелье», ночнушка цвета мумиё. Белобрысый мальчишка с грустью глядит на материнское это самое. И размышляет, конечно же, размышляет, что вот, когда-нибудь он вырастет, вырастет когда-нибудь, и заработает разные деньги, и купит родной женщине самое лучшее белье. Вернется однажды домой, жутко уставший после экспедиции, бросит рюкзак на пол, извинится за столь резкий поступок, раскроет рюкзак. И примется вынимать золотые слитки, и примется вкладывать золотые слитки в трусы матери своей. Нет, думает Меркулов, это какая-то необычайная пошлость, ни в какие трусы я не буду вкладывать золотые слитки, ведь я совсем не Федор Эдипов, нет, я другой поэт!

Меркулов, чувствуя крайнюю степень возбуждения нервной системы своей, спешно достал из кармана брюк, шерстяных, темно-синих, закатанных до колен, плоскую серебряную фляжку. Он отвинчивает ребристую крышку, мальчик волнуется, мальчик своего рода пестрящие листья, вспыхивающие золотом под ногами собаководов, что ведет некоего Тобика неоперившимся утром по аллее. Не хотелось бы допустить безумия, липкого, словно полиэтиленовый пакет в руках беспризорника, в пакете переливается янтарная твердыня, ловит на себе озадаченные взгляды прохожих, янтарная твердыня совершенно не машина желаний, состав у неё другой, хотя подсказать прохожие, не стесняются. Хотелось бы не допустить безумия, отвинчивает судорожно крышку Федя. Прошлогодние события, чудовищные события минувшего года, о, как же страдали все, пропустили дремоту, легкий сон, умеренно глубокий сон, глубокий сон, все пропустили. Так пропускают порой футбольный матч Спартак – Алания, показанный в четыре часа утра в девяносто шестом году. Бежали, ничего не понимали, уподобились Булочкину и Колобку, и никак не могли уснуть, люди-то. Когда села, райцентры, города подверглись массовой бессоннице. Когда минула календа, что, безусловно, значит в древнеримском календаре название первого дня месяца. Полуночники увидели крылатых змей аспид, и вурдалаков увидели. Однако, присмотревшись получше, распознали в вурдалаках обычных измученных собратьев своих. И устремились сонмы гарпий в погонах на города, райцентры и села, и прочие твари устремились. И граждане опешили от подобного расклада, были не в силах предаться маленькой смерти, возрос уровень сахара в крови, кто-то даже стал звать маму. Вступивший в свои права новый день ознаменовался поисками виновного. Тысячи семей выстроились у дверей мэрий, требуя выдать им преступника. Со всех утюгов доносились сообщения о массовых помешательствах, Европейские страны, как наиболее неприспособленные к дискомфорту, стали сжигать на кострах членов департамента здравоохранения. И были милы они, точно убийство красной книгой речного бобра, все эти французы, немцы, итальянцы. В то время как христианский восток, лиственница духовного возрождения, никоим образом не поддался упадническим настроениям, субординация была на высшем уровне. К тому же религия не позволяла роптать. Ведь так закалялась сталь телес наших сограждан. Однако ни американцы, ни русские, ни мексиканцы, ни поляки не были Рэнди Гарднером, пареньком, что в семнадцатилетнем возрасте, участвуя в эксперименте, бодрствовал на протяжении одиннадцати дней. Поэтому пятье сутки оказались для многих роковыми сутками.

Мы помним, мы отчетливо помним, на третий день неспянья начинаются системные нарушения работы всех органов, начинаются галлюцинации также, а тут пятье сутки, скажете тоже. Отринув предрассудки, ученые совместными усилиями ничего не изобрели, а на четвертый день, между прочим, светила на тверди небесной чуть-почуть принялись тускнеть. Начался криминал, поджоги, депрессии. И даже тарологи перестали верить марсельской колоде. И даже на этом фоне пропали в аптеках успокоительные медикаменты. Случился конфликт существования, и люди как будто впервые родились, в этом и конфликт. Лишившись сна, они прикладывали холодную воду к своим головам, стонали, кооперировались для того, чтобы давать отпор тем, кто окончательно

слетел с катушек. И не было спасения от неудержимого хохота. Федор в те дни попугивался неопрятных каких-то, похожих на фанатов «Короля и шута» соседей, они дико смеялись, колотили молотками по ставням, просили впустить. Мать активно заваривала травушки, говорила не открывать дурашкам, говорила, не верь, не бойся, не проси. Но когда пошел корейский дождь из горящих собак, тогда даже она перекрестилась.

Меркулов делает глоток, краткий, точно содержание краткое же «Иосифа и его братьев», любимой книги матери археолога. Чай из корня валерианы, с ударной дозой галоперидола, в каплях который. Которым порою мы до всей этой чудовищной истории с бессонницей предпочитали прокапывать кубик сахара. Сидеть под качающимися ветвями Давида в парке, встречая весну. И торжествовать с крестьянами, конечно же, торжествовать по случаю благовещения. Федор чувствует седативный эффект, попустившись, он проводит ладошкой по вспотевшему лбу своему. В лицо дует ветерок, где-то раскатило мяукает кошка, урчит бензопила. Из кармана фланелевой бордовой рубашки он достает пористую розовую мыльницу, подарок Фаины Яблонски. Фаина Яблонски, обладательница прелестных оркестровых ямочек, а еще была она близка к совершенству, словно человек, заполняющий анкету при поступлении на новую работу. Ее воспитывала одна мать, как, впрочем, многих детей в классе. Матери были богинями. И вопреки словам из надоедливой песни, где папа может быть Сатурном, пожирающим своих деток, матери-богини могли даже не это, могли другое, но все-таки выполняли исправно свои обязательства перед страной, воспитывая настоящих хомо футурис. Меланхолично покачивали колыбельки над бездной. Крепкая влюбленность, как джутовый канат, присутствовала в жизни Федора, в столь нежном возрасте это важно. Взглянув на подаренную мыльницу, парень ощутил, как заалели щеки. Пусть девочка и не отвечала взаимностью в полной мере, однако на уроках физкультуры, когда ребята прыгали во времени, не все возвратились назад. Физкультурик сказал возвращенцам через протяжные годы, что теперь они почти как семья и должны мертвой хваткой держаться друг за друга. Ведь предпочли старого козла в спортзале мнимым свершениям и неказистой кончине на чужбине. Впрочем, окаянные дни мы любим, говорил также пожилой учитель, впрочем, вы и так все помнете, а я буду жить вечно, в отличие от вас и от иронии, которая не пережила одиннадцатое сентября, первое сентября, любую другую трагическую дату в истории человечества. Так говаривал физкультурик.

Федор вдыхает полной грудью, пресыщенный запахом свежескопанной земли, воздух. Он обходит остов грузовика, поросший плющом, чьи листики напоминают желтые звезды, припиленные к ржавой одежде. Транспортное средство брошено посреди дороги, кажется, оно здесь не присутствовало раньше. К вопросу о конструировании реальности, Федя совершенно точно знал, что реальность это некие отражения, интерпретации собственного мозга. То есть он знал, вон та скрючившаяся березонька с застрывшим немецким снарядом, она, может быть, совсем не березонька, просто мозг рисует ее как березоньку, может быть, мозг и мог ее нарисовать осиной, но не может по каким-то вполне объективным причинам. Меркулов старается относиться ко всему с юмором, он помнит, какой бы ни была черствой, реальность лучше воспринимается, если она размягчена доброй шуткой. Феде кажется показательной история, рассказанная фронтовиком-физкультуриком о том, как их отряд под одеялом ночи встретился с отрядом оппонентов. Узкая лесная дорога, с их стороны человек десять, с этой тоже столько же, не разминуться, ничего. В спешке будущий физрук и его отряд бросился в кювет, а другие, чужие, они бросились в другой кювет, по другую сторону от дороги. И по ошибке один германский солдат, пухленький, неповоротливый солдат угодил в команду русских. С той стороны заклекотали напуганные голоса, Фридрих, Фридрих, der hund. Наши ребята этого Фридриха в стан врага закинули, тот приземлился на головы сослуживцев и пукнул. Замерцал кисель тишины, и вдруг все засмеялись, и немцы, и русские, все по-доброму засмеялись. Целую минуту смеялись, потом замолчали. И никто ни в кого уже не стрелял, ничего такого, просто вышли на дорогу, русские, немцы, и пошли сквозь туман по своим делам, фронтовики. Мальчик допускал, времена супрематизма безвозвратно прошли, теперь людям предстояло не обронить собственное достоинство, выдаваемое

нам, как мы помним, единожды. Любимое оскорбление фронтовика-физкультурника, «любители современной поэзии», тоже отчего-то вспомнилось мальчику.

Шел Федор мимо краевой библиотеки, тополиные стены ее дрожали. Нестройный хор, граждане похрапывали, бывало, жители деревни, терзаемые неразгаданной бессонницей, приходили читать вслух «Повесть временных лет». И на предании об основании Киева неминуемо брякались на пол, отдаваясь сладким грезам на растерзание. Сын женского полка чиркает взглядом по сто миллионов раз виданной прежде доске объявлений. Настоятельница библиотеки время от времени вывешивает на ней стихи своего любимого поэта, некоего Евгения Сливкина. Вот из того, что нравится Меркулову, вот слова, с помощью которых этот Евгений Сливкин растопил маргарин сердца Меркулова: «разрешите обратиться, я спросил у командира, разрешаю обратиться, мне ответил командир, и тогда я обратился в золотую птицу мира, и взлетел к нему на плечи, и склевал его мундир». Мальчишка, не пересчитывая жирных ворон, дремлющих на лужайке, спешит оставить позади коллективный сон деревенщиков. Сразу после библиотеки, у флигеля стоит бывший физик, Харламий Диогенович. Опершись на плетень, в неизменном каштановом пиджаке и брюках, покуривает свою трубку из палисандра, буро-коричневую. Из кармашка пиджака на манер платочка торчит обглоданная куриная ножка. У мужчины было два рта, одним он выпивал травяные чаи, другим цитировал каких-то никому не известных ученых. У него также стонали частенько цыгане в душе, поэтому он пел нескладными вечерами, нервируя соседей, сразу двумя ртами, дабы заглушить всегдашнюю тоску, бытовавшую в нем. Силуэт губ на шее, несколько выше кадыка, поросший щетиной, нынче был недвижим, спокоен. От гигантской мысли физика отпочковывались мысли поменьше. Он именно это и делал, размышлял, глядя из-под густых черных бровей на далекую сумрачную дубраву. Сладкие попки шмелей, засахаренные, лежали в голубой пиале, что стояла на пластмассовом столике овальной формы, ножка которого надломилась. Сосед был худым, как истончившийся кухонный нож. Пил исключительно из горла успокоительные напитки, минуя посредников, то есть стаканы. А дети его давно уехали в город, став городскими придатками, кажется, они перестали звонить, наверное, позабыли, как в детстве болели, и как заботливый Харламий кормил их клубникой, ведь Россельхознадзор однажды выявил двадцатикратное превышение антибиотиков в клубнике. Наверное, позабыли, как определять склонность к мягкому знаку в тся и тся, в словах родиться и пригодиться, жениться, остепениться. Впрочем, ум имеет мужской пол, а дети Харлампия Диогеновича были все-таки женщинами.

Мужчина, приметив шагающего в сторону дубравы мальчика, сказал видимым ртом своим: давай, малыш, надери им задницы там. И сказал это как-то грустно, непонятно к чему сказал, его голос напоминал голос Платона Каратаева, попавшего к французам в плен. На его сизую щеку беспардонно сел малярийный комар на тонких, геометрически верных лапках, и присосался, стервец. Физик прихлопнул насекомое, поморщившись, и на руке физика осталась кровь народа, ведь никто не знал, скольких доярок, фрезеровщиков и т.д. комар прежде поел. – А я не задницы надирать, я вообще не задницы надирать, – пробормотал нерасторопный ребенок. Диалог мог бы и продолжиться, но не продолжился, чтобы продолжиться, ему необходимо было перейти в качественно иное состояние с привлечением розеттского камня, эмпирической лингвистики, свидетельства о рождении, например. Меркулов нерешительно пожал плечами, потом шмыгнул носом, потом устремил взор на шмелиные попки. Возжелал шмелиные попки. В голове мальчика летали, как балерун Цискаридзе, шальные мысли. Какая все-таки эта вселенная непостижимая. Как много в ней бывших физиков, умалчивающих в данное мгновение о чем-то своем, и что я сделал для того, чтобы спокойно отойти от дел, что же останется после меня, что возьму я с собой. Где моя женщина, что станцует со мною фокстрот на бутылочных осколках-лепестках пред меланхоличным лицом небытия. Единственная реальная вещь, пожалуй, распутывал клубок Федя, моя смерть, остальное как будто имеет фиктивную природу в основе своей. Вопрос, возникающий все чаще и чаще, что ты сделал для вселенной в свои годы, вселенная, она не фраер, как говаривал Эдуард Альбертович. Этот вопрос, этот поразительно точный вопрос терзал Меркулова. Какой

жедушный человек, до чего же с ним неприятно молчать, отметил Федор. – Я, пожалуй, пойду, – сказал, наконец, он. Бывший физик смолчал. И парнишка устремился прочь, голову понунив.

Хвойное покрывало под ногами шуршало. Губчатые грибы, ранние подосиновики и маслята, не успевшие как следует отрасти. Как же хочется простых грибов, простых русских грибов, мимоходом подумал парнишка. Лесное многообразие, скрип несмазанных птичьих механизмов. Ягода волчья, темно-красная, шапки омелы, выросшие на деревьях. Меркулов был озадачен, в сложном виде воскресенье напоминало какой-то понедельник, мальчик дотянул до последнего. Учительница дала задание в пятницу, а сегодня вот проклюнулся ячмень воскресенья на глазе трудового понедельника. Задание было несложным, собрать миллиграмм сто муравьев для фермы, для эксперимента. Учительницу звали, как боевой автомобиль, Катюша, но она предпочитала старомодное Екатерина Михайловна. Жизнь была ей к лицу. Она преподавала теорию эволюции. Чтобы преподавать теорию эволюции, необходимо всего лишь чистить по утрам зубы, всяк знает о том. Женщина удивительной судьбы старалась не допускать, чтобы в корнях слов учеников образовывалась себоя междоветий. Просвещение, вот чему она служила. Бессмертная, она любила издеваться над кукушками в лесу, спрашивая, а сколько там осталось мне прожить. Отчего же бессмертная, супруг Екатерины Михайловны, культурист, бывало, поколачивал учительницу. Но не пришибал наглухо, но не добивал, то есть соблюдал пацанский кодекс, чудовище. Его звали Атилла, его звали так в память о гуннах, похеривших обработанную плугом землю, то есть культуру, ибо культура с латинского переводится как возделывание. Частенько Екатерина укоряла супруга в бескультурном поведении, впрочем, культура еще одно слово, чья тень много длиннее непосредственно текста. Порой сложные взаимоотношения видели жители деревни в магазине, видели сложные деревенские жители простое, как авокадо, изъяснение Катеньки подать на развод, на почте. Мужчину фразировало, что жена все время говорила о разводе, словно иных проблем не существовало. Культуристы и спортсмены, подвергшиеся депривации сна, сделались чрезвычайно несносными. Протеиновые монстры, чинившие в семьях настоящий Семипалатинск времен испытаний ядерных зарядов, знатно ухудшали кровь окружающим, в силу своих физических способностей справиться с ними не представлялось возможным. Быть может, им не нравилось утверждение, что за каждой великой женщиной стоит ничтожный мужчина или кошка.

На кроссовки цвета ведущей партии Китая налипли тяжелые комья земли, казалось, вериги нацепила сама Ксения Петербургская, дабы Меркулову досадить. Хорошие кроссовочки, в таких можно до самого исхода проходить, и ничего им не будет. Разлапистые хвойные ветви лицо щекотали, ребенок ощутил, как в шею впился не зверь, не птица, летит, пищит и матерится, а кто его убьет, тот кровь свою прольет, вот он впился. Твою же мать, с волнением подумал мальчик, только бы не клещ, Федор некогда видел по телевизору, на что способны энцефалитные клещи. А были способны они на многое. Жертвы клещей с перекошенными лицами просили Макрона и Байдена уйти в отставку. Дикорастущие кустарники барбариса зашевелились. А потом навстречу Меркулову вышла женщина с носом гипотенузой, инфинитивная женщина, мысленно заметил Федя. В руках пакеты с продуктами, продуктами из магазина «Перепутье». Ее морщинки как будто древесная кора. На лице ее лежала печать радости. С ней рядом юноша, тоже с пакетами. – На рынке повстречала Игорья маму, она мне все за его чемпионаты, соревнования рассказывала, ну, мы ведь тебя тоже не на помойке нашли, вон, уже больше месяца без передозов, – сказала она, хитро прищурив глаза, довольная. И были чувственны ее слова, как стихотворения Риммы Казаковой, и были грустны ее слова, как судьба Егора Радова. Пахло от нее корвалолом, нагретыми монетками, каким-то железом пахло. Наверное, подумал Федор, у нее муж электроник. В чем же дело, почему же электроник, спросите, спрашивайте же, не робейте. А все очень просто, Меркулов знал, что подобно посуде тело хранит энергетику человека, который пил из нее. Долгосрочный юноша в желто-зеленом макинтоше, челка-треугольник указывала острием своим на малиновый пластырь, наклеенный на переносицу. Никакого англо-саксонского презрения к сыну и Франции женщина, кажется, не испытывала. Что редкость в созависимых отношениях, в отношениях, где довлеющая над размеренным бытом сила являет собою непреодолимую тягу к

саморазрушению. – Фредди, а ты чего здесь делаешь, скоро же комендантский час? – спросила незнакомая тетенька. – Кажется, я в состоянии распорядиться своим временем, как пожелаю, – надерзил парень. – Мам, хочешь, я его нокаутую? – предложил сынок. Федя, спокойно, Федя, не надо, не ведают они, что творят, от внутренней своей неустроенности они такие, и злоба их от непонимания, рассудил Меркулов. Крепко сжимая в руке мыльницу.

И зашагал, не прощаясь, к бетонному горбику, входу в одичалое ныне бомбоубежище, что виднелся в просвете между деревьев. Погода бесповоротно испортилась. Посмурневшее небо напоминало черную вуаль на лице Людмилы Петрушевской. Небо перестало страдать алопечией, перестали на нем водиться вот эти световые пятна-проплешины. Низко летели шестнадцатикилограммовые гири производства ленинградского труболитейного завода. Или просто кто-то позабыл приставить к гилям три буквы, три важные буквы, но и без них гири были, пожалуй, самодостаточны. Пресыщенный синевой лес манил своей недосказанностью. Уши Меркулова воспылали, он почувствовал какое-то неудовольствие, на мгновение остановился, желая разобраться в вопросе. Была волнительна, как речь влюбленного человека, работа мысли его. Вдруг мальчик понял, что к девяти годам он так и не определился со своей идентичностью, кто же он такой. Матери Валентине Меркуловой хотелось бы видеть сына биологом, а сыну Федору Меркулову хотелось бы видеть себя мхом, например, такой вот парадокс. Последний год окружающие взрослые дяди, тети, оставшиеся в живых, как будто перестали отыгрывать предназначенные им социальные роли. Частые перепады настроения, вызванные систематическим приемом успокоительных широко спектра действия, проблемами с эндокринной системой, туманными перспективами сегодняшнего дня, существенно нервировали. Казалось, все теперь в заложниках у террористического стихотворения Тютчева, которое называлось «Часов однообразный бой», и было посвящено бессоннице. Отчаянно не хватало суверенитета, граждане, кажется, стали понимать, что попросту растрачивают собственные жизни не за хрен собачий, как выразилась Дельфина де Жирарден относительно сложившейся ныне ситуации еще в девятнадцатом веке. Прощание с матерями директорами, хамоватыми легатами, всеми теми, кого не возьмут в будущее, происходило болезненно. Люди мучительно учились говорить нет.

Вопреки негласному весеннему наказу цвести и неумоимо пахнуть, листья слетали с деревьев парашютиком, мотыльком, винтиком. Неопределенно-дымчатые силуэты грибников, пропавших во времена брежневского застоя, аукали. В случайные вдохи Федора вторгались чужеродные запахи. Как будто схемы запахов, верно, верно, запахи схематичны. Не жигулевское пиво, но отголосок жигулевского пива, или, скажем, не ветчина, но блик ветчины, лишь намек на то, что ветчина когда-то была в природе. Бегала вон там, на лугу, а потом перестала. Выйдя на пуританскую поляну, лишенную разнотравья, лишенную присутствия тонких берез, внезапно принимающих нежный отблеск белого шелка, Феодор прикрыл глаза. И дрожащее в воздухе безмолвие начало обрастать излишними подробностями. Фыркнул противотанковый ежик, ветка липы пришла в движение. Зацокали языками коренастые лошади Пржевальского. Релевантный советской фантастике лес внушал некоторый оптимизм. Должно быть, Иван Ефремов, притаившийся в кустах можжевельника, оценивающе глядел на мальчика. А мальчик остановился у входа в бомбоубежище. Глубокие трещины, дерматит бетонных стен. Именно там, в выстуженном чреве, водились нужные муравьи. То были особенные муравьи, Екатерина Михайловна являлась очень хорошим специалистом, она многое знала о видах, она знала, допустим, жнецов, и фараоновых, мурашек-бульдогов знала. Вообще, Федя теперь ориентировался в муравьином разнообразии прекрасно. Зачем же они ему, а для фермы. Зачем для фермы. Как же зачем, когда человечество придавило грандиозным шкафом бессонницы, храбрая учительница эволюции, революции, учительница конституции решила провести эксперимент. Пускай генетически люди были близки к шимпанзе, однако глубинные сходства между нашим видом и видами как раз-таки муравьиных вполне вероятно сообщают нам о чем-то. – Хохо, – смеялся педагог, на ее губах блуждала скользящая улыбка, – разве вам не интересно, представляете, мы воссоздадим идеальную среду и даже что-нибудь пойдем о нас!

Включив металлический дедушкин фонарик, Меркулов сделал неубедительный шаг. Вишневая массивная дверь, напрочь оторванная, валялась в траве. Мальчик никогда не спускался в это бомбоубежище, но всем сказал, что спускался в это бомбоубежище. Когда Екатерина Михайловна попросила своих подопечных выбрать, куда они пойдут, безотцовщины класса без особенной страсти разобрали все хорошие места. Фаиночка Яблонски, к примеру, питала любовь к бесплатным завтракам. Устремилась поэтому в столовую, где водились муравьи-сладкоежки. Людочка Яковлева, способная передвигать предметы силой взгляда, вызвалась посетить психоневрологический интернат, ее матушка трудилась медсестрой. Ольга Николаевна, второгодница, научившая одноклассников целовать ей руку при встрече, мальчишки подчинялись и целовали руку, как будто целовали ей губы, Ольга Николаевна выразила желание пойти на пруд. И утопиться, она проливалась слишком уж много слез, читая дурные любовные романчики. Регина Шевцова долго упрямялась, муравьи казались ей пустым и несерьезным занятием. Старшая сестра у нее была фармацевтом. Получив назначение в закрытый научный поселок, женщина работала в лаборатории, мешала корень валерианы с галоперидолом, это вообще она придумала так делать, чем несказанно помогла человечеству. И назвала свой препарат мурмурмицином, ведь принявшие лекарство иногда мурчали. В конце концов учительница уломала Регину помочь науке, и девочка отправилась за медицинскими муравьями к сестре на место службы. Анна, что Анна, Анна писала справа налево, история Анны берет свое начало на Ближнем Востоке. Прозрачная бабочка на ее руке, или чья-то душа, это просто сопля, Анна страдала от аллергии. Стоило лишь начаться майскому цветению, загремела в больничку. Ее ангелы-хранители, должно быть, рано поседели, Анна частенько встревала в передраги, ей нравились мальчишки постарше, Андропов, Черненко и прочие.

Федя Меркулов единственный мужик класса, согласившийся искать муравьев. Остальные ребята – Антон Сидоров, он же майор, папа у него был майором, и он сам хотел быть майором, Ульянов Петров по прозвищу бледный, Николай Иванов, зовущийся в простонародье птицеедом, Алексей Селезнев-доцент – вовремя прикинулись незаинтересованными. Вот вы уроды, не удержался Федя, когда мужская часть класса дружно отказалась. Екатерина Михайловна пристыдила, конечно, но противопоставить ничего не смогла. Зато комитет матерей, имеющий существенное влияние на мальчиков, договорился с детьми о том, что мальчишки будут строить непосредственно саму ферму. Ангельская пыль на ступенях, оброненный апчих, частицы блистают, оседают на волосах, на коже. Мальчик, спускаясь все ниже, чувствует затхлое дыхание подземелья, глаза начинают слезиться. В тамбуре раскиданы потроха оранжевых советских аптечек. Малиновые пеналы цистамина. Белые шприцы-тюбики с промедолом. Луч фонарика, царапая стену, оставливается на плакате: не бей ребенка, это задерживает его развитие и портит характер! В соседней комнате Федя видит его. В костюме цвета подсохшей крови, цвета киноварь, у стены сидит космонавт. Меркулов светит в лицо, за мутным стеклом шлема пустые глазницы, серые зубы. Меркулов, кажется, попал в камбуз. Искореженная, как нутро гражданина, увлекающегося экстремальной формой вегетарианства, плитка с четырьмя конфорками в углу. Черепки посуды, полуистлевшие противогазы, обломки серых ящиков.

Не вспоминаешь ты своих несчастных шлюшек, и не подвержен ты сентиментальным измышлениям о прожитой жизни. Тебе, должно быть, уютно здесь, словно варежке в рукаве шубы. Полуистлевший, ты глядишь на чрезвычайную темень, особо не надеясь различить силуэты близких сердцу людей. Вероятно, ты желаешь сказать: «милый друг, весна позади, у нас по-летнему тепло, по-летнему ярко, наступила пора отчаянья моего». Но сказать этого не можешь своим заклинившим ртом. Подле космонавта разбросаны обрывки газет. Присев на корточки, Феденька светит, лучик выхватывает фразы. «Калужский курьер» 1910 года. Подшивки «Техники – молодежи». Мальчик неминуемо увлекается уцелевшей статьей. «Один большой лондонский магазин придумал новый остроумный способ рекламы. Вместо неподвижных восковых фигур за тремя витринами, на которые разделен фасад дома, кипит действительная, реальная жизнь. Первое окно – спальня, где молодой человек совершает весь утренний туалет элегантного денди. Сначала

он в халате, к нему входит камердинер и приносит горячую воду; он бреется по всем правилам искусства, а на мыле, на бритве, на всем, к чему он прикасается, красуются этикетки с названием фирмы и с ценой. Затем начинается процесс одевания: молодой человек сбрасывает халат, обнажившая великолепное белье, меняет различные воротнички и галстуки всевозможных оттенков, а потом медленно надевает платье, самое модное по покрою и цвету. В другом окне – гостиная, там пьют чай, флиртуют, демонстрируя туалеты. В третьей – курительная комната. Эта новая живая реклама имеет громадный успех. С утра до позднего вечера публика не отходит от витрин». Во дают, подивился Федор, переводя луч фонарика на покорителя неба.

Преклонного возраста космонавт, утомленный ничегонеделанием, вдруг шевельнулся. Во всяком случае, Меркулову показалось, как хрустнули шейные позвонки полудохлого господина. Мраморные мысли давно уж разбились в его голове, и было в нем изысканно мало жизни. Мальчик не на шутку занервничал, как будто ему предстояло беседовать с госслужащими, как будто ему предстояло обращаться в кредитные организации, как будто. Сырость бомбоубежища, словно прикосновения лучей солнца к жителям Ямало-Ненецкого автономного округа, привыкших к субарктическому климату, нервировала. Федор искал самых опасных муравьев, муравьев-людоедов. И когда космонавт захрустел, что, согласитесь, способно напугать не меньше замкнутого пространства, такого пространства, как остров Голдинга, например. Мальчик забеспокоился, что скажет Фаина, красивая, точно обнаженная актриса Терехова в душе. Что скажет Фаина, когда в понедельник ей сообщает с прискорбием: Федор Меркулов пропал без вести, как же она расстроится, должно быть, затопит слезами весь класс. И будет Яблонски с кем-то другим заниматься неевклидовой геометрией в позах довольно-таки экстравагантных. А ведь с ней мы подружились потому, что были живыми. А теперь я буду не живым, каким же я буду тогда. Пропавшие, они какие, живые или не живые. Ну и пусть, мне все равно уже будет, ведь я, Федор Меркулов, пропаду насовсем. До чего же несправедливо, хорошая женщина умиряет наши глубинные пороки, Фаина не будет у меня ничего умирать, нечего будет умирать. Ах, лучше бы поехали в Политехнический музей, а не занимались поисками придурочных муравьев. Фонарик мерцает, как будто кашляет, как будто бы кашляет дед, который is dead. Погас. Чтобы нарисовать птицу, надо бы сначала нарисовать клетку, запоздало думает Федя.

Вечерело, в домах зажигались огни. Местные жители мастерски надаивали молочко светлячков. Двухлитровые банки на подоконниках испускали теплый медовый свет. Курносые лица детишек будто покрывались воском, их глаза жадно пили заоконную чернь. Сделавшиеся прочерками деревья бесцельно по округе слонялись. Вечерний зной, четырехухий рыжий кот во власти благословенной неги задремал на крыльце, скрипнула ставня, неряшливая и полураздетая баба несла жестяное ведро, подвывая. В ДК отгремел чемпионат по русской хтони, вновь победила дружба. В сельских зиккуратах чествовали фараонов, живущих за печкой. Воровато озираясь, мужчина в черном плаще брел вдоль обочины, выискивая жертву для своего сына, непомерно разросшегося. Заполнившего собою вот уже целую комнату.

Глава 2

А у нас обострились метанарративы

Пронзительным, словно песни Тимура Мацураева, утром я вышел. Однако решил на троллейбусе на перекладных из Тифлиса на работу, на место службы, на час позже, чем положено, не спешить. Утро, которым я вышел, было наполнено совершенными трюизмами, как бы выявляющими границы не только моего собственного языка, но и границы зримого мира. Худосочная девчонка, проживающая в доме напротив, выгуливала на поводке своего дождевого червя по кличке Шай-Хулуд. Словно орошенное каплями йода, лицо этой хохотушки, если вам угодно, улыбалось, губы, черные губы, конечно, то есть рот, как будто наелась активированного угля, улыбался. А

тетенька, что кушала, словно удав, собственных сожителей, извечная вдова, читала фиолетовую советскую книжку. Сидела на покрашенной салатовой скамейке у подъезда, читала уважаемого Чехова, называла детей объедками слишком уж часто, сложенная, как леденец, синдромом Туретта. Соломенная шляпа, темно-гранатовая ленточка, намертво прилипший к скамейке красный сарафан, все было прекрасно в Клавдии-провокаторше. Она спросила, сардонически усмехнувшись, иначе не умела, иначе не могла, куда идет столь презируемая солнцем, ветром и людьми барышня. Малолетка бодро ответствовала, что идет она по заданию бабушки своей в цыганскую аптекарскую лавку за снадобьем от ревматизма. Платье цвета груши категории «Лада», розовое каре, она тянула червяка в сторону станции Левобережная, шестнадцатилетняя, недоступная. Тетенька, подобно ранке на пальце, кровоточащей ранке, – организм не дурак, избавляется от ядов, попавших в увечье, то есть вся кровь не вытечет, просто немного вытечет, но вместе с этим уйдут и микробы, – тетенька изживала из себя злые мысли, сквернословила, дабы в дальнейшем не допустить заражения души своей. И переливались нежные голоса жаворонков, и апрельский дух зывал к ответу совестливых дачников. И прочные, как Хасавюртские соглашения, улыбки тех дачников освещали мне путь до самой работы. А работали мы в такой обстановке, в какой вы, должно быть, тоже работали, все постоянно где-то работают, или возлежат в КНД на пронзительно поскрипывающих металлических матрацах. Мачтовые сосны, торчащие зубочистками, покачивались. Встречаемые коты казались особенно котливыми тем достопочтенным утром. И до работы дошел, ни разу не потеряв сознания, что, безусловно, роскошь по нынешним временам.

Если вам интересно и жаждет узнать, шла радуница, и меня нашла на рабочем острове Хуана-Фернандеса она. Образно выражаясь. Там похитили мое психическое здоровье, сделав столь нетривиальный комплимент Мишиному организму. Эскадрилья порыхлелых яиц на школьной парте, за ней сидел охранник, на проходной. Добрый день, мужчина, сказал ему, чувствуя подслеповатую боль в области двенадцатиперстной кишки. Ого, на мгновенье допустил я, это же язва желудка, мать божья! Вспоротая полутись моим консервным голосом, и Николай вздрогнул. – Иди ты, у меня инфаркт недавно был, – прикрикнул он, приглаживая пожелтевшие от никотина усы, усы-воблы. – Хороша ложка к обеду, – сказал я многозначительно, расстегивая свой прорезиненный голубой плащ. – Миша, ты давай тут не это самое, – занервничал господин, похожий на Марка Твена. – Может, стукнемся вашими яйцами? – поинтересовался у него, кивнув на парту. – Давай-ка не дуркуй, все ваши на осмотре уже, – сказал, поморщившись, как от лимонной кислоты, закапавший в глаза, охранник. С тем и расстались, каждый остался при своем мнении относительно итогов тридцати лет новейшей истории. Нашему отделу надлежало раздаться, но не от безысходности, процедура осмотра. Лучшие медики осматривали нас перед каждой сменой, им было важно знать, наличествуют ли в нас повреждения, физические, ментальные. Ведь на нас лежала огромная ответственность. Нам настырно звонили разные несчастные голубцы, горячая линия поддержки населения не справлялась, мы были операторами, мы были остросоциальными романами. Звонившие, отчаявшиеся люди, читали нас, им становилось легче, насколько это возможно в условиях вступившего в свои права греческого режима черных полковников. Вот именно наш отдел, наш отдел заселили совершенно странные ребята, нас набрали в соответствии с талантами. Мы в должной мере обладали искусством нарколепсии, а также иными расстройствами психологического толка. Позволившими не сойти с ума от депривации сна, в отличие от многих сограждан, ступивших на путь аполитичного существования.

Войдя в медицинскую комнату, я встретился со своими полуобнаженными коллегами, чудными, как фамилия Мариэтты Чудаковой. Они были успешны, мои коллеги, ведь все они покинули школу после девятого класса. Неумолимая статистика, что вы, что вы, – люди, как правило, поступающие в училища после девяти лет обучения в школе, дорожат своим временем, они знают, что им необходимо получить от жизни, какой интенсивности пендаль им необходимо получить. Черный мусорный бак с аскетичной надписью белой краской: бахилы, утратившие силы. Темно-коричневая кушетка, чья плоть выступила наружу, тускло-желтая поролоновая плоть. Единственное оконце ослеплено серыми жалюзи. Холодный электрический свет, мужчины, двое

мужчин дебиловато улыбаются моему появлению. На бежевой шероховатой стене висит в рамке цитата, принадлежащая перу Эмиля Чорана, мы ее, конечно же, приведем, отчего же не привести: «Бессонница – это единственная форма героизма, совместимая с кроватью». Я, кажется, вновь поспешил. Считаю необходимым исправить, обозначив дискурс, в рамках которого мы бы могли существовать с вами, мои литературоцентричные подельники. Помимо работы оператором в службе доверия приходилось заниматься культурным промыслом, сочинять стихи на заказ, писать апокалиптические статьи в один небезызвестный журнальчик. К своим двадцати семи годам я непозволительно много тратил денег на карманные расходы. Сумел окончить магистратуру, и меня звали Миша Токарев, а еще звали в библиотеки проводить замечательные мероприятия для детей старшего школьного возраста. Порой меня даже называли Моцартом от дегенератов, порой мною восторгались литературные девы, и Андрей Родионов кричал вослед: ай да сукин сын, пожалуйста, почитай на моих поэтических слэмах! Пожалуй, от меня ожидали всего что угодно, пожалуй, я мог стать даже собакой, дражайшая матушка ничуть не удивилась бы. В таких обстоятельствах приходилось трудиться. Правда, общество ждало от меня, ко всему прочему, слов не мальчика, но мужа какой-нибудь, по меньшей мере, Александры Коллонтай, но выходили элегические вздохи, лишенные гусарского благородства.

Штатная и шаткая медсестра, принадлежащая северному административному округу, со всеми ее формами, волеизъявлениями и внутренним пламенем, громко чихнула. Да это же настоящее биологическое оружие, мысленно взыв я, выведенное отрядом 731, добавил более сдержанно. Ее красновато-синие глаза слезились, ее фамилия Слабенькая не вызывала вопросов, к слабеньким их нет. И я принял неистово раздеваться. Промозглый воздух в смотровой заставил поежиться, спину обдало холодным кипятком. Простершееся над нами побеленное небо исклужало возможность упасть прямо во всепрощающие руки создателя нашего. В степях глаз девушки гулял ветер. – Жалобы, доводы, гипотезы? – томно спросила она, в уголке рта специалиста серебрилась паутинка слюны. Я вгляделся, одинокий пастух в степи подгонял длинной палкой воображаемых коз в ее глазах. Готовность ей посодействовать, готовность разложить собственное тело на тезисы напоминало в определенном смысле подхалимаж. Алик, имеющий разительное сходство с Лёней Голубковым, в лиловых плавках танга, спросил, почему Слабенькая отвлекается на меня, она же занималась с ним. Медсестра ответила на это: а я испытываю слабость к этому певцу нашего времени, личные предпочтения. На ребре ладони Алика наколка: Ушач. На рахитичной груди у него несколько родинок, если все родинки соединить, то получится картина «Сад земных наслаждений». Мадам возвращается к нему со стетоскопом, слушает. – Дыши, – говорит она, – а теперь не дыши. – Воздух для Алика делится на разрешенный и не разрешенный, ворованный воздух нравится больше, мой соплеменник саботирует, дышит дольше положенного. Еще один сослуживец, Эльдар, в черничных просторных трусах, кудрявый, как Любовь Орлова, спрашивает меня: почему опоздал? Я не спешу с ответом, наши плечи соприкасаются, словно границы России с границами Казахстана, Эльдар все-таки казах. Чешуя цисгендерных белых мужчин, покрывавшая с ног до головы, позволяла нам преодолевать существенные расстояния подо льдом, в то время как социально незащищенные слои населения, лишенные возможности дышать под водой, неминуемо гибли, застигнутые врасплох стремительно изменяющимся временем. Доносится мерзкий, словно безбожный гражданский брак, запах подгнившей картошки. – Молчи, у нас мало времени, – страшно шепчу Эльдару, схватив его за локоть. – Миша, отставить! – кричит Слабенькая, продолжая слушать хрипы Алика. Любитель научной фантастики Алик несмело предполагает: у меня, кажется, тубик. – Какой еще тубик, – раздражается медсестра, – дыши ровно говорю! – Сосредоточенно слушая, она склоняет свою тронутую безумием голову набок, видно по крепко стиснутым челюстям, что ей тяжело сохранять внимание. Потом она говорит: мы закончили, Бибкин. – Ах, мы закончили, а что вы скажете по поводу сыпи на моем пузе, – орет, как при половом акте, Алик. Не склонная обливаться слезами над вымыслом, девушка отворачивается от коллеги, как будто бы является шлюпкой, отвернувшейся от парохода по имени Титаник.

Подошла очередь, и Слабенькая, чьи ногти напоминали животных, утративших свои назва-

нья. Чьи ногти являли собою что-то аморфное, что-то бывшее в употреблении. Не знаю, как еще описать эти ногти. Спросила меня: живой? – Живой, – подтвердил я, отчаянно расчесывая жировик на шее. В теле моем бытовала неясная ломота, правое ухо было заложено. Подбоченясь, Аделаида глядела с некоторой надеждой, надеждой, должно быть, на то, что она все-таки кошечка, которой снится вот эта смотровая, вот эти ребята придурковатые. Кстати сказать, ее пролонгированный поцелуйчик еще не высох на моей щеке, поцелуйчик, причиненный второпях на прошлой неделе. Истово медсестра флиртowała со всеми, внезапно освободившиеся часы бодрствования были заняты у девушки поисками любви. Однако с недавних пор отношения мне были безынтересны. По причинам вполне прозаическим, по причинам непреднамеренным. Мы с мамой приняли горестное решение – наша кошка, истерзанная болезнью, ушла на радугу – отпустил, как сложно в этом слове. Эмоционально безликий к массовым расстрелам, актам каннибализма, киднепинга, которые, безусловно, осуждаю, я был неприятно ошеломлен кончиной нашей пятнадцатилетней Тиши. Опасался, как бы у меня не развилась «транзиторная глобальная амнезия, вызванная сильным стрессом». История тридцатичетырехлетней британки Наоми, проснувшейся с твердой уверенностью, что ей пятнадцать лет и она ученица старшей школы, была свежа в памяти. Чтоб не забыть, вбил деревянную табличку в песочнице под окнами, там я закопал тело нашей кошки. На табличке выжет паяльником: «за всю свою жизнь ты не совершила ничего плохого, дорогая». Слабенькая прощупывала мои лимфатические узлы, кажется, не испытывая особенного волнения, ее ногти оставляли на коже длинные борозды. – Навязчивые мысли посещают? – спросила она, подойдя к шведской стенке, повисла на ней. – Таких нет, нет, – ответил ей робко. Коллеги о чем-то шептались, я допускал, что в наших диалогах имеются зайчатки здравого смысла, но допускал также, прочие граждане, пребывающие постоянно вот в таком бодром состоянии, совершенно нас не понимают. Я хочу сказать, наш отдел населяли особенные люди, в отличие от той же Слабенькой, мы были в состоянии предаться сну, не используя препараты. – Красивые, кстати, бакенбарды, Миш, – сказала неожиданно девушка, оставляя шведскую стенку в покое, она размяла позвоночник, подражая поведению Самсона, сына Маноаха. – Смена готова утешать слабеньких? – обратилась она к нам. И даже улыбнулась, как будто находилась сейчас в солнечном Ташкенте. Взглянув на нее, подумал, ну, по поводу отношений. На мой взгляд, качество отношений зависит от того, сколько времени женщине понадобится посещать психологов и психотренинги после того, как она возьмется за нож и попытается тебя убить. Подобные барышни давненько мне не встречались, подобные барышни, казалось, перевелись на Руси. Где же ты, чудная, склонная к нервным срывам, замкнутому образу жизни, поющая адвентистские песенки по утрам, дева? – Мальчики, не спим! – повысила голос медсестричка. Мы и впрямь задремали, интимная обстановка располагала. Но тут же исправились, оделись неспешно, покинули смотровую.

Эльдар запутался в ногах, словно в рыболовной сети карась, я чудом успел придержать его, а то разбил бы себе голову о дверной косяк, сделавшись носителем производственной травмы. – Большое тебе человеческое спасибо! – растрогался он. – С каких пор у тебя югославский акцент? – подивился пряным особенностям речи коллеги. Он ничего не ответил. И мы вошли в двести тридцать седьмую комнату. Хмурые темно-зеленые пальмы, нарисованные гуашью на стенах, африканские человечки с большими желтыми глазами, однажды мы спасли целый класс от массового забвения. В благодарностные детишки называли нас варварами, пресытившись идеями кафкианства, они были не в силах принять помощь извне. Их косые взгляды образовывали углы в тридцать градусов, кололись, в их венах тек абсент. На почве хронического недосыпа ребятишки создали кружок спекулятивного реализма, на собраниях обсуждали всякое злоеющее. Смеем полагать, что ничем бы хорошим собрания юных абсурдистов не закончились, ведь на каждого абсурдиста всегда найдется свой профессор-почвенник. Их учитель географии извинился за поведение своих подопечных и заставил их немедленно расписать наши стены. Помнится, подумал, какая замечательная профессия – географ, кто бы мог подумать. Когда говорят слово «географ», я неминуемо вспоминаю одного писателя, написавшего совершенно чудно о гражданине с этой профессией. На мой скромный взгляд, вся современная литература вылезла прямо-таки из жи-

вота Саши Соколова. Литературе было там уютно, но пришло время, и отсиживаться в утробе такого замечательного писателя стало совершенно неловко, я бы сказал, постыдно. – Не будьте рабами божьими, но будьте детьми божьими, – взывал к совести мальчишек горбатый мужичка-географ, и был он понятным, как «мама мыла раму», в своем стремлении привить подрастающему поколению любовь. – Если вам так нравится зло, то идите в Израиль, – продолжал вызывающе-шутливо географ. Мы же не приветствуем его слова об Израиле, попрошу заметить. А нам он сказал спасибо за то, что мы отговорили подрастающее поколение пополнять ряды бродяжек. Являясь законсервированными детьми, мы знали, чего хотят современные школьники, а хотят они исключительно крестового похода, ведь желание крестового похода неотъемлемая часть нашего самосознания.

Впрочем, я возвращаюсь к своим непосредственным служебным обязанностям, это естественно, так возвращаться. Подобным образом, смею заметить, Татьяна Семеновна Ломовая-Бамбино возвращается в детскую сказку. Офисная мебель, бледно-каштановые столы, компьютеры, телефонные аппараты. Заняв местечко у параша, то есть, конечно, не у параша, просто Алик Бибикин в связи с близостью мусорных исполинов, источающих невыразимый аромат, который, проникая в окно миазмами, сводил с ума, – преимущественно сводил с ума Токарева, сидевшего ближе всех к окну, – Алик Бибикин именно так прозвал это место. Пейзаж, способный обойтись без нас, все-таки не мог этого сделать в полной мере. Археологи будущего, отжившиеся потом изучать здешний ландшафт, будут вынуждены обращаться к фигурам операторов службы доверия, даже не сомневайтесь. Ведь мы не боялись никого, даже Сильвии Платт с ее винтажной депрессией, которую она старательно прививает нерасторопным детишкам вот уже второй век подряд. Ретировавшийся солнечный зайчик, щелчки клавиш, мясная муха мечется под потолком. Эльдар, наматывая на указательный палец телефонный провод, разговаривал со своей девушкой, по этому поводу он складывал на ходу льстивые стихотворения, породнившись в этом смысле с Эдуардом Асадовым. Вошел сизый кот, лег на пол для красоты, и это действительно было красиво. На пороге тут же возник охранник Николай, бурча себе что-то под нос, он взял кота, куда-то унес. Кроткий румянец разлился по его щекам. Помнится, мужчина-охранник рассказывал о своих наблюдениях за жизнью обезьян, исполненной праздности. Он говорил, животные стремятся к монотонности, а люди не стремятся, люди желают событий. Значит ли это, что человек не достоин своих предков, значит ли это, что человек – обезьяна, сбившаяся с истинного пути. Ставил нас в тупик своим каверзным вопросом Николай.

Громоподобно зазвонил телефон, чей затейливый шнур напоминал черного Фаустовского пуделя. У меня случилась в связи с данным обстоятельством непредвиденная Патагония, влажной ладошкой я хватаю трубку. Невозмутимо говорю: кризисная служба поддержки населения, не умирайте. На том конце шепчут что-то совершенно невнятное. А ведь шепчут в каких случаях: если человек находится в храме, например. Страшная догадка пронзает ухо мое, не подаю вида, молчу. – Мне плохо, – женский заплаканный голос, – меня бросил мой, меня бросил папик. – Столкнувшись с потерей отца в свое время, я прекрасно понимаю данную особу, мы с ней на одной волне, мы с ней Аксинья и Григорий, если вы понимаете, о чем я. Говорю ей с чувством: вы знаете, больно, больно слышать подобные новости.

И что я делаю в следующее мгновение, а по голосу определяю возраст собеседницы, то есть функция определения возраста была присуща моему столь изношенному понятийному аппарату, сколь может быть присуща сестрам Бронте способность обводить вокруг пальца мужиков. Ее голос дрожал, знобило девчонку, я живо представил себе полуголую фею Винкс, как их там звали, я сейчас посмотрю, как их там звали, чтобы узнать, как их там звали. Звали их Стелла, Блум, Флора и Лейла. Помыслилось, что сидит она сейчас мокрая на краешке ванны, синие, как аттестат, губы дрожат. Кто ты, Стелла, Блум, Флора или же Лейла? Я сказал ей, чтобы она переставала быть марионеткой в руках Запада, спросил, следуя инструкции, кто с ней рядом. Девка печально всхлипнула, неожиданно развязно ответила: я совсем одна, козлик. Речь ее сделалась роковой, как Шерон Стоун в фильме «Основной инстинкт». – Мне ничего об этом не известно, дорогуша,

я тут с двумя своими коллегами, мы работаем три дня в неделю, и каждый получает примерно двадцать три тыщи денежек, – мне захотелось показать ей, уход из семьи отца еще не конец. – Как ты смотришь на то, чтобы выпить со мной в несносном бычке кофе? – внезапно заинтересовалась девушка. В горле запершило. Закашлявшись, принялся стучать кулаком по столу от эмоций. Предложение посетить заведение подобного рода могло трактоваться как провокация. Минздрав позакрывал кофейни, запретил учреждения, где подавали кофе. Однако существовали подпольные столовые. По слухам, в «Несносном бычке» подавали капучино, американо, эспрессо и разное другое подавали с добавлением женского грудного молока. По слухам, целый штаб матерей трудился у них. Не обладая в должной мере искусством говорить нет, я посоветовал ей наладить отношения с отцом. – А ты Кокто вообще такой, Жан, чтобы учить меня переносить разлуку с отцом? – возразила неучтиво девчонка. – Послушай, – обратился к ней доверительно, – я прочитаю тебе стихотворение, способное на все, оно так и называется. Открыв закладки в телефоне, принялся это делать, читать ей классику. Ведь классика тогда и становится классикой, когда граждане, ни разу ее не открывавшие, уверенно говорят, что читали. А про мою литературу болтают разное.

Однажды 10 лет я писал
 Стихотворение об отце,
 10 долгих лет,
 Неотчуждаемых от
 Знания, что литература,
 Это, прежде всего, пробелы,
 А потом уже буквы,
 Семиотика, пушкинисты
 И Лотман Юрий Михайлович.
 Моя методологическая,
 Прости господи,
 Основа стихотворения
 Включала пробелы,
 Из которых состоял папа.
 Однажды к нам в город
 Приехал кентавр,
 И мой отец разрешил
 Мне на нем прокатиться.
 От кентавра пахло,
 Как будто бы сеном,
 Огуречным лосьоном,
 И всем тем, чем пахнут
 Кентавры, рожденные
 В советские времена.
 Рядом стояла милиция,
 Дежурила,
 Возбужденные дети
 Были готовы его растерзать,
 В их потных ладошках,
 Кажущихся тизером
 Взрослых ладоней,
 Колыхались банкноты.
 Отец о чем-то с ним спорил,
 А потом даже подрался,
 Мой отец будет боксером,

Я его таким воспитаю.
Что же было еще,
Кажется, далее он,
Мой отец, увел жену
У кентавра,
Впоследствии жена стала
Моей матерью,
И мы переехали в Нарнию.

Бедняжка примолкла, стала похожей на Лидию Струве в 1908 году. – Верлибр это не стихи, – задумчиво сказала она после некоторой паузы. – Уитмен и Артур Рембо это для тебя пустой звук, милочка? – не сдержавшись, прикрикнул я, как будто пророк Зангези на Велимира Хлебникова, засомневавшегося в его пророческих способностях. И вполне допускал, что девушка зависла над пропастью ЕГЭ, впрочем, не осуждал ее. И даже хотел придержать ее за руку, мол, не прыгайте, расшибётесь о скалы, и ваше прекрасное, наверно, прекрасное тело растаскают впоследствии зубастые чайки. Но не совсем понимал, используя какую лексику с нею можно беседовать, для обценной была юна, для архаизмов еще не родилась. Донорство слов, присущее, к примеру, Сапрыкину Юрию, было не присуще Токареву Мише. Блаженное косноязычие, из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки, а вот из чего, не ожидали? И все-таки я нашупал нужные, нужные объяснения. – Полноте вам, – сказал, – силлабо-тоника это карательная психиатрия от мира поэзии, то есть она бесповоротно себя дискредитировала, ей веры нет. – Вы рассуждаете как самовлюбленный индюк, – произнесла она, кажется, улыбнувшись. Передо мной не стояло задачи поладить с девочкой, отравившейся крыжовником хандры. Хотелось лишь, впрочем, не знаю, чего мне хотелось. – Знаете, я скептически отношусь к тому, что не одобрено составителями школьной программы, – вновь сказала она. Совершенно не хотелось выламывать эту, ставшую родной за время беседы, особу из такого конвенционального дверного проема. Может, задать ей вопрос вот об искусстве, что думает искусство, находясь вне нас, подумал я. Поэтому произнес: знаете, я не ишу себе хорошенькую славистку, я вообще никого не ишу, мне нужно, чтобы вы не совершали самоубийства, желательно регулярно, не единожды. – Мне кажется, такая литература, вот про нее, когда рассуждаешь, то кажется, написано сумасшедшим для сумасшедших с одобрения сумасшедших, – пигалица мыслила весьма зыбко. – Ладно, это все патетика, занимайтесь почаще любовью, когда можете, вам будет полезно, – я потерял интерес к разговору, проявив крайнюю степень непрофессионализма. – Знаете, кто вы такой, чтобы мне советовать, олух, – бросив трубку, завершила она беседу, пенные волны унесли ее голосовой силуэт, исчезла она в темной дали, а что поделаешь.

В определенной степени мы были палиндромами, читались с легкостью наоборот. И тот, кто отважился прочесть нас наоборот, имел впоследствии дело с посттравматическим расстройством. Ибо подобного рода потрясения сродни американской депрессии с биржевым крахом и существенно позже встречей с личностью морского пехотинца Ли Харви Освальда в рамках расследования, кто же подставил кролика Роджера и пожег в лифте кнопки. Скликая от пота трубка скрипела. Алик Бибкин, сановитый мужчина, пусть и не обладающий саном, – однако, взглянув на него можно предположить, что саном он обладает, – Алик, наследник империи МММ, сидел за компьютером, хмурился. Однорбный васильковый пиджак был расстегнут, на груди розовой футболки расцвел потный цветок. Коллега знал, что насилие это последний аргумент дилетантов, и это знание помогало сносно бытовать в социокультурном контексте. – Алик, ты с кем? – спросил его, поздно заметив ящерку телефонной гарнитуры. Мы и таким занимались, созванивались по видеосвязи с будущими самоубийцами. Наша речь имела характер ажурного белья на подурневших телах домохозяек. Благодаря нашей речи, я полагаю, несостоявшиеся утопленницы, недозавязанные висельники оставались живы. Да, им было сложно, как человеку с фамилией Кюхельбекер, было сложно принять решение остаться в списках живых. Вполне вероят-

но, напредставляли себе, как травой порастут их следы, мысленно устремились туда, где Василий Бородин шел по следам впечатлений отца. Мы им помогали этого всего не делать. На мониторе Бибикина происходило что-то увлекательное. Настолько же увлекательное, как позабытый современниками рассказ о человеке, попавшем в автомобильную пробку, за несколько дней, проведенных в ней, он успел влюбиться, найти друзей, прожить маленькую жизнь. К сожалению, когда движение возобновилось, гражданин растерял возлюбленную и друзей. На мониторе Бибикина два старика в противогазах пбф «хомяках», отголоски карантинного года, бубнили чего-то, чего-то бубнили. За их спинами горел камин. Полосатая кошка, уроженка Швеции, возлежала на покато́й, словно нос Фанни Каплан, спинке дивана. Искаженные фильтрами голоса призывали помочь им зарегистрироваться в социальных сетях. Я принял решение не отвлекать Алика и незамедлительно вышел в туалет.

В туалете Эльдар умывал достигшее в высшем смысле реализма лицо. Наблюдался классовый конфликт, черточка зелени на лбу, подрался с гастарбайтерами. Черные глаза как историческая достоверность. Не лишенное, в общем-то, натурализма лицо, след от помады на виске, девушка Мещерская оставила, поставила, расписалась. Коллега чирикнул, Эльдар краснозобая казарка: на каникулы хочу съездить к этим самым, Оля предложила посмотреть на них. Я понял, о чем он чешет, мы недавно обсуждали коммуны девственников, это невероятное, конечно, происшествие мирового масштаба, диковинка, словно метро в Омске. Коммуна девственников проживала в Ивановской области. В коммуне девственников чтились принципы патриархата. Мальчишки, столкнувшись с мужественным кризисом, решили не рассматривать женщин как решение своих проблем. Они были убеждены, бессонница послана нам в наказание, спасутся лишь инцелы. Шведский психиатр Стефан Краковски, исследующий феномен добровольного, а иногда недобровольного воздержания, подтвердил, избранность подобных мальчишек носит характер почти религиозный. А ведь мысль о сохранении собственной чистоты для одной-единственной женщины заслуживает не только плевков, но, пожалуй, заслуживает и уважения. Истории о поселении девственников были увлекательны, путешественники как будто выковыривали изюм из булки, делясь ими. Одно неизменно, рассказчики всегда добавляли, что чудом унесли ноги. К тем, кто соблюдал целибат, относились по-разному, кто-то сравнивал их с Пастернаками. Удивительно, но девственники обладали верблюдьими профилями и взглядами породистых арабских скакунов. Неизвестно, кто их спонсировал, неизвестно, кто им занес полмиллиона долларов в коробке из-под ксерокса.

– Следи за собой, вдруг что-нибудь у вас нехорошее случится, – пошутил я, или не пошутил, высмаркивая малахитовые сопельки. В туалете пахло сандалом, нагретым деревом с едва уловимым мускусным оттенком. Эльдар, досуха вытерев лицо бумажным полотенцем, резонно заметил, что гонорею он там точно не подхватит, а остальное его не заботит. Откровенно говоря, Эльдар не гнушался посещать проститутки. И к своей суженой Мещерской относился весьма пренебрежительно. Обладая поразительным чувством такта, я не вмешивался в жизнь сослуживца. Хотя мог бы по причине, наличествующего во мне также таланта сострадать всем букашкам на свете. Бордели нынче превратились в колыбельки для посетителей. Граждане приходили туда, чтобы поспать. Посетители борделей сегодня выбирали не самую молодую цыпочку, но самую опытную. По слухам, в дело вернулась старейшая жрица, Люба Колобок. Бывало, я подумывал заявиться в ближайший дом терпимости. Хотелось послушать о временах НЭПа, хотелось послушать о мачехе, которая смешивала крупы, чтобы развить у Золушки мелкую моторику по системе Монтессори. Хотелось также попросить умудренную сединой даму, атрибутируйте меня, пожалуйста, ведь это так романтично. Смена была в самом разгаре. И в коридоре сновали работники, пребывающие в нервном возбуждении, изрядно шушукались. Дремучий характер шушуканья заинтересовал только меня, Эльдар сообщил о нежелании работать. – Пойду я, отпрошусь, мы сегодня с Ольгой идем... – Куда они там идут с Ольгой, не стал расспрашивать, ведь отличался врожденным чувством такта. Мне хватало в жизни одного лишь вопроса: каким образом в закрытой книжке буквы не перепутываются за ночь. Кажется, женщина в коридоре сказала о началь-

стве, которое замышляет что-то нехорошее против нас. Этой паникерше грамотно возразили, заметив, что с тех пор, как изобрели колесо, начальство что-то замышляет против сотрудников. – Успокойся, послушай радио тысячи холмов, попей томатного сока, не принимай близко к сердцу, Галя, етить, – советовали сердобольные люди. Галя, или даже Гелла, была лихорадочно весела, как будто узнала, кто скрывается под псевдонимом Ильи Масодов. Она говорила, посмеиваясь там, в общем коридоре: хо-хо, хамите, и так вокруг мрак, а вы, значит, учите меня жить, парниша!

Покинув туалет, я невольно увидел Геллу, стремительно потупил взгляд. Болезненное возбуждение порой толкало ее на необдуманные поступки, она могла зашибить ненароком, прикоснувшись словами ко мне. Руководительница нашего отдела Гелла, костистая и лупоглазая, наша форель, наша Галина Форель. Она быстро, словно ящерка, облизывала свои нецелованные губы. Сплетни, конечно, что нецелованные, но я этим сплетням, если хотите, вполне доверяю. К слову сказать, недавно в курилке охранник Николай сообщил, как можно проверить на прочность любовь. А очень просто можно проверить, необходимо расстаться с возлюбленным или возлюбленной навсегда. Многие служащие нашей конторы так поступили, а потом лишились своих отношений, квартир, автомобилей, чести. Если в курилке даются подобные ценнейшие советы, способные менять судьбы, то сплетни тем более там качественные. Наклонившись к питьевому фонтанчику с бромом, принялся лакать. Вода обожгла холодом зубы. Не стал обращать внимание, с кем треплется руководительница, кому жалуется на свое начальство, ибо встретившись с ней взглядом, встретившись с ней взглядом, рискуешь подавиться рыбными косточками. Вдруг за моей спиной послышалось притворное покашливание. – Галина Вячеславовна с тобой говорить будет, – сказала Галина Вячеславовна. У ней были исцарапанные руки, обо что, обо что ты расцарапалась, об кошку, должно быть. Я посмотрел на ее бледный лоб, через который проходила длинная желтоватая морщинка, от этой длинной морщинки расходились морщинки поменьше, магистральная морщинка в свою очередь напоминала рыбий скелет. – А ты, – вдруг сказала она коллеге, – Эльдар, иди-ка ты в Швамбранию, и помой полы на этаже, никакого тебе отгула. Коллега Эльдар грустно вздохнул, его фигура отделилась от стены, и он был вынужден топтать в технической коморку. – А у тебя отпуск, ты что вообще забыл на работе? – подсказала уважаемая начальница. Я как вспомнил, что у меня отпуск, сразу же обрадовался. Покорившись трудовому кодексу, пошел домой. Охранник Меламид, сменщик Николая, по-комариному сосал через трубочку томатный сок на проходной.

Я снимал комнату Зои, то была одна из комнат, одна из четырех Зойкиных комнат. Зоя Никитична не являлась Анной Шерер, она являлась скорее фонетически близким к оргазмическому женскому вскрику человечком. Гостеприимная, тридцатилетняя, удущливо красивая, нарастившая себе общую прекрасность организма, непонятно за счет чего. Притулившись к двери, гневной двери, на которой мелком белым чья-то рука вывела сто семьдесят шесть. Я прислушался, и происходящее там, в лепрозории коммунальном, в некоторой степени меня озадачило. Услышал приглушенное женское говорение: укушать хочу гамбургер. Зоя не любила Макдональдс, потому что они убили Каддафи. Мужичкий голос вкрадчиво ей отвечал: Зоя Никитична, не укушать, говорят, откушать, вам нельзя, у вас холестерин повышенный. Тотчас я догадался, пришел доктор Ксавье, которого хозяйка вызывала от скуки. Он чинил поломавшийся русский язык. Речь, подвергшаяся киячению, делалась нынче непригодной для проживания веселых бактерий. Общество, насыщающее в том числе и меня, прежде, до ситуации с бессонницей, и так страдало какими-то совершенно надуманными недугами, доходы гомеопатов затмили доходы космонавтов. Теперь же колпак свистел у всех капитально, новых надуманных недугов стало в тысячу раз больше. В нашей жизни возникли доселе не виданные специалисты, врач русского языка, сиделка для воображаемого родственника. Как же все неправильно происходит, сначала они замочили Эсхила, затем пришли за остальными, затем в честь них воздвигли бронзовые статуи, но людей-то уже замочили, внезапно подумал я. И, не церемонясь, открыл дверь, с корнем вырвав цепочку.

В хозяйке было разлито пятнадцать миллиграмм сибазона, дневная доза, но улыбка, неугасимая улыбка освещала коридор. – Мишенька, – обрадованно сказала она, завидев на пороге.

Чернокожий доктор с маслянистыми, как пакистанские финики, глазами поприветствовал: salut, mon pote. Бистрый Ксавье, он похлопал меня по плечу, и покинул квартиру, внутренне радуясь, должно быть, что внимание Зои перешло на человека, смеющегося сочинять стихи не хуже Якова Полонского. На старинном, исчерпанном собачьими когтями бежевом комоде в бутылке из-под сидра стояли мохнатые сиреневые астры. Полутьма о чем-то умалчивала. Полутьма уравнила Мишу, хозяйку, чернокожего доктора. – Миш, кепчук-то купил? – спросила внезапно женщина. И я решительно не знал, что ей ответить, кетчуп она покупать не просила, кого она пытается обмануть, себя она пытается обмануть. Медленно снимал свой плащ, размышляя, как бы подликатней от нее улизнуть. – А чего спинжак надел, замерз, что ли? – оседлала она интонацию, почувствовав запах моего трудового пота. Рыба рыбою сыта, человек человеком, Зоя была сыта мешанской жизнью по горло, но мне она видела писателя-неудачника, чья гипотетическая забота способом затуманить черты праздной жизни. – Зоенька, всенепременно, всенепременно, но потом, – спешно сказал я, побежав к своей комнате, но потерпел неудачу. – Ты совершенно мною negliжируешь, не будь казюлей, – обмелевшая речь Зои явила миру чудесатые слова-ракушки, к тому же она ухватила меня за бакенбард. – Прекращай свои камлания, Зоенька, – не захотел даже слушать ее, но крепкая хватка мешала покинуть коридор, мешала разорвать дистанцию. И мне казалось, совсем скоро наше общечеловеческое судно Паллада разобьется о скалы безумия. Зоя призывала раздеть ее взглядом на протяжении вот уже пяти вечеров. Дважды мне удалось этого не совершать. Подслепогато шурясь, она напоминала мою бывшую сожительницу Абигейл. Безумный такой взгляд, как будто заслонку забыли открыть в печке, и в комнате вот-вот угорят, и я угорю, всматриваясь в эти психически бурные глаза.

– Тама письма тебе, – сообщила широкобедрая Зоя, заметно теряя интерес к беседе, – в одном тебя зовут в деревню какую-то учителем. – Зоенька, что ж ты делаешь, читаешь идеологически чуждую тебе переписку. Сколько раз мысленно повторял, не расскажут вам в чужих письмах, как французы приходили в Москву, и о существовании, предшествующем сущности, вы тоже не узнаете, Зоя. А вот отношения со своими жильцами изрядно попортите. Женщина перестала неволить, роднившие Токарева с Иваном Крыловым бакенбарды были оставлены в покое. Пузырек цикломеда робко стоял на краешке комода, рискуя упасть. И днем и ночью ток включенный ходил по цепи кругом, гудел счетчик. Зоя с напускным равнодушием сказала о невозможности нам быть вместе сегодняшней ночью. – Вы меня утомили, Миша, вам лучше побыть наедине со своими грязными мыслями, они у вас наверняка грязные, воду до пятого июня отключили. – Стоит признаться, в тот момент я подумал всего лишь о занятом отрывке из книги Петра Силаева, прочитанном сегодня в троллейбусе, само собой, описанное в отрывке я не приветствовал, и даже, можно сказать, осуждал. О чем-то таком Силаев писал: «Вот этот парень стоит вечером у магазина, и я подхожу к нему сзади. В растянутом свитере, в грязных кроссовках, неаккуратно выбритая “под ноль” голова, подростковые усы, прыщи на всем лице, гнилые зубы. Через секунду этот отличный парень превратится в кусок говна, обрезок железной трубы сделает из его головы кровавый фарш. У меня впалая грудь, рахитичное пузо, я предрасположен к астме, плохое сердце. Никогда не было нормальной работы, никогда не было папы, никогда не было девушки, через секунду я отомщу этому (нецензурное слово) за все эти годы, за всю мою жизнь, за всех таких же, как я».

– Моложе, чем в данный момент, я уже не буду никогда, – продолжила философствовать козочка-хозяйка, тем не менее не спешила уходить в свою комнату. И я бы обнял ее, как бостонский душитель, известное дело, чтоб успокоить, чтоб отпугнуть трагичные мысли. Однако тем вечером, пребывая в сквернейшем расположении духа, всерьез подумывал о возможности поехать в санаторий, как мы нежно называли психушку на улице Восьмого марта. Еще вот до меня также докатилось печальное известие, питерский дружок, странный парень, гений-шахматист, вышел в окно, а зашел в дверь ЗАГСа. Он мучился ночными кошмарами, однажды ему стало казаться, что весь мир с ним играет в хитроумную игру. Съездив на каникулы в Германию, он подцепил себе красотку, дочку состоятельных эмигрантов, они расписались даже. В их питерской квартире было

великое множество шкафчиков, коробочек, комодов, иногда мой знакомец становился чрезвычайно маленьким, и прятался, прятался, прятался. От кого же он прятался, а я понял, от кого, от жены, дочери состоятельных эмигрантов. Нервные срывы, само безумие подчинялось у него шахматным законам. Женщина пренебрежительно с ним общалась, лишь недавно я понял, зачем она так. А потому, что светофор зеленый, а потому, что мой дружок познакомился с настоящей венгерской графиней, Елизаветой Батори, принимавшей кровавые ванны. В той самой Германии, от которой прямо-таки веет готическим вайбом. Супруга моего шахматиста-гения подала на развод, отсудила совместно нажитого ребенка, а также все сколько-нибудь важные мысли, что посетят гражданина в течение ближайших двадцати лет. А он, мой шахматист-гений, обладал определенным даром, он готовил самую вкусную мамалыгу, что я пробовал на своем веку. Пока он готовил свои мамалыги, разыгрывал партии, они хоть и ссорились, но продолжали делить постель, он еще был на плаву, когда же Елизавета Батори подала на развод, он окончательно сломался.

В гости к ним приезжал, в прошлом году, она его называла солнечным человеком и кидалась в него своими тампонами. Да, она берегла свои секреты, в смысле секреты. Чрезвычайно бледная лицом, осанистая штучка. Стоило моему знакомому порезать палец овощным ножом, порозовела. Тотчас она обхватила своими припухлыми губами пораненную деталь шахматиста. Причмокивание, полуприкрытые глаза, жажда. – Но позвольте мне с негодованием прокричать в самое ваше лицо, – воскликнул я тогда, – что вы творите, убийца! – И мое простодушное негодование сию же минуту подверглось осуждению. Супруга гроссмейстера, таинственно-ненормальная, именно такая, какую я не хотел бы знать, оставила палец в покое, и впилась в мое горло. Еле потом оттащили прибежавшие на шум соседи. Да, барышня доконала моего приятеля, такие невеселые новости пришли из Петербурга. Тем вечером я совсем расклеился, и не стал обнимать Зою, как бостонский душитель.

Глава 3

Русские народные галлюцинации

– О, капитан, мой капитан, – зычно вскрикнула женщина по фамилии Проффер. Чей облик напоминал сон Турбина, маленького роста кошмар в брюках в крупную клетку, жена психолога, сама психолог. Ее муж, тоже по фамилии Проффер, отвечал игриво, позвякивая связкой ключей от кладовки: закрой свою пасть, пчелка. Разговор происходил в общем коридоре, и моментально становился достоянием общественности. Супруги были разными, словно дословный перевод и перевод художественный, однако моих соседей, тех, кому посчастливилось предаться сну прошлым вечером, утреннее пробуждение, вызванное беседой Профферов, должно быть, ничуть не расстроило, милые бранились, тешась интеллектуальными разговорами на потеху всем. Запах тушеной капусты, травмирующий, подобно тому, как раскулачивание отца травмировало Твардовского, вторгся в мою комнату. И новый, прекрасно-яростный мир показался не лишенным соблазнительности местечком. Знаете, к своим двадцати семи годам я усвоил простую вещь, вы только послушайте, огурцы съешь сам, кабачки раздай друзьям и родственникам, а баклажаны оставь в рагу. Это к чему. К тому, что рагу она готовила на завтрак каждое утро. Эта Проффер женщина. Проффер мужчина, в некоторой степени занудный и неторопливый, точно стихи Геннадия Айги, принялся упражняться с гантелями, насвистывая блатную песню о Нибелунгах.

На окне стояла банка заряженной воды, подаренная матерью перед тем, как я покинул отчий дом, чем несказанно ее обрадовал, стоит заметить. Она родила меня собственными руками, поэтому продолжала излишне волноваться и даже на расстоянии пыталась опекать, названивая по пять раз на дню. Окно позволило мне разглядеть расплескавшуюся по небу синеву, синева разлилась также по тельняшкам, по беретам. Нас мало, но все-таки мы в тельняшках, своевременно заметил, глядя на то, как из-под каймы облаков пробивается розовая гадость. Моя худая рожа,

должно быть, ничего не выражала, однако голая душа в тот момент напевала о чем-то таком благостном. Я радовался искренне по утрам, просыпаясь, а ведь мог не проснуться, пополнив ряды обэриутов. Осоловело поглядел на себя в овальное зеркало современной культурологии, что висело над бурным столом из эпоксидной смолы. По всем признакам выходило, что мой интеллектуальный уровень, к сожалению, табуреточный, однако смею полагать, табуретка табуретке рознь, порою видение трудовика этой самой табуретки совершенно не совпадает с результатом, то есть конгруэнтность не соблюдается, но все-таки мы живем в обществе. И жить в обществе надобно так, чтобы в двадцать четвертом году на площадях, в клиниках неврозов, в кинотеатрах и у станков, и в кабинах грузовиков перестали существовать люди двадцать третьего года. В то же самое время неспелый хлеб души моей требовал пересмотра технологии производства, на каком же этапе был утерян важный компонент, клейстер. Впрочем, к чему жаловаться, я жил в хорошее время, в школах ввели предмет основы безопасного забвения, на котором ученики занимались молчанием и лежанием, они забирались в коробки из-под холодильников и сорок пять минут именно так делали, катали на языках слово трансцендентально. Минимальный прожиточный минимум повысили до двадцати тысяч денежек. А наша страна повернулась, наконец, лицом к Африке.

Меж тем улица стремительно покрывалась сумасшедшим потоком шагов, окно выходило на Нагорный проспект. Поскрипывал маразматичный дилижанс, цокали лошадки. Усердное сопение нищих духом, шарканье ног людей, чистых сердцем, чирик зажигалки. И я был покоен относительно моих сограждан, дервиши, а не сограждане. Отказавшись заниматься ерундой, раздавать листовки на углу, у Патриарших, подавать денежки под процент, поднимать припухлые веки директоров-самодуров. Никто уж не терялся из них в книжных изданиях разного года постройки, читали уверенно, читали по слогам. Благодаря бессонице они перестали размениваться по-торгашески, пусть и от чистого побуждения, однако напрасно, по мелочам. Ибо лишенные сна стыда не имеют. Граждане как будто увидели три больших красных яблока, не виданных ранее, три красных путеводных яблочка. Хотя, казалось бы, кубанские яблоки кушали все, но Валентин Распутин возражает, он говорит, не все. И перестали они попрошайничать мандаты, чего-то бесконечно ожидать свыше, знаков судьбы и разного другого. И не желали, чтоб их дети рождались с петлей на шее. Поэтому прекратили бесцельно кочевать, прекратили уподоблятьсяномадам. Сосредоточились на самой мякотке. Многие отправились в огороды, кто-то по дрова, конечно, ну, а самые понятливые занялись кромешной буфонадой. Ведь сомнений в том, что всем скоро исполнится ноль лет, не возникало более.

У меня упало давление, стоило лишь предпринять попытку отжаться пять раз. Оно упало, как Федор Михайлович, помните, когда он писал «Игрока», поджигали сроки, Михайлович Федор диктовал из головы, Анна Сниткина набирала текст, пальцы ее стучали, тук-тук-тук, ай. Потом он упал, пена изо рта пошла, страшное дело, конвульсии, потом поднялся, продолжил сочинять. Сниткина терпеливо ждала, пока туча петербургской прозы примет стоячее положение. Быть может, глядела в окно, любовалась фронтоном доходного дома Шклярского, кто ж ее знает. Жилка на левой руке пульсировала, свои пять отжиманий я все-таки доделал. Приседаний получилось больше, приседаний получилось двадцать пять. Я предполагал, конечно, что взрослые сильнее, но и не забывал также, что к волшебству они не способны. Екнуло сердечко, как инородное тело в груди, когда я толкнул шестнадцатикилограммовую гиру над головой. И тут же погрузился, как человек, спустивший последние деньги на ваучеры, да поставил гиру на место. Тяжело дыша, скептически осмотрел убранство снимаемой комнаты. Болезненная физиология комнаты на следовала Петербургу. Гипсовая статуэтка грифона на тумбочке. Над входом висит оторванная кем-то зачем-то табличка-указатель, Казанская, 39. Паркетный пол, поскрипывающий ночной порой, как будто по нему вкрадчиво ходят и ходят, поутру обнаруживались мокрые следы на нем. Портрет Ольги Берггольц, улыбающейся Ольги Берггольц, все-таки не улыбающаяся Ольга Берггольц вызывает противоречивые чувства. Вспоминается неминуемо блокада и все такое прочее вспоминается.

Высоким, как девчонки из команды «Уралочка», ожиданиям от законопаченных писем не

суждено было сбыться. Приняв таинственный вид, не глядя на письма, глядя, скажем, на потолок, захромал по направлению к столу, на котором они лежали. Не догадываясь о моей заинтересованности, письма присмирили. В белой майке, заправленной в голубые плавки, в енотовой шапке, надевал ее в связи с тараканами, которые по ночам любили влезать в уши, я определенно походил на маунтинмена, охотника, сыгравшего важную роль в заселении дикого запада. Перед водными процедурами принял сознательное решение ознакомиться с характером писем. Отказы издательств, начинающиеся примерно одними и теми же словами: в нашем портфеле, к сожалению, нет места для вашей рукописи, были чудовищны по своей сути. Будь я вспыльчивым человеком, обязательно пожелал бы, чтобы кошка напysала во все их портфели. Издатель, не имеющий портфеля, подобен яблоку без червячка, потому портфели у них имелись, а кошки, подозреваю, нет. Короткие, словно недопетый гимн, ответы не соответствовали уровню, предъявляемому к авторам книгопечатниками. Ответы были неживыми, какими-то согласными, окончив жить, ответы стали заниматься житием, что ли. Конечно же, я утрирую, но, согласитесь, прочитывать писульки, на которых конь живой мысли не валялся, сомнительное удовольствие. На три подобных письма нашлось не лишнее простоты, я бы сказал, изящное приглашение временно заменить учителя словесности в одной деревне.

И когда я начал читать то письмо, вот тогда и почувствовал утонченный карельский акцент. Почувствовал силу, ведь фраза «В уездном городе N» исключительно сильная фраза. «В какой-нибудь раз, – писали они, – мы должны были с вами повстречаться. Меня зовут Степан Семенович Собакин, я заведующий отделом образования. Шестьдесят вторая школа нуждается в вашем присутствии. Сами понимаете, события вокруг диктуют новые правила, дак надо к ним адаптироваться, дак надо ко всему прочему не растерять накопленный нами творческий потенциал. Что там индустриализация, Миша, вы же понимаете, чтобы разрушенное обстоятельствами хозяйство восстановить, его необходимо сначала разрушить!» Какой пленительный тон, подумал, бегло дочитывая письмо. И в следующее мгновение подумал вот о чем, подумал совершенно внезапно, совершенно вдруг. А что если бы писали об авторе: пытался напечататься вон там-то, подавал свой удивительный роман в издательство такое-то, почти достиг благополучия в минувшем году, и даже критик Василий Костырко написал чудесные отзывы про него, но в силу ряда причин не смог освоить птичий язык, и звукопись его была вторична. Лучшие литературные реакторы желали поработать с этим Унабомбером художественного мира, но литератор куда-то подевался, ищи теперь литератора за сто первым километром.

Далее в письме Собакин перечислял положительные стороны нашего будущего сотрудничества. В частности, он обращал внимание на бесплатное двухразовое питание, и на ежеквартальные премии он обращал внимание. По всей видимости, заведующий отделом образования использовал скрытую цитату, только кого он процитировал, когда написал о современном образовании, едва дышащем, о педагогах, поющих песни, чтобы это образование взбодрить. Кстати, о цитатах. Недаром кто-то сказал, кто не помню, но сказал ведь, что мы это цитаты наших предков. В связи с этим, полагаю, мои предки были наскальной картиной в низовье реки Пеко в Техасе, скалой белого шамана были мои предки. Впрочем, ни к чему сейчас заострять внимание на двух бесталанных письмах-отказах, тем более в них не сыщешь ни одной внятной метафоры, в наш-то век, когда изображение положило на лопатки повествование. А Степан Семенович умело использовал эвфемизмы, тропы у него получались бравенькие. Войну с безграмотностью он обозвал боевыми действиями с детской тупостью. Печатные буквы, избранные моим визави для выражения собственных мыслей, отличались телеграфной практичностью. Вы знали, например такую особенность: если человек пишет печатными буквами, значит, он пребывает в состоянии перехода от традиционных идей к идеям современным. Данный переход, я вам доложу, воспел еще Борис Поплавский в своих автоматических стихах, однако это, как нетрудно догадаться, не отнесится к нашему делу.

Выйдя в озаренный красноречивым запахом аммиака длинный, узкий коридор, я направился в сторону кухни выпить стакан теплой воды, дабы разбудить желудок мой, усилить выработку

ферментов поджелудочной железы. Аммиаком пахивала моча моих соседей, что же это за примета, я и не вспомню, к чему там она так пахнет. Степан Семенович в письме своим упоминал ряд лекций, прочитанных мною в одном творческом вузе. Помнится, заменял свою институтскую знакомую. Помнится, получилось чудовищно прочесть, настолько чудовищно получилось прочесть, просто караул. Однако студенты поразились, и с воодушевлением снимали на мобильные телефоны рискнувшего нести необычайный бред о репрезентации советского интеллигента в литературе, нахала. Впрочем, цитата про законченную книгу, цитата, где законченная книга приравнивается к ребенку, которого вывели во двор и пристрелили, встретила среди студентов восторженное улюлюканье. Понимая, что мне не отмыться от статуса чудака, я призвал студентов к тишине, а сам, недолго думая, упал в обморок. Студенты, тронутые моим отношением к предмету, не каждый педагог будет падать в обморок из-за литературы, студенты обратились к декану. И попросили, значит, лекции вот этого им больше не ставить. Правда, нашли несогласные, несогласных было не в пример больше, все они, как один, стояли на грани отчисления из института. То есть являлись в полном смысле этого слова людьми ищущими, живыми, не окостеневшими.

На кухне Профферы кричали друг на друга последними словами, на их лицах блуждали садистские улыбочки. Чтобы любить, им не нужна была передача «Давай поженимся». – Не надо тут омонимии, я это не ты, и тот факт, что мое либидо пока на месте, не говорит ровным счетом ничего плохого! – сообщал статный мужчина с шелковым голубым платком, повязанным на шее. Пахнущий Шипром, он был представителем интеллигенции, над которой иронизировали, к примеру, Бабель, Олеша в своих произведениях. Золотой перстень на безымянном пальце, постоянно приоткрытый рот, верхняя губа состоит из двух половинок, половинкам тоже ни к чему Роза Сябитова (неудачная шутка). И эта заячья губа в определенной степени красит Проффера. Коренастая супруга, насупившись, предупреждает: я съем тебе щеки, подлец! Выспренность речи вызывала снисходительную ухмылку супруга. Он взглянул в тысячный раз в серые глаза жены своей, и ни один мускул на лице не дрогнул. Шипела сковорода. Кухню заволокло паром, пар поднимался также от супружеских голов, ведь там происходило, понятное дело, мышление. Месяца три назад соседка вышла из дома и не вернулась. Проффер-мужчина был крайне образован, должно быть, первое слово, которое он произнес, являлось словом о полку Игоря. Настолько замечательно мыслит он. Иногда мне даже казалось, Проффер принадлежит к числу тех, кто возненавидел целый мир, чтоб сильнее любить одну лишь женщину, свою жену. И голова его являлась образцом мужественной красоты, между прочим, замечательный человек. И вот он обратился в агентство, не растерялся, кто дал контакт, не помнит. В девяностые, помните, когда угоняли машину, потерпевший обращался к специальным ребятам, описывал детально характеристики автомобиля. Где там царапинка была, где потертость. И специальные ребята, братки по-научному, пригоняли точно такую же машину. Само собой, машина не принадлежала заказчику, ту машину, должно быть, разобрали давно на детали. В общем, Лёлю вернули, однако что-то в ней бесповоротно изменилось. Допустим, тушенная капуста, раньше женщина каждое утро жарила яичницу, теперь вот капуста. Или внезапное знание польского языка, Проффер-женщина стала употреблять слово курва по поводу и без. Андрей Николаевич поехал к мальчишкам выяснять, кого они привели, а там прачечная, ни о каких мальчишках ни сном ни духом.

– Отчего-то мне кажется, что ты отдаляешься от меня, – размышлял вслух Андрей Николаевич, снимая турку с плиты. – Разве дело в отдалении, в семьях бюджетников отдаление происходит естественно, может быть, так задумано природой, – Лёля показывала характер, и разговаривала с мужем с непокрытой головой. Я слушал своих соседей и думал, какие же они все-таки оригинальные, не то что родители Блока, которых звали Сашами. – Тварь, буржуй, трепло! – маленькая женщина собачилась, словно Персия и Византия, громкость голоса у ней поднялась, как тесто в комнате ванной. – Стерва, асексуалка! – величаво возразил муж, впрочем, не повышая голоса. В следующий миг они крепко поцеловались, это произошло естественно, своим поцелуем они доставили неопишное удовольствие окружающему мне, в мире и так было много жестокости. Профферы взгромоздились на кухонный стол, продолжили лобызаться. Повсюду летели

брызги слюны, даже я не сдержался, прокричав: веселись, негритянка! Кстати говоря, недавно прочел о Педро Рейесе, который переплавил одну тысячу пятьсот двадцать семь единиц оружия в одну тысячу пятьсот двадцать семь лопат, и посадил одну тысячу пятьсот двадцать семь деревьев. Красивый жест. Лёля царапала спину Андрея Николаевича, закованную в халат. Супругам было неплохо, словно Геркулесу на полотне Рубенса, там Гера из своей необъятной титьки его кормит, рождение млечного пути называется та картина.

По маленькому телевизору, что стоял на кремовом холодильнике Самарканд, вновь передавали: великую русскую поэтессу Галину Рымбу видели в Одицово, неуловимая, ей удавалось талантливо скрываться. На прошлой неделе вот сообщали, она в Аризоне. Галина ловила попутки, за рулем которых мужчины. Она садилась в своем ситцевом платьишке подле водителя. И за легкими, ни к чему не обязывающими беседами о любовницах Витгенштейна, женском освободительном движении выявляла степень токсичности мальчишки, подобен ли он метиловому спирту, издается ли над своей женщиной. И если подобен вдруг, поэтесса приподнимала платье, являя свои талантливые девичьи колени, смертельные колени, а водитель гнал километров двести, не меньше, так уж получалось, хотел произвести впечатление. И в ближайшее дерево, бетонный забор врезалось транспортное средство. И с места событий всегда уходила Галина Рымбу целая и невредимая. Налив из графина воды, услышал, опять же со слов телевизора, о введении двадцать второй поправки в комендантский кодекс. Всем служащим надлежало незамедлительно сообщать о случаях возникновения мыслей, связанных с ощущением кражи собственных мыслей. Две конфеты серая шейка трусливо лежали на кухонном столе, яркие подсолнухи на клеенчатой скатерти, несколько ложек, блюда. Изобилие надписей, порой незаметных, нас окружало. Название быстрорастворимого кофе, Арт. им. Кирова на ноже для масла, буква Т в овале на вилке, ИП Зайкина на трусах Андрея Николаевича. Стол неудержимо скрипел, раскачивался, супругам было довольно-таки хорошо. И я решил, надо ехать в деревню учителем, здесь меня ничто не держит, это уж точно. Серые шейки упали на линолеум. А ведь когда-то давно серые шейки уже падали на этот пол, тогда Эрнст был еще Неизвестный, кажется, все повторяется, я сконфузился от подобных измышлений своих, пошел умываться. Не желая обращаться в занозу, впишущуюся в ягодицы супругов.

Как же замечательны женщины, особенно когда они проходят туда и обратно, подумал, глядя на Зоеньку в общем коридоре. Она стремительно подошла к входной двери, посмотрела в глазок, отпрянула, точно ей в лоб прилетела горячая картофелина. Отошла от входной двери, вновь пошла к входной двери, посмотрела в глазок. И так несколько раз. Мне показалось, хозяйка не в меру забеременела ложными смыслами, по меньшей мере двойней. Ходить она могла долго, и до Невского проспекта дошла бы, а потом и Рим посетила бы, откуда написывала бы Аксаковым, мол, погода нормальная, кормят сносно. Зоя попала в ловушку утренней паранойи, выход из которой, как написали ектлезиасты, возможен лишь благодаря Богу. – Зоя Никитична, дайте мы с вами поздороваемся друг с другом, бога ради. – Быстро сея шажки, она ушла прочь, в свою комнату, стоило мне лишь пожелать ей доброго утра. – Доброго суетного утра, – сказал я. Жиденько хлопнула дверь. Общий коридор наполнился небесными верблюджатами, как я называл черно-белых щенков, урожденных соседской дворняжкой. Прекрасным образом талантливым Андрей Рассказов, гостивший некогда у меня, описал тех щенков. Подняв одного, взглянул в раскосые голубые глаза, кретинический взгляд собаки вызывал только положительные чувства, сука напрудил на мою грудь. И я рассмеялся, повстречавшись со знаменитым глаголом жить.

Упадёт собака в снег каким-то
чудом,
позвоночник свой почешет
снегом,
солнышку покажет своё
брюхо.

А внутри щенки, родятся
 скоро,
 чёрные родятся, и рябые,
 будут бегать
 во дворе за мамкой,
 радостные, сытые,
 живые.
 Будут мир облаивать,
 так надо,
 не облаешь мир –
 он станет мёртвым,
 миру надо слышать
 лай собачий,
 а иначе он заснёт
 и не проснётся.

Соседские детишки, двое мальчишек, одна девчонка заняли туалет. Я вошел туда, а они там с металлическими линейками все, что вы тут делаете, молодежь, спросил у них без удовольствия. А мы мерим свои достоинства, невозмутимо сказали они. Писюнами, что ли, меритесь, нет, дяденька, густотой наших эндогенных депрессий, радостно возвестили они. – Тогда кыш, малышня, – принялся их прогонять. Ребятя в масках из папье-маше, лисички, волка, зайчика. Молодцы, только вот непонятно было, чьи же дети будут, за год так и не смог выяснить. Им бы жить да жить. Я согласен с мыслью писателя Маканина, он говорит, в России жить надобно долго, пусть и живут, детишки. Еще бы посоветовал им не бояться прислоняться к ушам гаражные ракушки, выслушивая переборы расстроенной гитары, гогот шпаны, ходить на рыбалку, а если не любят рыбалку, строить шалаши на деревьях. И чтоб не плакали, если вдруг не найдут Вену на контурной карте, хотел бы посоветовать. В моем детстве одна девочка, допустим, плакала, еле успокоили потом на уроке географии. Соседские отпрыски оставили на память свои перламутровые плевки на бледно-розовой плитке. Я склонился над раковиной, и ни к селу ни к городу вспомнил, как познакомился с Абигейл позапрошлым летом. Вспомнил, как на радость матери съехал. Отца Аби объявили как раз в федеральный розыск. С друзьями хлопнул инкассаторскую машину, поехали в тайгу, переждать. Мы встретились на группах анонимных этих самых. Барышня мне показалась самой анонимной, я к ней основательно пригляделся. Недолго думая, завоевал ее сердце, словно арабы Иерусалим. Признаться, было тяжело завоевать ее сердце, гражданам, которые выращивают сахарный тростник, должно быть, и то легче. «Пахло борщом и гречневой кашей, стоял грохот и рокот, и ваши локоны и вообще облик не вмещался в мое поле зрения. Я бы позвал вас в недавно открывшийся зоопарк, где показывают голодных философов, которых не разрешается кормить. Мы проживем целую жизнь, уместившуюся в день, в шестнадцатое июня, если быть точным. Ведь шестнадцатого июня мы с вами пошли на первое свидание, Абигейл». Подобную чушь я написал о встрече с этой примечательной, похмельной барышней в своем дневнике. Совсем скоро мы начали сожительствовать. Пройдя психологические курсы от биржи труда, устроился в центр поддержки населения. Аби удачно устроилась на моей шее. У нас был гостевой брак, мы гостили на белом свете. Снимали одну из комнат Зои. Нет, нет, мы жили в освободившейся квартире отца девушки, это потом я начал снимать комнату, после расставания. Я помыл ноги в раковине дегтярным мылом, и почувствовал, надо ехать в деревню учителем.

С походным рюкзаком на семьдесят литров, рюкзаком расцветки тигриной шкуры, стоял во дворе, являя собою эротизм угнетаемого бюрократами от литературы русского писателя. Вы меня в глубине ночи спросите, что такое русский писатель. А я вам очень просто отвечу, тут ничего сложного даже нет. Русский писатель своего рода балерина, Галина Уланова или, скажем, Ольга Лепешинская. Она пляшет свои вариации в пуантах, в которые напихали лезвия все эти критики,

главные редакторы, автобусные контролеры, санитары. Вещи собирал наскоро, как будто боясь разувериться в своем решении уехать. Это так на меня похоже, в последний момент сказать себе, ну, куда ты дергаешься, или что ты исполняешь, дорогой мой человек-слон. Синий забор, на каждой досточке кто-то написал по букве: н, е, к, а, т, а, в, л, ю. Буквы Р не хватает, на месте буквы Р досточка сломлена. У забора лежит красный баллон пропана. Душно, но не так, чтобы сдохнуть. Армяне играют в нарды. Речь армян, полудикая кошка, царапает уши. Золотые коронки хищно блестят. Набрал номер Степана Семёновича из письма. На третьем гудке ответил уставший, словно дыни на рынке, мужской голос: да-да. Замешкался, но произнес, надеясь не сбиться: это Миша Токарев, Степан Семенович. Мужчина оживился изрядно: очень рад, очень рад, а вы? – Тоже немного рад, – признался откровенно ему и полез во внутренний карман пиджака за сигаретами, сказывалось волнение. – Прекрасно, вы в таком-то городе, таком-то районе, как пишете в своих произведениях? – сразу же стал наводить справки Собакин. – Ну, конечно, в таком-то городе, таком-то районе, где же я могу еще быть, – ответил нетерпеливо, закуривая. – Так это же замечательно, никуда не уходите, сейчас вас заберет мой знакомый, он как раз возвращается в наши края из командировки, номер машины Щ-854, выйдете к остановке, у вас там остановка, вот я смотрю на Яндекс картах, у вас там она называется ЖБИ, – голос моего будущего работодателя напоминал шахтера в забое, замученного сменой. Вернее, голос шахтера, замученного сменой, который слышал нечто приятное. Пока шел к остановке, увидел двух скумбрий, так называли работниц нашего завода, где производился рыбий жир. Две дамочки в коконах из мусорных пакетов беседовали, собирался дождь. – Ты посмотри, какой подонок, я ему пишу, поехали, пообедаем, – сказала тетенька в синем пакете. – И что он мне пишет, смотри, я в тюрьме, Светик. – Разговор был простым, разговор не был дифференциацией поэтических родов Веселовского. – Мне кажется, он спятил! – высказала предположение женщина в черном пакете. – Нет, он просто смеется надо мной, – не согласилась вторая, и они ушли в сторону поликлиники задом наперед. Остановившиеся городские часы дважды в сутки показывали правильное время. Остановившиеся городские часы кто-то украл, теперь на их месте было абсолютное ничто, на двухэтажном здании прокуратуры из красного кирпича, построенном пленными немцами.

Светло-желтый москвич-412 с триумфальным номером Щ-854 прибыл минут через десять. Скрипнув тормозами, он остановился напротив меня, весь такой торжественный, как улица Даунтаун Истсайд в Ванкувере. За рулем сидел гражданин, чрезвычайно похожий на деда Хасана. Втиснувшись на заднее сиденье, сказал ему нейтрально окрашенное: здрасти. Бежевый салон встретил запахом перезревших сладких фруктов, транс-3-метил-2-тексеновая кислота подобным образом пахнет. Он притушил девчоночью песню, что доносилась из магнитолы: Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне! Водитель поднял приветственно руку, не поворачиваясь ко мне лицом, и на руке возник с чайками Магадан. Этимология подобной наkolки восходит к мореплавателям, насколько я помнил. – Едемте, – несмело подсказал ему, – вы же туда-то, туда-то, от того-то, того-то, не так ли? – Закралась предательская мысль, неужели перепутал автомобиль, как Семен Горбунков, как последний лох. Но гражданин развеял мои сомнения, сказав: окей-хоккей, малыш, погнали. И я почувствовал внутреннюю силу водителя, мне показалось, такой человек не проронит ни слезинки, когда на него, скажем, накричит работодатель. Водитель из породы Голицыных, быть может, Юсуповых. – А что за черточка такая вот у вас на шее? – спросил его, там была пунктирная линия, кажется, она шла вокруг шеи, следовало ли резать ножницами, не следовало, не знаю. – Сам ты черточка, это прерывистый меридиан, – ответил он важно, впрочем, предпочел не распространяться более. На сиденье рядом со мной лежала черная книжка, которая называлась «Война» за авторством Луи-Фердинанда Селина, чей перевод, спросил я, уж не Маруси Климовой. Товарищ молчит. Выруливает на бульвар. – А вы Сирина не читали, у него тоже остросюжетно написано? – поинтересовался, тем временем лениво проезжали Голливудский бульвар, где расположилось старейшее здание нашего города, фабрика, где производились амулеты из костей животных. Сто пятьдесят лет назад там делали резиновые изделия, сапоги, эспандеры. Однако в современных условиях всеобъемлющей бессонницы у граждан возникла

острая нехватка в амулетах, оберегах. Вдоль сетчатого забора тусовались работники, девчонки, мальчишки, загорелые, в набедренных повязках, курили. Представители карго-культов, племен, на чьих территориях во времена Второй мировой войны размещались базы, аэропорты. И остро-витяне, прежде не видевшие складных ножей, фабричной одежды, самолетов, тушенки, воспринимали японцев, англичан точно проводников духов небесных, и очень зря они это делали. Вот их привозили в огромных количествах работать на фабрике, можно меньше платить. Нынче они Марфы, Иннокентии, Елизаветы.

На водителе была с коротким рукавом рубашка в белую и черную полосы, салатовые бриджи. Довольно-таки грузный он, двойные щеки, как будто бы скобки, щечные скобки. Волосатые руки, согласно сонникам подобное приснится – это своего рода интригующее знакомство ждет, это что касается любовной сферы и волосатых рук. Неразговорчивость водителя истолковывалась мною поначалу как жест, именуемый в приличном обществе уйти в несознанку. В некоторой степени я тоже был приверженцем подобной авторской стратегии. «Молчи, скрывайся и тай, и чувства, и мечты свои», помните, у Тютчева было? Посмотрев на его молчание, я спросил, чем он занимается вообще в жизни. – Валерий Слабинский меня зовут, – неохотно признался Валерий. – Валерий, ничего себе, а скажите, Валерий, как вы считаете, мы доедем? – я вовсю шутил, ведь моя голова была не предназначена для проживания в ней грустных мыслей, словно тридцатикилометровая чернобыльская зона отчуждения не предназначена для проживания в ней людей. Слабинский тормознул на углу Некрасовской улицы, я взглянул в припущенное окно. Там шла колонна демонстрантов, десятка два человек, они шли на полусогнутых ногах, держа над головами зеркала, метр на два где-то были зеркала, создавалось впечатление, весьма неоднозначное впечатление. Зеркальная черепаха как будто. В зеркалах отражалось голубое небо, белые облака. Против чего же они бастовали, эти придурки. Мой товарищ, например, Дмитрий, он член партии, у него принципы и все такое. Его партия активно лоббирует, лоббирует, да не вылоббировет, как я понимаю, интересы русского человека. А тут что, ни транспарантов, ни лозунгов, лишь зеркала. Хотя и можно догадаться, не совсем дурень, институты оканчивал, что зеркальная черепаха в китайской мифологии несет метафоричное бремя нашего мира.

– Я вообще-то завхоз первой категории, рабочая командировка у меня, кручусь, – Валерий сорвался с места. Кресло под ним закрипело, как будто песок на зубах аутсайдера класса, поколоченного на стадионе. Достав из красного бардачка коричневую, словно опавшая листва, с зеленой, словно озимый лук, этикеткой бутылочку. Выпив залпом весь пузырек пустырника, Слабинский сделался словоохотлив. Автомобилей на улицах было чудовищно мало, министерство транспорта, когда началась бессонница, поотбирало права на всякий случай. Права поотбирало у невообразимо нервных граждан, коих стало столько же, сколько слов написал Чарльз Гамильтон, по разным подсчетам, что-то около ста миллионов слов. – В меня как-то стреляли, – произнес хвастливо водитель, надев на глаза черные очки-авиаторы. – Что вы говорите, а кто посмел? – возрадовался нашему высокосветскому диалогу я. – Да, мальчишка один выхватил пистолет в школе и одним выстрелом уложил всех стариков, в том числе и меня, малыш, ты Льва Любимова мемуары читал? – рассмеялся мой образованный до невозможности водитель. И я подумал не о Льве Любимове, совершенно не о нем, а подумал: неплохо бы предупредить Галину Форель, мало ли, задержусь в отпуске, а заменить некому. Отпуск ведь дается раз в жизни, и то на две недели, а Собакин позвал аж на три месяца вести факультатив у детишек. А я, значит, в две недели легкомысленно желаю уместить три летних месяца. Я же обычный Миша Токарев, у меня и кондиции организма весьма заурядные. Матушка мне объяснила однажды, когда я дерзнул подать заявление на службу в армии, что таких не берут. – Но я же такой многогранный, – возразил жалобно ей. – Это называется расстройство личности, – ответствовала невозмутимо мать.

Потом началась крошечная философия, что несколько меня тяготило. Пристрастие всех неравнодушных натур к моральной философии казалось явлением постыдным. Извозчик принялся пространно рассуждать о месте поэта в исправительно-трудовых лагерях. – На этот счет мыслитель Владимир Вениаминович говаривал, наверное, говаривал о том, что мерил бы талант

способностью удержаться от доноса, – заметил мой кучер. Кажется, в этой системе координат я не очень талантливый гражданин, подумалось мне. Потому что доносы пишу с детского сада, так принято в нашей семье, семье сексотов нежности. Мой отчим и мать исключительные писатели депешей, к слову. Мы пишем их для благополучия всех граждан мира. Парковку для инвалидов занял не инвалид, напишем. В соседнем подъезде травят добропорядочных граждан самогоном, сообщим, не сомневайтесь. Как бы то ни было, речь о месте поэта в исправительно-трудовых лагерях утомила, на меня навалилась сонливость. Забывшись полусном, увидел буран, увидел сани, которые мчали, мчали, а сердце невыразимо стучало. И где-то там, в церквушке ждала ослепительная тетка, ждала нашего с нею венчания. А наш участковый не пушал в данном полусне заключать какие бы то ни были союзы. Что же это значило. Ведь сон есть, дорогой читатель, знак в чистом виде. Я знал одного человека, он, собственно говоря, об этом и сообщил: Миша, сон это знак в чистом виде, давай, не дури, слезай со шкафа, пока санитаров не вызвали. Исключительно умный человек, особенно в местах, где у него был мозг.

Воспрянув ото сна, обнаружил кардинальные перемены, произошедшие с натюрмортами и пейзажем и портретами за окошком. Проезжали Солнечногорск по трассе Е-105, имел честь по-лежать в заведении на улице Вертлинской, в доме тринадцать, если вы понимаете, о чем я. Трасса начиналась в городе Ялта, там тепло, и полуостров Крым, как мы с вами помним, читатели, орден на груди планеты Земля. Выскочившая на подбородке пакость едва не испортила мне настроение, пальцем нащупал, как будто, как будто голова сиямского близнеца. Бог ты мой, подумал, впрочем, водитель перебил мои мысли. – Ты самый молодой здесь, и я не знаю, гений ты или прикидываешься, но я считаю, малыш, что нам надо заехать на озеро Сенеж, на удачу, – огорошил он. – Это зачем еще? – занервничал я, словно Абрам Терц, когда властям стало известно о передаче на Запад его сочинений, порочащих советский государственный строй. – Говорю же, на удачу, чтобы дорога легкой была, – Слабинский, кажется, перестал внушать мне доверие. – Может, не надо, дяденька, – я крепко ухватил книжку Селина «Война», и мысленно примерился к удару, способному положить конец самодурству товарища. – Брось паясничать! – великодушно развеял мои сомнения относительно своей непорядочности завхоз. И мы свернули на пустынное Тимоновское шоссе, направились к озеру. Омнибус Москвич ехал неторопливо, словно являлся необольстимым судьей, отчего-то медлившим с приговором. За окном прогуливались люди деревянной походкой. Обстоятельное, словно обучение в академии художеств имени Репина, Озеро-впалый рот ловило мошкору. Мы вышли на берег, и внезапно Валерий разоткровенничался. Рассыпал свое красноречие, вот он стоял, мужчина честной судьбы, глядел на озеро, размышлял о чем-то, татуировка на руке с чайками Магадан относилась все-таки к морской страсти Валерия, вы же помните, я говорил об этой татуировке.

– Однажды я влюбился в женщину с раздвоением личности, – произнес он вкрадчиво, растегивая две верхние пуговицы своей рубашки, глядя на отчаянно целующихся подростков. – И звали Лизаветой ту женщину, но я влюбился не в нее, малыш, я влюбился во вторую личность, Клару, пианистку. Лизавета работала кассиршей два через два, Клара, как тебе сказать, грамотно играла прелюдию номер один, прелюдию номер два, Баха, естественно. Я подарил ей пианино «Элегию», мы хихикали с нею над поведением Михайло Дмитриевича Бальзамина, всерьез обсуждали эксцентричное поведение Бориса Джонсона, а потом занимались любовью минут двадцать. Наутро Лизавета шла на работу в продуктовый магазин, вечером Лунная соната, шампанское, Клара. – И что же случилось, где же она, ваша Клара? – спросил простодушно я, ощущая приближение гипертонического криза, повысились артериальное давление, дышалось с трудом, в груди копошились маленькие гномики своими острыми ручками. – Вылечили ее в клинике неврозов, она меня даже и не вспомнила потом, нету больше Клары, – мне сделалось чрезвычайно грустно от подобных известий, я все-таки был не люмпеном каким-то бессердечным. Он достал из кармана шорт баночку с пеплом, открутил крышку, стал высыпать, подхваченный ветром пепел, полетел в сторону воды. – Лизавета? – спросил я. Водитель шумно сглотнул, кивнув. Некоторое время безмолвствовали. Затем влезли в машину и дали по газам, поехали в неизвестном направлении,

исчезли, словно пингвины из шоколадных яиц, которые производят в двадцать третьем году. В начале двухтысячных я обожал шоколадные яйца с пингвинами, к слову.

День окончился, написанным стихотворением, в девятом часу вечера написанным, и оно называлось, или называется в данное мгновение «Что же вы такая обаятельная, Дарья Валентиновна, объяснитесь». А посвящен столь нежный текст педагогу, девушке исключительной красоты, а какой у нее склад ума, что вы, математический, невообразимая барышня. Помнится, мы добрались до Великого Новгорода. Остановились близ памятника Сергею Рахманинову. Валерий раздобыл полулегальное какао в китайском квартале. Чайной ложечкой из голубой пиалы хлебал, но прежде дул, его щеки, словно меховая камера волынки, раздувались, сдувались. Я знал уже, что водитель является завхозом и возит на экспорт детские слезы, по последним новостным сообщениям слезы помогали при бессонницах, однако в сочетании с галоперидолом и корнем валерианы об этом не забываем. А на скамеечке сидели две бледноватые, точно куриные тушки в гастрономе, женщины в темно-голубых, какие по обыкновению носят на уроках труда, халатах. Одна грустно заметила: и тогда он меня ударил молотком по голове, а потом заплакал. Вторая многозначительно покачала головой, цыкнув, умолчала о чем-то. А я был по-прежнему двадцатисемилетним Токаревым, которого сочинил некогда Токарев девятилетний.

Плещущиеся на тепло
Дорогами забайкальского края
Сквозь метелицы вой
И вихрь кромешный,
Мимо синих ларьков,
Погребенных в буране,
Школьники второй смены
Приветствуют вас.
И не видимый на горизонте
Разноцвет, зеленая речка,
Непринужденной,
Каникулы,
Созвучные эпифании,
Явление неопишное.
Пепиньерка, непринужденной,
Угловатая практикантка
Педагогического института,
Отстающий мальчишка,
Не проветренный класс.
Какой вы жантильный,
У вас, видно, наследственное,
Так сказать слабоумие,
Впрочем, послушайте, ученик,
Решите-ка, что ль,
Вы меня слышите, ученик,
Куда вы падаете, погодите,
Вы жрете, зачем же,
Пардон, весьма пардон,
Кушаете мел школьный,
Знаете, имущество школы,
Но если вам оно нужно,
Я имею в виду кальций,
Я, право слово, сочувствую,

У меня, знаете, в педагогической
Лежит яблоко и творог,
Если вас не смутит,
То, пожалуйста, угоститесь,
Все эти неравенства
Пена дней и так далее,
Пусть Аланы Тьюринги,
Пуанкаре, Пифагоры,
Архимеды и Ньютоны
С ним потом разбираются.
И ты не пробуй решать
Неравенство гендеров,
Или же $\text{икс} + \text{корень}$
От икс во второй степени,
Плюс четыре
Больше или равно,
Скобочка открывается,
Два умножить на икс ,
Плюс корень от четырех,
Скобочка закрывается.

Глава 4

Многочлены и женское здоровье

Малочисленный Миша Токарев играет в Валентину Терешкову. В прабабушкиной аптечке мальчик обнаружил феназепам производства Новосибирхимфарм. Родственница ушла в универмаг, там привезли дефицитные бананы. За окном деревья опадают с листьев. Шквал птичьих голосов стесняет голоса иные. Представительный мужчина в драповом пальто, в каком же еще, выгуливает овчарку Астрид. Право слово, не совсем овчарку, представительный мужчина в драповом пальто человек со странностями. Поэтому жена, которую он выгуливает на поводке, пример не совсем здоровых отношений. Отец малолетнего трикстера, влекомый дальней дорогой, по слухам, распространяемым прабабушкой, валит джунгли в Нигерии. Отец когда-то служил в Анголе, ему было важно быть везде первым, поэтому он в определенной степени уподоблялся ЮАР, которая первой пересадила сердце, кажется, в шестидесятом году произошло данное событие. И поэтому он в числе первых покинул своего отпрыска, прочие отцы тянули с этим, тянули, полагая, должно быть, вот исполнится моему семь лет, он окрепнет, тогда можно и оставлять наедине с этой ужасающей речью взрослых людей. Миша мальчик нормальный, и как все нормальные мальчики, успел влюбиться в Алису Селезеву, решив не затягивать с этим вопросом. Лесных братьев не имеет, радикальным взглядом ни на что не смотрит. Задубевший язык прабабушкиной записки, оставленной на лакированном столе, являет собою пример мистификации, достойной пера Козьмы Пруtkова. Прабабка не настоящая, более того, Миша убежден, что данная женщина сделала что-то нехорошее с его настоящей бабушкой. Вот бы спросить у матери, но мать его вынуждена работать в Союзпечати, ютиться в общажной комнате в городе далеком. Матушку вместе с импозантным Мишей однажды выгнала другая бабушка из дому, по отцовской линии которая. Такие дела, как сказал бы Курт Воннегут по случаю чьей-то нелепой кончины. Мама не забывала присылать посылки, их еще называют в местах не столь оголенных кабанчиками, раз в два месяца. Она обещала также, что когда-нибудь заберет своего мальчика насовсем, и мальчик очень даже доверял.

В записке прабабушка предостерегала правнука. Предостережение носило китайский характер. Она говорила, что ни один толковый логопед будет не в силах починить ему речь, а речь обязательно поломается, потому что прабабушка вломит как следует, и, несмотря на преклонный возраст, она все еще способна причинить боль. И совершит она противоправные действия, если парень решится уйти из дома, не выполнив задание к уроку английского языка. Признаться, Токарев неровно дышал к бродяжничеству. Пусть время и трепетало пред всеми этими внушительными Джеками Керуаками, Джеками Лондонами. Пред Мишей время ни в коей мере не трепетало, он особо и не верил в возможность добиться беспризорным образом жизни каких-либо высот, он рассматривал время главным образом с точки зрения многослойности, ему было плевать, существует ли оно независимо от сознания, не существует, функция это, не функция. Вернемся к иностранному языку. Мальчик старался не учить в школе английский язык, полагая, что учить язык, на котором разговаривают колонизаторы, дурновкусие. Однокашники тоже предпочитали английскому языку ненцев, долганов, эвенков. Они были простыми парнями, мечтавшими съездить на поле чудес, и чтобы там им выдали автомобиль и попросили крутануть барабан. А вот клокотать понапрасну мальчики не любили, старшие братья и даже отцы, бывавшие в лагерях, научили ребятшек беседовать по существу вопросов. В кухне слышались пощелкивания тумблеров газовой плитки, поскрипывания шкафчиков. Неожиданно в окно прилетает, по-видимому, камушек, Миша не должен отвлекаться от уроков, однако правила соблюдают одни терпилы; поступью членов царской семьи, которых вот-вот должны расстрелять, он подходит к окну, неторопливо отодвигает в сторону свинцовую штору. В любое мгновение позади может раздаться взведение курка прабабушкиной наградной плетки.

На улице, одержимый по торжественным дням выстрелами ружей, в лучах утреннего солнца старший товарищ. Это не очень хороший человек, ради бесплатного проезда на троллейбусе сестру родную продаст. Одна ладонь у него была маленькая, как у младенца. Он хитрил безбожно, и рука ему помогала в этом деле. К примеру, в кинотеатр детей пускали бесплатно до семи лет. Билетер, страдающий дальновзоркостью, немолодой уже парень, попросту не мог распознать лиц. А этот мошенник еще голос делал специально детским, и ручку свою в окошко за билетом протягивал. Билетер ему: а фильм только с шестнадцати, парень. А мошенник в таком случае из внутреннего кармана своего атласного пиджака доставал взрослое, поддельное удостоверение ветерана труда, шмякал им и говорил уже мужским голосом, что все в порядке, можно пускать. Правда, за билет приходилось платить, такой уж капитализм. – Боцман, пошли египетскую казнь смотреть, – зовет дружок в сарай, где пропащая Ритка показывает всякое пацанам за мелкое вознаграждение. Токарев на цыпочках дотягивается до форточки, со скрипом приоткрывает. – Нет, – говорит, плюя долгой ниткой в окно, – мне пока нельзя, английский делаю! – В комнату врывается ветер. Пока еще не зима, так, преддверие, зябко. Не застуди себе гипоталамус, Миша Токарев. Миша Токарев, конечно же, прекрасно понимает, что не застудить гипоталамус первостепенная задача для каждого сколько-нибудь живого человека, человека Живаго. Если ты застудил гипоталамус, то все, то у тебя нарушится связь между центральной нервной системой и эндокринными железами. Начнутся проблемы с кортизолом, а это мама дорогая как неприятно. Обмороки, низкое давление, непереносимость стресса, нежелание физически активничать. А если волк, что же ты, ляжешь, расплачешься, он же тебя сожрет, останутся рожки да ножки, поливаемые дождями, насекомыми изъедаемые. Только смелый человек в состоянии противиться депрессии, настолько же смелый, как Алексей Берест, водрузивший красное знамя над рейхстагом. В иных ситуациях помощь школьного психолога и чтение книг хоть как-то может помочь в данном вопросе.

Токарев, разодетый в любимый кожаный плащик, доставшийся от какого-то дальнего родственника-чекиста, перешитый по временам заботливой прабабушкой под его малахольное тело. Возвращается к фиолетово-красной книжке, English Activity Book она называется. Одно задание трудно решается, словно детская преступность в забайкальском крае. Мысленно мальчик возвращается также к записке. Прабабка вынуждала в своем этом «я к вам пишу, чего же боле...» дать клятву учить уроки всегда, учить уроки везде, до самой старости. С таким положением дел маль-

чик категорически не согласен, в Новом завете подобное фуфло запрещено, и присяги касается, между прочим. Евангелие от Матфея, глава пятая, стих тридцать четвертый и тридцать седьмой, соответственно. Токарев, раздумывая над правильностью клятв. Решает всерьез взбунтоваться против главенства родственницы. Прабабка изощренно водила его на балльные танцы, а до этого водила на хор. Однако балльные танцы, Антошка, Веселый ветер, Крылатые качели, Товарищ сердце совершенно не приносили удовольствия. Кружки скорее забирали жизненную силу, нет, никто не смеялся из дворовых, просто когда занимаешься нелюбимым делом, ты в определенной степени сталкиваешься с ужасом существования. Миша не очень хотел с таким ужасом сталкиваться, он и так сталкивался с умеренной формой аутизма. – Можно я не буду ходить на балльные танцы? – спросил как-то простодушно мальчик. – Что, и балльные танцы отменим, и балльные, давай тогда ты начнешь колотиться, ублюдок, – проявила нетерпимость женщина. Острая, словно клешня камчатского краба, страница режет указательный палец, перст, как сказали бы люди старой закалки. Вишневая клякса расплывается по заданию, в котором необходимо скрестить еду с животными, тем самым помочь английским зверятам избежать исчезновения. На первый взгляд все было довольно-таки понятно, вон, mosquito, он же москит, плюс toast, он же хлебушек, дают в совокупности mosquitoast. Однако можно ли путем селекции вывести cheesebat, не нарушится ли привычный образ жизни? Идиотизм, размышляет правомерно мальчишка. Куда девать fish, dog, egg, grapes, pizza, frog, rabbit. В общем, бюрократы от образования опять напутали, по мнению Токарева, с этими заданиями. Да, размышляет мальчик, буржуазная сытая философия классического периода не выдерживает никакой критики, встречаясь с невозможностью получить справку 086у.

Учительница английского языка уродилась в год Африки, что, безусловно, ей льстило. То есть она любила вот распространяться об особенностях своего появления на свет. Отец был африканским студентом по обмену. От него ей досталась кучерявая голова, смуглая кожа и неоспоримое чувство юмора. В свободное время женщина сочиняла фельетоны. Она была членом регионального союза писателей. Она гордо несла свое членство. Ее ученики подсознательно понимали, важно быть членом чего-то в этой жизни, члену многое прощается из того, что не прощается не члену. Допустим, Юнона Авосьевна, как звали учительницу, не гнушалась гладить себя, общаясь с наиболее привлекательными учениками. Правда, об этом становилось известно лишь со слов наиболее привлекательных учеников. А некрасивые ученики в поведении педагога не потребовали совершенно не замечали. Кажется, она по-настоящему любила детей. Морда а cat в учебнике приобрела хищный бордовый оттенок. В окно со стороны улицы прилетел камушек, он прилетел подобно тому, как прилетают весной шилохвости, позднее крякловых. Миша слышал призывный свист, затем пронзительный крик: Боцман, падла, выходи! К слову, Токарева называли Боцманом за его принадлежность к династии речников, о жизни которых Токарев двадцатисемилетний надеется когда-нибудь рассказать, если раньше не слетит с катушек окончательно и бесповоротно. А вот посетитель очень любил шоколад Аленка, он многих поставил на счетчик, все незаконно заработанные деньжата визитер спускал на Аленки, настоящий преступник пришел в гости. Мальчик почувствовал, задействовав интуицию, пришел именно тот, кто пришел, как выразился бы неподражаемый Александр Всеволодович.

И вновь ребенок отвлекается от ненормированных домашних заданий, он взбирается на подоконник, полы его плащика развеваются, там, на улице, деревня, неделю как ставшая селом, построили церковь. У рыжей, в значении ржавчина, колонки стоит мрачный весь из себя Бойкот, поговаривали, что его бабушка стала дедушкой, а сам он родился сразу в тюрьме. Недавно этот дюжий подросток вернулся откуда-то после годичного отсутствия, щекастый, точно Алексей Толстой на фотоснимке в учебнике. И сразу же сколотил банду, отпетые уголовники теперь доставляли хлопоты нормальным мальчишкам. Нормальные мальчишки в те времена были подобны последнему самураю Второй мировой войны Хиро Оноде. Этому героическому младшему лейтенанту, воевавшему на филиппинском острове Лубанг против союзных войск. Уважаемый Хиро Онода не стал доверять слухам, военные действия не закончились для него в сорок четвертом

году. Он продолжал партизанить вплоть до семьдесят четвертого, совершая нападения на радарную базу филиппинских ВВС, чиновников и полицию. Потом власти уговорили его поверить, и он, к сожалению, поверил. Мальчишки не верили, что детство закончилось. Они по-прежнему валялись дураков, дураки едва ли не захлебывались в лужах. Они по-прежнему не поднимали стульчак в туалете. По-прежнему терзались невозможностью завести собаку, хотя бы живую. Их молодость слегка опередила молодость века. Бедный Хиро Оноде, нас категорично ввели в заблуждение.

– Ты не мой Сюзерен, пошел в пень! – показал свои не тронутые кариесом зубы Боцман. – Слышь ты, депутат Балтики, – разжигает межнациональную рознь Бойкот, – милости прошу к нашему шалашу! – а сам показывает рукой в черной кожаной перчатке на бежевую детскую коляску, в которой у него сынок, такой же бандит. На что это он намекает, призадумывается Миша, явно же на что-то намекает. – Я тебе нос ломать буду! – сообщает категоричный преступник, созвучный в некоторой степени музыкальному произведению Эдварда Грига под названием «В пещере горного короля». Взглянешь на Бойкота, и тут же в воображении рисуются насупленные подземелья, где царствует полутьма, нетрезвый свет факелов проявляет чумазые перепуганные детские лица, лица детей из стран третьего мира. Зачем он мне будет нос ломать, я что, статуя римская, что ли, опять думает Миша. Был у них в школе мальчик с непомерной головой. Так его всю дорогу поколачивали, потому что мальчик не мог никак взять в толк, зачем ему носить одежду на правую сторону. Его батя, редкое для Сибири явление – в смысле граждан, признавших отцовство, было раз два и обчелся, – его батя учил, учил как надо одежду носить, потом не выдержал и поколотил свою кровиночку, даже родительских прав лишили. Стал мальчик с непомерной головой как все, зато гениально выучил, где правая сторона, где левая. Токарев с ужасом понимает, зачем пришел к нему преступник. Право, глупейшее дело, дело, не стоящее и выеденного яйца, если угодно. Все дело в оплошности, допущенной при совершении маленького преступления. Миша как раз вместе с товарищем, у которого ладонь была как у младенца, они, значит, в прустовских традициях изучения памяти, изучали, только не память. Они изучали женскую баню в напрасных поисках за ней, исследуя земные тропы, от Гималайских, значит, ступеней до старческих пристаней Европы. И вот Бойкот, чья бабушка-дедушка была надзирательницей в бане, обнаружила прорубленное окно в мир девичьего разнообразия. Пусть мальчишки и не были старыми развратниками, как Жорж Батай, но страсть к исследованию затмила любые формы приличия. Помнится, родственница Бойкота бежала на своих ножках, напоминающих переменную i кс, злобно кричала всякие гадости об интеллектуальном уровне Токарева, потом врзалась в подростков из поколения Y, играющих в футбол на улице, имеющей форму Z. Она сидела обиженная на земле, причитая о природе, щедрой на идиотов.

Стоит заметить, англичанка говорила нечто подобное: я преподавала в школе для идиотов, но такого дебила, как Токарев, даже там не было. И еще назвала его как-то ослом, он не хотел быть ослом, если только таким, что видит в себе черты коня, но крошечным ослом, конечно же, нет. От нее пахло деспотизмом, ее парфюм, ее деспотичный парфюм заставлял детей говорить с ней такими цитатами: «не важно, кто голосует, важно, кто голоса подсчитывает», «этот человек редиска, он только сверху красный, нутро у него белое», «от самого последнего пролетария, товарищи, до великого вождя один шаг, и этот шаг к коммунизму» и так далее. На ее ругань школьники даже не обращали внимания, женщины в гневе словно Шекспир, страшно звучит, однако ничего не значат. Бывало, одноклассникам ставили плохие оценки, 7б, потом их куда-то увозили, редко возвращали назад. А тех, кого возвратили, отмалчивались потом, ходили какие-то блаженные, улыбались невпопад. Бывало, училку спрашивали посреди урока, можно ли сходить в туалет, но после пощечины всегда убеждались, что вряд ли. В таком случае мы вынуждены сходить под себя, сходили под себя, будем ходить под себя, говорил авторитет класса, чье наименование ускользает от нас в данный момент. С террористами переговоров не ведем, была непреклонна англичанка, и смеялась своим вязким смехом, и была наделена чувством собственного превосходства. Ребята были словно Нигер колонией Франции, только ребята были колонией для несовершеннолетних.

Миша игнорирует незадачливого мстителя Бойкота и возвращается к ненавистному английшу. На улице некоторое время слышатся возмущенные вскрики. Совсем скоро они стихают, как и пододобает воспитанным крикам, пронизанным проклятиями.

Неожиданно приходит прабабушка с оторванным воротником, из малиновой куртки кое-где торчит вата, зато пришла с бананами, отвоевала. Глаз у ней дергался, когда она пришла. Завалилась на пороге всеми своими восьмьюдесятью годами, переводила дух, тяжело дыша, точно коровка на водопое. Токарев успел вовремя притаиться в кладовой, где пахло дряхлыми юнцами, то есть старинными вещами, пользоваться которыми впору детям. То есть лыжами для семилеток. То есть трехколесным велосипедом. То есть мы в данный момент как вспомнили об этих дряхлых юнцах-вещах, взгрустнули совершенно не по-детски. Стремянка уперлась мальчишке в поясницу, на верхних полках нечто подозрительно зашевелилось, пискнув. Живость, присущая кладовке, могла всерьез напугать. В кладовке не было музейной красоты. Кладовка не памятник прошлой жизни. В кладовке кто-то будет жить и после меня, допустил Миша. Вплотьмах он ожидал возвращения родственницы в строй, ожидал проверку столь чуждого английского языка, внутренне содрогаясь, что из а dog не получилось сделать человека, что там человека, какой-нибудь пломбир не получилось сделать. Ожидал мальчик переосмысления национального мифа, ведь только так появлялся не иллюзорный шанс преодолеть пропасть, что пролежала меж я и другим я. А три тополя, между прочим, на Плющихе успели срубить, а в обществе все чаще встречалась практика перемены отчества на матчество. И никто по-прежнему внятно сказать не мог, что же случилось с Бэби Джейн. Столько всего успело произойти, что превращение а dog в человека казалось не-лепостью.

Единственная выдающаяся мысль, что радовала Мишу, мысль о завтрашней встрече с девочкой Кассиопеей. Ее глаза напоминали плоды инжира, плоды инжира в свою очередь напоминали баулы со звездным небом. А звездное небо, оно и в Африке, звездное небо. Однажды она позвала мальчика позагорать, он спасовал, конечно, и они не пошли загорать. – Полнолуние вот, – тихо сказала она, наматывая свои локоны на палец. – Ага, – подтвердил меланхолично Токарев. – Может, позагорает? – дамочке явно импонировал Миша. Над ее белокурой головой летала оса, некоторые мальчишки считали девочку сладенькой, над ней частенько летали осы. Граждане их села, бывало, загорали при полной луне, в полнолуние на крышах коренастых домов, на раскладушках, возлежали тетеньки в купальниках, дяденьки в семейных трусах, студни телес и легкая степень загара, точно горчица. Мальчишка размышлял тогда, предназначена ли девочка ему, словно рельсы для электрички. То есть, вообще-то говоря, намечается ли нечто серьезное, или же так, оторви да брось. Времена стояли относительно вегетарианские, девочки еще не боялись выкалывать симпатии мальчишкам, не боялись пятьдесят восьмой статьи. Ведь мы понимаем, что девочки, эти цветочки, ландыши, лютики, вправе напутать, начав признаваться в симпатии. Ты мне нравишься, скажет она, а закончит контрреволюционной деятельностью. Парнишка страшился воспоминаний о женщине. Женщине-матери, которая в изгнании, лишенная сына, лишенная мужа и прочих прелестей жизни. Вдруг Кассиопея превратится в такую же со временем женщину, женщину, терзаемую старением. Арабески на девчачьей кофте увлекали, причудливые узоры как будто пульсировали. За окном стихает, прямо-таки матросская тишина за окном воцаряется. Токарев мямлит о том, мямлит о необходимости для начала пообжиться им в домике на дереве, снять этот домик у зайца, потом влезть в лесную ипотеку, если все сложится. Вопрос, в самом деле, непростой, кто знает, окажется ли когда-нибудь фотография Кассиопеи в кошельке мальчишка. Наверное, полагает он, наверное, высшая форма любви это фотография любимого в кошельке, что попало в кошельке не оказывается.

Токарев, подивившись воцарившемуся в коридоре безмолвию, несмело приоткрыл дверь кладовой, та предательски скрипнула. И незамедлительно стал свидетелем ужаснейших метаморфоз. Прабабушка по-прежнему сидела на входном коврикe, она, словно резиновую маску, снимала с головы своей кожу, аккомпанемент, сопутствующий процессу, в некоторой степени был родственен звуку рвущейся ткани. Обнаженная новая голова имела схожесть с головою розового аксо-

лотля. По сторонам торчали три пары наружных жабр. Иссиня-черные глазки-пуговики ничего не выражали. Рот как бы расплылся в кошмарной полуулыбке. Блестевшая слизь заворачивала, точно русалочье пение. Мальчик ощутил предательскую влагу в собственных штанишках. И чтоб не видеть подобных безобразий, готов был даже выучить наизусть Водоросль, и Пахома, звонящего в колокол, и Старуху Баскервиль, и оценки за четверть исправить. Дело приобретало досель невиданный оборот, было больно, словно когда тебя хлещут ремнем с металлической бляшкой, на которой звезда. Было больно осознавать, Мишины догадки подтвердились в полной мере. Родное чудовище посмотрело на мальчика. Две связки бананов, напоминающие желтушных доходят из больницы, соседствующей со школой, заунывно лежали у порога. Мальчишка с трепетом понял, он ведь когда-нибудь делается таким же. А ведь он даже не решил еще, какие девочки ему нравятся. Значительно позже ему станут нравиться девочки постарше, восьмидесяти трехлетняя французская писательница Анни Эрно, американская поэтесса Лин Хеджиния, которой стукнуло восемьдесят два. Но и пора геронтофилии пройдет, а что же останется, останется, может быть, сын, который однажды меня не узнает. Ведь как писал Виктор Лисин: «мама сказала, что папа ушел воевать, а он просто сбрил усы, и жил с нами в одном доме, в соседней квартире у Раи, поскольку я жил только с мамой мой папа без усов заменил мне отца». Вот и мучайся теперь, Токарев, с фантомными отпрысками в странах метафизического зарубежья.

Проведенная ночь в кладовой аукнулась, затекшие ноги дрожали. На пяти бутербродах и двух подзатыльниках Токарев мог бы продержаться целый день. Однако пожрать дома было не суждено. Осклизлый след, оставленный родственницей, вел на кухню, там обрывался перед окном. В настезь открытое окно листья намело. Желто-оранжевая каша шуршала. Мише показалось, он схуднул до костей, хотя на питание мальчик совершенно не жаловался. Сказывалась бессонная ночь, глаза закрывались, и черная мошкара виделась на самой кайме зрения. Неожиданная, как ночная поллюция, мысль посетила: поджечь тут все. Спешно одевшись, он доковылял до школы, и на синем его пиджаке алели листочки. Посидел на первом уроке, а потом был вызван на разговор Кассиопеей. Как писал один одессит, слеза изгибалась, текла по ее щеке, точно по вазочке. Подобным образом изгибалась слеза данной девочки. Вавки мхом красным покрывали ее локти, кажется, то псориаз оплел ее локти паутинкой, никакой не мох. Кассиопея была неравнодушна к чужим проблемам, словно дочь фараона, выловившая младенца в корзинке, и младенец в дальнейшем написал, стоит заметить, Ветхий завет. Четыре тысячи восемьсот переменок длилось их знакомство. И теперь она звала его в гости, ужель мальчик не видел голых женщин, видал и еще как, подумал он. Не думай об этой телесной суете, подумал также. Красивая, рассуждает Миша, пожалуй, ее красота созвучна красоте Раав, блуднице из Иерихона. Барышни во времена, описываемые нами, имели мужей по закону, офицеров для чувств и кучеров для удовольствия, нравы были высочайшие. Из таких ли барышень Кассиопея, кумекает парень. Она попросила помочь приготовить ужин, ее мать после ночной смены отсыпалась. У нее день рождения, как у ее любимого исполнителя Александра Розенбаума, которого научили родители лечить так лечить, любить так любить, стрелять так стрелять.

Мать Кассиопеи была продавщицей колбас. Быть может, поэт написал именно про нее, продавщица колбас, отвернись, не смотри, все красивое в нас умирает внутри. Быть может, и не про нее. Дети вошли в квартиру на улице Рубинштейна, их встретила полутьма, в комнате мельтешил телевизор. Говорить о серьезном как будто было уже поздно. Потемневшая, как сладкое яблоко в холодильнике за сутки, улица, силуэты деревьев качаются на стене. – Будешь чайный гриб? – спросила запросто девочка. Она была проницательна, словно чеченская снайперша, Токарев захотел пить. Он в те стародавние времена обладал даром вызывать у себя стихи, подобно тому, как вызывает тошноту чтение Козьмо, Кинга и Мураками у серьезного читателя, это происходило произвольно, но в тот раз подобного не произошло. А жаль. Тетенька посапывала на сером диване, напоминающим покату ю спину носорога. На ней был красный халатик с птичками и веточками сакуры. Задравшись, обнажился краешек, или же отрывок попы. Мальчик отвел стыдливо глаза на цвета хворой фиалки пачку флуоксетина, лежащую на тумбочке в окружении монеток,

журавлика-оригами. Дети пошли на кухню. Мокрая ветка зачем-то постукала в окно. В большой банке на подоконнике что-то еле слышно подшепывал медузоподобный чайный гриб. Кассиопея сняла марлю. Зачерпнула прямо стаканом из банки. Токарев, совершая глоток, подвергает свое далеко не стальное горло кисло-сладкому пузырячтому великолепию. – А пойдем со мною в третий круг, – предложила барышня, обреченная на любовь, настолько она была хорошенькая. В третьем круге как раз работала ее мать, там продавали сносные ребрышки, кишочки и прочие детали животных, еще продавали рыбу, в Киренге, в Лене водятся совершенно невообразимых размеров сибирские осетры, налимы, амурские сазаны, белые амур и проч. Миша спросил, допивая чаинский: что ты хочешь приготовить, дорогуша? Кассиопея со своим премилым молочным шрамом на лбу в форме дубль вз сказала: мясной пирог с картошкой по-деревенски. – По-деревенски, – рассмеялся парень. – По-деревенски, – подтвердила дева и тоже рассмеялась в своем кротком шерстяном платице. Потом вдруг резко встала из-за стола и неожиданно сообщила: а хочешь, я тебе что-то покажу. Мальчик не предполагал интимничать сегодня, бессонная ночь, нарушенные механизмы социальной перцепции, совершенно никакой эмпатии, совершенно никакой идентификации собственного я, выражаясь простыми дилетантскими словами.

Кассиопея запросто прочла нерешительность, девки это умеют, и положила свою ладонь на плечо Миши, с хитринкой произнеся: не бойся. Мальчишка заприметил в другой руке у нее розовый бритвенный станок. Бог ты мой, допустил он, любит насилие, фантазия живо дорисовала образ, и вот уже барышня-носительница какой-нибудь оспы бежит по школе, улыбается и заражает всех подряд, а все падают на пол, корчатся, корчатся, и тоже улыбаются посмертными улыбочками. – Это не тебе, в смысле не за тобой, в смысле пойдем. Увлекла в комнату к матери, там склонилась над ней, сбрила с ее ноги волосы, родственница не повела и носом. На свету показала, на девчачьей ладошке жесткие, кучерявые, черные. – Зачем, впрочем, обманите меня насовсем, навсегда, чтоб не думать зачем, чтоб не думать когда, – сказал обреченно ей, рисуясь, мальчишка. – Ты мне не поверишь, тебе нужно самому это сделать, – девчонка повышала ставки. – Что сделать? – мальчики выросли позже девочек, поэтому он недопонял, что же сделать. – Пойти в будущее, – Касс поморщилась. – Обычно говорят пойти в пень, – сказал, весьма удивившийся Токарев. – Перестань, я серьезно. Кассиопея положила части своей матери на подоконник, свет на кухне рифмовался с желтком яйца, сваренным не более трех минут, из-за этого света кружки в красную крапинку, что висели над раковиной, ножки стола, поленные обои как будто были облеплены жиром. – Сколько волосков, принадлежащих уставшей тетеньке, ты сожжешь, на столько лет переместишься, – сообщила подружка. Она подала васьильковую зажигалку с рисунком зайчика. – А как я вернусь обратно, – Миша не совсем поверил, но решил подыграть запутавшейся маленькой женщине. – Ты поймешь, только зажми в другой руке остальные волоски, чтобы ты мог из того времени дальше путешествовать. – Сколько мне поджечь? – спросил мальчик. – А сколько лет интересно посмотреть? – Давай попробуем восемнадцать, – Токарев отсчитал ровно восемнадцать загогулинок, поднес огонь к ним, они вспыхнули на подоконнике, как лапки комариков. Глаза непроизвольно зажмурились.

– Молодой человек, вы что, угораете надо мной, вы зачем в центр планирования семьи и репродукции пришли, чтобы плакать? – Юноша, не ведавший, какими чертами он наделен, глядел на тетеньку в медицинском платье, она протягивала ему толстенный журнал, его любопытность могла поспорничать с любопытностью, скажем, «Техники – молодежи», то был журнал с голыми девчонками в сединах. Болотная кафельная плитка на стенах, кожаное скрипучее кресло, журнальный угольный столик с неаккуратными стопками макулатуры. Восемнадцатилетний Миша сильно рисковал, поджигая волосы с ноги матушки Кассиопеи; внутренне, несмотря на браваду, мальчишка подозревал о чем-то таком. Однако понты дороже денег, впечатлить однокласснику хотелось как следует, чтоб ходила потом довольная, хвасталась одноклассникам, а меня впечатлили, и гнозис мой настолько глубок, что вам, ссыкухи, он недоступен. Синяя бахила, натянутая на голову тетеньки с утомленным, блестящим от кожного жира лицом, напоминала крону инопланетного дерева. Ее чернослинные глаза неотрывно всматривались в глаза парня, ее возраст,

вероятно, характеризовался так: наступили ясные теплые дни в ранней осени, наступило бабье лето. Пластиковый контейнер с красной крышкой в руке, из расстегнутой ширинки черных брюк в тонкую белую полоску премило выглядывают брусничные трусы, где-то там притаился карасик. Тетенька внезапно сменила риторику, впрочем, ее риторические фигуры не отличались какой бы то ни было изящностью: ну родной ты мой человек, ну давай уже, такая милая дама тебя выбрала, говорит, вот этот, хочу только этого, генофонд мне симпатичен его. Токарев был далеко не глупым человеком и прекрасно понимал, что от него требуется сделать. Медсестра зачем-то добавила со значением: она археолог, между прочим, ну и правильно, зачем ей какие-то мумии, если есть у нас такой студент-журналист, можно сказать, Павел Шеремет будущий. – А почему тут бабушки в журнале какие-то? – обескураженно спросил юноша. – Ты же сам просил не Лолит, все, вот баночка, я сейчас выйду, а ты давай, не стань алтайской принцессой. – Медицинская служащая незамедлительно вышла из комнаты, оставив после себя запах яблочного уксуса и каких-то девчачьих духов.

Токарев, нащупав тонкую, краткую, словно граница меж Замбией, Ботсваной, нитку усов под собственным аккуратным, как пуговка на пиджаке позавчерашнего генерала, носом, нашел ситуацию прелюбопытной. Траченный руками иными журнал мальчик бросает на пол. Медведица бурая, гусеница обыкновенная, усы. Необходимо было срочно вложить песню в уста немоты, обстановка ни разу не располагала к тому, что вот-вот свершится, однако терять лица, как Радуев, не очень-то и хотелось. Поэтому юноша, не без опасения, приспускает брюки до колен. Возникает острая необходимость дать волю пальцам, а что если, думает парень, я дам им волю, а они заблудятся, заблудившиеся пальцы мои не смогут выйти к своим. И сардонический смех обстоятельного времени заставит в ужас забиться в шкаф. Где мне предстоит принять обет молчания, чтоб не навлекать словом своим ни на кого несчастий. Обет молчания неподъемным грузом придавит меня, как же мне потом изъясняться с учителями из шкафа. А меж тем воспитывать ремнем не перестанут родители детей своих. А дежурные все так же будут проверять сменную обувь. А мокрой шерстью будут пахнуть руки в память о потерявшемся псе Тобики. В приоткрытую фрамугу оконной рамы залетали снежинки, расспросить предметно об этих снежинках было некого, какого калибра, входит ли новый год в радиус поражения. Миша приступает к нехитрому делу, не требующему бухгалтеров, консультантов, не требующих свидетелей вовсе. А по завершению, когда лихое мы обратилось в робкое я, поджигает оставшиеся двадцать семь волосков с ноги матери Кассиопей, на удачу. Успевая подумать, что на собственной груди не успел выжечь солнечными лучами буквы: К, А, С, С, И, О, П, Е, Я; на долгую память.

Глава 5

Престарелый эротоман

Летнее сердце билось одновременно всюду. И в блоке цилиндров москвича. И в жопке шмеля, что залетел в салон и кружил перед моим лицом. А над зеркалом реки резво черные стрижи, похожие на ласточек, летают, душно. И поэтому клонит ко сну полдень жгучий. Но все-таки чем жарче день, тем сладостней умять потом эскимо, ведь гланды вырезали подчистую, бояться нечего. Лето взыскивало причитающиеся минуты, лето-ростовщик, лето-лихоимец. Мягко волновалась зелень вокруг. Замлевший зайчик у обочины лежалверху своим охристо-бурым пузом. Наше путешествие подходило к концу. Таежная провинция встречала умиротворенным пейзажем. Подобным образом выглядит писатель Дмитрий Данилов, когда проезжает Лобню, Шереметьевскую, Хлебниково и так далее, на электричке. Кондукторы деликатно просят Дмитрия Данилова покинуть вагон, нехорошо, говорят конфузливо кондукторы, вы без отдыха тут катаетесь неделю. Но Дмитрий Данилов настолько любит электрички, что не в силах покинуть вагон, сидит такой умиротворенный со взглядом благородного лабрадора и в ус не дует. И запахов было много, как будто бы я положил собственный нос в плошку со спиртом Рояль, но прежде в плошке были за-

мочены веточки хвои, кедровые шишки, мать-и-мачеха, отец и отчим. Минут двадцать часов нашей совместной поездки с Валерием, и между нами, можно сказать, возникло, нет, составилось дружеское это самое. Мужчину особенно позабавили рассказы о том, как барышни на поэтических чтениях, во времена моей публичной литературской жизни, бросали свои утренние платья, лорнеты, панталоны, своих новорожденных детей на сцену, выражая неудержимые восторги. Как же они восторгались, страшно вспомнить. А еще Валерию доставили неопишемое удовольствие прозвучавшие мои мучительно-нежные замечания касательно современного профильного образования, нетрудно догадаться, русская словесность занимала центральное положение в композиции моей жизни. Прежде всего, я предлагал воображаемым бюрократам от литературы ввести уроки поцелуев с поэтами и прозаиками, быть может, критиками. Таким образом, ученикам будет проще ориентироваться в вопросах словесности. Изложив свою блестящую концепцию преподавания, в глазах своего собеседника я стал кем-то вроде мудреца, способного видеть из всего Ахилла не только лишь пятку.

Валерий вышел со мною из москвича, вошел в провинциала, хотел бы сказать я, но не скажу, слишком предсказуемо. Не спавший целую ночь, с черными кругами под глазами, созвучный сомнамбуле из кинофильма Роберта Вине. – Вон дома начинаются, видишь? – показал водитель негнущимся пальцем на бледно-оранжевые двухэтажные сталинки, метрах в пятистах, за полем. Кивнул головой, во рту моем царевич Дмитрий играл в ножички, во рту моем кошки нагадили в лоток, издержки поездки. Выдалось погожее лето. Грациозные пчелы переговаривались в кустах голубики. Во чреве Слабинского иерихонская труба продудела два раза, он сказал, громко сглотнув: Собакин живет в шестнадцатом доме, пятая квартира, мы с ним временно поссорились. Я вновь кивнул. Подошли с ним к откосу. На берегу полноводной реки рыбак в байковом халате в синюю клетку, как будто сшитом из казенного одеяла, в розовых шлепанцах граждан, подкармливал четырехухого рыжего кота карасиками. В жестяном ведре хлюпало, жило. Статные стебельки вихрастых папоротников, принявших цвет оливково-серый, покачивались на ветру. И в дикой роще, у оврага дети надрывали животики. Гомерический смех, набухшие древесные почки-узелки, тайные смыслы. Из почек появятся листья, а гомерический смех так и останется не разгаданным проявлением детского веселья, я так полагаю. Мы стояли, курили, смотрели на рыбака. Его длинные, черные волосы на голове и бороде лоснились. Он поднял изумрудную бутылку пива с земли, хлебнул. Степенно повернулся к нам. Лицом бледный, особая какая-то белизна, так бывает, когда недосыпаешь или когда экология плохая. Глаза черные и покрасневшие, заплаканные, высокие брови, длинный и тонкий нос, приподнятый на конце.

– А вы из какой главы, позвольте спросить? – проявил заинтересованность он, склонив голову набок. – Петя, ни из какой главы, он учитель словесности новый, – Валерий выказал так называемому Петру товар лицом, ведь про себя я подумал как о штучном товаре, чего уж скрывать. – Это что еще за стрептококки и гонококки такие? – вновь недопонял рыбак, несмело улыбаясь. Коварный котик опрокинул ведро, на черную землю пролилась вода, высвободились карасики, у них случились судороги. Новый знакомец отвлекся на ведро, расстроено сказал, как будто коту, который с аппетитом принялся уплетать рыбешку, рыча: ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. – Петь, ну ты чего, новую рыбку выловишь, – проникся сочувствием к человеку Валерий. – У Петра развязался пояс, под халатом обнаружилось поджарое тело, выпуклый пупок, что, безусловно, выглядит эстетично. Гражданин перевернул ведро, сел на него, подперев кулаком подбородок, призадумался, глядя на реку, над которой вилась мошкарка, барражировала. Завхоз водитель увлек меня к своей машине. – Будь осторожен, малыш, у нас тут водятся бурные медведи, – предостерег Слабинский на прощание, сел в автомобиль и медленно поехал к самому озеру, купать свою ласточку. Вдруг улыбка пронзила мое лицо, в голове я пошутил, и засмеялся собственной шутке, шутка получилась какая-то болезненная, однако в ней присутствовал изюм, что ли. Лес вырубался, но деревья продолжали упрямо голосовать за топор, деревья полагали, ежели рукоять топора сделана из дерева, значит, топор один из них, как такому не поверить.

Ступив на поле, я ощутил выразительный аромат, пахло младенцами, которых крестили, которых имя дали, молоком пахло. Там, вдали, зажурчала река Океан, воспетая Гомером, или мне показалось, столь романтической натуре могло и показаться. Сиротливый одуванчик, бурьян, лебеда, подорожник. Голову пекло солнце. Взглянув на свои бирюзовые наручные часы hello kitty, обнаружил, время отчаянно ходит как ему вздумается, по вертикали, по горизонтали ходит. От меня разило немытым телом; остановившись посреди поля, достал из рюкзака пластиковую баночку, солью натер подмышки. На томительно-протяжных проводах висели кроссовки неопределимого цвета. Сталинка показалась вблизи весьма значительным строением, памятником советских подобию. Заросли высокой сорной травы не желали меня отпускать, шерстистые ноги в коротких, едва прикрывающих задницу джинсовых шортах оплела, что это, боже ты мой, что это, чертополох, что это, повилика полевая, крапива, кра-пи-ва! Я закричал, пав бесславной жертвой временного помешательства. Лежа в траве, заметил светло-фиолетовые цветки клевера, созвучные головам подростков, красящих волосы синей, розовой красками. Такой мерзкий и прекрасный день я видел впервые с тех пор, как наши с Абигейл дорожки разошлись. Феодальная раздробленность сознания штука весьма неприятная, особенно в минуты проведения реформ, направленных на экономическое ускорение и демократизацию общества. Рыжий муравей полз по треугольному листику кислицы, в сравнении с Замзой он являлся, конечно же, лилипутом. Над головою пролетело неведомое насекомое. Силы покидали меня. Совсем рядом тренькнул велосипедный звонок.

В подъезде кто-то перестал расти и начал неотвратно гнить, так бывает, если выставлять мусор за порог, забывая уносить его на помойку своевременно. Помпезность входной двери Собакина показалась излишне вызывающей. Обитая красным деревом; на ней как будто углем был начертан крест. Позолоченная решетка, как в древних темницах, на уровне головы. Надо полагать, решетка между кем-то и кем-то воспитывает выдержку, а то без решетки все бы напропалую целовались, может быть, и с языками, по-французски целовались, и говорили с прононсом, чем нервировали бы простых работяг, – рассудил так. С другой стороны, целоваться с языками не запрещалось, главное ведь что, главное выучить уроки, а свободное время на то и свободное. Чтобы впадать в несовершенство и всецело радоваться жизни. Не обнаружив звонка, постучал, потом еще постучал. В глубине квартиры послышался кашель, соразмерный скрипучим половицам, раздражающим композитора Чайковского. Возникший на пороге господин, по-видимому, Степан Семенович, оказался совершеннейшим альбиносом. Я даже и не подозревал, что Собакин альбинос, пусть и случаются в жизни невероятные вещи, но чтобы альбинос, это чудеса. Подобным образом не подозреваешь порой, что инквизиция начинается с дружбы политики и религии. Зеленые резиновые тапки в форме рыб, цвета бульонного кубика рубашка, черные шорты чуть выше колен. Хозяин стремительный, словно клептоман, прихватывает меня за руку, влечет в глубь квартиры. Приговаривая с некоторой поспешностью, точно его мучает переполненный мочевой пузырь: очень рад, очень рад, Миша, рад, что тут поделаешь. А я думаю, надо было его первым схватить и загадать желание, говорят, альбиносы божьи люди. В прихожей мерещится дух авангарда, еле слышно по радио играет Дэвид Боуи. Мы заходим на кухню, где Степан Семенович наконец меня отпускает. Он с интересом разглядывает наше лицо, а мы разглядываем лицо Собакина, чтобы не быть в стороне. У мужчины семитские губы, тонкие весьма губы, голубые, слегка косящие глаза, редкая белесая бородка клинышком. Мы же, должно быть, имеем вид человека, которым вымыли полы, настолько неопрятным гражданином себя ощущаем. И хорошо, что таким, не хватало какого-нибудь расстройств пищевого поведения нам. Быть инструментом в руках сознательной уборщицы не запахло совершенно, помыли нами полы, да, помыли.

Хозяин решает потчевать детским питанием с бифидобактериями. – Знаете, Миша, у меня полный холодильник этих йогуртов, сыров и творога, гуманитарная помощь для учителей, вы теперь тоже учитель в некотором роде, – удивленно вскинутые белые брови, учитель я в некотором роде или не учитель, кто ж разберет. И вот он выставляет на стол три оранжевых тюбика

с фруктовым пюре производства «Катарсис» для детей от семи месяцев, сине-красные треугольники молока, нарезанный белый хлеб. На кухне Собакина, должно быть, решались судьбы мира. Навесные шкафы, обклеенные картинками. Пулька с ружьем за спиной вел своего пса на охоту. Винтик и Шпунтик обнялись в приступе братской любви. Напомаженный Цветик задумался о чем-то своем, уж не о барачной ли поэзии он задумался, задумался вот о слоне, что летит на парашюте, машет хоботом, к тому же и шутит. Пилюлькин в белом халате спешил откатать Стекляшкина, засмотревшегося на звезды. В артельном бежевом буфете стояла посуда, металлические подстаканники, блюдца, на одном блюде изображена репка, дедка, бабка, малолетняя дева. – Вы когда-нибудь восхваляли царство кухни с его синим чадом над жарящимся мясом? – спросил несмело у хозяина, предчувствуя полное отсутствие сосисок. – Вы играете со мною в очень странную игру, да, плох тот повар, который не лижет собственных пальцев, но вы знаете, от мяса я отказался, меня от него пучит, – Степан Семенович был точен в определениях, видно, сказывалась долгая служба в школьных войсках. Пожелтевшие очаровательные обои с канарейками кое-где отошли от стены. Я по-свойски открыл крышку тюбика, жирафом на озере Чад припал губами, принялся насыщаться детским банановым пюре, мелкобуржуазно причмокивая. Собакин поставил кипятиться чайник, спросил, имеется ли у меня хоть какое-то представление о работе с детьми младших классов. На подоконнике цвета крем-брюле дремал мандариновый котик, такой же кругленький, наверное, кислый. – Зачем же я кипячу воду? – задается важным вопросом гражданин альбинос. – Чай с молоком потому что, – охотно замечаю. И думаю про себя, да, хоть бы Микояновской колбасы какой. Всех пережил Анастас Микоян от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича, и колбаса у него хорошая, а вот Собакин, оказывается, не уважает мясные изделия. Может, он еще и молочных кормилиц не уважает, куда я попал, думаю полушутя.

Мы аристократично пьем чай с молоком, совершенно не причмокиваем, совершенно сдержанны и собраны. Речь мужчины отличается хирургической стерильностью. – Вам придется работать с особенными детьми, – говорит как бы невзначай он, размешивая ложечкой сахар для диабетиков. – Какая жалость, вы диабетик? – задаю бестактный вопросик, глядя на покраснения на его щеках, напоминающие красный торфяной мох, он же сфагнум красный, произрастающий в прохладных районах Северной Америки. – Вы наверняка знаете эту расхожую фразу, как же там, быть родителем значит жить вечно, а я вам хочу сказать: быть учителем значит жить вечно, – довольный собой Степан Семенович намазывает маслом ломтик белого хлеба, посыпает коричневатым сахаром из фарфорового бегемота, протягивает мне. Я, конечно же, принимаю, хлеб, мерси и все такое. – А вот вы знаете, например, – говорит он, и тут же замолкает, посматривая этак задумчиво. Чай горяч, словно предложение Гиппиус надоедливому ухажеру, погибнуть вместе, интересно, сумела она отвадить ухажера этого, кажется, она ни с кем вместе не погибла, погибла очень даже одна с двумя солеными слезками на щеках. Собакин бубнит мотив какой-то песенки, я обнаруживаю на дверном косяке отметины синим фломастером, метр, полтора метра, метр шестьдесят пять, метр девяносто, два метра, два метра десять. Зарубки вылезли за пределы дверного косяка. – У вас есть дети? – рушу, наконец, неловкую тишину. – Дочка, она в спортивном интернате для великанов, – на лице мужчины расцветает улыбка. И сразу он как-то начинает рассказывать с той особой теплотой, свойственной телу Суламифь, от ее теплоты ожерелье из жемчуга приобретает живой блеск и нежный цвет приобретает, именно так он о своем ребенке, значит, рассказывает. Ее словесный портрет подробен, мне становится известным, что девочка обладает двумя лиловыми родимыми пятнами на лопатках, мне становится известным, что родимые пятна – это раны, полученные нами в прошлых жизнях. Собакин говорит, моя Леночка была ангелом, не иначе, в прошлой-то жизни. Я говорю: феноменально. Мы сидим некоторое время, вдруг чувствую определенное стеснение со стороны, значит, Степана Семеновича по отношению, значит, ко мне. Зря он так, давать слабину сейчас нельзя ни в каких отношениях, ни в любовных, ни, тем более, политических. Встаю, к холодильнику без спроса подхожу, открываю, мяса, как вы понимаете, там нет. Стоит сгущенное молоко, банка открыта, я беру банку, умудряюсь сделать глоток, хозяин не шелохнется, слишком гостеприимен, молоко стекает по моему подбородку,

капает на серую циновку. Я чувствую стыд, басурманский, не надо тут бедокурить, мы же не половцы, или мы половцы, нет, решаю, не половцы, мы вполне себе хазары. – Ладушки-оладушки, – говорю, – давайте обсудим детали, гость невольный человек, где посадят, там и сядет. – Степан Семенович выдыхает, выдыхает как-то излишне напоказ, что ли, как будто показ ядерного взрыва отменили, граждане рады.

Степан Семенович трет кулачками глаза, не заплакал, думаю, уже хорошо, а то разревется сейчас, что делать в чужом городе с истеричкой на руках. – А пойдемте мы, – приглашает, значит, – в залу, там нам будет комфортней. – И в коридор отходит, словно немцы в сорок третьем из-под Кавказа. Следую за своим теперь уже хорошим другом. Заходим в комнату, в комнате соблюдена какая-никакая интеллигентность. Радиола Ригонда на четырех тонких паучьих ножках в самом углу, торшер. Темно-русый сервант, в нем книжки по цветам расставлены, корешки синие, корешки красные, корешки оранжевые, желтые даже есть, зеленые, голубые, две книги синих, одна фиолетовая. Люстра Каскад, как будто перевернутый вверх тормашками Колизей. Собакин присел на одно из двух бордовых румынских кресел подле длинного, точно фразеологизм; я честно пытался найти самый длинный фразеологизм в нашем великом и могучем, однако все они примерно равны по длине, представим, фразеологизмов несколько, и они стоят в одном ряду: «административный восторг, глас вопиющего в пустыне, как в аптеке». На голубой скатерти, выцветшей, быть может, на солнце, лежит фотоальбом в кожаном переплете, хозяин раскрыл его, казалось, на случайной странице. Ткнул пальцем с крепким желтоватым ногтем в общий снимок, сказав следующую вещь: Антон Сидоров у нас, понимаете ли, избавился от иллюзии отдельности, он, можно сказать, обнял душою вселенную. Степан Семенович выжидательно смотрит, что я ему на это скажу, наверное, сомневается, видел я детей вообще в жизни, думает, поди, что имеет дело с дремучим практикантом.

Провожая глазами комара-долгоножку, предпочитающего крови наших соотечественников растительность. И говорю многозначительно: так. Мой хороший друг продолжает: представляете, недавно обнаружили, что Сидоров одновременно находился в Ленинском, Октябрьском, Центральном и Советском районах, хотя должен был писать городскую контрольную и находиться в классе! – Мужчина излишне суетлив, его нервная развязность странным образом граничит с даром рассказчика, рассказ в меру живой и непринужденный. – А вот, к примеру, Алеша Селезнев, – ткнул пальцем Собакин в пухлого рыжего подростка, – знаете, какое жизненное кредо выбрал, не хочет, говорит, жить как его предок, и умирать как предок, тоже, представьте, не хочет. – Я с интересом вглядываюсь в жизнь, общий снимок вмещает всего лишь десять учеников, а каков колорит, какова экспрессия. – А это вот Федя Меркулов, имея исключительный интерес к литературе, он активно травмирует свою мать стихами собственного производства, и весь педсовет тоже травмирует. – Федя Меркулов блондин, присутствует развитый эпикуантус, по-простому монголоидный разрез глаз, весьма красиво получилось. На лбу Степана Семеновича блестят предательские капельки пота. Они напоминают, напоминают они о том, что все мы лужи, а ты попробуй сядь у этой лужи, измерь глубину, не поверишь, окажется, что лужа моря Черного не хуже. – Миша, вы со мной? – поинтересовался внезапно мужчина, даже приблизил свое чело к моему челу, мы даже слегка стукнулись головами. – Душновато у вас, Степан Семенович, – говорю ему. Тогда хозяин из-за стола молча поднялся, потопал в коридор к добротному трельяжу с зеркалом, достал из него кремевой вентилятор, вернулся к столу. Подключив необходимые артерии, поставил вентилятор на стол, интенсивно лопасти завертелись, принялись взбивать воздушное тесто.

– Ой, это такая девочка, такая девочка, Регина Шевцова, у нее специальная диета, мы ее постоянно загружаем уроками больше, чем остальных, чтоб она при деле постоянно, чтоб дурные мысли не успевали до головы дойти, – зачастил Собакин, видя мой интерес к общему фотоснимку. Я покивал головой одобрительно, правильно, если бы со мною поступали согласно этой формуле, вырос бы порядочный человек, а не пойми что. Потом хозяин принялся восторженно рассказывать о том, почему они меня позвали, что-то про нестандартный подход, что-то про любопытный взгляд на литературу. – Чего же мне хотелось по-настоящему, так это метаморфоз, которые бы

произошли с детьми, понимаете, пища, пища важна, конечно, но мне бы хотелось, чтобы наши ученики стремились к полету, чтобы они хоть на минутку превратились в чайку по имени Джона-тан Ливингстон, – болтал мужчина. Взгляд мой привлекла *la femme fatale*, до крайности развитая девочка, с такой грудью в таком классе дозволено ли находиться. Высокие скулы, черная помада, прослеживался готический штиль, как говаривал Ломоносов. – Фаина Яблонски, – с готовностью подсказывает Собакин, – страна-производитель Германия. – Комар-долгоножка вторично пролетел перед глазами. – Производитель чего Германия, простите? – задался столь логичным вопросом я. Но вместо того чтобы утолить мой интерес, как это делает, скажем, Александра Маринина в своих произведениях, гражданин поднялся из-за стола и повел себя крайне занятно.

– Что это вы так напряжены, как будто из египетского плена в Палестину возвращаетесь, – он зашел за спину, положил невесомые руки на мои плечи, хорошо, что не ноги, плохо было лишь то, что лес часть полена, но министерство лесного хозяйства с этим что-нибудь обязательно решит. Дыхание Собакина обескураживает, в нем слышатся миндальные нотки, свежесть мятной зубной пасты. Ощущение неловкости сменяется во мне ощущением зарождающейся крепкой дружбы, быть может, когда-нибудь на моей свадьбе Собакин будет свидетелем невероятного явления, о котором потомки скажут: надо же. – Неужто вы собрались жить вечно, или умереть при попытке, – вновь острит мужчина. – Я кое о чем умолчал в письме, – не может молчать более Собакин. Умолчал он, думаю я, какой Лоренс Стерн нашелся. Стерн в своей «Жизни и мнениях Тристрама Шенди, джентльмена» провернул подобный фокус, сделав текстом отсутствие текста. Обрывал главы на полуслове, заменял эпизоды звездочками, активно показывал свои писательские возможности. Сiju раскрасневшийся, как пятисотрублевая денежка, жду, что дальше будет. – Я тут навел кое-какие справки, только не обижайтесь, – мужчина переместился поближе к двери со стеклянными вставками из цветных стеклышек, будто в калейдоскопе. – И не подумайте, уважаемый, – спешно говорю, а сам думаю, какой уважаемый, я что, милорд с улицы Дыбенко, чтоб уважаемый говорить. – Вы ведь сдавали свое, скажем так, семя? – интересуется, сконфузившись, потому и прикусил губу, хозяин. – Ага, – флегматично сообщая. – Так вот, ваш сын Федя Меркулов! – несет исключительный бред Степан Семенович. И тут мною внезапно овладевает сонливость, и я падаю вместе с румынским креслом на персидский ковер, персидский ли, скорее вересковый, цвета нежно-фиолетового, пахнет древесно и мшисто. Ровным счетом ничегошеньки не снится, приснилось бы, обладай я онейроидным синдромом, как бывшая сожительница Абигейл. То есть качественные нарушения сознания, когда фантастические сновидные и псевдогаллюцинаторные переживания тесно переплетаются с реальностью, и больной становится участником данных ситуаций. Подобным даром я похвастать, увы, не мог.

Затянувшийся послеобеденный сон, после которого просыпаешься совершенно разбитым, повстречался и на моем жизненном пути. Окно Овертона распахнуло порывом ветра, голубые кисейные занавески пришли в движение. Надо мной сидел Собакин собственной персоной, озадаченно разглядывая, будто увлеченный коллекционер Миранду Грей в своем подвале. Сделавшись соглядатаем пробуждения, он тут же принялся живо расспрашивать о моем даре, правда ли удастся вот так, бряк и все, и сны даже посещают, неужели. А мне так захотелось поблагоевовать перед его умом, что просто ужас. – У вас хороший уровень русского языка, – говорю ему, не придумав ничего интереснее, губы слипились, во рту засушливо. – Ой, спасибо, понимаете, пока себе труд не дашь, ничего же не будет, постоянно нужно практиковаться, – мне перестал нравиться уровень русского языка Собакина. Присев до безобразия резко на полу, отчего голова закружилась, говорю с ленцой: труд ни в коем случае не освобождает от ответственности быть человеком. Глядим друг другу в глаза пристально. Потом я хватя его за нос, не знаю, зачем, просто по-дружески. – Немедленно пустите меня, перестаньте дурачиться! – занервничал хозяин квартиры. – Что ж вы за интриган такой, – восклицаю в сердцах, – сына какого-то приплели, какие ваши доказательства, кроме вот этих ваших данных, что я там что-то сдавал в восемнадцать лет? – Не считите за грубость, – начинает лихорадочно оправдываться, – справки я навел потому, что в стране не хватает отцов, я считаю, вопрос щепетильный, решить его мягко, мне думается, нельзя, нужно

действовать радикальным способом. – Ладно, размышляю, и отпускаю милейшего гражданина. На длинном, точно слово человеконенавистничество, столе вентилятор перестал вращать лопасти, примолк. Вопиющие мысли поразили мою голову: что если я буду никчемным отцом и не оправдаю ожиданий своего сыночка. Я выпущу в мир жеребенка, который ломает себе спину под жирными телами детей революционеров. Что если мне не удастся научить его бить человека в лицо. Педагогика как диалектическая и разнообразная наука не входила в сферу моих интересов. Что если я не смогу ему ответить, почему культ героизма так тесно связан с культом смерти. И почему стремление к власти крепко завязано на половой сфере. И много еще почему, почему.

Поднимаемся с пола одновременно. Собакин сосредоточен, молчалив, раздумывает о чем-то. Мы вскользь начинаем обсуждать программу моего курса, кажется, сходимся на том, что курс, прежде всего, является творческим письмом, рассчитанным на очень сообразительных детей, на детей исключительно свободомыслящих. Наконец, мне делается чрезвычайно некомфортно от того, что кончики наших носов соприкасаются. Думаю, на чем же кончике носа кончается свобода, и чья свобода кончается, наша коллективная свобода феномен удивительный, конечно, но пора и честь знать. Делаю шагок назад. И становлюсь на носочки с целью, значит, того, чтобы рассмотреть, кто это там пришел, хлопнула дверь, никто не пришел, ветер. – А что, – говорю, – если я, так скажем, идиот, что тогда? – Вы хотите сказать, честный, как лопаты, ясный, как плакаты? – уточняет суть моего обращения Собакин, со всем, стало быть, уважением к идиотам, бывшим некогда, быгующим нынче, насчет будущего не осведомлены. – Чпоньк, – говорю, целую товарища в лоб. – А вы, я посмотрю, актер, актер, – мужчина повеселел, перестал напоминать человека, собирающего с мира по нитке, чтоб организовать для себя петлю. Мой собеседник, елеяно улыбаясь, произносит: Миша, не забывайте, иерархия превыше всего. – То есть вы признаете высшее иерархическое положение, быть распятым на кресте, – интересуюсь, дурачась. – Вы ставите меня в тупик, давайте лучше поговорим об особенностях вашего преподавания. – Собакин нахмурился, сделавшись тучкой.

Особенности преподавания были таковы: ученики помимо теоретической части, допустим, о том, как Паустовский писал свои вещи, когда к нему на стол запрыгивал его дивный кот. И он, значит, продолжал писать строки таким образом, чтобы они обтекали туловище животного и не мешали коту наслаждаться теплом лампы. А потом, когда страница заканчивалась, Паустовский звал жену, которая прогоняла кота. Все дело в том, что Паустовский боялся испортить отношения с котом. Так вот мои дети в конце забавных литературоведческих сообщений получают задания, скажем, написать о своих кошечках. – Кстати, забыл о насущном спросить, – говорю, – где мне предстоит жить? Степан Семенович излишне восторженно сообщает: на чердаке, на чердаке будете жить, я разве не говорил, чердак хороший, со всеми удобствами, кто знает, быть может, вы найдете там даже зеленую шляпу! Человек от мира образования порадовал меня вот этим последним наблюдением, зеленая шляпа, надо же. Я был весьма пообмякшим после сна, поэтому с моих губ не сходила неуверенная полуулыбка. Мы со Степаном Семеновичем вышли в коридор. – У нас комендантский час, вы уж постарайтесь, чтобы никого не подставлять. Мужчина пригладил свои реденькие белесые волосы, едва слышно в коридоре попискивало электричество. – Представьте, на том чердаке до вас проживал другой преподаватель словесности, Поролонов, правда, умопомешался, сейчас, насколько мне известно, занимает пост в министерстве образования. – Мой коллега истово крестится. – Да вы что, как интересно, – говорю язвительно. – А вы не смейтесь, – Собакин пританцовывает на месте с открытым ртом, смотрю на его голубые зубы, наверное, пьет много воды с железом, – понимаете, жестом социального самоубийства престарелый эротоман оградил себя от излишнего внимания жизни, это все очень грустно на самом деле. – Расхристанность переживаний о судьбе предшественника ни в коей мере не помешала мне взглянуть панихидным взглядом на эксталично танцующего комара-долгоножку. Имевшего неосторожность принять трельж в коридоре за плод какого-нибудь, например, финика. – А вы не сторонник, простите, современного взгляда на преподавание, то есть не опираетесь ли вы на труд Альберта Хофмана «Мой трудный ребенок»? – спрашивает с опасением собеседник. – Вынужден заявить со

всей ответственностью, нет, – успокаиваю. Товарищ в шутку грозит пальцем.

Напоследок Степан Семенович великодушно нарисовал на клочке туалетной бумаги красной ручкой маршрут, рисовал он как курица лапою. Поэтому я в свою очередь великодушно сообщил ему, что не стоит этим заниматься, попросил объяснить на словах, где мой чердак. Однако Собакин отчего-то расплакался, запершись в ванной. Дурдом на прогулке, думаю с оптимизмом, хотя и теряю чувство присутствия читательского локтя. Взвалив тяжелый рюкзак на плечи, выхожу на улицу. Там, на улице, хорошенькое лето, прямо-таки строка Аркадия Драгомощенко: «истлела сирень в этом году раньше обычного, она опустила сухую ладонь мне на колено, радужные осколки стрекоз, клювы кремня светились в ирисах сонных». И зачем, размышляю, согласился на преподавание, это же такая ответственность, а сам вышагиваю, сверяясь с импровизированной картой. Вечерело, и пахло огурцами, и светлый голубоватый пар, весьма мистический, до неба подымался, как дымок от новой папиросы. Последние закатные лучи легли на землю. А я все шел, и дома, что встречались, были темны внутри, должно быть, граждане рано ложились спать. И белые простыни Кентервильских привидений в окнах мерещились, побрякивая цепями, они блуждали в гостиных, однако никто не боялся, ведь мы родились совершенно не в кроватках, холстинной обшитых, закутавшиеся в стеганные одеяла. Мы родились под неким бедственным созвездием. Когда я прошатался часов пять, заблудился до крайней степени, и уже было отчаялся свершилось очередное провидение, блеснули глаза моей покойной кошки, блеснули они в глубине очередного двора. Дивная, бесплотная кошка Тишь, вывела к той самой жилой площади, на чьих квадратных метрах мне предстояло кантоваться.

Мое будущее жилище поначалу показалось преждевременным строением, не хватало какой-то детали, что-то как будто не достроили, хотя, допустим, сарай присутствовал. В сонном сознании моем зрели стручки недоверия к дому, водосточная труба поросла плющом, потемневшая дверная ручка в форме рыбы, отчего-то прикрученная к стене. Домишко выглядел полуживым, полживым, как скажут грамматически верные читатели, не принимающие участие в собраниях, где исключают из союза писателей тех, кто не оправдал ожиданий. Лишь на первом этаже в окне чего-то мерцало. Смущенно я приблизился к дому. Неистребимая сентиментальность во мне отчего-то именно той ночью заставила предаться грустным воспоминаниям. Никакой конкретики, шепотка детства, ломтик юности, пучок несчастной любви. Остановился, взойдя на крыльцо. Вернулся к окну, не решаясь на стук, положенный запоздалому гостю. И ночь была свежа, что придание.

Прислонившись к окну, вгляделся в происходящее там, в чужом доме. Душа без желаний, как вы помните, всматривается в мир совсем без любви, поэтому и находит его жалким и скучным. Моему же вглядыванию было не чуждо все то, что отличает порядочного наблюдателя от наблюдателя не порядочного, проще говоря, интерес к деталям ценился мною высоко. Единственный источник света, экран телевизора светил неравномерно. В комнате в глубоком кресле, укрывшийся пледом, сидел гражданин. Внезапно он заплакал, и приговаривал при этом жалостливо: я мужчина, мужчина, твою мать. По телевизору разговаривал величественный политик, чье заглавие позабылось мною: наш мир стоит на краю пропасти, но благодаря президенту мы сделаем шаг вперед. Кто ты, подумалось, величественный политик, чье заглавие позабылось, обвиняемый ли, не успевший сделаться обвинителем, или обвинитель, успевший примерить шляпу обвиняемого. Незнакомый гражданин тяжело поднялся из кресла, вышел на крыльцо, кивнув мне головой. Взгляд его смотрел на тысячи яров. Подобный взгляд носили восемнадцатилетние мальчишки во Вьетнаме по просьбе президента Дуайта Эйзенхауэра. Незнакомец отгородился от мелкого дождя плащом, закурил. И сказал такую вот вещь, ни к кому конкретно не обращаясь, в пустоту сказал: а все-таки лишили, лишили мою Родину-мать ее родительских прав, что ж теперь поделывать, надо в опеку писать. Говорю ему в свою очередь рассудительно: так точно, а я жилец такой и еще, к тому же, такой. И тоже закуриваю.

Глава 6

Ни одна страна не выстоит без котиков

Едва начавшись, новый художественный день не прошел цензурную комиссию. Опиши этот день, чего тебе стоит, Миша, мы желаем знать, каков он из себя. А я опишу его, а потом Сергей Чупринин сообщит, сообщит, например, что в описании дня мы откровенны, и он, значит, Сергей Чупринин, тоже такой откровенный. Однако ваши персонажи, они такие напыщенные, такие глубоко зависимые люди, скажет он. И я, значит, Сергей Чупринин, пока читал про ваших персонажей, невольно потянулся за бутылкой водки, и в своем журнале «Знамя» такое не печатаю. Андрей Витальевич Василевский из «Нового мира» подхватит: верно, боже, как верно. Я, право, ломаю голову, пытаюсь понять, к чему двадцатисемилетнему мальчику целых пять страниц книжного времени, чтобы описать, как у него сводит ноги перед сном, решительно не понимаю такого расточительства. Нет, дорогие мои, мы Евгения Гинзбург, да простит нас Евгения Гинзбург, которая, несмотря на притеснения, написала такой замечательный документ эпохи, мы не останемся в стороне, и тоже постараемся когда-нибудь написать замечательный документ эпохи. А пока вынуждены довольствоваться чем-то. Чем чем-то, неминуемо спросит нетерпеливая Гранцева Наталья Анатольевна, та, что с «Невы». И мы не сможем в должной мере удовлетворить ее интерес, ибо к тому времени утратим способность смеяться.

Проснувшись не без удовольствия на чердаке, выданном во временное пользование, ощутил необычайный прилив сил. И вся моя вчерашняя тревога как будто была напрасна, тревога о моем предполагаемом сыне, о нашей первой встрече. Комната шагов шесть в длину, под самую кровель, как будто бы в шкафу, в каюте, в сундуке. Мансарда, сколь удивительное слово. Франсуа Мансар в семнадцатом веке впервые использовал чердачное пространство для жилых целей. И не прогадал, хотя гадание с точки зрения православия греховно, много воды с тех пор утекло, на чердаках кто только не жил: Сантьяго, где ремонтировал свою лодку; или на чердаке держали, допустим, Аркадия Гайдара, и не отпускали, пока он не сочинит мальчика Тимура с командой. Это было такое утро, которым вовсе не хочется упорно выискивать у себя признаки болезни, чтобы сказать больным, никуда не идти. Воздух наполнился густым запахом смолы, яблоч, свежей краски, всем тем, чем полнится утро, сопряженное с иными страшными, прекрасными впечатлениями от пробуждения, которое совсем не ожидал минувшим вечером пережить. Единственным окном жилище выходило на пустырь. Там несколько детей в матросках склонились над ямкой, я присмотрелся, закапывали темно-серого кота. У одного из детенышей была труба, он равнодушно продудел в нее, детенышу было далеко до профессионализма Бориса Виана, дудеть необходимо со всей силы, так, как будто у тебя в легких растут розы, и этот пронзительный выдох все, что осталось из твоих пожитков. Ни одна страна не сможет выжить без котиков, подумалось грустно, но я не пошел у грусти на поводу. К ребятишкам странно вышагивал горбатый господин с тростью, он вышагивал под углом градусов сорок пять, он о чем-то предупреждал ребятишек, помахивая тростью. Согбенный позвоночник его мог расправиться, к сожалению, только на кресте, пришла в голову мысль. В трехлитровой банке из-под томатного сока плавали окурки в желтовато-мутной воде. Жарило солнце, как будто на голову советская авиационная бомба фаб-500 приземлилась. Аж в глазах потемнело, стоило лишь приоткрыть круглое чердачное оконце и высунуться, поглядеть, кого это там, на пустыре, дети закапывают.

Должно быть, заботливый сторож приготовил жестяное ведро с визгливо холодной водою, оно стояло возле синего пластикового умывальника. В овальном зеркале отразился не просто какой-то там Миша Токарев, отразился в нем учитель целой словесности. Имея вид молодцеватый и слегка дикий, я проверил улыбку, не отстегнулась ли, прищурившись, точно Владимир Коренев, долбанул по детальке, отвечающей за подачу воды, такая белая писюлька, ее необходимо поднять, по ней долбанул. Вода, как уже замечал ранее, была холодна, я же в свою очередь был холодно-амфибией, которому не чужда плескотня, а также чистосердечные кваки. Случалось, ма-

ниакально-компульсивное расстройство толкало меня умываться десятки раз на дню, в минуты душевной хвори я поливал себя белизной, и даже, представьте себе, металлической губкой терся, орошая стены ванной комнаты кистями рябины. Сполоснув лицо, принял скоблить пластиковой одноразовой бритвой скулы, словно какой-нибудь папа Карло. На продавленном диванчике, на котором замечательно выпался минувшей ночью, остались унывно лежать учебники, найденные мною в комод. Преимущественно советские, весьма нужные в преподавательском деле учебники. Мой предшественник оставил их, вероятно, в помощь будущему преподавателю словесности. На мой скромный взгляд, не хватало пособий Александра Архангельского. Пусть я и не согласен с некоторыми его формулировками, однако толковое изложение предмета нашего с вами современника обладало весьма нужным свойством. Архангельский как будто выходил за рамки школьной программы, предмет словесности у него получался выпуклым, а также впуклым, где это необходимо. Он, то есть я, совсем не пел по утрам в клозете, но все-таки сохранял уверенность в своем страстном желании преподавать детям что-нибудь правильное. Утлые доски скрипели под ногами. Времени было девять утра, и я рассудил, что к двенадцати вполне успею в школу, можно и прогуляться, а заодно и позавтракать где-нибудь. Ведь гуляют в каких случаях: в случаях экстравагантных, в случаях победы над внутренним Митрофанушкой, но это так, ремарка, совершенно не относящаяся к делу.

Выйдя в июньский день, повстречался с моим сторожем. Прямо напротив дома мужчина вырыл яму, яма напоминала затылок на голове, яму окаймляли кустики травы. Ни за что не догадаетесь, что происходило в ней, а я вам доложу, не зря же меня назначили вам докладывать, я же в определенной степени Ольга Балыкина, Павел Морозов и Митя Гордиенко в одном лице. Яма наполнилась микроволновками, штук десять в ней было. Микроволновки натурально горели, гражданин, вероятно, никак не мог взять в толк, каким образом они разогревают пищу. Запашки стояло знатное, пластмасса чадила, едкий дым разносился по улице, будоражил нюх горожан. – Послушайте, как вас зовут, мы вчера толком и не познакомились, знаете ли вы, где можно замечательно позавтракать? – спросил, зажимая собственный нос, отчего голос выдался гнусавый. – Имя мое Ибрагим, а позавтракать вы можете в столовке за милицией, – прозвучал ответ, не лишенный доброжелательности. У меня появилась возможность разглядеть сторожа получше, во вчерашних сумерках этого совершенно не удалось сделать. Линялые джинсы, двубортный бежевый плащ, тельняшка, щедрое на рытвины лицо, раскосые серые глаза, посеребренная щетина. – Вот вы, Ибрагим, а чем это вы таким интересным занимаетесь, Ибрагим? – вопрошаю у него своим бархатным голоском, вынужденно ставшим гнусавым. – Послушайте, мое дело маленькое, я всего лишь сторож, – сказал Ибрагим, наморщив лоб в коричневых пятнышках, как будто вырезанных из вошеной бумаги, в руках он держал эмалированный ночной горшок, над которым вилась пара янтарных мух. Вдруг из пристройки раздается надтреснутый стариковский голос, изрядно меня перепугавший, так бывает, когда вы просите, например, в троллейбусе ребенка уступить место, а тот отвечает пенсионным голосом: дядя Ибрагим, я усрлся! – Дела, дела, барин изволит озорничать, – погрустнел мой собеседник и заспешил в зеленый сарайчик.

Чванливой походкой шел мимо домов, которые впору назвать изящным словом халабуды. Цвело все, что могло цвести, бегали бабки по скверу от инфарктов, плевались в прохожих. Их розовые, фиолетовые, синие головы мелькали меж деревьев, или мне то привиделось. Суставы их скрипели, как будто бы пели пеночки-трещотки. На мне были жемчужного цвета короткие шорты, замечательным образом сочетающиеся с темно-голубой водолазкой, поясная черная сумка, в которой уместились тетрадь с конспектами лекций, сигареты, моя любимая крестовая отвертка, чью рукоять оплела синяя изоленка, прочая бытовая мелочь. Спросонья не мог определить сразу, в какой же стороне милиция. Я степенно принюхался в надежде почувствовать, откуда пахнет властью. Но вместо запаха власти меня придавило запахом сырости. Где-то за пригорком чвокало болото. Пройдя вдоль бордового жестяного забора, испещренного мелкой шрапнелью, я был встречен толстым дедушкой и тонким внуком. Скульптурно застывшая избушка милиции являлась точной копией синего дома Марка Шагала; она явила себя также. Серьезный профиль, как у

Бела Лазара, бородатого престарелого мужика. Он крепко держит подростка за сизые волосы. Ой, что вспомнил, дорогие читатели, забавное вспомнилось: «над поповым домом вьется сизый дымок и останавливает на себе внимание Иудушки». Великодушно простите, если данной цитатой кого-то расстроил. – Что вы делаете, пустите сейчас же! – ревел мальчишка, у мальчишки серьга в левом ухе, большие потрескавшиеся губы. – Я сниму твою овечью шкуру, пес! – доносит мудрость иудейского народа Лазар. – Сейчас же прекратите, мне больно! – плачется парень, у парня на рукаве джинсовки нашивка черепа и костей, у парня в брови огромная булавка. Это могли быть дедушка с внуком, это могли быть мы с тобой, если бы ты стала когда-нибудь бабушкой, моя воображаемая невеста. По-рыцарски прошу прощения, если данным обращением к воображаемой невесте огорчил тебя, о, читатель. – Я считаю, вы не имеете права, – парнишка не успел договорить. Его перебил дед, борода которого, облюбованная старостью, радовала мой взор: считает он, Фибоначчи нашелся какой! И продолжил мучить пацана, хотя пацан, полагаю, был способен забить его лопатой при случае. Став невольным свидетелем экзекуции, своевременно вмешиваюсь, говорю: гражданин, по какому праву ребятенка мучаете, рядом же милиция, а если вас поймают, а потом даже лишат в правах!

Дедушка медленно так поворачивает голову в мою сторону, и я отмечаю, красивый, словно некрополь при Донском монастыре, этот славянский мужичища, этот Перун, или же Велес. Глаза совершенно незлые, на старых фотографиях подобным образом глядит Вольф Мессинг, с доброй усмешкой. – Да это внучок мой говорит, деда, научи меня жизни, а то в армию скоро идти, а я размазня какая-то, – начинает мелко посмеиваться благородный предок не менее благородных нас. Внучок сообщает мне доверительно, и в голосе прослеживаются быстрые нотки, становится понятно, шуток в сторону: дядь, иди себе дальше, не видишь, люди заняты. – Ах ты, негодяй такой, – бросаюсь на него, чтобы немедленно отскатать за ухо. Начавшееся гневом, действие рисковало закончиться стыдом. Впрочем, скорее для поддержания беседы, а не для причинения вреда я это сделал. Дед вошел во вкус, дергает правое ухо, покрикивая: зачем ты разбудил Огарева, зачем ты разбудил Огарева! Сдавлив левое ушко, я в свою очередь приговаривал: неприлично попрошайничать у человека пятьдесят рублей в долг, если вы заметили, как он только что положил в карман свой двести. Молодой человек, порицаемый нами, сделал так: ооооооо! Из глаз его бежали крупные, словно персики, слезы. Прищулив рассудок, я обнаружил удивительные сходства между этим подростком-неформалом и собой в его возрасте. Помнится, я был весьма эклектичным молодым человеком. Удивительным образом во мне сочетались уважение к старшим и абсолютное неприятие тех доктрин и нравочувствий, что изыщно проповедают, а иногда и бездарно проповедают, старшие. Помнится, повздорил однажды с чужим дедушкой, и он принялся рассказывать, как вражеские бомбы их, значит, постригли в солдаты. Пришлось ему возразить, конечно, бомбы не могут стричь людей, они же все-таки курсов парикмахерских не заканчивали. Чем же закончилась та история, кажется, попросил чужого я дедушку покинуть мой туалет, потерявшись, он вошел в него в поисках своего давнего приятеля Леонида Ивановича Добычина, отчего-то Добычина все искали в моем туалете.

Вдруг дохнуло карболкой, точно где-то гуашью рисовали художники, точно пленэр проходил совсем рядышком. Внезапно в глаз попала ностальгия, стоило песню заслышать, что доносилась из магнитолы проезжающего заповорочца мимо нас по песку: подожди, дожди, дожди, я оставил любовь позади, и теперь у меня впереди дожди, дожди, дожди! – Отец, – говорю столь уважаемому язычниками Перуну или Велесу, – я думаю, данный внучок вполне готов к несению службы. – Подросток трет свои уши, что стали размером с исторический вклад шумеров в технологическое развитие цивилизации. – И шел бронированный поезд в глубокой ночи без огней, а за окном, значит, сидел злодей, да к тому же боялся людей, от всех скрывал он свой маршрут, в Германии, кажется, то произошло, – дедушка вынул из внутреннего кармана пиджака коричневый портсигар, о чем-то нам поведав, должно быть, из молодости. Мальчишка озорно посмотрел на меня: старый и молодой, как мне показалось, играли в опасную игру, понятную только им. Зашумели кроны деревьев, послышался запах цветущих каштанов, не очень приятный. Сделалось душно-

вато. – Я желаю тебе не стать тем, кто в этом поезде того, – подытожил пожилой гражданин. Окошко в синей избушке милиции кто-то стремительно задернул шторой. И тогда я спросил их: господа, мне нужно в столовую, а вот подскажите, можно же подсказать доброму человеку. – Мы не знаем, добрый ты, или не добрый, – вмешалась нахальная недоросль. И что меня расстроило, нет, не сомнения в моей порядочности, меня расстроила речь подростка, которую он подавал холодной, без лаврового листа, поваренной соли. Предположим, я написал магистерскую, и она называлась «Поэтика пространства и времени в ранних машинописных сборниках Елены Шварц». Да не предположим, именно написал. И это дает мне право, полагаю, подобно повару, пусть и не обладателю мишленовских звезд, судить о качестве поданной речи. Я ничего не сказал, подумав, а парню в армии не понравится с таким несносным характером. Над нами кружились серые птички, как будто частички пепла. И дедушка, показав куда-то консервативным своим пальцем, сказал: а вон она, столовая, не потеряешь.

Так, подумал я, целая столовая, ничего себе, до чего близко. Она там, действительно, скрылась в отуманенном листвою подлеске. Виднелась побеленная, как пастила, стена двухэтажного строения. У входа в столовую висело несколько раковин, в них граждане мыли ноги перед едой. Одноглазая с черной повязкой дамочка в синей вязаной кофте повесила на свои плечи темно-желтые чулки, как две змеи свисали они с плеч. Корячилась, задирая правую, в синих толстых венках ногу, пенилось хозяйственное мыло, мое любимое мыло. На стене вылинявший плакат, на плакате отмеченный сединами товарищ в белой майке, темно-синих шортиках, товарищ мчит на велосипеде, рулевая колонка типа бараньи рога весьма изыщна. С днем велосипедиста, с девятнадцатым апреля, набрано печатными буквами внизу плаката. Дверь, обитая бордовым кожаном, закрыта. У входа очередь. В очереди человек семь. Ревет чей-то сынок-пятилетка в белой майке и темно-синих шортиках, быть может, побитый за двойку с плюсом. Его мать или старшая сестра, рослая девица с челкой-шторой, осаживает: что это ты исполняешь, стой ровно, под старость жизнь у тебя будет такая гадость с этим твоим поведением! Выщипнув данную женщину, словно волосок из брови, из очереди, спросил: что там дают сегодня? Она как-то подозрительно посмотрела, так смотрят, мне кажется, люди с демшизой на советского психиатра старой закалки, не поменявшего политических предпочтений. – А вы кто, юноша? – бородавка на ее ленинском, с широкими ноздрями носе напоминала ягоду смородины. – Каковы предпочтения, скажем, у шизофреников? – не отставал я, активно втираюсь в доверие. – Да никаких, слушайте, – дамочка в спортивном костюме могла сойти за вредную Арину Головлеву. – Никаких, – повторил удумчиво я, взяв ее за локоть. – Это какая-то фикция, господа, посмотрите, меня домогаются! – она закрывала весьма некультурно, затрепыхалась птицей вольною в руках жестокосердного мальчишки. – Фикция, – поправил я, впрочем, локоть отпустил. – Как вы смеете меня поправлять, вы вообще представляете, на какой улице мы с вами находимся? – Я безразлично пожал плечами, образно выражаясь, в городе был проездом, всех подробностей не знал. – На Площади искусств, а столовая называется «Домашняя кошка», – мальчонка ковырял в носу, улыбался речам не то сестры, не то матери. – А почему она так называется? – не унимался, спрашивал. – Вы бы видели, какие там люди философствовали в свое время, такую бы ерунду не спрашивали, – промолвила тетенька. – Так в чем же, по-вашему, ерунда, как домашняя кошка вяжется с философией? – интересуюсь дальше. Она бесстрастно отвечает: утомил ты меня, парень, стой и жди, пока буфетчица Big Патриция не начнет обслуживать, умный какой нашелся.

Позади меня становится мужчинка во фланелевой зеленой рубашке, в черных брюках, посредственных лет, лысеющий со лба, с тряпичным портфелем. Должно быть, железнодорожник, определил я, ведь от него пахло креозотом. – Мне бы беляшей, беляши у вас имеются в столовой? – выспрашиваю теперь у него, как бы в шутку, чтобы не подумал чего, поворачиваясь. – У нас эпидемия нематод, только они длинные, настоящие крокодилы прям, – серьезно говорит он, как бы и не мне, смотрит на закрытую столовскую дверь. – А причем тут нематоды, я всего лишь о беляшах спросил, – не всерьез обижаюсь, выпатив нижнюю губу. – Полноте вам, что за вздор несусветный, моя зачарованность вашими словами не более чем веяние капризной моды, завтра вашими

словами никто не заинтересуется, уж поверьте мне, как безынтересна природа, вон, – достает из портфеля книгу «Лесные тайнички», сова на обложке. Его речи о природе меня раззадоривают. И я обстоятельно начинаю спорить, говоря, что интерес русской классики к природе обуславливался усадьбным бытом, охотой, у классиков природа отобрана весьма точно, абстрактностей почти не встречается, для них это не фон, они этим живут. – Когда я охотился на тараканов, – продолжаю капать на нервы целой очереди, все они повернулись, даже пацан заинтересовался, – поохотился, потом освежевал, а полученные шубы продал на базаре, сто рублей штука, допустим. – Товарищи, кто-нибудь заткните этого морального урода, – разозлился писклявый господин из начала очереди. Мои рассказы о тараканах прерываются звоном ключей, дверь открывается. И граждане, облегченно вздыхая, заходят в столовую, а я вместе с ними.

Ох, подобных телес я не видел даже по праздникам. Сделалось несколько страшновато, как будто бы мне объявили шепотом приговор, смертная казнь. Буфетчица Патриция, насколько я понял из разговоров тех, в очереди, была профессионалом своего дела. Она напомнила мне, знаете кого, напомнила она Альбину Театр. Альбина Театр проживала в хижине под Тверью, там же она принимала людей страждущих, а страждали все, о, как же они страждали, вплоть до нарушений норм русского языка. Десятки наших соотечественников ожидали аудиенции, они сидели в палатках, кто-то дремал в машинах. Порой граждане ждали своей очереди неделями. По слухам, под аршинными грудями Альбины Театр были наколки, под левую грудь love, под правую hate. В зависимости от настроения она давала посетителю одну из них, правда, не знаю, что люди с ними делали. Поговаривали, не берусь утверждать, помогало от бессонницы. Длинный прилавок, за ним эта Патриция, громкие, как воздушная тревога, голубые глаза, белый передник. Две синеватые женщины, похожие на тех, что я видел в Великом Новгороде, помощницы. Они накладывают пюре и салатки, рис и котлетки, наливают компот. Буфетчицы одного пола ягодки, буфетчицы сосредоточенны. Я заказываю картофельные драники, одно яйцо, сваренное вкрутую, ряженку мне подают отчего-то в бутылке. Решаю и прошу чай. Остывший до неузнаваемости чай был опознан как кофе. Благополучно позавтракав и не встретившись с интересными событиями, выхожу. Приближается время моего урока. Без труда спросил у прохожего, где находится школа, прохожий подробно объяснил. Кажется, он меня с кем-то перепутал поначалу, попытался уточнить, точно ли я ищу чудеса, не Бога. – Ну, конечно, школу, слушайте, повидал я городов странных, но вы самый фантастический из них, – с негодованием выговариваю ему. Это хорошо еще, что городишко был устроен элементарным образом. Затяжная центральная улица с названием на греческий лад – Ахеронская – проходила город насквозь, и на ней расположились все муниципальные здания, школа, больница, ферма для скота, Дом культуры. Очень удобно сделали, особенно для творческих людей удобно, чтоб не переживали лишний раз, что заблудились, или еще чего.

В школе, прямо в фойе, меня повстречал муравейник. Во всю стену стекло, тысячи ходов, они ползают, суетятся там, эти муравьи. Стекло толстое, зеленоватое, как иллюминатор в самолете. Женщина оmyвает полы, ее движения исполнены прелести. Уборщица сразу мне приглянулась, словно была она книжкой Алексея Крученых «Замаул 4», изданной в двадцатом году в Баку, проданной на аукционе в две тысячи пятью за сто шесть тысяч долларов. Женщине каждой мужчину, каждой бочке по обручу, хотелось сообщить ей, однако поклонников у гражданки, полагаю, хоть отбавляй. Вне всякого сомнения, прелестница была достойна того, чтобы ее купали каждый день в аплодисментах. И перед каждым встречным она явно не будет обнажать свой культурный код. Мне отчаянно захотелось зарыться, как волосогрызка, в ее рыжие, бесстыжие волосы. Уборщицу потряхивало, крупная дрожь била ее пластичное тело, наверное, принимает нейрорептики первого ряда, отметил про себя, бедняжка. И только сделал шаг к ней, как слышал мужской звенящий голос, и холодом пронизанный змеиным он был: верно заметил товарищ Гурджиев, что пока человек не пришел от себя в ужас, он, значит, ничего о себе не знает, Миша Токарев, собственной персоной! Не являясь Юрой Шатуновым, которого желала бы согреть, и пригреть, и взгреть случайная женщина нашей необъятной Родины, я был не готов к такому хорошему приему. – А меня

Собакин предупредил, а я вас отведу в класс, – все говорил и говорил гражданин потешного вида. Под его плетеной шляпою-канотье, напоминающей блюдце, должно быть, кипел свой внутренний мир. Мысль вольной птицы раскорячилась на его сливочном лице, со лба катились росинки пота. Видя треволнения, посетившие господина, я сказал ему без всяких ужимок: право слово, не стоит юбилейных словес, наше дело расскажет о нас лучше всех пунических войн, коллега.

Мы поднялись на второй этаж этой очаровательной школы, выдержанной в традициях неоклассицизма, быть может, по коридорам здешним даже хаживал нарком просвещения Анатолий Луначарский, болтал о чем-то. Сорок шестая гимназия в Ленинграде сестра школы, на второй этаж которой мы поднялись. И тут мы неожиданно повстречались с Екатериной Михайловной, мне сразу же понравился ее экстерьер, интерьер пока не был знаком. Она читала «Повесть непогашенной луны», что-то знакомое, редкое, кажется, Пильняк, сам не читал, рассказывали некогда студенты. Она сидела подле декоративной пальмы на складном стульчике. Приятная, как гущенка, в ботиночках расцветки шкуры жирафа, в бежевой блузке с воланами. Ее короткие горчичные кудри вызвали во мне жгучее желание проверить их на педикулез. Глупость какая, откуда там педикулез, дама опрятная, все к лицу ей, и даже ревность, думаю, к лицу. Мой провожатый энергично заговорил: а это у нас учитель года, вот сидит, она, да, Екатерина Михайловна, супер педагог, у нее отпуск, а она вот в школе, невероятная просто женщина, живет, можно сказать, школой. Барышня подняла свое беличье лицо. Ее черешневые губы произнесли загадочно: вы загораживаете мне белый свет, отойдите. Какая богоматерь цветов выискалась, подумалось незлобно, понапрасну ни добро, ни зло у меня не пропадало, всему находилось применение. Куртуазность, присущая учительнице, она выражалась в поцелуях собственных рук, учительница поцеловала правую, тотчас поцеловала левую; привлекла меня как мужчину, хотя еще вчера я и не помышлял об интрижках. А потом она нервно сказала, закрыв книжечку, порывисто целовать свои руки, держа при этом открытой книжку весьма затруднительно: твою мать, закладку забыла положить! Подобное поведение я безошибочно отнес к Obsessia, крошка была не совсем здоровой, впрочем, покажите мне здорового, и я буду смеяться с ним день кряду, пока мы не окочуримся от желудочных колик. Чувственному педагогу я задал очень простой вопрос: вы и вправду на добровольных началах тут лето проводите, альтруистка Ивановна. Барышня ответствовала тоном сдержанным, не лишенным хрипотцы: у нас тут не волонтеризм, не путайте, пожалуйста, все делают ровно то, что скажет директор.

Наш диалог зашел прямо-таки в железнодорожный тупик. Однако я никуда не спешил никаким аллюром, ведь считал, мир это литература, а мы в ней Джоан Роулинг, а успех пришел к ней не слишком рано, хотя и не слишком поздно, чуть за тридцать исполнилось бабе. Тем не менее, потянувшись к первой попавшейся дверной ручке, услышал запротестовавшего провожатого: не тот кабинет, не туда. Меж тем из кабинета доносилось тревожно: Олег, Олег, скорей сюда, там с Игорем что-то случилось, он лежит и дергается! Я несмело повторил: но ведь дергается. И тогда гражданин стал увлекать меня от злополучной аудитории. – Ничего не дергается, нам сюда, пожалуйста, – приговаривал он. – Пойдите, я волнуюсь, признаться, волнуюсь, как школьница перед сдачей выпускных экзаменов, крайне страшно мне заходить в данный класс, – мною овладело необъяснимое чувство, в основе которого лежала, думается, неуверенность в себе как в Мише Токареве. Мужчина с набухшими веками спросил, глядя своими веселенькими глазками, скрытыми круглыми очками со светло-зелеными стеклами, поинтересовался: вы женаты? – Нет, – говорю, – не довелось. – Повезло, а я не совсем удачно женился, вытащив с завязанными глазами ужа из мешка с гадюками, – поделился он соображениями о своем статусе, наверное, чтобы меня подбодрить. – У вас одни Бориски, Лаврюшки да Иринки, когда уже вы созреете, понимаешь, до Бориса Борисовича, до Лаврентия Павловича, до Ирины Александровны, в конце-то концов! – уборщица, выкрикивая всякое, промчалась мимо нас, размахивая шваброй, она гнала мальчишку, который оставлял грязные следы, по всей видимости, чернозем. – Когда уже, понимаешь, кошке отольются мышкены, понимаешь, слезы? – спросила риторически девица-уборщица у нас, стоя со своей серенькой шваброй наперевес. Тяжело дыша. Мой спутник старчески вздохнул, отвечал: лю-

бовью или никак, они понимают любовь. – Поздравляю, конечно, их, – она задумалась, – но не от всего сердца. И принялась интенсивно затирать автографы ног этого талантливого мальчишки.

Мы вошли в класс, что встретил нас детской чащобой. Мальчик-дубовый кустик широко раставил свои лапчатые сучья, как бы приветствуя. Мох бархатный на щеках другого мальчика блеснул в лучах меридионального светила. И двадцать лесных мышек сердечных бились в грудных норах. Привечали здесь что надо. – Ой, а вы на моего папу похожи, – обрадовалась девочка с мертвенно-приспущенными зелеными веками, востреньким, как булавка, носом. Я мысленно ухватил образ, замечательно, просто чудесно, отцы и дети. Подражая хорошим лекторам, старался всегда держать за пазухой, и это, собственно, являлось моим символическим капиталом, разного рода связки, про папу сказала, что там у нас про папу, Дюма, Дюма есть. Сказала бы, похож на пса, тоже ничего, пришел бы Герасим, пришла бы Муму. И мы с детьми разрушили бы концепцию феминизма Шарля Фурье, и барыню выпороли бы розгами, а потом, конечно, простили, дети, они великодушные. Симпатическое солнце, светившее за пакетом стекла, вызывало улыбки детей. Качнувшийся купол неба, галапагосская слонобая черепаха, перебирая лапками, ползла по газону перед школой, окно склонялось вот так, окно, окна, но за ним не мрак, но за ним нескромное обаяние захолустного лета. Мой провожатый, сухопарый мужчина, представил меня детям, а также немедленно пофантазировал, каким бы я мог стать лет через дцать, останься в школе на должности учителя словесности. Я же сказал сдержанно ученикам: временно, дети, я тут с вами, можете без отчества меня величать. Господин в шляпе, смущенно кашлянув, молвил: и все-таки подумайте на досуге, знаете, вот, вспомнил, человек, разбирающийся в арбузах, может по стуку в дверь определить, какая там проживает семья, а мы, если хотите, по стуку должны определить качества мыслей ребенка. Его занятая ахинея повеселила, однако я понял, на что это он намекает со своими арбузами. И вот гражданин покидает класс, заговорщически подмигивая три раза: правым глазом, левым глазом, правым глазом.

Всю свою сознательную жизнь я старался профессионально расти, например, недавно выучил новое слово, килешевать, то есть перемешивать. И от учеников мне хотелось бы того же, роста. Начиная им рассказывать, прилипнув спиной к бледно-коричневой доске, рассказывать начинаю: да будет вам известно, что Александр Дюма, видя, как плохо граждане покупают билеты на спектакли, поставленные по его пьесам, – гляжу на класс, не шелохнутся, растут. – Использовал до безобразия хитрый прием, он подавал в парижские газеты заметки следующего содержания. – Девочка в парандже, кажется, Анна отчаянно чешет покрасневшие мякотью арбуза щеки. Девочка с голубыми волосами, не поднимая руки, кричит мне: у Анны приступ аллергии, слышали, слышали? Фаина Яблонски, опознанная мною, девица, в которую можно было скоропостижно влюбиться, конечно, будь ей восемнадцать лет, сказала: и что же он подавал в газету? Девочка в парандже тем временем показывает большой палец, мол, ничего, Курдистан будет за нами. – Придет ли сегодня в театр господин, который смотрел на меня так пристально, что заставил покраснеть как-то вечером на представлении «Нельской башни», для него будет оставлена записка, точка, влюбленная, – охотно поясняю. – А где у вас медсестра, кстати? – задаю важнейшим вопросом, Анна вдруг начинает хрипеть, Анна страдает. Классная комната, судя по всему, крутится перед ее глазами, она бесповоротно падает под парту, где благополучно затихает. Я стою в нерешительности, Анна, или то, что осталось от Анны, начинает чем-то шуршать. Слышится пшик ингалятора, девочка в парандже садится на место, как ни в чем не бывало. – Можете себе представить, сколько людей после этого посетило театр, желая посмотреть на послание, адресованное только им, – начинаю флиртовать с аудиторией, начинаю подбираться к основам социал-дарвинизма. – Дюма не придурок, он понимал: чтобы получить деньги, ему необходимо приспособиться к ситуации, привлечь сограждан, что деньги ему подадут в определенных случаях, просто так не подадут, – подытоживаю. Предположительно мой сын взвешенно постановляет, я внутренне вздрагиваю, только б у него не развязался пупок, только бы получилось у него сказать весомое слово: знаете что, Михаил, тема мне кажется интересной, но надо учитывать, что оглушенным шумом собственной тревоги, как правило, разбираться нужно в шуме с помощью специалиста. – Верно,

молодой человек, до чего верно, смею взвалить на себя полномочия специалиста, – улыбаюсь, словно китовая акула, покачивая головой одобрительно.

– Дюма признал двоих детей, и даже воспитывал их потом, но лишь двоих, Александр Дюма сам открыто заявлял, что по свету раскидано не менее пятисот его отпрысков! – рассказывал разительно я, проходя вдоль бурого длинного шкафа, из которого на меня смотрели скорбные портреты литературных деятелей. – Ребята, вы понимаете, что происходит, Александр Дюма был кукушкой! – подмигнул непостижимому Лермонтову. Подмигнул убийце Лермонтова, ведь смерть произошла из-за собственной гордыни поэта. – Он же признал двоих, – несмело возразила девочка с голубыми волосами, желтыми линзами, у нее были кошачьи глаза, в таком-то возрасте. – Мало вы понимаете в отцовстве, он признал преступно мало, – сказал совершенно убежденно я. А потом, знаете, меня озарила идея, вернее, я так подал, чтобы ученики подумали, что идея озарила, на самом же деле ничего не озарила. Тему для этюда держал в голове с тех пор, как заговорил о Дюма: ребята, давайте вы напишете рассказы о своих отцах, бывших и будущих. Класс некоторое время погудел, повозражал для приличия, потом идея всем очень понравилась, тем более мало у кого действующий отец наличествовал. А тут можно вспомнить, и даже пофантазировать. Раскрасневшийся, словно епанча на древнерусском князе, я вышел в коридор перевести дух. Нестерпимо хотелось пить, а еще некая странность ощущалась в теле моем. Кончики пальцев показывали иголками невидимые маленькие фашисты, в шейный позвонок постучал дятел, и каждый удар его клюва был созвучен сердцебиению Земли. Вспомнилась темпераментная Екатерина Михайловна в связи с делами сугубо телесными. Когда-то матушка говаривала: каждой же, послушай меня, каждой твари ведь по паре, ну, найди себе кого-нибудь, родите мне внука. Но даже тут я ей надерзил, и родил правнука. К чему же подобные измышления, кажется, я всерьез в тот момент замыслил на ком-нибудь основательно жениться, не хотелось бы промахнуться, сейчас повсюду активизировались откровенные психопатки. Топая по коридору, я размышлял, принято ли здесь шмонать учеников по окончании урока. На предмет, скажем, неправильных смыслов, а то нахватают на уроке запрещенных суждений, потом расхлебывать психологам, социателям, социальным службам.

Мой сынок сидел на подоконнике, постукивая ногами в синих замшевых башмачках по батарее, такой вездесущий, такой трепетный. Он бережно кушал полбуханки черного хлеба, двумя руками держал, должно быть, боясь просыпать крошки. Зайчик, подумалось умилительно, что же ты пережил, неужто тебе кто-то посмел показать порнографические кинофильмы. Отчего я подумал о порнографических кинофильмах, не знаю. Судя по всему, мозг каким-то образом уязвал мнимые психологические травмы из детства и дальнейшее поведение в более взрослом возрасте. Помню, лет в пять нашел отцовские кассеты, там разное плохое тетеньки делали со своими бесмертными душами и лошадьми. Достав из поясной сумки бутылку ряженки, я совершил шаг по направлению к сыну. Федор протянул мне левую руку для рукопожатия, и эта детская мудрость очень меня тронула. Каким самосознанием необходимо обладать, само понимание того, что правая рука замарана большим числом грязных рукопожатий, и не раз эта правая рука побывала в руках убийц, шлюх, наркоманов. А он протянул мне левую, невероятный ребенок. Пожалуй, да, пожалуй, это мой сын, пусть и не усатый, как Маннергейм, но всемо свое время, Москва не сразу ведь строилась. Я угостил ряженкой его, и он вприкуску с хлебушком пил кислomолочный напиток. Немедленно мне захотелось подарить своему ребенку бритву на будущее, вдруг у него нету. Рано, подумал, любуясь парнишкой. Он в своем красном джемпере без рукавов, с нелепой синей бабочкой на резинке походил на весьма обольстительного поросеночка. – Хочешь хлеба?! – закричал он как полоумный. Едва сдерживая слезы, отрицательно помотал головой, так и я в его годы порою кричал во всю глотку, оттого, что боялся помереть в тишине. Генеалогические подобию и все такое. Какой добрый мальчик, наверное, ему бывает стыдно перед собой, добрым иногда стыдно перед собой, подумал. Родные люди, словно парный звон чайной ложки в подстаканнике, что выдает проводница на отрезке между Иркутском и Усолье-Сибирском припозднившемуся пассажиру, вот эти два не чужих человека вышли из школы. И завопили: славься

тождественность вкусов! Конечно, не так радикально. Это я себе уже навоображал. Мой учитель французского языка, Арсений Станиславович Дежуров, в былые времена говорил нам, ученикам своим: грешите, пожалуйста, без ошибок. И лишь спустя годы я понял, что же он подразумевал под этими словами. Наструганным тобою детям надобно прививать правильные ориентиры, газировкой не давать столоваться, шоколадом, сырками. Кажется, прописные истины, однако до меня дошло с опозданием. О, наш мудрый Арсений Станиславович Дежуров, что острейшим образом шутил: не судьба свела нас, дорогие студенты, а исключительно алкоголизм; где вы сейчас, что на вас надето.

Вызвавшись проводить своего сына, который и не подозревал о нашей с ним связи, я чрезмерно разволновался. Как бы вам получше объяснить, хотелось произвести на ребенка, не ведавшего, что он мой ребенок, определенное впечатление. Но вместе с тем не впечатление нужно было Федору, понимал я. Быть может, воспитание, присутствие в его жизни, разговора по душам. Что же тебе нужно, многоуважаемый Федя, хотелось прокричать во всю глотку в его прелестное, слегка заостренное ушко. О чем думает он сейчас, пока мы молча бредем, о том ли, что он работающий телевизор в пустой комнате, работающий телевизор, как человек, беседующий сам с собою, как женщина, которая о чем-то мечтает, стоя у плиты. Оно непонятное, значит, кому-то враждебное, могу ли я оградить очаровательные мысли сына от разъяренных крестьян с вилами. От всех этих напыщенных профессоров, тех, кто в языкознание знает толк. Сумею ли не навредить, но быть полезным. Сумею ли поверить счастью отцовства. И не повторю ли ошибки отца своего, воспитавшего собственным отсутствием. Они шли мимо нахохлившихся воробьев на заборе, отлитые из одного металла, учитель словесности и мальчик, так порою бывают отлиты из одного и того же металла медаль за трудовую доблесть и снаряд.

Глава 7

Сочинения

«Вешние грозы напугали нашего пса Симеона, он скулил, забившись под батарею. Целое утро мой папка говорил всякую белиберду матери. Ты излюбила его мне? – спрашивал он, маша перед ее лицом фотографией Олега Даля, там, где он смерти смотрел в лицо и был рядовым зенитчиком. Папка нашел этот снимок под подушкой у матери, где лежали снимки прочих актеров, но почему-то именно Олег Даль ущемил его мужское самолюбие. Что же ты делаешь, ирод, спросил я в шутиливой форме, особо не рассчитывая на объяснения с его стороны. Папка обладал ораторским талантом, орал он что надо, его было невозможно переспорить. Он как бы оборачивал твои же слова против тебя. Не подумайте, он исключительно любил поговорить, никого при этом не пытал, ничего такого. События эти принадлежат весне. Мне исполнилось пять лет, память о тех событиях не дает мне покоя по сей день. На теле земли лежали предметы быта, разбросанные взрывом коммутатора. Папка работал на радиозаводе. Он хотел связаться со своими предками, то есть, можно сказать, строил телефон в прошлое, а связался с дурной компанией. Когда в сарае произошел взрыв, мать грустно заметила: о, как мне надоел этот иронический, скептический, воинственный двадцать первый век».

Я не расслышал, и был подобен глухой прачке Трине Рублис, тотчас переспросил рассказчика, Ульяна, бледнолицего, с копною роскошных вороных волос, мальчишку: значит, твой папка фантастический? Ребята сидели полукругом на пеньках, урок мы проводили на природе. У Люды Яковлевой, девочки с острыми, словно вопрос доступности жилья, чертами лица, на шее висел канареечный стильный дозиметр, попискивал. Пятьдесят пять микрорентген в час, я не поленился, встал со своего пенька, бывшего некогда сосной, колец насчитал сорок девять. Мне было важно сидеть на пеньке с нечетным количеством колец, знаете ли. На занятие явились все, подобная увлеченность делом вызывала лишь гордость за ребяташек. У моих слов краткое мгновенье не

было опоры, поэтому они принялись падать, где попало, задевая красотку Яблонски, моего сына Федора, самого удивительного в классе ребенка, посевшую ученицу Ольгу Николаевну, рядом с которой стояли два увесистых клетчатых баула. Ульян Петров, мальчик, рассказывающий о вещных грозах, уточняет: значит, фантастический. И завершает свое сообщение. «Его исчезновение стало для нас полной неожиданностью, дядя Густав, в чьем организме было чрезмерное количество синего метгемоглобина, отчего он имел голубую кожу, дядя Густав провел семейное собрание по этому поводу. Мы сидели на кухне, пили купец, то есть крепкий чай, дело табак сказал он, махорка у нас осталась, спросил он, ему ответили отрицательно. Тогда дядя Густав признался в том, что папка отправился в свое детство, в восьмидесятые, чтобы не вынести мусор августовским вечером такого-то числа. А дело было в открытой двери, в которую выбежала кошка, папка считал, не потеряйся она тогда, он бы вырос в совершенно другого человека».

Берет основательное, как топориче, слово пухлый рыжий Алеша Селезнев. Он в синем поло с нашивкой крокодила, его труды были изложены в общей зеленой тетради, оскорбленной неимением обложки. «По традиции, после каждого прожитого школьного дня матушка сжигала мою синюю форму в печи, чтобы ко мне не пристала зараза. Мой брат увлекался казнью кошек, моего брата матушка считала своим главным упущением, она говорила, что он сикает в карманы своих одноклассников, ворует, дерется. Все это он совершает в связи с низким социальным интеллектом, мама не сжигала его форму, вот и получился подонок». Все слушают его заворуженно. Младые отпрыски, едва успевшие вытянуться выше аршина, их уши-алоказии жадно ловят речь своего одноклассника, кисловатое пение кузнечиков, зеленоватое пение кузнечиков. Душистой свежесте веет из недавно очнувшихся ото сна долин. Поредевший туман, омывает наши стопы. – Отца я не помню, – вгоняет в глубокую, как постродовая, депрессию нас Алексей. Девочки тихо всхлипывают. Даже мальчики посуровели, сидят, избочившиеся, как боровики. Только Федор из фляжки попивает напиток, еле сдерживая смех. Весь такой подобный гражданину, осознавшему, что мир и другие люди существуют совсем не ради него, но сами по себе, что мы ложно истолковываем существование мира, слишком уж по-человечески, и что абсурдность существования пройдет, стоит лишь отвернуться и не смотреть. Треснувшая спинка божьей коровки, что примостилась на его фляжке, взмах крылышек, полетела. Селезнев, довольный произведенным эффектом, прикрывает глаза, беспардонно начинает похрапывать. Спрашиваю: Алеша, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Он похрапывать перестал, отвечает: летчиком, Михаил, летчиком. Зашелестели кроны деревьев, сухой смолистый аромат донесся. – А знаешь, Алеша, ты не печалься по этому поводу, Радищев говорил, отец чадолюбивый, скажи, не захочется ли тебе сынка твоего лучше удавить, нежели отпустить на службу? – с выражением читаю по памяти ему. – А разве Радищев дурак, Алеша, ведь из Москвы в Петербург умудрился доехать, не каждому ведь удастся? – начинаю занудствовать. – Положим, не дурак, пусть кто-нибудь еще почитает, – пробубнил Селезнев. Неподвижная чуланная сырость, ветки треск, оживились кусты можжевельника. Ученики вертелись, перешептывались, наверное, цветущая флора подобным образом на них действовала. Другой паренек, его черные, буквально-таки кипящие смолой глаза, нетерпеливо, глядели на меня. Стоило кивнуть одобрительно, и парнишка принялся читать свой рассказ.

«Так как мы живем в местечке 8142, в отдалении от крупных городов, мы не можем развлекаться качественно, как, например, это делают люди в городе 812. Мой батя родился в городке 8432. Я всегда хотел посетить 8432, татарин это звучит гордо, мой батя был татарин. В молодости он состоял в банде, кажется, она называлась “Тяп-ляп”». Коля Иванов переместил свои большие очки на край носа, они там держались на честном слове. Я отметил его любовь к математике, также от меня не ускользнула его тяга к прекрасной парцелляции. Светло-коричневые брюки плохо на нем сидели, мешковато. «Так вот. Батя научил меня изучать историю любви по инициалам, коих было великое множество вырезано на скамейке в нашем парке, который открыли на двадцатилетие чего-то. Еще благодаря отцу я знаю одну истину, которая мне обязательно пригодится в жизни, мужчина всю жизнь карабкается вверх по лестнице, чтобы, в конце концов, понять, что он поставил свою лестницу не к той стене. Год назад он уехал к своей третьей семье,

откуда прислал очень странное сообщение, состоящее из номера 570-25-11, и такой вот приписки: однажды вам, дорогие домохозяды, позвонят по этому номеру, звонящий представится Мишей, не бойтесь, Миш вообще бояться не следует. Он расскажет вам, в каком я сейчас месте. Мы с матерью востепенулись, попытались связаться с батей, однако тот пропал. То есть вообще пропал, даже во всероссийский розыск объявили, никаких результатов». – Вот, что, Николай, в нашей русской литературе, чтоб вы знали, описываемый герой настолько уже выпотрошен, изучен и рассмотрен, что прямо создается ощущение, страшный суд какой-то творится, – сказал озадаченно я, смутная догадка поразила меня относительно, упомянутого Миши. – Вам, я считаю, удалось написать по-взрослому обстоятельный текст, поздравляю, коллега, – номер, озвученный парнем, был смутно знаком. Ученики нерешительно захлопали вразнобой. В дискуссию вступил крепкий юноша.

«Мой отец любит повторять: я человек совестливый, семьянин к тому же. Но это не мешает ему добывать мои слезы с особым цинизмом. Пусть я и понимаю, что мои слезы нужны родителям, но все-таки неправильно это как-то. Выглядит он угрожающе, словно Невадский полигон, когда там взрывали. Он очень меня достал, спрашивает беспрестанно, с чего же, мой дорогой сын, цивилизация началась. Всегда думал, что же он хочет услышать, ведь ответ, колесо, его не устраивал, такой это неугомонный человек. Значительно позже я догадался, когда мой неповторимый отец прикатил с работы бочку бензина. Я догадался, цивилизация началась с огня, жарили мамонта на костре, грелись и все такое. У него, моего отца, крепкие, точно спирт, руки, он однажды подбросил меня не совсем удачно, и я все понял. Ну, где находится пустыня Невада, как связаны карандаш и аудиокассета, как держать антенну, чтобы телевизор нормально показывал, и что нумерация вагонов начинается с хвоста, а также почему чудовище Альф такое обаятельное. Подайте мне уже правду так, как подают, например, пальто, а не швыряют, например, мокрое полотенце в лицо, любит повторять он. Да, он смешно шутит, потому что у него было тяжелое детство. Был обычный день».

Меня как учителя стало подмывать задать школьнику вопрос, что такое обычный день. Вот, допустим, когда человек приходит с работы, он первым делом принимается мыть руки. И когда он принимается мыть руки, а перед тем, как мыть руки, необходимо включить воду, понятное дело. И вот человек включает воду, зачастую начинает бежать горячая вода. Вместо того чтобы добавить воду холодную, человек старается быстро помыть руки под горячей водой, которая к тому времени превращается в совершеннейший кипяток. Я к чему, процесс помывки рук горячей водой, без привлечения холодной, является в определенной степени обычной процедурой. Однако, что прикажете делать с тем небольшим процентом людей, не забывающих включить воду холодную. То есть нельзя сказать в полной мере, стремительная помывка кипятком собственных рук – обычное дело. Мне было интересно понять, обычный день, что это такое. Однако не стоило перебивать школьника в столь раннем возрасте, мало ли, вырастет несчастным человеком. Майор продолжил, кажется, из всех рассказчиков он один рассказывал об отце в настоящем времени, и это характеризовало его как парнишку, воспитываемого в традиционной семье, где наличествуют мама и папа, а не родитель один, родитель два. Бакенбарды Антона Сидорова значили то же, что Уильям Блейк для английского народа, бакенбарды являлись в определенной степени гордостью.

«В этот обычный день он стал вспоминать о том, как они в молодости зарабатывали деньги. Он очень не любит нуворишей, их капитал обычно строится на нечестных основаниях. Поэтому он привык с малолетства зарабатывать собственным трудом. Они с компанией единомышленников, тех, кто тоже привык зарабатывать собственным трудом, патрулировали районы своего города, все происходило в республике Казантип. Во время патрулирования им встречались разные металлисты, панки, в общем, патлатые, как их называет отец. Они с товарищами ловили таких, наголо брили, а волосы продавали в парикмахерские, из них потом делали парики. Затем отец открыл собственный цирк, он рассказывал, как в цирке выступал танк, мы с матерью замороженно смотрели его рассказы, каждый раз как в первый. Отец у нас деятельный человек. Его любимая присказка: все вы, Васьки, слышащие, да журущие, немедленно прекратите. Он вечно придумывает

какие-то прибыльные мероприятия, хотя мама говорит ему: одумайся, Игнат, ты же милиционер, куда тебе эти бизнесы на стороне». Вдруг Антон Сидоров, майор, сын майора, примолк, исчез физически. Пень кремневого дерева, или же по-простому булыжник, с расстеленным на нем клетчатым шерстяным пледом оказался пуст. – А куда, собственно, пропал у нас Антон Сидоров, он же майор, правильно понимаю? – спросил вареных, словно брокколи, что так любит моя мать, ребяташек. – А кто ж знает, телепортировался, он, когда смущается, всегда так поступает, – разъяснила флегматичная Регина Шевцова, дева с черными губами, точно наелась угля, дева с зелеными змеиными зрачками. – И часто такое происходит, впрочем, давайте, Регина, хоть вы почитайте, окажите честь, – предложил ей выступить.

«Мой папочка жил в аварийном доме, и сам он являлся в некотором роде аварийным человеком. Мы жили на Украине». – А почему вы, девушка, говорите с большой буквы Украина, позовольте спросить? – перебил ее, мне показалось это странным, правомерна ли тут большая буква. – Потому что это топоним, – не растерялась она. И продолжила: честно говоря, меня пугает неумолимый марш времени, медленно ведущий всех нас к неминуемой гибели, мне близка позиция моей старшей сестры по этому поводу, она фармацевт и я хочу быть фармацевтом. Ландышевые сережки покачивались поодаль, гречиха с красными лепестками не покачивалась. Ладный верстовой столб, откель взявшийся тут в лесу, выглядывал из-за кустов калины. Лакированный трутовик, весьма редкий гриб, вырос на тополе. – Что ж, – произнес я неторопливо, – почетно быть твердым наизусть, быть может, заучиваться украдкой, а при жизни, положим, быть не книгой, но тетрадкой, Регина, как вы думаете, труды фармацевта... – Не успел договорить, как Шевцова запротестовала: секундочку, Миша, я сказала то, что сказала, ни больше, ни меньше, все остальное это ваша интерпретация. Сколь иронически подкованная девчонка, подумалось. Подростковый бунт, беспощадно-бессмысленный был продемонстрирован целому учителю словесности.

Внезапно в горле запершило. В горле моем как будто дикий шиповник, ранящий сад мироздания, пророс. Горело маковое поле, цветы зла горели, дым окуривал случившихся нас всех. Я спросил, хотя и знал тот запах: чем это так воняет, уважаемые ученики? Ольга Николаевна с готовностью ответила: так маковое поле опять подожгли. – А что это у тебя там, Ольга Николаевна, – обращаюсь к ней, показывая пальчиком на баулы. На девчоночьей шее висела на цепочке сушеная куриная лапка, наверное, от сглаза. Девочка в бордовом строгом костюме, похожая на потомственную секретаршу, сказала пасмурно: не стоит, это мой крест. – Попрошу вас не откалываться от коллектива, – призываю ее держать ответ. – Моя мать была редактором еще в советское время, и все книжки, которые она считала, что отредактированы не так, она заставляла читать, заставляет читать до сих пор, в общем. – Так, – сказал многозначительно, – ты позволишь? – Открываю первую сумку, перебираю книги, вчитываюсь в заглавия, мама дорогая, думаю, какой ужас, до чего остроумно, до чего безобразно. «Маникюр для покойника, Покер с акулой, Сволочь ненаглядная, Гадюка в сиропе, Обед у людоеда. Созвездие жадных псов, Канкан на поминках, Прогноз гадостей на завтра, Хождение под мухой, Фиговый листочек от кутюр, Камасутра для Микки-Мауса, Квазимодо на шпильках, Но-шпа на троих, Синий мопс счастья, Принцесса на Кириешках, Лампа разыскивает Алладина, Любовь-морковь и третий лишний, Безумная кепка Мономаха. Фигура легкого эпатажа, Бутик ежовых рукавиц, Золушка в шоколаде, Нежный супруг олигарха, Фанера Милосская, Фэн-шуй без тормозов, Шолинг в воздушном замке, Брачный контракт кентавра, Император деревни Гадюкино, Бабочка в гипсе, Ночная жизнь моей свекрови, Королева без башни, В постели с Кинг-Конгом, Черный список деда Мазая, Костюм Адама для Евы, Добрый доктор Айбандит, Огнетушитель Прометея, Белочка во сне и наяву, Матрёшка в перьях, Маскарад любовных утех, Шуры-муры с призраком, Корпоратив королевской династии, Имидж напрокат, Гороскоп птицы Феникс, Пряник с черной икрой, Пятизвездочный теремок, Коррида на раздевание, Леди Несовершенство, Гиблое место в ипотеку, Большой куш нищей герцогини, Жираф – гроза пингвинов, Вещие сны Храпунцель, Хорошие манеры Соловья-разбойника, Мамаша Бармалей, Девочка Красная Тапочка, Коронная роль Козы-дерезы, Малютка Интрига, Государыня Криворучка».

– Что же это, целая серия такая, – говорю пораженно, – какое издевательство. – Седая школьница махнула рукой, ее жест был исполнен печали: это еще ничего, вот когда она совсем упивается словесностью, бывает, буянит, в ход идут книжки издательства «Ёш гвардия», на узбекском, «Мектеп», на казахском, «Маориф», на таджикском. Продолжая сидеть на поляне, я вдруг осознал, часть учеников безвозвратно утеряна, негодяи, подумалось, а после решилось, дети вправе сменить символизм не акмеизм, дети вправе сбежать с урока, ничего противоестественного здесь нет. – А самой тебе что интересно? – спросил юную бухгалтершу, быть может, она станет госпожой пенициллин, Зинаидой Ермольевой, а это нелепое прозвище, данное мною, бухгалтерша, сорвет порывом институтского ветра с нее. Девчонка пригладила волосы, заколотые салатovým крабом, задумалась, выпятив челюсть. – Как вам сказать, Михаил, я созреваю быстрее своих сверстником, с этим ничего не поделаешь, мои прабабушка и прадедушка жили в Оренбургской области, как раз недалеко от Тоцкого полигона, как раз недалеко от пятидесяти четвертого года. – Талантливая девочка примолкла, словно небезызвестный поэт на словах: ночь завернулась в туман. – Допустим, мне нравится Мишель Уэльбек, – она с вызовом посмотрела на меня, ее лисья улыбка что-то да значила. – Нам ни к чему Мишель Уэльбек, ведь у нас есть Евгений Жаринов, способный дивным образом вербализовать свои, порою желчные, однако не лишённые легкости мысли о литературе, недаром на дачном участке Евгения Жаринова растет огромное количество вербных кустарников, – стал делиться с нею соображениями. Прелестница, кажется, не отдупила, кто же такой Жаринов, да, подумалось мне, нам еще предстоит осмыслить масштаб личности Евгения Викторовича. Коллективная тень облаков легла на поляну. – Знаете, – задумался вслух Федя, – мне кажется, сейчас начнется дождь, а мы ни к чему конструктивному не придем. – Эх, Федя, знаешь ли ты, что море и любовь не терпит педантов. Хотя бы и дождь, ничего этот дождь не изменит. Только ты и остался, дорогой мой человек, даже Ольга Николаевна, что беседовала вот-вот со мною, и та со своими баулами, пропитанными сюрреалистическими нарративами, покинула нас.

Облако в форме собаки бежало за облаком в форме носорога. Тучи летели с севера. Я сказал сыну о невозможности продолжать урок, сказал: самостоятельную у меня никто не сдаст. И сразу же рассмеялся, чем несколько смутил пацана. На его белевочной рубашке с коротким рукавом плелась красно-черный каракурт. И все мое нутро в тот же миг затрепетало, медленно я поднялся с пенки. Ядовитая дрянь могла испортить сына, чего ей делать категорически не позволялось. Вдруг глазные шары мои залило ослепительным светом. Волосы на голове зашевелились, а кожу лица обдало теплом, равнозначным теплу, получившемуся в результате поцелуя-обещания Эраста и Лизы. Мир грохнулся в обморок. Прислонив ладони к глазам, я различил, как на рентгене, суставчики, косточки свои. Последовал грохот, дорогой читатель, ты мог слышать подобный грохот в тысяче восьмьсот восемьдесят третьем году в Индонезии, когда вулкан Кракатау извергнулся. Длилось столь примечательное событие недолго, должно быть, пара минут пролетела. Мы с Федором, чрезвычайно взволнованные, стояли вдвоем на поляне, несколько тополей были поломаны, пенки дымились. Я спросил первое, что ворвалось в голову: а девочка Анна сегодня на уроке присутствовала, мне ставить прогул? Словно преданная Каштанка, ученица в парандже вернулась к своему учителю словесности, эта добродетельная молодая особа выбралась из близлежащих смородиновых кустов. – Это не я, – протянула жалостливо Анна. Ее паранджа в мелких веточках, хвойных иголках, глаза заspanные. – Простите, я уснула на муравейнике, но я все-все слышала, о чем вы тут беседовали, – нос красный от аллергии, шмыгает. Я не знал, что делать в таких ситуациях, разболелась голова, впрочем, инсульта по ощущениям не ожидалось. – Послушайте, ученица такая-то, произошло форменное безобразие, и я на правах преподавателя готов сопроводить оставшихся вас по домам. – Меня решительно не надо никуда сопровождать, – сказала уверенно Анна, – я тут живу в двух минутах, за мной сейчас братья приедут. Девчонка нырнула обратно в смородиновый куст, была такова. Мы остались с моим ребенком вдвоем.

– Мне нравится Алексей Толстой, Михаил, про вурдалаков, – два шага у Федора примерно как у меня шаг. Подобным образом ребенок ответил на вопрос о своих предпочтениях, заданный

пятью минутами ранее. – А как ты относишься к тому, что люди выдумывают себе пороки с извращениями, чтобы не прослыть пресными? – в шутку поинтересовался у мальчика я. На груди его яркого, цвета пижмы, комбинезона был значок барашка, бе-бе-бесишь, говорил барашек. Переходя железную дорогу в неполюженном месте, увидел, как рябит над рельсами горячий воздух. Опоры ЛЭП и провода, голова старого грязно-зеленого поезда, брошенная в поле. Будничные звуки исчезли, не говорил отдаленный электрический голос диктора на вокзале, птицы не щебетали, даже мы, когда, наступая на мелкие камешки, не слышали пения камешков. На улице, одетой в лето, невысокие дома казались неживыми, рукою чистой и безвинной Федя ухватился за штанину моих льняных оливковых брюк. Выйдя из лесу, мы ощутили в полной мере гневливое молчание города. Вывеска детского сада глядела на нас отрешенно глазами медвежонка в глубоком экзистенциальном кризисе. Я предложил ребенку держаться вместе, он вроде как согласился, мы шли мимо колонки, подлеска, гастронома, ставни избушек были закрыты. Ни собак, ни кошек не наблюдалось. Лишь из будки возле белого двухэтажного здания администрации в нас вперились два желтых глаза. – Послушай, что-то ваш город перестал внушать мне доверие, давай побыстрее тебя проводим, а потом я свяжусь с каким-нибудь обстоятельным человеком, – сказал, раздумывая. И стоило мне произнести эту вещь, как впереди, у зеленой голубятни, показался человек. Вспомнилось вдруг, Абигейл имела привычку называть людей человечками, сколь невероятная женщина повстречалась некогда, в который раз подумалось мне.

Грядущий нам навстречу человек, чье лицо пересекло красное родимое пятно, похожее на разлитое вино, его деревянная походка негативным образом сказывалась на нашей психике. Он был совершенно не похож на человечка. Его щучий рот выдувал невидимые пузыри. До гражданства было метров сто, сынок настойчиво попросил, в его голосе слышалось волнение: Михаил, давайте уйдем, я чувствую самый настоящий ужас при виде настоящего прохожего. Некстати припомнил, как называется подобная походка, подобная походка, вызванная эффектом макаронных ног, называется хлебобулочная, если я ничего не путаю, если путаю, поправьте, дорогие читатели. Так вот он приближается, выцветший кожаный плащ с меховым воротником в подобную-то жару, плохо побритый бугристый череп в порезах. В целлофановом пакете у него перестукивались, тронутые ржавчиной, гайки. Мой маленький дипломат ойкнул, с ужасом глядя куда-то мне за спину. – Кто старший у вас, – интересуюсь, а сам руку в поясную сумку, там отвертка. Справа замечаю движение, сообщник. Зрочки что у вареной рыбы на желтушном лице у того, что справа, фиксирую боковым зрением, оно у меня достаточно развитое, боковое зрение. Рука легла на мое плечо. Незнакомец держит весьма крепко, словно условный срок от повторного совершения преступления гипотетического человечка, он держит меня крепко за плечо. Вкрадчивые шаги за спиной, каинские совершенно действия происходят. Стараюсь не терять самообладания, мысленно читаю стишок Агнии Барто: купили в магазине резиновую Зину, резиновую Зину в корзинке принесли. Мальчик прижался ко мне, дрожит, как стиральная машинка. И я решаю дать им точку-опору, чтоб они об нее благополучно споткнулись, эти в высшей степени неприятные необычные граждане. Отвертки взмах, жалостливое мычание моего пленителя. Секундная вспышка в мозгу, образ кабаньей туши, на которой пишут чернилами номер, к чему бы это. Тело мое инстинктивно подалось вперед, все происходило чрезвычайно быстро, послышался звук рассекаемого воздуха позади, Федя повторно ойкнул. Тот, что в кожаном плаще, выронил свой мешок с гайками, неестественно шагнул навстречу, я ушел по диагонали, увлекая за собой Меркулова. И мы бросились наутек.

– Какой ты досточтимый, – с уважением крикнул малец, пока мы бежали, как два краба. – Не без этого, – подтвердил, хорошо знакомый вам я. И пароксизм сердечного органа заставил мое лицо скривиться, подобное мальчишеское отношение тронуло. – С тобой все нормально? – перешедший на ты мальчик, в отличие от Святослава Игоревича, идущего на вы, вызывал крайне положительные эмоции. За нами никто не гнался, мы замедлили шаг. Три силуэта остались далеко позади. Покачиваясь, они провожали нас взглядами. Навалилось гнетущее чувство неправильности окружающего мира, обескураживающее чувство. Лицо горело, в голове пульсировало,

хотелось спать. Звуки, созвездия звуков робко принялись зажигаться. Однако их интенсивность была слаба, например, гудение самолетного двигателя доходило до нас волнами. Ух: слышно отчетливо. Ух: приглушенно. Ух: отчетливо. Ух: приглушенно. Ржавел красный трактор, лишенный колес, чуть поодаль от финской коралловой избы. На просторной террасе которой покачивалось мягко пустое кресло-качалка. Песок попадал в кроссовки. Безнадзорный грязно-синий ларек с заколоченным окном, что граничил с заросшей сорняками баскетбольной площадкой, привлек мой взгляд. – Федя, – обратился к мальчику, – давай немного передохнем, давай спрячемся вон в том ларьке. Он тяжело дышал, крутился по сторонам, не зная, откуда ожидать опасности. Наши тени перестали быть равнозначны нашим юным телам. Я обратил внимание также на то, как силуэты на асфальтовой дороге активно жестикулируют руками, но ведь мы просто стояли недвижно. – Ого, – только и смог пролепетать сыночка. К нашим, не нашим теням подошла иная тень, весьма содержательная, стала нашим теням показывать средние пальцы.

Изо всех сил я ухватился за склизкую, словно нутро залежалой дыни, скобу, дверь не поддавалась. Это село все больше действовало мне на нервы, ноги дрожали, точно я приподнял пятидесятикилограммовую штангу. Федор широко раскрывал рот, как перед зубным врачом, барабанные перепонки переносили колоссальный стресс. Ибо интонации мира беспрестанно менялись, хруст, шелест, скрип: звуки, начинаясь, тут же исчезали. Наконец, вспомнив произведение Александра Грина и разозлившись как следует на неверующих в алые паруса горожан, я со скрипом распахнул дверь. Осиянная лучом телефонного фонарика утроба ларька вызвала щемящее чувство тоски. Как будто бы ночь заправили в пододеяльник, мама, папа, ребенок, все готовятся ко сну. А беспризорник, чеканя мяч под окном, храбрится, говоря, ничего, ничего, я как-нибудь выкарабкаюсь самостоятельно, не волнуйтесь за меня, кушайте свой замечательный борщ, глядите прекрасные фильмы, все нормально. Обособившись от зловещих теней в старом ларьке, я спросил сына, требовалась обыкновенная болтовня, чтоб отвлечь: а зачем вам столько муравьев? Мы сидели под столом, редкий свет, что проникал через прохудившуюся крышу, толком ничего не освещал. Дверь подпирала трухлявая тумбочка. Спертый воздух, мятые коробки нагромождены до самого потолка, запах старой одежды.

– А мы по заветам Марка Твена провели эксперимент, – сказал серьезно мальчик. Признаться, не помнил, какой он провел эксперимент, этот озорник из Флориды. Федор принялся мне обстоятельно рассказывать, слыша мою дремучесть в данном вопросе: – Ну, мы решили с Екатериной Михайловной проверить, какая у них вера в божественное. – И что же выяснили, – интересуюсь, сам же проверяю, крепко ли окно забито. – Да никакая, они сахар выбрали, причем все, луговые, бледноногие, древоточцы, даже амазонки. – Улица озарилась совершенно неприличным женским криком, полным ужаса и омерзения: уйди! – А каким религиям они сахар предпочли, – усердно отвлекаю от вопля сыночка. – Ну, мы сделали маленькую мечеть, церковь и это, капище, – говорит он неуверенно. Помимо отвертки у меня нашлась пачка сменных лезвий, палочку бы теперь отыскать, чтобы булаву сподручней было смастерить, думаю. – Перед входом в эти три здания мы положили белые бумажки, на них уже нанесли замазку, деготь, капнули скипидар, не помню, что, куда, но нанесли. – Слышится возня, кто-то сучит ногами по песку, хрипит. – Никуда муравьи не пошли, разбежались, даже друг дружку начали пожирать. Потом перед входом в православную церковь, значит, кусочек сахара положили. Выпустили муравьишек, они проигнорировали деготь, замазку, устремились в православную церковь все без исключения. Ну, думаем, отдают предпочтение христианской религии, но Екатерина Михайловна очень дотошный человек, она переместила сахар к мечети, а там, где был сахар до этого, разместила скипидару. Ну, еще раз муравьям дали выбор, они опять к православному собору. Мы очень обрадовались, говорим между собою, коллеги, поздравляем, дело пахнет премией. Рано радовались мы, насекомые отступились от христианской веры, предпочли магометанство. Выводы были поспешны, сахар перекочевал к порогу другому, насекомые туда. Мы же пришли к неопровержимым выводам, что муравьиная религия противоположна человеческой, человека тянет к вере истинной, а муравья туда, где выдают сахар.

Сидя плечом к плечу в полутьме, внезапно мы заговорили о сказках и сказочниках. В частности, об отцах, мальчишка сказал, что тема эта была ничего такой, он обязательно что-нибудь сочинит, пока же у него отсутствует нужное количество материалов. Разговор вышел грустным, отчего-то вспомнилось прощание с Гансом Андерсеном, незадолго до своей кончины он обсудил с композитором подходящую музыку. Мужчина предположил, что большинство провожающих будет детьми. Поэтому он попросил композитора подобрать ритм, совпадающий с детскими шапочками. Совершенно, как мне кажется, зря поведал мальчишке об Андерсене. Федор обдумывал сказанное мной некоторое время, потом сказал: ого. Я решился разведать обстановку, отогнул краешек фанеры, закрывающей окно. В сумерках угадывались костры, горящие на соседней улице. Послышались совиные: у-у-у-у-у! Цепочка горящих факелов приближалась к нашему убежищу. Надрезанным голосом я сподобился разузнать, не разволнуется ли мамка. Федя сообщает, что дома уж никто не ждет, матушка нынче в какой-то деревне на берегу Белого моря на раскопках, а за ним присматривает соседка, у которой чудовищная подагра, да и то многолетняя, да и то пожилой человек, разве уследишь за ребенком-то в таком подвижном возрасте. Меж тем на улице продолжало раздаваться, только теперь как будто бы вокруг нашего ларька: у-у-у-у-у! И даже мне, повидавшему на своем веку, как молодой человек в ресторане быстрой еды случайно вылил на себя горячее масло, в котором жарилась картошка, не на шутку встревожился. Весьма кстати под прилавком нашлись обломки тяжелого стула. Мои руки почувствовали умиротворяющую тяжесть изогнутой, резной ножки, я решил вступить в неравный бой с целым городом, и если мне суждено погибнуть, пусть так. За Федю, рассудил, можно и пострадать.

– Михаил, а расскажите что-нибудь, раз уж нам с вами предстоит ночевать вдвоем, – Федя вывел меня из ступора. Завыwania питекантропов отдалялись, постепенно вернулась способность мыслить конструктивно. Я лихорадочно стал перебирать в уме варианты, парень обладал хорошим литературным вкусом, бульварным чтивом его не развлечешь, а про Муромца на печи рассказывать как-то поздновато. О чем же рассказать, о чем же. – Один мальчик однажды вырыл ямку в земле, а затем поместил свою ногу до самого колена в эту ямку, и так простоял двенадцать суток, не пивши, не евши, страшно тот мальчик отошал, – начал я. – И что же потом, нет, зачем он так поступил? – Федор громко зевнул, на прилавке лежал мой телефонный аппарат, светил, его свет как будто мигнул. – Все для того, сынок, – я сказал сынок, бог ты мой, Меркулов, кажется, не расслышал. Воспользовавшись заминкой, я продолжил: мальчик желал, чтобы нога его сделалась корнем, а сам он сделался растением, его мотивы мне неизвестны, давай укладываться, заяц, время позднее. Наугад взял коробку, раздербанил ее отверткой, в нашем распоряжении оказалась гора платьев. Наскоро соорудил гнездо, как говорит мама, свинячье гнездо, улеглись. Совсем скоро я слышал мерное сопение Феи. Протянув руку, нащупал детское плечо. Стал засыпать сам. Как вдруг, быть может, минут через десять закричал экспрессивно сын: японский городской! – Ты чего, – я вскочил ошалелый, стукнувшись лбом о прилавок, завозился с телефоном, фонарик никак не желал включаться. Заря вечерняя, окатившая золотом весь мой горизонт, звездочки, Юпитер, Венера пляшут перед глазами, непонятно, что с ребенком, представляете, какое у меня тогда было состояние. – Я тут без лекарств уснул, Миша, – радостно сообщил Меркулов. И добавил более сдержанно: а еще мне снился черный пионер, тянущий к моему горлу скрюченные пальцы, спрашивающий, сколько стоит галстук. – Так семьдесят пять копеек, в следующий раз так и скажи, семьдесят пять копеек, он отстанет, не посоветовал простодушно ребенку. Меркулов, кажется, поверил. Сказав: ладно.

Улеглись опять, теперь уснуть не получалось. Мальчишка спросил откуда-то с изнанки тьмы: Михаил, а вы на печатной машинке когда-нибудь печатали? – Печатали, Федор, печатали, – вспомнился ундервуд, подарок Абигейл на годовщину нашего брака. – А знаете предложение, где все буквы алфавита присутствуют? – К сожалению, нет, Федор, – отчего-то я заулыбался темноте. – Съешь же ещё этих мягких французских булок да выпей чаю, – с задором говорит мальчик. – А знаете, Михаил, для каких таких целей предложение составили? – К сожалению, нет, Федор. – Слышу, как мальчишка прямо-таки весь затрясся от нетерпения, заворочался, рассказывает:

а это для проверки пишущей машинки, все ли буквы набираются. Ах ты мой маленький мастер неожиданной концовки, маленький О. Генри, подумалось с теплотой. И тут же мысленно поправляюсь, нет, О. Генри с тюрьмы начинал, сыну не пожелаю такой печали. – А вообще, Михаил, слухи о моей смерти сильно преувеличены, – мальчишка вспомнил озорника из Флориды, а потом премило стал похрапывать, поверженный сном.

Глава 8

Это мы, хронические ипохондрики

Не совсем надеюсь, или можно даже сказать, надеюсь вопсылы, ведь в конечном итоге, по существу, если помыслить. То есть никоим образом, не касаясь значения дневника как источника письменной речи. Что в известном прочтении будет являться лишь вспомогательной функцией, не только лишь, но постольку поскольку. Исследовательский интерес обусловлен особым значением, или коротко: *nota bene*. Что в равной степени определено несовершенством известных способов запечатлеть иными возможными методами. Или, вернее, довериться Гутенбергу. С оговорками, впрочем, в достаточной степени, чтобы сделать предлагаемую дневниковую форму самоцелью. А также неким надежным посланием тем, кто будет читать по слогам. В подобном ключе изъясняется матушка в минуты душевного смятения, уважаемый дневник. Говорят, человек за жизнь умудряется проглотить полкило пауков, весьма спорное утверждение. Но вам, должно быть, хотелось бы разузнать, каков человек перед вами. Когда он родился, кто мать и отец, насколько благополучное детство у него было, есть, или будет, какое детство также ожидает его собственных грядущих отпрысков. В общем, вся та информация, получив которую, читатель подумает преждевременно: познакомились. А не вынужденно получит по два инфаркта на брата, как метко заметил один сообразительный юноша. В любом случае, вам ли не знать о теории струн и о пиликанье полуночном за стенкой. Когда не спится, а рано вставать в школу, а все же не спится. Ворочаешься, выставляешь на пол правую ногу, чтоб заземлиться, потом вовсе закидываешь ноги выше уровня плеч, думая: березкой, может, попробовать. Я к чему тут горожу огород. Мой дневник в некотором смысле, как говорит мама, небесталанный археолог, мой дневник, говорит она, это посчитанные перед сном тысячи, тысячи барашков, это подорожник на разбитой коленке в связи с тем, что Николай Иванович, директор школы, отвратительный хулиган, толкнул меня в прошлую пятницу, когда бежал по коридору, радуясь наступившим каникулам. Дневник хорошая, в общем-то, вещь, по всей видимости!

Я родился в год, охваченный прямо-таки возбуждением, но позвольте, может ли год быть охваченным, люди, которые жили в этом году, были охвачены возбуждением, шла Олимпиада. Акушерка, тащившая меня за ножку в мир этот, беспрестанно спрашивала свою товарку, сколько у нас медалей в общем зачете, Клава. Та ей отвечала, как человек элементарный: ей ничего об этом неизвестно, ей в школу еще младшего устраивать. Еще в тот год мы перешли на постоянное зимнее время, так сообщил доверительно мне златозубый таксист, когда мама на третьи сутки моего появления везла сверток со мною домой. Да, мы в тот год совсем не прятались за метафоры. И активно проводили референдумы, что-то присоединяли, реже отсоединяли, но все-таки действовали. Бездействие, говорит мама, ни к чему хорошему не приведет. Хочется уточнить. Прошедшая действительность, восстановленная моим воображением, кажется не в пример интересней протокольной засушенной пуповины, что в конвертике хранит мать. Или фотографий в фотоальбоме. Или пряди волос в другом конвертике, оранжевом, в нем еще моя бирка: Федор, кесарево сечение, пятьдесят сантиметров, две тысячи двести грамм. Я помню, как дедушка, Меркулов Александр Афанасьевич, пока был жив, предупреждал о том, что пока я переставляю кубики в манеже, – прямо сейчас в другом городе или стране мой старший двойник покупает себе новый костюм на работу, ссорится, учится в институте, лежит на вязках в палате, смеется, глядя на звезды, плохо

протертые уборщицей, короче, занимается литературой. Однажды он почувствует острую необходимость во мне и придет по зову своего сердца, знакомиться. Дед посоветовал мне ответить ему, ответить ему, не помню, память подводит, и не удастся припомнить также, причем тут вообще литература. Пусть литература изъята из законов тления, однако ложить с прибором хотели мои сограждане на изысканные словеса пустобрехов. Им важна, как это говорят, жизненность, руководство по эксплуатации холодильника, к примеру, во всяком случае, мне оно так видится.

Мой попутчик Михаил, как я его называю, а похож он на самого обыкновенного невротика, спал из рук вон плохо. Всю ночь орал, как портянка, призывал какого-то полового. Интересно, думал он когда-нибудь, что является вымышленным персонажем. Вот мне порой кажется, кто-то прямо сейчас пишет, попивая вторую чашку кофе, глубоко затягиваясь своей электрической сигаретой, стуча по клавишам, с маниакальным усердием сочиняет обо мне. Не знаю даже, каким образом можно емко сформулировать. Екатерина Михайловна недавно употребила хорошенькое слово, мамхилапинатапай, это когда во взгляде между двумя людьми выражается желание каждого, чтобы другой стал инициатором того, что хотят оба, хотя ни один из них не хочет быть первым. На Екатерину Михайловну, кстати, положил глаз Михаил, слишком она хороша, даже белочки две на уроке природоведения, когда женщина кормила их кедровой шишкой, подрались за внимание дамы до кровавых соплей. Говоря по существу, меня научила мама говорить по существу, говорит: говори, да не заговаривайся, но по существу, я же прошла сильнейшую археологическую школу, я специалист высшей категории, и ты у меня будешь специалистом каким-нибудь, заяц. Говоря по существу, наш временный союз, безусловно, жаль, что временный, откровенно вам сообщаю, я пребываю в восторге от общения с Мишей, можно даже сказать, союз наш покрепче будет союза Молотова и Риббентропа. Хотя, казалось бы, куда же крепче. А все началось с факультатива на поляне, а поляна эта недалеко от песчаного карьера, там еще два шага до свечной бухты. Однокурсники зачитывали свои сообщения об отцах, невеселые преимущественно, однако, не лишённые юмористических пассажей. А потом случилось такое, мы как на электросварку посмотрели без очков. Правда, к тому времени ученики успели скрыться, скатертью дорожка, что называется. Остались только мы с этим учителем, ах, да, еще Анна, но Анна пошла своей дорогой, отчего-то не с нами, надеюсь, у нее все хорошо, Анна добрая девчонка. Будем надеяться, она избрала правильный путь, не омрачённый тьмой, путь истинных славянофилов.

Без дураков, не произошло ровным счетом ничего плохого, кроме хорошего, кажется. Не то чтобы совсем хорошее произошло, просто друзей не сказать что у меня много, а с Михаилом, в общих чертах, приятно беседовать о всяком. К настоящему моменту мы с ним идем к матери, которая в районе деревни Усть-Кереть исследует какие-то древние поселения, на берегу Белого моря. Я помню, мать говорила, что землянки в тех местах принадлежат временам раннего металла, дело похвальное. У нас дома несметное количество разных штук, например, гребешок, принадлежащий одной древней девчонке, целой принцессе. Это ничего, что нет уже той девчонки в живых, гребешок очень красивый, от живых девчонок жди беды. Однажды я был свидетелем того, как целуются старшеклассники по-французски, гнусное зрелище, доложу я вам, пооткусывали себе языки, испортили аппетит всей школе. Да, кто-то говорит, девочка важна, девочка нужна. Представляете, встречал подобное признание: не могу дышать без тебя, как наш трудовик без нафизина. Спорное, конечно, признание, но каждый признается в меру своей испорченности, тут ничего не поделаешь. Но это, конечно же, косвенно относится к делу, все эти размышления, логические построения, давайте поближе к сюжету. Самое главное, пожалуй, что стоит сообщить, я жив и здоров, довольно на этом.

– На завтрак я люблю мясо, одетое в белые халаты, лечебное мясо, – хрипло рассмеялся мой новый друг, когда речь зашла о завтраке, мы проснулись, а он тут о завтраке, хотя, признаться, было жутко голодно. Я, в общем, сразу же понял, что речь о пельменях, а также понял, что Михаил наглухо пришибленный чувак, раз так выражается, но мне, как ни странно, импонирует его дурацкое остроумие. За ночь ларек, где некогда чинили одежду и обувь, превратился в самую настоящую печку. Мы проснулись все в поту, губы были очень сухими и очень солеными. Я даже

подумал ненароком, а мог ли Михаил в шутку подсунуть мне соль, хотя на подлеца он и не очень-то походил, поэтому данные мысли я отогнал прочь. Дрозофилы, винные мошки, кружились перед лицом. Попахивало какими-то подгнившими фруктами. Встал вопрос дальнейшего пути, но прежде всего вопрос завтрака. Я уже успел сообщить к тому времени, где у меня сейчас находится матушка, поэтому Миша был настроен решительно: вернуть ребенка родителю. – Нам бы с тобою паршивую мебелирашку найти, – проговорил сипло учитель словесности. Однако я призвал его не расклеиваться раньше времени, поведав о своем комфортабельном газифицированном доме. Мужчина ради интереса вскрыл одну из коробок, в ней оказались старые женские туфли разной степени изношенности. У коричневых лодочек, например, были отломаны каблочки. А кожаные синие сандалии кто-то погрыз. А розовая туфля на танкетке была заляпана зеленой слизью. А что это у нас такое лакированное, а это у нас коричневые австрийские туфли, такие же, как у мамы. Михаил уморительно сказал: давай-ка мы с тобой, почтенный Феодор, наведемся к кому-нибудь в гости, поступим с тобою мудро данным общепризнанным утром. И мне подумалось, а ведь этот чертяка прав, что ж нам теперь, дружно ехать в Елабугу и вешаться, жизнь-то продолжается.

Коллегиально посоветовавшись, пришли к выводу, раз происходят в мире страсти, достойные пера Айзека Азимова, необходимо действовать аккуратно, как два влюбленных, живших в Петрограде, не заметивших революцию. Разобрали баррикаду, приоткрыли дверь. Улица имела странный оттенок, точно мы смотрели на нее через желтоватое стекло. И эта желтизна, она казалась – знаете, слабовидящие так видят, нам Екатерина Михайловна рассказывала, дело в нарушении работы колбочек. Выйдя, Миша посетовал на то, что зря мы с ним телевизор посадили зрение. Я ожидаемо возразил, ну, глупо утверждать о незнакомом тебе человеке всякую чепуху, да еще и так категорично. Ближайшая изба-пятистенник принадлежала чокнутой семейке по фамилии Гаррисон. Я не очень любил Гаррисонов, ведь когда я только родился, то родился раньше срока. И меня миссис Гаррисон закатала в ржаное тесто, слава богу, что отверстие для носа оставила, потом положила на широченную лопату для хлеба, и допекаться в печь, поближе к огню. Еще семейная пара прививала горожанам свальный грех на Ивана Купалу, это когда граждане идут в лес, разжигают костер, пляшут. Поплясали, идут в чащобу, ищут цветки папоротника, а чтобы вы знали, не цветет папоротник, а размножается спорами, но молодежи что – тоже активно размножается, распутство. Вышли мы на улицу, короче говоря, на зубах как будто песок хрустит. Из дверей школы, смотрю, вышла Лидия Сигизмундовна Мойра, училка технологии, Михаил посмотрел на нее, глаза круглые, спрашивает, что происходит. А ничего не происходит, Лидия Сигизмундовна о четырех ногах, ей так удобней. Она еще похороны Сталина помнит, тогда, говорят, у всех какое-то физическое нововведение было. Подошла она к нам, говорит: Федюнчик, что-то происходит, люди какие-то злые стали и дуже неадекватные. Гляжу, мой учитель словесности косится на дополнительные ноги. Женщина тут же мне предложила за компанию с ней пойти к Николе-звонарю. Он у нас в городе самый могущественный человек, знаете же, что такое церковный купол? Купол это сфера, представляете, сколько там энергии скапливается, люди, когда молятся, просят о чем-то, все туда. Никола-звонарь подпитывается, ходит потом умиротворенный, его даже бессонница не коснулась, как всех прочих. Ну, думаю, все к нему сейчас ломанутся, давка образуется, нет, надо сначала с матерью воссоединиться, там видно будет.

Лидия Сигизмундовна начала причитать. И хлеб-то, поди, подорожает, и профессора опять станут попрошайничать, и будем, значит, миндалем одним питаться, да виноградными листьями. А кто-то, быть может, дом вместе с собой внутри сожжет. – Козу мою кто-то угнал, – грустно замечает Мойра, доставая шерстяных ниток моток из своей тряпичной белой сумки через плечо, в минуты волнения техничка жамкала свою пряжу. Отмечу, женщина на свой преклонный возраст не выглядит, всегда белила на щеках, всегда помада синяя, вьющиеся седые волосы забраны в хвост. Можно было предположить, учительница технологии некогда угодила в торфяное болото, этим объяснялась сохранность ее тела. Специально пошитые брюки, конечности Лидии Сигизмундовны расположены любопытным образом, две ножки слегка вынесены вперед, а две другие как бы позади. Так что никакого дисбаланса не наблюдается. Ходьба учительницы процесс ув-

лекательный, словно мамина речь по телефону, когда она чирикает с подружками: душечка, все беды от шитовидной железы! Сигизмундовна стремительно распрошались с нами, зашагала в сторону автовокзала. Клирик Никола проживал в области. И тут я увидел некоторые последствия недавнего происшествия, надо ли писать слово происшествие с заглавной буквы, не знаю, не знаю. На щербатой темно-мышинной стене краеведческого музея лежала тень девчонки, отсеченная от непосредственно тела. Юбка ее задралась, тень прыгала через скакалку. Выглядело это до жути пугающе, тем более силуэт продолжал беззвучно скакать.

В доме Гаррисонов сладко пахло вчерашним хлебом, солеными арбузами, лекарствами. Калитку венчали слоны, вырезанные из фанеры. Длинная и тонкая, как дождевой червяк, цепь лишена пса во дворе. Я как посмотрел, так мне сердце и защемило, невообразимо заунывно сделалось. Мама в детстве подарила мне пса, о, как я его любил, аллергия. И моего Тобика пришлось отдать, он такой черненький весь, на груди белая шерсть в форме креста, словно у рыцаря-тевтонца. Отдали собачку двум старикам, один слепой, второй глухой, друг за друга держались, тем и жили, Тобика им, значит, мама передала в дар. Но, как говорится, любой чертеж начинается с оси, а любовь к собакам, к сожалению, начинается с аллергии. Вида не подаю, что готов разрыдаться, Михаил не поймет, гляжу вокруг. На крыльце, на перилах панка, деревянная кукла дородной бабы, щелочки глаз с подозрением смотрит на нас. Учитель постучал сначала в дверь, затем в окно, покричал на непонятном языке: хозяева, почему ваша лодка брошена раньше времени на причал! Смотрю, и вправду, алюминиевая лодочка Прогресс приставлена к стене дома, стекло растрескалось у нее. Миша раздобыл в сарае длинную металлическую линейку, я закономерно сообщил ему: не дурите, дверь дома и дверь машины это диаметрально противоположные вещи. И добавил: понимаете, во мне тридцать килограмм, я легкий, словно дыхание ветреной гимнастки, падкой на внимание мужиков. Вскрабываюсь по скрипучей лестнице, в форточку приоткрытую пробираюсь. Щеколду дверную своему товарищу отпираю. Учитель говорит уважительно: теперь мы с тобою злоумышленники, получается. Ну, думаю, как скажете, а я так не считаю. Хозяйничаем вовсю. Из холодильника четыре яйца достали, полбутылки молока, три свиных уха, пятачок, хлебушек, зелень, головку чеснока с детский кулачок.

В большую пластиковую чашку молочка налили, яйца разбиваю, стою. Михаил на печь чугунную сковороду поставил, свиные ушки кинул, зашкворчало. А я, когда яйцо разбил, смотрю, а внутри яйца, на стеночке с обратной стороны палочки перечеркнутые. Знаете же, когда человек в неволе вынужден сидеть, и на стене углем отмечает: день, два, три, четыре, пять. Думаю с большим сожалением, птенец уж никогда не станет водителем трамвая, не напишет Лунной сонаты, потому что мы его съедем. Кухня у семьи Гаррисонов странная, в углу бидон с попортившимся красным молоком, куколки какие-то из веточек развешаны. Пахнет неприятно, сероводородом. Владелец дома Владимир кем только не работал в своей жизни, сантехником, танкистом на войне, водителем школьного автобуса. А после того злополучного случая, когда он горько пожалел, что ему не дано побывать беременной женщиной и познать роды, когда на этой почве мужчина, собственно говоря, повернулся, и стал воровать детей у жителей нашего села. Отношение к семейке у граждан изменилось окончательно и бесповоротно, недоношенных младенцев на допекание давать им перестали.

Перед завтраком учитель призвал меня помолиться, я сообщил ему, что атеист. Он тут же спросил, живу ли я по совести, стараюсь ли думать, я ответил положительно. Тогда он чудно сказал, что я близко расположился к Богу, ведь не ожидаю награды. Мы сидели во дворе Гаррисонов за длинным столом, покрытым клеенкой с клеверами. Высокий серый забор скрывал нас от непрошенных гостей, пусть мы сами являлись такими непрошеными гостями, но Миша оставил несколько сотен рублей в прихожей на столике, сверху придавил денежной жабой. И написал записку хозяевам углем на стене, прояснявшую многие вещи, например, наше вторжение. Я подумал про деньги, вот какая мысль пришла мне в голову, как было бы классно сдавать в ломбард свои лучшие думки. Пока мы накрывали с Мишей на стол, он спросил, что я обдумываю с таким серьезным видом. Я ответил: да так, о глупостях. Тогда мужчина погладил меня по голове, сказав:

в такой замечательной тычке глупости не водятся. Омлет оказался очень вкусным, мы кушали его с великим аппетитом, по-другому и быть не могло. В семь утра у меня как раз начинается завтрак, мой организм совершенный механизм, работающий строго по часам. – Прожевывай тщательней, – сказал учитель, хрустя луковицей, – так лучше усваивается. – Я спросил, какой у него самый любимый фантастический рассказ. – Дай-ка подумать, ты читал Илью Варшавского? – поинтересовался он. – Нет, – говорю. И Михаил принялся увлеченно рассказывать мне об этой байке, написанной, кажется, в семидесятом году. Крошки посоленного и натертого чесноком черного хлеба приятно обжигали горло. Чай был слишком густым, и у меня урчало из-за него в животе, как будто кто-то играл там на тромбоне. А мужчина поведал мне о знакомстве советского инженера и девушки, которая прибыла из будущего. И она рассказала, значит, этому инженеру о сложностях, например, что библиотеки все исчезли, осталась одна машинная память. Безусловно, машинная память удобная вещь, однако, если имеется необходимость откопать нечто совсем древнее, начинаются казусы. Запрашивает девушка Пастернака, ей выдают про сельдерей, укроп, запрашивает она Блока, ей выдают схемы электронных блоков. Ничего такая история, с подковыркой. Послышался хохот гагары, и окружающая нас немота стала понемногу наполняться звуками. Желтизна как будто стала меньше, возникли яркие краски. А вот в голове у меня неприятно покалывало, что можно было принять за возрастные изменения, ведь я, что называется, стремительно рос, девять лет это не шутки.

Доев омлет, Миша принялся трепаться о том, как его старший товарищ, некто Андрей Владимирович, питался в Ленинграде, а я никогда в Ленинграде не был, но думаю, что там ничего хорошего нет. Мама прожила полгода в этом городе давно, еще до меня, она снимала комнату, хозяин был настоящий чудик. Не мог разговаривать как все нормальные люди. Мысленно вкладывал фразы в уста своей матери, то есть перед тем как что-то сказать, ответить, думать, могла ли так сказать его мать. В связи с этим возникали трудности в общении, мать у него была профессором лингвистики, а сын кое-как окончил ПТУ. Так вот, некто Андрей Владимирович питался в Ленинграде следующим образом, я даже записал в своем дневнике, показалось утомительным, потому и записал, ну, вы главное понимайте, я абсолютно не заучка какая-то или книжная вошь, дневник это про археологию все-таки. «Зачем тебе кошелек, первый мне подарила мама по случаю окончания четвертого класса, через неделю его украли, а в нем был только список матерных выражений, которые я хотел вызубрить к первому сентября, второй отобрал троллейбусный контролер, зачем тебе кошелек, если нет на штраф, еще один я порезал на ремешок для часов, и осталось еще на заплату на джинсы, последний я съел в Ленинграде, голодал, вырезал кнопку, вытянул нитки, сварил, посолил, сжевал, на вкус он был как кошелек, а сегодня, через шестнадцать лет, подарили новый, пригодится на всякий случай, на черный день». Михаил отнес грязную посуду к зеленой бочке с застоявшейся водой, из дома притащил розовую губку, мыло, принялся активно намыывать. – Михаил, – говорю, – оставьте, непонятно, живы ли вообще хозяева. Представляете, что мне ответил: Феодор, у меня был знакомый, который боялся погибнуть в пожаре, поэтому он всегда носил с собою длинную веревку, погиб он от рук своей жены, которая отоваривала знакомого грязным стеклянным подносом. Я задумался, связь, конечно, присутствовала, то есть можно было притянуть за уши. Краткое время он мыл посуду. Случайно разбил кружку с двумя малинками на боку, халатность, впрочем, ладно. Покидая двор Гаррисона, я испытал сожаление, что судьба некогда свела меня с ними. Надо же такое придумать, живого ребенка, да в печь.

Спешу сообщить, в мире поприбавилось шатунов. До моей берлоги от дома, где мы завтракали, всего ничего пути, километра два, если напрямки через лютеранское кладбище. Вдоль обстоятельного здания областной типографии, ныне пустующем, брела бабка, закутанная в фольгу до самого носа, ноги у нее заплетались. Сгорбленная серебряная фигура заставила изрядно понервничать Мишу, он призвал меня погодить. Я же, видя дамскую сумку в ее руках, зная также о том, что приблизительно сегодня день пенсии, стал ее мысленно гипнотизировать, отдать денежные средства нам. Мы жили в свободной стране, и всем было на всех равным счетом начхать, я не понимал реакции своего компаньона, Миша как будто спустился с гор. Поведение бабульки не тя-

нуло на ненормальное, может быть, она экранировала собственное тело от вредных воздействий, мы же не знаем, что произошло там, в лесу, о, если бы мы знали. Но мы-то не знаем даже просто-го, например, почему возникла бессонница пару лет назад. В поликлинике на этот счет категоричны, руки надо было мыть чаще. Тонкие стволы деревьев, основания которых были побелены, напоминали струны гитары, по ним ударял этот безумный, безумный день. Так выразился учитель словесности, сам бы до подобного абсурда не додумался. Я заметил, когда мужчина нервничает, он болтает порой такую чушь, хоть стой, хоть падай. Мы шли по нашей главной улице, автомобили куда-то исчезли, даже мотоциклы и те пропали. Из окон высматривают мир подозрительные, редкие пары глаз, и даже не пары, штучно тоже встречаются. У самого входа на лютеранское, там, где статуи Магдебургских всадников с отколотыми хвостами. У синих мусорных баков тусовались несколько парней и девчонка. Их большие рюкзаки чего-то в себе содержали, были увесисты. Одеты граждане без изысков, спортивные брюки, красные рубашки, или, как я говаривал в детстве: бабашки. Самый высокий из них заприметил нас. По его лицу растекалась рыжеватая борода, он крикнул нам предупредительно: соблюдайте дистанцию, у нас есть оружие! Смешавшийся Михаил почесал свою выбритую до синевы щеку. Ох, и вырядился он, конечно, черная беретка, круглые очки, вылитый лягушатник. У Гаррисонов нашел в шкафу. Ну, вот люди стали объединяться в группы, теперь будут играть свой смертоносный рок-н-ролл. Это уже я сказал. Учитель словесности был нем. – Пойдемте уже, – тороплю его, – разве не ясно, что теперь мир живет по новым правилам, поди, уже все магазины разграбили. Втолковывать такие элементарные вещи целому педагогу казалось мне дикостью.

Михаил опрощенно спросил меня, что следует ответить в таком случае, ну, когда предупреждают не подходить. Как маленький, ей богу, маленький, запутавшийся в своих Дюма учитель. Мы вошли в позеленевшие металлические ворота, которые венчала витиеватая надпись с вензелями: «не гасни, уходя во мрак ночной, пусть вспыхнет старость заревом заката». – Что говорят, что говорят, обычно говорят, ваше мнение очень важно для нас, в скобочках: нет. – Воздух на лютеранском был свеж. Мужчина подивился моей подкованности в данном вопросе, погладил меня по голове, но я увернулся от поглаживания, нечего давать ему поводы для нежностей. В сложенных корзиночкой ладонях каменного ангела тощая белка употребляла шоколадную конфету неизвестной марки. Упитанная и невоспитанная сорока вышагивала по крыше фамильного склепа, на растрескавшихся стенах произрастал мох. Учитель словесности, пока мы петляли между памятников Катарине, Аннет, Генриху, Вильгельму, Георгу, Людвигу, Сюзанне, спрашивал о всяком. Например, какова из себя моя матушка. Случалось ли нам бывать на море, говорю, что же вы такой невнимательный, тут у нас вообще-то Белое море под боком. – Нет, – не отстает он, – на теплом, соленом. – Вот вы и проговорились, Михаил, стоять! – кричу на него, как самая что ни на есть Мисс Марпл. И начинаю ему по порядку предъявлять: вы по какому такому праву ночью мне соль подсовывали, у меня все губы из-за вас утром потрескались! Он ступал весь, остановился у иссохшего дуба, там еще надгробный камень Николаю Гоголю. Наш местный художник Никита Поздняков однажды привлек внимание целого телевидения. Работая на лютеранском кладбище, он умудрился найти неизвестную могилу, вклеил портрет Гоголя, и подал данное происшествие, как важное событие, надо же, кто бы мог подумать, что Николай Васильевич окажется в наших местах погребенным. – Федя, – говорит расстроено педагог, – какая соль, я про море, как ты мог подумать такое, эх, Федя. – Редкая квакша, верно, последняя выжившая квакша, завезенная в наши края подругой матери, шкодливо вспрыгнула на стол в почерневшей от времени беседке. Миша удивленно воскликнул: ой, лягушка! – Сами вы лягушка, это квакша, ареал обитания Западная Европа, – просветил незадачливого литератора, не знающего элементарных вещей. Целый полк слепней жужжал вокруг нас, я подумал, что это души тех Генрихов, Людвигов, Аннет, потревоженные нами. Слепни напали на наш след, стоило только войти на лютеранское кладбище, но то были первые ласточки, слепни-разведчики. Пришлось торопить своего нового товарища, наши карельские слепни могут за сутки сожрать целого теленка. – Михаил, я пошутил, никакой соли вы не подсовывали, пойдемте уже ко мне домой, слепни! – Подождите, теперь по-

ждите, дорогой Феодор, что ж вы сбиваете мне весь прицел, – издевается учитель словесности. Одна из тварей семейства двукрылых из подотряда короткоусых больно цапает меня за нос. – Ай-яй-яй! – кричу я, маша руками. И мужчина оставляет в прошлом наши с ним разногласия, уводит меня за руку прочь.

Июнь еще и не думал о зиме, такая фраза пришла в мою беспокойную голову. Отбившись от ненавистных слепней, вышли на улицу, где мы с матерью, собственно говоря, проживали. Соседская добротная трехэтажная изба с резными наличниками, принадлежащая вдове штаб-офицера. Ее сын Роберт, безнадежный любитель классической музыки. Одним промозглым сентябрьским вечером, слушая оперу «Тристан и Изольда», трагедию о неправомерной любви рыцаря с ирландской принцессой. Излишне увлекся, во время сражения с драконом звук стал просто оглушительным, даже нам услышалось то сражение. Дуболом отец был раздражен столь громкими звуками, поэтому, несомненно, пришел отстаивать свои интересы к сыну. Что же предпринял Роберт, предпринимательство Роберта носило характер детской шалости, правда, пластиковый стаканчик, который подросток запустил в штаб-офицера, к сожалению, пришиб уважаемого родителя. На моей улице было безлюдно, лишь черный пакет с пищевыми отходами у одноэтажного кирпичного здания кулинарии. Там я в прошлом году нашел замызганную общую тетрадь с добротным историческим романом, посвященным композитору Шостаковичу, написанный прелестным почерком, надеюсь, когда-нибудь я его дочитаю, а потом наберу на компьютере, с моей точки зрения, общественность должна ознакомиться с данной вещью. Хотя, может, не стоит знакомить широкую публику, нет, автор определенно феноменальный, у него там непотребства разные, представляете, заменены на пространные рассуждения, собственно, о личности Шостаковича. А на зубах у меня скрипел песок, странная штука, откуда он там взялся, голова еще продолжала кружиться. Неожиданно Миша начал цитировать по памяти занятный пассаж, навевающий скуку: а сердце верит, будут праздники, войну сдадут в металлолом, невозвращенцы и отказники сойдутся за одним столом! У меня вырвался сочувственный стон от его присказок и увертюры, неисправимый романтик, в самом деле. Еще бы спросил, как одна девочка нашего физрука, что вы делали во время войны, ответившего тогда: а во время войны мы оставались в живых.

У дома росли преждевременные фиалки. Миша важно заметил, что здесь явно проходил Ио-ганн Гете. Я для приличия улыбнулся. Мужчина поспешил объясниться, Гете набивал карманы семенами фиалок и потихоньку их, значит, разбрасывал везде, где хаживал. Красиво. То есть в местах, где ступал писатель, расцветали фиалки, довольно-таки неплохо. На бельевых веревках уж не висело исподнее моей матушки. Погода стояла пасмурная. Несколько красных конфет Ромашка лежали на скамейке, сколоченной абы как. Мужчина предложил совершить конклюдентные действия, то есть купить продуктов домой. Я ему говорю устало: ну, какие конклюдентные действия, магазины, должно быть, разграбили уже, что-нибудь найдем у нас в погребе и в холодильнике, у меня мама археолог, у нее усиленный паек. Согласился. Кошки попрытались в свое мяуканье, впервые за два дня увидел животных. Сидят две серые кошки на капоте соседской бежевой лады, орут чего-то, весна-то позади. Учитель словесности спрашивает, рисуясь: раз у тебя, Федя, мама не дома, а я на правах твоего педагога временно исполняю ее обязанности, тебе надо разрешить мне войти в свой дом. Я пожимаю плечами, к чему эти формальности, как будто Михаил вампир и без приглашения зайти в чужое жилище не может. И тут происходит весьма интересное происшествие, дверь моего славного домика распаивается. На пороге появляется Екатерина Михайловна, и сразу же она взвизгнула: Меркулов! На ней было надето темно-голубое легкое платье с маленькими космонавтами. Человечки в скафандрах летели, от них тянулись, как пуповины, шланги, переплетались меж собой. Женщина стала меня отчитывать, как какого-то дошкольника. Где пропадают, всех детей нашего класса уже родители приняли, один я непонятно где, не принятый ни в институт нормальный, никуда.

Потом на Михаила проворно переключилась. – А вы, – говорит, – разве не понимаете, что-то происходит! – Мужчина ей возразил, сообщив насмешливо, мол, он законный представитель

моих интересов. – Ах так, а кто это тогда стоит перед вами, вся такая с десятилетним преподавательским стажем, неужто девка с улицы? – начала вскипать она, побагровела, что конская колбаса. Конфликт удалось стремительно замять. Недаром у меня любимый писатель Владислав Крапивин, что, согласитесь, показатель не только хорошего вкуса, но и определенных нравственных ориентиров, отсутствие которых приводит порой к мордобитию за школой, к мордобитию в поликлинике, а ведь никакой дорогой, даже самой правильной, нельзя проходить мимо того, кому нужен друг. Михаил довольно-таки странно взглянул на учительницу, знаете, в его взгляде читалась некая похоть, Екатерина Михайловна неуверенно улыбнулась. Произнеся следующее: ну-ка не смотрите на меня подобным эротическим образом, сейчас же перестаньте смотреть! Мой новый друг весьма прямолинейно ринулся на учительницу, с целью, мне кажется, обнять, обаять. Та премило вскрикнула, побежала вглубь нашего домика. Мне данный курьез настолько понравился, что я не сдержался и рассмеялся на всю улицу. О чем еще вам рассказать, да, в принципе, все. Что касается вечера, вечер прошел замечательно, мы ужинали тушенкой, Екатерина Михайловна шуточно злилась. Когда Миша принялась подмерззать, мы ему очаровательный выдали свитер с красной, голубой и зеленой полосками. Никак он взять в толк не мог, отчего моя матушка со мной не связалась, неужели у них там, на раскопках, тишина и покой. Преподавательница теории эволюции, попивая чай с голубичным варением, сказала: послушайте, нам всего не известно, что вы, утро вечера мудреней, поговаривают мудрецы. И мы были вынуждены согласиться с этой образованной женщиной. Мой товарищ с Екатериной Михайловной пошли спать в комнату матери, в свою очередь я, как обладатель собственных квадратных метров, удалился к себе. Прочел на ночь главу из книги, там была такая цитата, показавшаяся мне отчего-то важной, собственно, я вам ее привожу: «города, которые предали своих детей, долго не живут».

К слову сказать, той знойной ночью приснился мне совершенно необычайный сон. Будто стою у холма я, Федор Меркулов, лютует поодаль холодное море, колючие волны разбиваются о волнорез, похожий на зубы дракона. Энный старинный маяк, по виду заброшенный, в разгребавшихся стенах его проросли упрямые корни растений. Яблоко, кажется, я в Скандинавии. Во сне понимаю, ну, какая, прости господи, Скандинавия. Можно же обозначить данное место простым и понятным словечком: север. Вдруг предо мною бледная обнаженная нимфа, возникшая непонятно откуда. Болезненное, вытянутое лицо, впрочем, не лишенное красоты, тонкие губы, кудрявые волосы. Будто барышня-аристократка с посмертной фотографии, что были популярны в девятнадцатом веке, сошла. Она смотрит своими бездонными, да, пошлость, но все же, смотрит бездонными глазами цвета обсидиана в упор. Да у вас глаза, мысленно говорю, настоящее вулканическое стекло, полученное в результате быстрого охлаждения лавы. Незнакомка ничуть не смутилась. Она так же мысленно спрашивает, мол, хотелось бы мне получить подобные удивительные глазки. Не исключено, размышляю, а сам запоздало догадываюсь, да ведь она настоящий вампир. Точнее, вампир не в том понимании, как, скажем, у Брэма Стокера в Дракуле. Но вампир в каком-то ином смысле. То есть во сне я ощущаю природу возникновения незнакомки, однако сейчас описать ее не могу. Кажется, она возникла до всевозможных религий, возможно, во времена пещерных людей. Я отстраняюсь, догадываясь, на что обреку себя, получая взамен подобные удивительные глазки. Тогда девушка толкает несильно меня в грудь. А позади холм, я вжимаюсь в него, проваливаюсь. Скорее всего, недавно прошел дождь. Ощущается блаженная прохлада, что согласитесь, странно, север, не самые теплые ветры. Я проваливаюсь в какие-то невообразимые глубины, на душе до безобразия легко, тело становится таким легким-легким, невесомым. Со мной осуществляются превращения, перерождение, не знаю, как выразить. С невероятной скоростью я лечу к морю, ныряю в него. На шее появляются жабры, кожа стала полупрозрачной, видны синие венки. Вместе с тем отмечаю невероятную силу, мне радостно заплывать на глубину. Будто только этого мне не хватало, будто это мое предназначение, жить в подводном городе, куда никто из людей не сможет добраться. К чему бы такое приснилось, уважаемый дневник.

Глава 9

Смеялись всем педсоставом

Отперев глаза свои редеющей ночью, мы с Екатериной Михайловной крайне удивились обрзовавшейся за время нашего отсутствия бездне. Полусонно грибной дождь сыпался из низких тучек. После такого дождя начинают неистово произрастать лисички, маслята, рыжики. Наши с Федей рюкзак стояли у порога. Спать на мягком диване было непривычно, скитания с Феодором длились не больше суток, а я уже превратился в совершеннейшего дикаря. Утренняя Екатерина Михайловна была не менее прекрасна, нежели ночная Екатерина Михайловна. Подойдя к окну, я отодвинул полупрозрачную штору, шел странный дождь, как будто с частичками пепла. Учительские кудряшки разметались по подушке, словно лучики солнца. Вспомнились строки Чехова из его дневников, и я немедленно стал декламировать: «Иванов. Чайка. Дядя Ваня. Муж. Три сестры. Архиерей. Вишневый сад. Сирена. В бане. Медведь. Три года. Юбилей». Женщина накрылась подушкой, пробубнила, что не умеет любить прошлое ради его погибшей прелести. Признавшись таким образом, наша мимолетная связь не что иное, как роковая ошибка. Стою в широченных синих трусах, в белой майке. Показываю всем своим внешним видом, до моря рукой подать. Читаю вслух учительнице Чехова: «Агафья. Свадьба. Орден. Горе. Оратор. Ночь перед судом. Анюта. Бабы. Ванька. В море. В потемках. Верочка. Альбом». – Ты спать мне мешаешь, ирод, – не восприимчива она к словесным игрищам. – Неужели наша близость не является достаточным поводом для того, чтобы вы приготовили завтрак хорошему мальчику Феде, – говорю смешливо. – А у меня, – говорит Екатерина, – создалось впечатление, что ты не очень любишь детей, прямо, как царь Ирод, – она раскатисто зевает. – Обижаете, Екатерина Михайловна, страсть, свидетелем которой вы стали минувшей ночью, есть подлинное движение от мальчика к мужу, – вдалеке за окном вспыхнуло, запоздало прискакал гул. Женщине не хватало какой-то заурядности, тяжелая женщина. Заслышались шаги босых ног Федора, мой обворожительный лилипут куда-то спешил. Я оповестил всех присутствующих, что надо бы умыться и чего-нибудь поесть. – Ешь, – с готовностью подсказала женщина, – а меня оставь в покое, коллега. – Хмыкнув, я недоверчиво поглядел на три черепа бедных Йориков разной величины, стоявших на массивном комод с коваными замками, подобный комод вы могли встретить в трактире. Мать Феодора была все-таки археологом.

Други мои, предельно допустимая концентрация совершенства на сантиметр организма никем не обозначена. Яркий тому пример мой сын. Чтобы проснуться, мы сделали интеллектуальную зарядку, пока умывались и чистили зубы в ванной комнате, где имелся бойлер, что существенно упрощало процесс умовения. – Федя, отгадай, чьи стихи, – прокричал взволнованно мальчику, выдавливая мятную пасту на щетку для гостей. – Семнадцать, тридцать, сорок восемь, сто сорок, десять, ноль один, сто двадцать шесть, сто тридцать восемь, сто сорок, три, пятьсот один! – Это, наверное, – задумался на мгновенье отрок, – Пушкин! – Умница, а так: два, сорок шесть, тридцать восемь, один, сто шестнадцать, четырнадцать, двадцать, пятнадцать, четырнадцать, двадцать один, четырнадцать, ноль, семнадцать! – А это у нас Маяковский! – филигранно определил сын, мыля голову шампунем с зайчиком. На змеевике висели чулки, а Федя походил на хорошенькую бабушку, морщил свое личико, шампунь с зайчиком резал глазки. – А физическую, вот физическую зарядку давай-ка сделаем, – предложил наивно я, вытирая лицо поистрепавшимся махровым полотенцем. – Михаил, не забывайтесь, нам и так везет с вами, как субботному утопленнику, баню топить не надо, поберегите силы на дорогу, – умозаключил он, топнув ножкой. Настежь распахнулся вопрос завтрака, и никто его не мог закрыть, учительница на законных основаниях спала. А я все не мог найти общий язык с ребенком, нет, нет, мог или не мог, я категорически не знал, получается ли у меня каким-то образом становиться отцом. В сущности, о чем я мог рассказать мальчишке, чему научить его. Кроме того, чтоб цитировать поэтессу Лиду Юсупову, я совершенно ничего не умел. Цитировать ее приговоры, в которых она пишет в стол-

бик обвинительные заключения, ФИО такое нанес два удара своей сожительнице ФИО такое. Куда ж это годится, спрашивается.

Вот, если бы колыхался во рту моем чудесный язык Юрия Казакова, язык прелестного писателя, чтобы мог я обратиться к сыну со всей, значит, нежностью и сантиментами. Рассказать о потерях, о чувстве вины, бывлых травмах. Чтоб гуляя по лесу, вспомнилось и рассказалось о прощании с арестованным папкой. И сынок мой, Феденька, проснувшись от собственного плача в минуты полуденного сна, был успокоен голосом отца своего, психически нестабильного, можно сказать, пограничника. Пограничника, что блюдет, верней, защищает от чудовищ, рожденных сном разума. Наконец он кончил свой утренний туалет, пошел в гараж, готовить велосипеды к поездке. Пахнувший луком пот, луковый пот, источаемый моим жилистым телом, показался недостойным проявлением жизни. Спешно я принимал душ, оступись, пришлось упасть. В голове пульсировало: медлить нельзя, медлить нельзя. Екатерина Михайловна проскользнула кошечкой в ванную комнату, сухарь сухарем снаружи, размоchenный в молоке душистый хлеб внутри. Мои ноги, как вещественные доказательства, как свидетельство бывшего могущества, подергивались. Я лежал в этой ванне, глядя на квадратное, как челюсть Максима Горького, вентиляционное окошко. Я лежал там, как падаль, воспетая Бодлером, среди рыжих пятен геля для души, под ярким белым светом, брюхом вверх, подобно девке площадной. Екатерина Михайловна философски заметила, стоя надо мной: и куда ты с ребенком попрешься, ты ж на ногах еле стоишь. – Виноват вестибулярный аппарат, – отшутился, откестился, отрешился, везде присутствовало о-о-о. Ее руки, познавшие, должно быть, тысячи дневников, потянулись ко мне. Словно к последнему котенку на птичьем рынке, что лежит у бабушки, смолящего вонючую Приму, в его шапке-ушанке.

Подобного отношения, ах, подобного отношения мы давно не видали в свой адрес. Екатерина Михайловна даже не заревела, как некогда заревела начальница Галина Вячеславовна, память старательно подсовывала в тот момент данное происшествие: ах ты, двуличная дрянь, ах ты, потерянное поколение! Поводом послужил приступ моего эксгибиционизма; по складу политических воззрений романтик Средневековья, по телесному же строению худой бегемот, я шел по коридорам и поздравлял женщин с восьмым марта. – Позвольте, вы не Гертруда Стайн, чтоб обзывать меня потерянным поколением, – виртуозно парировал я в тот раз, хотя и понимал весь трагизм ситуации. – Что ты можешь ему дать, кроме отстойной робинзоны? – спросили плутовские губы Екатерины Михайловны. Я стоял голым, словно белый снег, что видел однажды Иван Денисович, а педагог погладил меня по голове. – Оладьи вам сделать с Меркуловым, что ли, – вдруг улыбнулась она. Тенденциозный ответ мой ничуть ее не смутил: ваш муж, наверное, будет против приготовленных вами оладий, оладьев. – А ты не боишься наступать на мозоли девушкам, – барышня отдернула свою руку от моей головы, как от горячей плиты. Как и всякая женщина, она была кровожадна, и жаждала крова, подобным образом помыслилось мне, а затем, способен ли я дать ей кров. Екатерина добавила, раздумывая: вообще, он парень неплохой, только ссытся и глухой, мой муж. Далее учительница с беличьим лицом подняла серое махровое полотенце с пола, накинула на мои плечи. Проведенную вместе соловьиною ночь я запомнил, должно быть, надолго. Петушиное утро я, наверное, совсем не запомню, стукнулся головой, когда крикнулся в ванной. Что же нам приготовил кукушкин день, предстояло узнать. Да, Екатерина Михайловна была интересна, точно слово, начинающееся на ы.

Оладьи она сготовила чудесные, не лишенные того кефирного духа, что вызывает у многих наших голодных соотечественников трепет и дрожь. Моченые яблоки, бутылка водки, чья цена, полагаю, существенно выше пресловутых трех рублей, шестидесяти двух копеек, в хрустальной розетке кабачковая икра. Маленький, как банановая республика, телевизор на холодильнике был несловоохотлив. Облечившись в велюровый халат цвета красного гибискуса, Екатерина, как мне показалось, с приязнью глядела на нас, уплетающих за обе щеки оладьи. – Итак, мальчики, сто пятьдесят километров это не шуточки, уточки, машину не поймаешь, день-два, к тому же, телефонная связь пропадет, – рассуждала женщина. Сметанная шапка на ложке, я подкладываю Феде сметаны. – А у нас велосипеды, я уже и колеса подкачал, часов за семь доедем! – парнишка, наверное, вдохновлен предстоящей дорогой, ловко все рассчитал. А вот я не на шутку волнуясь,

снедаемый беспочвенными страхами, вдруг нам повстречаются бандиты, готовые буквально на все. Тем паче местность была незнакомой, потеряешься и не заметишь. – Давайте тогда еще раз, Миша, вы вроде бы адекватный человек, подальше держаться от групп людей, поближе к обочинам, – поучала нас, как паучат, Екатерина. – А вы, простите, куда направитесь? – спросил у нее. Она махнула грамм сто водки залпом, прищурившись, сказала: мне иногда кажется, что я организую когда-нибудь ритуальное самосожжение своего муженька, так он меня достал. Завтракаем в тишине. Мальчишка первый из-за стола поднимается, сдержанно благодарит учительницу. – А если твоя мама сейчас к тебе идет, может быть, ей позвонить, почему вы до сих пор ей не позвонили? – спрашивает Екатерина. – Ничего не идет, а телефона у нее нет, чтоб не отвлекали, – отвечает Федор, покидает кухню.

Глаза мальчика жадно впитывали мрачное июньское небо. – Аккуратней, – удержал Федю от падения в траншею, на дне которой виднелись торчащие серые трубы, будто осколки костей динозавров. Он помотал головой, смутившись, как маленький ребенок, которого застали за конструированием водородной бомбы. Наши велосипедные скакуны жаждали сладострастного ветра, привыкшего целовать все подряд, мы катили их по грунтовой дороге. Зеленая урна горела у магазина, крестьянская медлительность, свойственная нам, могла показаться вам непозволительной роскошью, ведь что-то происходило в мире. Нам с Федором не суждено было повторить древней крестьянской судьбы, бросать зерна в землю, да изредка Россию ходить и спасать от немцев, варяг или греков. Аргонавтам подобная жизнь не свойственна. Окна магазина разбиты в пух и прах, в глубине магазина кто-то ходит, переругивается, звенят склянки, падает что-то тяжелое. – Воздух у вас какой-то, – говорю, почуяв особенный аромат чего-то химического, впрочем, с примесью леса. Он рассмеялся, сказав: мы привыкли видеть то, чем дышим. На прогалине неба между туч показались сиделуэты неведомых птиц. Наши тела чудовищно прели в голубых полиэтиленовых дождевиках. Интересно, есть ли у меня прочие дети, задумался нечаянно я, старший ли сын Федор, прочитал он уже моего земляка Вампилова или не прочитал. Впрочем, к чему рассуждать о фантастических детях, когда вон, есть реальный. Его заразительный, словно эпидемия мерцательной аритмии, смех, полагал я, необходимо было послушать каждому гражданину нашей страны. Капал дождь, словно янтарная кислота, капельница с янтарной кислотой, необходимо мне в то мгновение, а что вы хотели, физические, умственные нагрузки это не шутки, утки.

Вызывающий, точно кинофильм Эммануэль, разговор случается между нами. Близость ли пустующего хлеба с бордовой крышей надоумила его заговорить об этом, или воробей на ветке. Сын спросил меня об отношениях, какова Екатерина Михайловна за закрытыми дверями. – Федор, – сказал я многозначительно, – прежде чем ты решишься связать свою жизнь с девочкой, убедись, что вы смеетесь над одним и тем же в кино. – Мы крутили педали, колеса вязли, размокший чернозем неволил нас. – А то не ровен час, как ты с ужасом заметишь спустя лет пять большой фиолетовый хохот супруги над бедолагой, поскользнувшимся на банановой кожуре. – Разве этого ты ждешь от союза двух сердец, банановой кожуры? – призвал я к ответу мальчишку. Призвал слишком уж с выражением, отчего рухнул в грязь. – А нам в прошлом году привозили актинидию, вы ели когда-нибудь актинидию? – сменил тему мальчик, помогая мне подняться. – Нет, Федор, но вкус актинидии похож на вкус киви, а киви довелось попробовать, ничего такого фрукт, – отвечаю. Медленно едем, дождь перестал, белая пена на лужах, деревянные дома закончились, кажется, приближаемся к дому Степана Семеновича Собакина, начинается район, застроенный одними сталинками. Сын спрашивает: а ты видел когда-нибудь живого либерала. Я оконфужен и совершенно не понимаю, что следует ответить. По моим подсчетам беседы о политике должны были случиться существенно позже. То есть, конечно, прежде чем касаться вопросов политики, необходимо было научить Федора не подменять осторожность трусостью, бережливость жадностью, а любовь прелюбодеянием. – У нас в школе говорят, лучше дочь проститутка, чем сын либерал, – мальчик понабрался откуда-то совершенно ненужных вещей, полагаю. Молчу. – А что ты думаешь по поводу консерваторов. – Перед сиреневым домом теплица, в ней растут громадные помидоры. – Понимаешь, сынок, – я совершенно распоясался и стал называть

Федора сыном, – я и сам в некотором роде консерватор. – Колеса наших велосипедов крутятся, как им и полагается крутиться, наши велосипеды, эти лошади для денди, изобретенные Карлом фон Дрезом. – Консервативный, как шрифт Times new roman, шрифт накладных, – так я ответствовал мальчику, – знаешь, не слушай их, вопрос ведь не в том, хороший ли человек, понимаешь, который за традиционные ценности, или выступает за секулярность какую-то, за образ жизни, Феодор, не спрашивают, важно другое, людское. – Ты хотел сказать, наверное, человеческое, – уточняет мальчик. – Я хочу сказать, вот, например, помогает ли человек Химкинскому приюту для кошек по адресу Рабочая, дом один, ведь все прочее абсолютно неважно. – Минуем поворот, озаренный присутствием бюста советскому животноводу в шапке-ушанке, герою социалистического труда, Якову Ивановичу Юдину, не спеша едем вдоль обочины. Впереди маячат весьма причудливые здания.

– У нас есть прачечная, – подает голос мой сын. Мы на самой Окраине, на той, о которой рассказывала Регина Шевцова. И я понимаю, к чему здесь заглавная буква. Тут повсюду какие-то сумасшедшие строения. К примеру, красивый, в общем-то, домик, состоящий из портовых голубых контейнеров. В ста метрах от него изба, частично ушедшая под землю. – Да ты что, прачечная, – говорю сосредоточенно, высматривая угрозу, притаившуюся, должно быть, вон в той подозрительной хижине на дереве. – Этническая чистка одежды, очистим все что угодно, такой у них слоган. – Чудовищный слоган, однако, – говорю патетично. В черте города, города ли, поселка, или деревни, а может, селения, я начисто запутался в определениях. В черте города, куда мы добрались без происшествий на своих велосипедах. Синем, взрослом урале, детском серебристом орленке. В черте города мы увидели прачечную. Здание с толстыми оранжевыми стенами, граничащее с печальным валежником. Войдя в белую дверь с голубой табличкой, где золотистыми буквами каллиграфически было указано: прачечная, мы обнаружили совершеннейший космос. Ряды стиральных машинок в два яруса, двадцать стиральных машинок. Как будто специальные камеры для сна на станциях, где космонавты проживают. У противоположной от входа стены спиной к нам сидела дамочка на офисном крутящемся стуле. Холодный голубоватый свет, поблескивавшая плитка на полу, едва уловимый аромат хлорки, лаванды.

Дамочка плакала, как будто у нее резались зубы. – А кто эта оранжевая, как газировка фанта, барышня? – спросил своего сыночка. – А это Любовь по фамилии Зла, – объяснил он, заглядывая в окно стиральной машины. – Что же, такая увлекательная, как диафильм Огородники, барышня, можно сказать, Ася, а можно и не говорить, плачет! – Я приблизился к ней. На ее шею золотой медальон в форме печатной машинки. Лицом приятная дама, похожая на Политковскую Анну, в которую были влюблены все мальчишки и даже девчонки в нашем институте журналистики некогда. Впрочем, представить проблематично, как Политковская Анна плачет, Политковская Анна, полагаю, плакать не умела. Бациллы успели прочно утвердиться на моих ладонях, недавнее падение в грязь, странный воздух. Я несмело дотронулся до ее плеча. – Отстаньте от меня, у меня ангедония, мне не хочется ни, ничего! – истерично закричала она, принялась всхлипывать. – У вас, наверное, духовная гольтеба, хотите об этом поговорить? – на пухлом безымянном пальце женщины след от кольца. Мадмуазель хранит молчание. – Всегда говорил студентам ли, школьникам, не суйте, ребята, пальцы куда ни попадя, например, в обручальные кольца, – говорю кокетливо. Любовь несмело хихикнула. Продолжаю настаивать на своем: ведь, как писал наш современник: ла-ла-ла, все будет хорошо, ла-ла-ла, куда бы ты ни шел! – Вы не похожи на моего парня, лилового негра Ивана, – призналась она неохотно. – Он меня третирует, а вчера вообще, намылился в свою Африку, говорит, разлюбил, представляете. – Любовь Зла, насколько я понял, повредила рассудком, она вгоняла меня в краску своими рассказами. – Он женился, мало мной взволнованный изначально, – печально заключает она. – Надеюсь, Любовь, вы живучи, как гадюка, в противном случае советую вам поскорее убраться из данных мест, не хотите ли к нам присоединиться? – понимая, что лишний человек в команде, что третья нога, ничего не мог поделать с этим альтруистическим порывом. Федя сделал страшное лицо, негодуя. – Эти подонки, зайцы, всю дорогу ездили на мне, никогда не передавали за проезд, – кажется, дамочка не услышала

приглашение, и хорошо. – Чего это ты, мать, разнюнилась, – перешел я к активным утешениям, мне стали невыносимы женские страдания. Не хватало, чтоб она наложила на себя руки. Я буду чувствовать некую не иллюзорную ответственность, если дамочка поступит в таком роде, когда мы уйдем. Представьте, одна барышня сообщила некогда: мое самоубийство признают самообороной. Представьте, сколь изящно, сколь чудовищно звучит. Нет-нет, подобного нам не нужно.

В рюкзаке имелась смена белья, спортивные штаны, принадлежавшие когда-то дедушке Федора, его же камуфляжная курточка. Любовь осознала, что она прежде всего прачка, а уже потом жена лилового Ивана, поэтому загрузила наши до неприличия грязные вещи в стиральную машинку. Захлопнула окошко. Насыпала порошка в специальный лоток. Барабан пришел в движение. Мы с мальчиком уселись перед машинкой, стали с любопытством глядеть на нее. Прошло, должно быть, совсем немного времени, как случилась занятная вещичка. Пространство, где мои штотки беспардонно перемещались, заволокло насыщенно-черным пронзительным небом. И вот уже созвездие Кассиопея в форме первой буквы в имени Вальтер, Вальтер Беньямин, что поломал мозг многим ученым людям, явлено нам. А это созвездие Жираф, латинская П, Карл Поппер, летает нынче со своей теорией трех миров, недостижимый для назойливых студентиков. И Возничий, угловатая О, прям-таки Омар Хайям. Каких созвездий там только не было, мигает все, как новогодняя пихта. Мы весьма поражены, загипнотизированы, мы всецело участвуем в паноптикуме, нам все красиво. Спокойно на душе сделалось, ни переживаний, ни сомнений относительно того, хороший я отец или же никуда не гожусь. Нам с Федей не было скучно, как бывает временами скучно при чтении производственного романа. Нам с Федей было удивительно, как порою удивительна в глазах читателей фраза: «только деньгам нужна красота, красоте же и денег не надо». И волнение относительно памяти мальчика, забывчивый ли у меня мальчик, вот мы едем к его матери, быть может, Федейка позабыл ту дорогу, сейчас приедем в нехорошее место. Именно это волнение, его как будто слизало коровьим языком. Лишь фиолетово-черная вселенная, лишь Большая медведица, Водолей, Волосы Вероники.

После прачечной в голову ворвались разные пошлые мыслишки. Допустим, такая: кем ты, Миша, являешься, то есть в глобальном смысле. Стал думать в этом направлении. Велеречивый говорун, споткнувшийся о русский мат, подобную характеристику мне давали в детском саду. С тех пор образ интеллектуала, закрепившийся за мною, только мешал. Прежде всего, сложности были связаны с коммуникацией. Не всегда меня понимали должным образом, говорил: хлеба, пожалуйста. Выдавали макароны, иногда гречку. Конкретно в данный момент, пока мы едем на велосипедах, вокруг сосны, ели, да глушь. Конкретно в данный момент испытываю острую необходимость проговориться мальчику о степени нашего родства, однако я сдержанный гражданин. Подобных сдержанных граждан вы, должно быть, мало встречали. Я осознанно молчал до трех лет, не предполагая вмешиваться в безумные лингвистические игры, они пугали своей ветреностью, правила постоянно менялись. Хотя и мог прекрасно проскандировать выдающиеся новостные заголовки последнего времени. Меж тем небо окрасилось в цвета георгиевской ленточки, дым и огонь. А я все боялся, что смерть отнимет моего ребенка, но и отнимать ребенка у жизни не хотелось, столько чудного вокруг. И еще не хотелось внушать своему мальчику, что я умнее него, потому что когда он состарится и поймет, а папка-то был безнадежно глуп, он и сам будет вынужден внушать молодым, что глупы они, поддерживая всеобщее прилюдное. Спрашиваю сына дрогнувшим голосом: проголодался? Он говорит, смотря на свои наручные электронные часы: да, не помешало бы поесть, три с половиной часа едем. С собой у нас бутерброды, два термоса чая, сухпайки матери Феде. – Давай вон тот холм пересечем и перекусим, – говорю, показывая пальцем на живописный бугор, поросший хвойником и кукушкиным льном, метрах в ста от нас.

Запахавшись от долгого подъема, во весь дух скатываемся к подножию холма. Вокруг типичная обстановка восточной дикости и роскоши. Вот одинокая черная изба, череп козла над массивной дверью, старенькая ванна на кирпичах прямо перед жилищем, подогреваемая дровами, ванну принимает гражданин, чья лысая голова напоминает китайскую грушу. На его бледной, впалой груди ни одного волоска. Из дома выходит женщина, тоже лысая, тоже с головой китайской гру-

шей. Под ее преклонного возраста халатом с ромашками колышутся дыньки-торпеды. Подступает тошнота, природа тошноты весьма непонятна. Как бы нас тут не взяли в кавычки, проносится шальная мысль. Поведение аборигенов непредсказуемо. Печальные, словно реформа Никона и последующий церковный раскол, взгляды этих людей. Мое маленькое литературное небытие, честно работающее на бытие, быстренько записывает в блокноте свои наблюдения. И отчего-то я с грустью думаю, что становиться писателем, профессиональным дрессировщиком слов, Феденьке пока рановато. – Михаил, давайте не пойдем к ним, – сказал с опасением сынок, закрывая свой черный бархатный блокнотик. – Или давайте на них накричим, чтоб они в отношении нас не были злы, напугаем их, – продолжил он. – Если видишь грустного или взволнованного человека, не надо на него орать, чтоб он успокоился, родители учат этому своих детей, а потом вырастают психопаты и других психопатов растят, – озвучил свои соображения на этот счет. А потом вспомнил, я же позабыл зарядить телефонный аппарат, решаю для себя напроситься зарядить телефон в чужом доме. Если хозяева позволяют, конечно, если у них есть электричество, конечно. Электричество всему голова сейчас, если б не электричество, мы б смотрели телевизор в потемках.

Я спешил с велосипеда, подошел к парочке. – А что же, позвольте спросить, мы уже всех электрических мужиков, которые будут печь пироги, сделали, – крикнул неприятным, искусственно-детским голосом гражданин, явно кому-то подражая. – Нам бы зарядить телефон, мы буквально на полчаса, – встрял Федор, чем несказанно обрадовал. В очередной раз меня могли понять неправильно, пришлось бы драться с товарищами, захватывать их избенку. Мужик решительно не понравился, стоило ему заговорить. К тому же тетка по-идиотски стала хихикать. В тот момент, когда мальчонка озвучил наши намерения, я перестал уважать только себя и маму, еще немного отчима, и уважать стал еще и сына. А все-таки, подумалось, когда граждане посматривают на Федора, зададут вот этот вопрос, а что хотел сказать автор, я им так и отвечу, внимайте и внемлите, наша жизнь не напрасна в тени талантливого мальчика Федора. А уже потом расскажу им о смерти автора и прочих маловажных обстоятельствах, понятных любому встречному-поперечному. Женщина повторила, ее безбровое лицо показалось мне подозрительным, она повторила: буквально на полчаса. И знаете, такая паника мною овладела, с этими ее итерациями, паршивым обликом гражданина, что возлежал в ванной. Говорю сыну: пойдем, заяц, отсюда. С улюлюкающими звуками мужик выскакивает из джакузи. Хлопья пены шмякаются на траву. Тело его выдающееся, подобным телом, быть может, обладали узники лагерей. Порывисто закрывая рукою глаза Феде, совсем нездоровый случай, кричу на мужчину со сморщенными губами: совесть имеи, образина! Тетка его напустилась, недовольное что-то бормочет. Странный хозяин, прикрыв срам ладошками, тихо молвил: так чего не зарядить, чай электричка есть. Тетенька свои бесцветные глаза пучит, предупреждает, что они пьют только вечером, не раньше часу дня. Говорю ей: нам бы только телефон зарядить, могу вам заплатить за электричество. Дядька, запахнувшись в большое синее полотенце с лебедем, что тут же на траве валялось, протестует: электричка подорожала, это да, заплатить придется, вон мальчонка какой, хороший. И на моего сына кивает. Федя, чувствую, напрягся, за руку меня взял, сдал. Тетка жеманным голосом сообщила, деньги им подойдут, про мальчика пошутили. Но Федя не отпускал моей руки. И все же, доверившись, ребенок согласился наведаться со мною к очень подозрительным людям. Произнеся: Михаил, под вашу ответственность только если.

Мы с великим опасением вошли в незатейливый дом, пропустив парочку вперед себя. Закоптелая, без перегородок. Печка в углу. Две длинные скамьи у стола, на столе самовар, стол у окна, окно засижено мухами, мухи большие, что слоны. Двухъярусная кровать, генератор синий, пахнет бензином. Я к генератору, он инверторный, розетка имеется, цепляю телефон, стараюсь из поля зрения хозяев не выпускать. И остывший горьковатый дымный запах неприятно стесняет дыхание. Вдруг орет сынок: пошел в пень! Подобным образом кричал я кому-то когда-то, чудо, а не ребенок. Дядька с зубами цвета чернил докоснулся до мальчика, приглашая к столу. Из метафизических соображений я не стал бросаться, подобно львице, на гражданина. Лишь сказал тому: аккуратнее, это все-таки живой человек, а не мебель! Наверное, подумал, им тут живет тя-

желовато, как таджикской женщине до октябрьской революции. И еще подумал, подозрительная семейная пара готовит для нас исполинских размеров подлянку, точно готовит. То ли заспанные, то ли угрюмые люди усадили за стол нас. Мальчик успел прошептать на ухо: жалко тетку, ей бы вавилоны на голове устраивать, а не лысиной сверкать. Сами хозяева присели на другую скамейку, что называется, глаза в глаза. Женщина из самовара отвара золотистого в граненые стаканы налила, к нам пододвинула. Говорю: дык телефон зарядить только, не извольте беспокоиться. Мужичок в жилетке на голое тело, улыбаясь, смотрит. В самом деле, размышляю, зачем же я на них наговариваю, самые элементарные товарищи, фермеры. Однако вспоминаю, от элементарности до бесчеловечности всего ничего, шажок. Сынок на меня с мольбою какой-то смотрит, я под стол заглянул, тетенька берега растеряла, ногой свой ногу мальчика гладит. – Ну, знаете, нам только телефон зарядить! – вскрикиваю в ужасе, отталкивая ногу женщины. Парочка выпивает из граненых стаканов залпом напитки, тетенька опять из самовара их наполняет, пододвигает нам. Сыночек отчаянно шепчет на ушко: Михаил, давайте уйдем прямо сейчас. – Заяц, – говорю, – десять минуточек, да пойдем. Хозяева пристально смотрят, полуулыбки застыли на их лицах. Подозрительно.

Пока мы там сидели, я решил рассказать им историю про Кафку. Мне показалось, данная история смягчит сердца граждан. Сорокалетний бездетный Франс, гуляя как-то в Берлинском парке, повстречался с девочкой, потерявшей любимую куклу. Трагедия, удар судьбы, египетская казнь в одном флаконе. Писатель, не теряя времени даром, вызвался помочь с поисками. Безрезультатно. Они искали на следующий день, ничего не нашли. Тогда Кафка вручил девчонке записку, написанную куклой. В ней говорилось: пожалуйста, не плачь, я отправилась в путешествие, напишу о своих приключениях позже. Франс во время встреч с девочкой читал ей болтовню куклы. Как-то раз писатель вернул возвратившуюся в Берлин потеряшку, он просто купил новую куклу в магазине. Девочка возразила, это не моя кукла, это не моя кукла. Тогда Франс вручил ей письмо, в котором подруга сообщала, что путешествие изменило ее. Девчонка была счастлива. Через год представился Кафка. А спустя множество лет девушка обнаружила в своей кукле письмо, в нем было написано писателем: все, что ты любишь, скорее всего потеряется, но в конце концов любовь вернется другим способом.

Их глаза оставались такими же холодными и безжизненными, как зима в Якутии. Было сложно представить, как супруг своей жене говорит: крокодил души моей. Или такое: люблю. – Писатель, что ли? – прищурившись, спросил недоверчиво хозяин. Тетка лающе рассмеялась. Скачала, что тоже пишет стихи к свадьбам, именинам, юбилеям. Немедленно продемонстрировала собственный дар: я посадил зрение, я знаю, мое зрение не проживет и недели, мне кажется, что это мой мир, мне кажется, что это мой сын, но мое зрение равняется минус пяти. Ее ритмически организованная речь была начисто лишена магической составляющей. Техника-то есть, правда, в Библии подобная техника называется поминать все. Я благоразумно промолчал. – А показать тебе, какую я однажды стерлядь поймал, – оживился мужик, перегнулся к нам через стол. На желтом меху, которым была отделана его жилетка, налили засохшие зернышки риса, фрагменты пшенной каши, синяя жила, должно быть, куриная. – Да, покажи ему, покажи, – закрутилась тетка, хлопая в ладоши. И он развел перед самыми нашими лицами руками, пришлось отодвинуться, чтобы пропустить его стерлядь. Они вновь залпом выпили. – А что вы не угощаетесь, угоститесь, – повизгивая, предложила женщина. Она наполнила опустевшую тару из самовара. Валидность предлагаемых напитков была неизвестна. Федя, совершенно не таясь, громко произнес: я настоятельно говорю вам, пошлите отсюда, Миша! – Две минуты, – процедил ему, не спуская глаз с подозрительных граждан.

Пока мы там гостили, хозяйка то и дело как бы случайно задирала подол своего халата, демонстрируя бледные ноги с красными узелками вздувшихся вен. Я не был склонен влюбляться в каждую даму, оказывающую мне знаки внимания. Поэтому, что называется, игнорировал. Пока мы там гостили, предположил, неужели вы успели впустить в себя зло, и оно больше не требует, чтобы вы, уважаемые хозяева, ему верили. Нет, уважаемые хозяева, мою способность любить сыночка

еще не убила тоска, вам и подавно не позволю этого сделать. Любовь в этом доме, думаю, изжила себя, наверное, в этой связи в этом доме жалеют деньги и время, такие вот признаки прошедшей любви, как заметила некогда одна барышня. Вдруг мужичок опять неестественно детским гололоском говорит, покачивая своей китайской грушей: тара-бара, домой пора, ребят кормить, телят поить, коров доить, тебе водить! И на меня скрюченным пальчиком показывает. – Неправда, ничего мне не водить! – запальчиво ему отвечаю. Тетенька протяжно завывала, заставив кожу, в которой я живу, покрыться мурашками. Гражданин в свою очередь, неожиданно ударив руками по столешнице, застеленной газетами, поднялся, покинул дом. Барыня-хохотушка, уж не истова ли сектантка она, подседа ко мне вплотную, спросила, коснувшись губами моего уха: свинку-то будете, а то у нас в лесу черная есть? От нее провокационно пахло нездоровым патриотизмом, иными словами, перебродившим квасом. Федор, сидевший ближе к окну, встал, полез в свой рюкзак, а на пороге меж тем показался хозяин, в руках он держал по топору, мелко сотрясавшись его тело. Хихикая, он казался непревзойденным безумцем. Вдруг мой сын вытащил самый что ни на есть Макаров, оружие смотрело точно на мужика, его руки не дрожали, какой талантливый мальчик, в очередной раз с гордостью отметил я. – Моя фамилия Меркулов, запомните, Меркулов! – кричал он срывающимся голосом, по всей видимости, обуреваемый страстями.

Подобно Нестору-летописцу, стремительно запечатлевшему «Повесть временных лет», я схватил телефон, свой рюкзак. Притихшие супруги с недоверием глядели на мальчишку. Они, вероятно, не верили в способности Федора, мой Федор это живая память народа, если угодно. За проведенное с ним время убедился не раз в исключительных способностях сына. Машинерия, содержащаяся в голове парня, могла поразить неискушенного наблюдателя. Голова мальчишка была созвучна балету, поставленному Гаэтано Джойя, бури, ураганы, землетрясения на сцене исполняли невообразимые механизмы, отчего зрители нервно смеялись, удивленные небывалой инженерной мыслью, триумфом железок. – Какой же ты фигляр, Феодор, к чему этот Макаров, взрослые люди не так решают проблемы, – проворчал по-стариковски я, впрочем, понимая, звучу совершенно неубедительно. – Как же, пока нас не использовали не по назначению, – едко замечает отпрыск. Мы пятимся к порогу, в высшей степени плачевные супруги глядят скептически на пистолет Макарова. Где-то в избушке внезапно запело радио с помехами: а я хочу быть как солнце, сидя в душевной пельменной! О, Анатолий Крупнов, если бы знали вы, сколь сильно мы нуждаемся в таком солнце. И мысль еще такая посетила в связи с этим радио, один литератор заметил в свое время, в фантастических романах в качестве символа будущего частенько описывали радио, считалось, когда у всех появится радио, наступит некое подобие счастья. И вот, значит, этот литератор снисходительно замечает в своих дневниках, радио есть, а счастья нет. Распахнув скрипнувшую дверь, выхожу на свежий воздух, исполненный лени. Багровые, словно нутро свеклы, два резиновых сапога стояли подле тонкой березы. Истерично пели синицы, как будто разбитое стекло звенело.

Из глубины дома послышался зубастый женский смешок. Хозяйка поманила нас, верно, рассчитывая, что имеет дело с абсолютными кретинами: цыпа, цыпа, цыпа. Но мы решительно шагали прочь, не склонные любить фатального исхода. Оборачиваясь беспрестанно к нашим велосипедам, что лежали недалече от ванны с коричневатой водою. – Откуда у тебя пушка, заяц? – ненавязчиво спрашиваю у мальчишки. Мы сдлаем наших коней, оттолкнувшись почти одновременно, стремимся в сторону дубравы. Нежные, как веки новорожденных, по небу плывут облака. – Михаил, вы имеете цель дискредитировать меня в собственных глазах? – Феденька внимательно смотрел на тропинку, посыпанную мелкими, должно быть, птичьими косточками, опасаясь за колеса. Тянуло горячим пластиком, подобным образом пахли сотни кукол Барби, сжигаемых нами в детстве, святая инквизиция называлась та игра, голова кружилась, подташнивало. Собственная взрослость вдруг показалась мне сомнительным мероприятием. Феодор уверенно гнал, я следовал за ним. Мчали с горы, молчали. Минуло некоторое время, мальчишка остановился у черного колышка с проржавевшей звездой, в траве я приметил колючую проволоку, не Егоза, что-то попроще. Он размышлял, куда нам дальше, спускаться ли в овраг, или взять левее. Подой-

дя к колышку, стал рассматривать звездочку. Звездочка была интересна, словно роман Исчезание, который написал Жорж Перек, не используя в своем произведении литеру Е, самую распространенную литеру во французском языке. Признаться, меня посещала идея соорудить текст-липограмму, обделит вниманием эгоистичную Я. Правда, объяснительную о своем неадекватном поведении в метро попросили составить менее экспериментальным образом. Тело, пришитое к душе, побаливало, в частности, копчик. Езда на велосипеде весьма утомила, хотелось, так сказать, ланч. И уподобляться голодной дамочке, что кусает локти свои, мы, как вы понимаете, не желали. Наконец, мальчик определился, сказав: Михаил, давай левее. Кустарники, кусая крапива, листья жалили, преступные стрекательные клетки, нам пришлось идти напролом, заправив брюки в носки.

Слезались глаза, велосипед было неудобно катить, то и дело в колеса скакуна влетали стебли растений, мешая колесам крутиться. Мальчик мой насвистывал некую героическую мелодию, разговорами напрасными не докучал. Право слово, напрасными, не напрасными, с любыми разговорами ему позволялось приставать, сын как-никак. Свидание с фермерами, ужас той встречи дошел с опозданием до головы. Мысленно поблагодарил создателя за свое присутствие в житейской кутерьме, что не депутат я и не издатель, и не сижу еще в тюрьме. Из эстетических соображений не стал обсуждать произошедшее в доме людей с головами-китайскими грушами, с Федором. Понимаете ли, Радищева недавно вот затравили и довели до самоубийства из-за желания Александра Николаевича, чтоб все были равны пред законом. Еще, значит, Поль Верлен тут, представляет, стрелял в Рембо. Зачем же лишний раз мальчика нервировать. Считаю, задача родителей состоит в сохранении нервной системы ребенка в целости, по возможности до восемнадцати лет. Не мог вспомнить, какой же системы стоит придерживаться в вопросах воспитания. Быть может, мне импонировала методика обучения Марии Монтессори? То есть свобода выбора, индивидуальный подход, ученая дама говорила о том, что воспитатель должен лишь наблюдать и помогать воспитуемому сориентироваться в жизни, об этом ли вы говорили, госпожа Монтессори, о чем же тогда вы умолчали? Память подводила, список кораблей я не прочел бы теперь и до середины. Вокруг были одни деревья, деревья, деревья, можжевельник, можжевельник, деревья. И непревзойденный жар, природа которого ничуть не ясна. Щеки, мои впалые щеки воспылали кострами. Расширенные, беспокойные глаза не могли остановиться на чем-то одном, покалывало в животе сверлом по металлу, ладони покрылись мелкими, с булавочную головку, красными пятнышками. Привалившись к черному, словно глаза Абигейл, валуну, я тяжело дышал. Вероятно, карельские петроглифы на валуне, как будто едва заметный силуэт на лыжах, белесая собачка, привлекли мой взор. – Михаил, вы умираете? – спросил обеспокоенно мальчик. А на голову обжигающе-холодная капелька дождя упала, такая же неотвратимая, точно выстрел из ружья себе в голову Хемингуэя.

Лихорадка прошла так же внезапно, как и началась. Заслуга ли камня, даже покраснения на ладонках исчезли вмиг. Продолжили мы путь. Я размышлял поменьше, знаете ли, страшно было размышлять в обычных объемах, мысли порою приобретают чудовищные телесные формы. Да, все-таки жизнь склоняет нас в невообразимых падежах и позах, но, боже ты мой, что мешает вам быть кино, кенгуру, или на худой конец авокадо; размышляю поменьше. Данную мысль захотелось незамедлительно подарить Феденьке. Тем не менее рассудил, дети нынче знают поболее нашего. Да, сынок у меня был непростым человеком. В средневековой психиатрии встречается диагноз «синдром подростковой метафизической, или же философической интоксикации». Девушки и юноши всецело поглощены поиском решений извечных проблем, будь то смысл нашего бытия, предназначение человека. Впрочем, измышления зачастую вредят непосредственно работе. Бывает, поинтересуется отрок о чем-то эдаком, а у родителей нет готовых ответов, родители раздражаются, агрессивуют. Отрок им: вы зачем агрессивуете, маменька, папенька, мне бы всего лишь узнать, есть ли границы у Вселенной и что находится за ними, а больше ничего. В просветах меж деревьев увиделась темно-голубая полоска моря. Мы шли по возвышенности. – Там впереди будет спуск не очень крутой, – произнес неторопливо Федя, – рад, что вы не окочурились, вы мне нравитесь.

Откуда-то из глубины леса, слева от нас, доносилась едва слышная мелодия, она становилась цветком, цветок распускался и осыпался, лепестки делались ветром и песком, пока не исчезли вовсе. Пела до крайности грустная дивчина, сокрытая от глаз наших зеленью, быть может, столетиями. Убаюканный, я стал считать слоги, подняв голову к светло-желтому небу. Девятислоговый двуударный стих, акцент на третьем слоге, еще акцент где-то в конце. Напев повторился. Федюнчик стоял у поваленной сосны с обгоревшей корой, которая продолжала дымиться. – Михаил, идемте дальше, – сказал он в повелительной манере. – Чего ты так всполошился? – спросил у него, кажется, песня ему решительно не нравилась. – Да, это свадебный причетный напев, Михаил, а мы невесты не знаем, мало ли, встретим крокодила, – мой мальчик изящно шутил. И я перестал вслушиваться в пение. Невообразимо стало припекать солнце. Вокруг, я заметил, не щебетали птицы, не шушукались белочки, лишь потревоженные нашими шагами растения шелестели, да напевы, оставшиеся где-то позади, не желали гаснуть. – Федя, ребенком я любил луга, большие, пахнущие медом, а также перелески и травы сухие, между этих трав торчащие бычьи рога тоже любил, – говорю ему отвлеченно. Земля под ногами стала проседать. Мы спустились на галечный берег. Первый же подобранный мною камень являлся куриным богом. – А я любил, ну, продолжаю любить осень, осенью многое становится понятней, – ребенок сосредоточенно смотрел на единственное живое существо, встреченное нами за долгое время, чайку. Она билась в агонии, уже доходила, запутавшаяся в сети у самой кромки воды. Серые птичьи перья, измазанные блестящим жиром, в ярко-желтом глазу полопались сосуды, клюв полуоткрыт. Чайка дернулась напоследок, перестала. Мой погрустневший ребенок достал блокнот, чернила и давай реветь, впрочем, убежденно взял себя в руки, плотно сжав губы. Стал кой-чего старательно записывать, мой маленький И. Бунин, внимательный к деталям. Я же в свою очередь дописываю этот абзац, он полностью ваш, забирайте.

Глава 10

Прошла пора аллегорий, и наступила пора прямой речи

Дюже байна не помешала б. Видано ль где, чтоб грязными столько ходить. Ночесь нявгало, как будто бы кошка. Поводил умом я, повсюду тепериче неспокойно. А то бы и кошка, чего же нам тоснуть. Окуткой накрылся, нечего притчу накликать, по сузёму сиверко гуляет, не спится. Ажно сновидения нету, суетно мне, полабайдать не с кем, Михаил накрепко дрыхнет. Думаю, выйти ли, что ль из палатки, побисёдовать с лесом. Сплошные лесимы, нечему обрадеть. Бывают, грустина такая навалится, мочи нету, а тут ничего, настроение боевое. Дородно воздуха чистого, в палатке этой выморки от хозяев прошлых остались. Куру дикую споймали вчера, Миша никак пришибить ее не мог, чуть не плачет, пришлось за него. Зато паужин отменно прошел. Нонь из палатки я вышел, смород такой, как будто бы байной, веники распаренные березовые, дубовые, чутка розмарину, чутка эвкалипту. Птички в чащобе гугаюют, гнус вьется. Нать думать, как получше нам ехать. По болоту нельзя, по ключьям, утопнем, в тех местах я не был, заведу и утопнем, точно вам говорю. Думно в леса не углубляться, мало ли, сколечко там дурных граждан. Всяк из деревни нонче сбежал, да подальше от населенных, да пунктов. А все ж, какая природа, будто в первый раз увидал. И неясно совсем, доживем ли до здвиженья. Ништо страшного, доживем. Именно так изыясняются наши местные весьма способные жители, уважаемый дневник. Не знаю, насколько мне удалось приблизиться к этой грандиозной речи, нужно ли мне вообще к ней приближаться, речь бывает уголовно наказуема, в этом я убедился, в этом убедились декабристы.

Как вы догадались, догадались или не догадались, мы подошли вплотную к месту раскопок. Что-то близкое к тридцати километрам впереди нас ожидает. Место спокойное, рядом берег Белого моря, чуть в стороне, вернее, в глубине леса находится не действующий ныне исправитель-

но-трудоу лагерь. Нам в школе рассказывали, что здесь когда-то трудились очень интересные люди, священники, писатели, крестьяне. Вообще, мне кажется, в прошлом веке люди были какими-то без десяти минут гениями, без пяти минут сумасшедшими. Все-то у них ладилося, В густой тени сосен угрюмых валяются распотрошенные чемоданы. Цветастые свитеры, голубенькие джинсы, маечки, синие гольфы, принадлежащие фиг знает кому. Их разметал ветер. Вещички заляпаны грязью, кое-где можно увидеть плесень, например, на белом рукаве кофты. Кажется, от Михаила я нахватался всяких разных речевых оборотов, словечек, не свойственных мне. Странное чувство, как будто говорю чужим голосом. Последний раз я так удивлялся, когда узнал, что Макс Фрай это женщина. Прихваченный мной старый дедушкин Макаров с двумя патронами лежит на дне рюкзака, не хотелось бы думать, конечно, что два патрона, они сейчас в обойме, предназначены для нас. То есть я предполагал, наверное, вот окажемся в ситуации, когда прижмет, выбраться, ну, никак, придется решиться на два последних выстрела. Наличие пистолета успокаивает, рифленая рукоять, когда пистолет в руке, приятно волнуется кожу, с ним спокойно, что ли. События последних дней заставили меня по-настоящему подумать, уважаемый дневник, чем же мне заниматься в жизни, ну, в плане профессии. Так вот я решил стать, как дедушка, гробовщиком, пойти по семейным стопам, что называется. Главное не отдавить эти стопы, как сказал бы обязательно Миша. Кстати, он сделался молчалив, предавшись думам, изредка чего-то набирает в своем телефоне.

Мы сидим в желтой палатке на вершине холма, учитель дремлет в темно-зеленом спальном мешке, наглухо застегнутом, торчит его красноватый, пуговкой нос, Михаил сопит. Мой спальный мешок розовый, от него пахнет ландышевыми духами, а еще немножечко кислым, как будто в школьной раздевалке после физкультуры. Где находятся владельцы палатки, не знаю, мы пришли, их не было, не подумайте, что мы их забили молотком, например, а потом разделили перочинным ножиком, зажарили на костре, как это делают древесные жители, прозванные карафаи. Ничего подобного мы не совершали, вы ничего не докажете, попробуйте, а я на вас потом посмотрю, на ваши удивленные лица. Вещи владельцев остались не тронутыми, мы с Мишей сложили имущество незнакомых нам граждан в углу палатки, такая вот интеллигентность с нашей стороны. Вон лежит невообразимых размеров фотоаппарат, дорогой, наверное, правда, экран в трещинках, бархатный голубой блокнот с изящной надписью на обложке – Ванда, консервная открывалка с черной рукоятью с рисунками красных ягодок и золотыми узорами, зубная пластина, размокшие и совершенно не читаемые четыре паспорта, колода карт в неплохом состоянии, женский зеленый парик, мундштук цвета слоновой кости, в мундштуке длинная, тонкая сигарета, заспиртованный скорпион в бутылочке, синее платье, квадратные очки с большими диоптриями, золотой кулон в форме шприца. Смотришь на кулон, а в сердце щемящее чувство такое случается. Зазвевшее под рубашкой мое сердце взяло да и разбудило Мишу. Он заворчал что-то непонятное, непонятное точно почерк врача. Заворчался весь, из его спального мешка выпал кошелек.

– Можно я посмотрю? – спросил я. Михаил позволил, хотя булькающие звуки, что он произвел, можно было принять за кипящий в кастрюле куриный бульон. В кошельке учителя обнаружился ворох пожелтевших рецептов на самые разнообразные медикаменты. Их названия вам ни о чем не сообщат, а если сообщат, вы, наверное, литераторы. Помимо прочего там наличествовал, в его кошельке, сложенный вчетверо листик, некий ответ от неких редакторов, распечатанный на принтере, сохраненный, как прокомментировал проснувшийся Михаил, по причине глубоко личной. Приведший на рассвете апреля его, можно сказать, в восторг, демонстрирую содержимое вам целиком, без цензуры. «Дорогой Михаил, простите, что на Ваши две подборки – августа и сентября – отвечаем только сейчас: безусловно, наша вина, что так затянули. Благодарим за такое долгое ожидание и за присланные материалы. Вы знаете, ситуация, наверно, та же, что и в прошлый раз: стихи несомненно хорошие, узнаваемые, с очень интересными местами, на которых останавливаешься при чтении, замечаешь их – но пока, наверно, не совсем “наши” все равно, не по качеству, а именно по эстетической направленности. Всегда жалко неоднократно отказывать хорошему автору по таким причинам – но, наверно, тут у каждого журнала есть своя неизбеж-

ная “вкусовщина”, поэтому у нас и много журналов, что, безусловно, хорошо. Но мы не против и дальше Вас читать – а кто знает, может быть, в какой-то момент мы эстетически и сойдемся? Поэтому если Вам будет хотеться присылать – присылайте и дальше, как мы и договаривались, а с нас в любом случае внимательное прочтение». И подпись, Валерий Шубинский. Учитель, не открывая глаз, бубнит: они не смогли разглядеть эротику моих текстов, но, кажется, неосознанно соблазнились. И добавляет более внятно: заяц, ты проголодался?

Наверное, мне следует рассказать о том, что предшествовало этой палатке, рецептам, дорожному большущему фотоаппарату с трещинками на экране, зубной пластине, открывалке, всему, в общем. После той злополучной избушки на меня страсть как навалилась апатия. Какие-то Апатиты, в самом деле, внутри меня образовались. И казаться стало все таким сырым, зрение стало вмещать меньше оттенков, неужели мне придется теперь носить очки, дикость какая-то. Мало кому они идут. Моей однокласснице Ольге Николаевне шли, потому что возраст соответствующий, Екатерина Михайловна время от времени очки надевала. Но учителям положено. Мама, допустим, носит контактные линзы. Вспомнил про Ольгу Николаевну занимательную историю, она же известная любительница любовных романов. Написала как-то повесть на школьной парте. И такая у нее повесть получилась увлекательная, что учителя вместо того, чтоб оттирать черные буквы от столов, ходили долгое время по классам. Главы-то на разных партах написаны были. И обсуждали на педсовете потом, делились переживаниями. Хотели даже подать на дублинскую премию, у буфетчицы в Ирландии жили родственники, обещали помочь. Правда, потом какой-то сознательный дежурный отмыл начало повести. А педагоги перестали читать и обсуждать это томление духа, как выразился фронтовик-физкультурник. Сколько же лет фронтовику-физкультурнику, думаю, не меньше ста. Очень мудрый дядька, он покачал своей героической головою, поглаживая своей героической рукою парту с эпилогом, что сочинила Ольга Николаевна, заметил, с какой легкостью рушатся сейчас писательские карьеры. Возвращаюсь к событиям, случившимся после той злополучной избушки. Мы плелись вдоль берега, полагая, опасность нам грозит только со стороны леса, впереди-то все видать. Потом я услышал со стороны леса плескотню, так помыться захотел, ужас просто. В море-то нельзя, море выглядело нездоровым. Грандиозное, точно подпись нотариуса, над ним стелился зеленоватый туман. И моя мысль о происхождении моря показалась верной, море это чьи-то слезы, допустим, слезы матерей, что провожали своих сыновей на троянскую войну, а затем такое количество слез, куда ж девать, одним словом, море. Кое-как уговорил я Мишу сходить, одним глазом хотя бы осмотреть, плещется ведь, а еще не терпелось помыться. Ничего, правда, из этого хорошего не вышло.

– Сейчас же, – вопил учитель, – вылезай из этой реки Потудань, пока тебя не унесло, унесет ведь на гражданскую войну, что потом делать будешь! – Нас продолжали одолевать тени мертвых верований и убеждений, а искупаться вдоволь так и не дозволили. Колеса наших велосипедов напрочь сдулись, поэтому пришлось оставить урал, орленок на берегу, зачем тащить лишний груз. Примерно за час до того, как мы нашли эту палатку, из которой я вам рассказываю, сделали привал. Чтоб вы знали, на самом деле я полез вовсе не в речку, то было озеро с прозрачной водой, диаметром сто, должно быть, метров. Учитель словесности категорически попросил этого не делать, ему не понравилась рыба, вероятно, рыбин десять, может, чуть больше, плавали вверх пузом, тарращились своими белесыми глазами. – Не превращайся, пожалуйста, заяц, в Оскара Уайльда, тут же рассадник менингита для твоих ушек, – печально произнес Михаил. Стали мы перекусывать в беседке, что стояла неподалеку от озера. Места у нас туристические, вот для туристов беседки ставят. Мужчина положил свою руку мне на сердце, сообщив: ты когда-нибудь почувствуешь это. – Что, инфаркт? – спросил недоумевающе. Михаил рассмеялся, уточнив: любовь. Мы уговорили целый термос, чай с мелиссой и зверобоем, доели бутерброды. Вдруг за нашими спинами раздался женский голос, тоном чрезвычайным к нам обратились: ну, чем дальше от Пушкина, тем печальней все, сидят, понимаешь, пресыщаются! Мы немедленно повернулись, дабы встретиться лицом к лицу с дамочкой лет сорока. Дамочка эта, чтоб вы знали, была мне от начала и до конца знакома. Дамочка эта являлась почетной медсестрой области. Помнится, по телевизору показы-

вали весной сюжет о стагнации в современной психиатрии. По совместительству Елена, как звали почетную медсестру области, мамина знакомая. В том сюжете, показанным весной по телевизору, Елена Кискина выступала от лица почетной медсестры области, выступала против того, чтобы живьем варили крабов, а еще за то, чтобы нашей библиотеке разрешили закупить книжек Анни Эрно.

Говорить с ней – что говорить с югославской стенкой, она всего лишь инструмент, на котором играют обстоятельства. Ей все православие, самодержавие да народность подавай. Начнет сейчас опять о своих декадентских штучках говорить, а сама будет от нас бутербродов ожидать, – думаю про себя. Еще вспомнил, а ведь почетная медсестра области живет здесь неподалеку, мы к ней, кажется, ездили с мамой в гости на консультацию. Кискина носила очки с желтыми окнами, имела привычку сокрушаться по мелочам. Учитель словесности спрашивает у женщины: что же, долгие рыдания скрипок осени ранят своей печальной монотонностью ваше сердце или не ранят? И спросил эту безделицу он, как мне видится, оттого, что не умел совершенно с незнакомыми людьми общаться по-человечески. Она молчит. Михаил ей снова: что же вы, потешьте нас до известного предела, локти нам свои покажите, вы кажется мне крайне сумасшедшей. Думаю, хотел он убедиться, содержится ли в ней лихорадка, может быть, какие-то симптомы, которые содержались в фермерах, в любом случае не заметить произошедшие в людях перемены было крайне сложно. Но ведь пропала бессонница, возраят, измученные граждане, пропала-то, пропала, канибализм появился! – А что вы тут сироту обижаете, дверь? – спросила медсестра. – Никакой я не сирота, мырма! – заклокотал я оскорбленно. Михаил ко мне обращается: заяц, не доводи до греха, Макаров свой не доставай! А чего буду его доставать, Кискиной далеко до страшных фермеров. Елена поинтересовалась: вы, наверное, хотите узнать, почему дверь? Мы с учителем словесности стали собираться, не сговариваясь. Почетная медсестра области не отставала: ну, как почему, вы же прилагаетесь к этому сироте, словно дверь к дверному проему. – Женщина, – говорит спокойно Миша, – мы уходим, а мальчик этот не сирота! – Очень жаль, – говорит обидные вещи Елена, – да будет вам известно, что сирота это мера многих вещей, в сиротах измеряется человечность начальника сельсовета, одному он положенные квадратные метры не выдает, двое придут к нему на прием – засомневается, ну, а три пожалует – расплатится, всем жилые квадратные метры и выдаст!

Мы оставили позади взбалмошную Кискину, она продолжала кричать нам вслед, рассчитывая, мне кажется, на бутерброды. И я предполагал, что совсем скоро перед нами возникнет старая лесопилка. Где мы сможем со всей значительностью отдохнуть и приготовиться к встрече с матерью. Однако по счастливой случайности увидели одинокую желтую палатку. Она стояла на холме. Высоченные сосны обступили тот холм. Невообразимая духота морила нас, лямки рюкзака натерли плечи. Подумал с негодованием, у нас тут больше шестидесяти тысяч озер, а встретилось одно захудалое, куда ж это годится. Мой попутчик тревожно на меня посмотрел, предложил мне постоять в стороне, вызвался сходить на разведку к палатке. По нему видно, погодные условия учителя не прельщают, повесил язык на плечо, пошатывается, как пьяный. Сообщая ему о лесопилке, сообщая также, мол, ни к чему ему на амбразуру в столь молодом возрасте. Тем более неизвестно, чья амбразура будет, нашенская или вражины. – Заяц, – говорит, срывая несколько ягодок красной смородины, уверенным жестом отправляет их в рот, ожидаемо плюется. Кривая лицо, говорит: я есмь то, что я есмь. Пришлось ответить ему очень просто, ответить ему следующее. Понимаешь ли, дорогой Михаил, когда кошка летит стремглав с дерева, она полностью расслабляет свое тело, приземляясь легко, но если кошка, летящая с дерева, вдруг решит не лететь с дерева, она напряжется, а приземлится просто мешок с переломанными косточками. Понимаешь ли, дорогой Михаил, согласно философии Дао мы все эта кошечка, падающая с дерева в каждый, заметь, момент нашей жизни. Он не на шутку озадачился. Впрочем, отрицать не стал, видно, поразмыслив, отрицай, не отрицай, все равно придется принять однажды странную суть вещей.

Внезапно меня одолел сон. Михаил, слышу, разжег костерок. Потрескивают бревна, дымок проникает в палатку. Наверное, будем ужинать консервами. Сон мне какой-то снился, вспомнить,

чего там происходило, совсем не могу. Сон этот – как будто постукивания замурованного в стену человека. Пугают, а вот лица пленника, и почему его замуровали, ответить не в состоянии. Пока я вам пишу тут, учитель вернулся, чего-то набирает в телефоне. Мы в определенной степени коллективный Афанасий Никитин. Пусть, общечеловечность и не интересуются – видали мы за время нашего путешествия сухопутный путь в Индию, не видали. Однако матери, как археологу, полагаю, будут интересны данные записи, наделенные, в известном смысле, вернее, написанные человеком, способным подмечать любопытные детали. И мама Михаила, полагаю, пришла бы в восторг от моих дневников, надо бы с ней познакомиться. И поблагодарить за столь увлеченного своим делом учителя. – А что вы там пишете, будьте любезны, покажите, – обратился к соседу по палатке. – Экий ты глазированный молодой человек, – рассмеялся незлобно тот. И продемонстрировал мне последние набранные сообщения в своих заметках. «По улице посреди ночи гремели грузовики, везли ракеты на Кубу, время повторения ошибок окончилось, необходимо было совершать новые». Тогда я спросил у него, кто его читатели, какие они из себя. Литератор отвечал, мол, несчастные люди. – Приниженные и угнетенные, – уточнил я. – Шизофреники, сироты, одинокие домохозяйки, запутавшиеся в языковых страдах, – разъяснил печально. Затем стал живо интересоваться, не обиделся ли во время наших странствий на него. А чего должен обижаться, мужчина интересный, слегка простоват, но не лишен общего, так сказать, обаяния, ко мне с уважением, можно сказать, заботой. Я знавал очень хитрого человека из шестого класса, он говорил: не хочу никого обидеть. А потом всех обижал. Неглупый парень, медиевист, как начнет о восшествии на престол Юстиниана Великого чесать, так и не остановишь. Все уж домой разошлись, сторож один сидит, а он о битве при Пуатье разглагольствует. – Михаил, послушайте, никто никого не обижал, у нас, я считаю, превосходный союз получился, мы как Астерикс и Обеликс, – говорю. На что учитель словесности громко, на всю палатку, слотнул, глаза его покраснели, вот-вот заплачет, под предлогом: покурить; вышел. Слышу, всхлипнул два раза, отчего, не пойму, глубоко затянулся, кратко выдохнул.

Вернувшись, он улегся на спину, руки под голову положил. Вообще говоря, привычка подкладывать руки под голову сложилась в ходе естественной эволюционной необходимости человека держать тыковку ровно по отношению к туловищу. Читал в советской энциклопедии, таким образом искусственно замедляется кровообращение, вес тела-то давит на руки, вхождение в первую фазу сна происходит быстрее. С этих нетривиальных мыслей перескочил на мыслишки посерьезней. По аналогии с лучшей мыслью, что не изречена, можно сказать: лучший человек – человек не рожденный, с удивлением заметил. Я незамедлительно рассказал об этой находке Мише. Он принялся размышлять вслух: когда я был маленьким, у нас учился один мальчишка, бывало, получая двойки, он возвращался домой и начинал готовить веревку. Мне становится интересен рассказ, придвигаюсь поближе. – Мальчишка знал, когда мать возвращается со смены в котельной, слыша звон ключей перед собственной дверью, он шагал с табуретки, родственница входила, видела данное происшествие, тут же бросалась к сыну, снимала его, – мужчина берет паузу. – Конечно же, ни о каком возмездии за двойку речь уже не шла, что такое двойка относительно жизни. – Грохочет гром, округа оглашается мяуканьем совы, видно, обзавелась потомством. – Подобное повторялось до пяти раз в неделю, пока мать моего одноклассника не нашла нужных слов, важно найти порой нужные слова. – Учитель спросил, в детстве моем имелся ли человек, не скупящийся на правильные слова. Ну, я рассказал, что все детство терялся, мне дедушка говорил, если потерялся, найди самого красивого человека и следуй за ним. – Какие у него были точные слова, заяц, он вылитый Леонид Аронзон, только Аронзон метко стрелял из ружья, а твой дедушка метко подбирал словеса, – сказал мой учитель.

Стало темнеть. Мы зажгли лампу-фонарь, на стены палатки легли силуэты звезд. Редко закапал дождь. Лежим. Думаю, как бы с ним заговорить о завтрашней встрече с матерью, событие-то незаурядное. Событие непохожее, скажем, на засаленные обои вокруг тысяч выключателей света в тысячах квартир наших сограждан. Стоит ли жизнь труда быть прожитой, задают вопрос раз-

ные писатели, режиссеры, учителя, продавщицы, в общем, народ. На голодный желудок об этом сложновато думать. Поужинали мы с мужчиной консервами с кониной и перловой кашей. А, точно, еще была дикая курица, но ее стало жалко, пришлось отпустить. И так на душе спокойно сделалось, мысли природоведческие, философские в голову полезли. У меня хобби такое, жить. Край свой люблю, да, если хотите, готов пить с лица нашей земли лимонад Колокольчик, настолько люблю. Жаль, неизвестно, как мы потом поступим, ну, когда встретимся с мамой. С Михаилом не очень-то и хочется расставаться, а расстаться, кажется, придется, матушка не жалует мужчин. Если это, конечно, не археологи, профессора какие-нибудь. Когда случилась мировая бессонница, именно мужчины устроили гражданскую войну первыми. Гражданские войны происходили весьма локально, то есть сначала на улице Луговой одни парни решили, что нефiltroванное пиво единственно верное пиво, которое стоит пить. Другие ребята с этим категорически не согласились, пусть и признали, живой напиток ничего, но filtroванное – оно круче. И в масштабах улицы Луговой развернулись военные действия, со штабами, пунктами связи, целую неделю драки происходили, так никто ни перед кем и не капитулировал. Потом, значит, конфликт на улице Школьной среди мамочек, одни выступали за повышение призывного возраста до шестидесяти трех лет, прочие тетеньки возражали, кем же им тогда гордиться, если защитников столько времени в наличии у них не будет. И началось: сначала смущенные плевки, затем иронические пощечины. Как будто в шутку, не всерьез, как будто вам наступили в переполненном вагоне на ногу, а вы человек весьма склочный, но ведь полный вагон, что подумают граждане, когда вы приметесь молотить оппонента зонтиком. Вы язвительно насмежаетесь, говорите какую-то гадость, вам хочется задеть хотя бы словом. Соперник в том же ключе обращается к вам. И в какой-то момент начинается окровавленная драка, к ней подключается весь вагон. В общем, нечто подобное происходило на наших улицах по самым, казалось бы, нелепым поводам.

Внезапно учитель словесности водрузил на свою голову зеленый парик, поверх спортивных штанов и серой фланелевой рубашки с трудом натянул чужое синее платье, треснувшее по шву. Изменившись в лице, – оно у него какое-то вытянутое сделалось, – спросил голосом престарелой мадам: скажи-ка, мальчик, известно ли тебе, что есть инфляция? Я чуть со смеху не помер, хотя такими штучками детсадовцев только веселить. – Инфляция это что-то про деньги, – говорю ей, а у самого в животе покалывает от хохота. – Мальчик, а мальчик, ты иметь сто рублей и покупать на них, как это, десять сырковых, – ситуация становится комедийной. – Покупать, покупать, – подтверждаю. Мадам эта мизинцем изящно прядь волос поправила, спрашивает: а если не покупать, тогда в копилку подать, сохранять, – что за странный акцент у этой малопривлекательной дамочки, думаю. А сам говорю: конечно же, буду копить, только не в копилку, а сверну в трубочку, в целлофановый пакетик, а потом все это дело в морозилку. – Ты есть мудрый мальчик, но ты есть мальчик, который не понимать, через год на твой сто рублей можно покупать не десять, как это, сырковых, а восемь и половина, – поучала забавная тетенька. И я стал про себя думать, а ведь зерно смысла в ее речах содержится, продукты-то дорожают, а к прежним ценам, к сожалению, уже не вернутся. И мои сто рублей в морозилке, да хоть сто пятьдесят накопленные, медленно, однако уверенно теряют то два процента, то три. – А что делать, сейчас же ответь! – прикрикнул на нее. – Ах, мальчик, вкладывать, чтоб деньги работали, работать, – был мне ответ. Женщина с диваном наоборот возвратилась в учителя словесности. В пылу спора, я уж поверил в реальность, явленной мне особы. – Заяц, когда у меня появляются лишние денежки, вкладываю их в приюты для кошек, на мой взгляд, вложение грандиозное, – Миша, кажется, ничуть не шутил. Тогда я искренне удивился: но ведь это не принесет никакой выгоды, то есть даже не удастся сохранить сумму в том объеме, что у меня была, все исчезнет, все канет в лето, чем же согреться зимой. Мужчина прикинул чего-то в уме, шевеля губами, он загибал пальцы, наконец, ответил: а вот здесь не согласен, ты вкладываешь в свою душу. – А как вы думаете, каждая ли кошка мечтает об электромышках? – поинтересовался, внезапно вспомнив об электроовцах я. – Безусловно, сынок, безусловно, – с теплотой произнес он.

И вновь принялся перевоплощаться, очки с большими диоптриями, зубная пластина, воротник серой фланелевой рубашки поднят, волосы взъерошены. Хлопает своими огромными глазами, головой мелко кивает, обнажив зубы в полуулыбке. Подобные Овидиевы превращения меня никоим образом не смущают, в первый раз было курьезно, да и во второй раз потешно, поэтому по части хохотунчика я тут как тут. Отчего-то припомнились слова маминой любимой лысой певицы, Валентины Авангард: ты смотрел на себя в зеркало утром, но себя там не видел, все потому, потому, что меня в нем еще не бывало. Причудливая ситуация, думаю мне, собственно, как и актерский талант Михаила. Вот в нем, конечно, сочетаются ипостась литература и Ален Делон. – Галсон, известно ли тебе о колабельных соснах, пливинченных снизу болтами, о плилоде нашей знаешь ли ты подлобности? – спрашивает мой новый собеседник, избыточно картавя, вероятно, виновата чужая зубная пластина. Гражданин напоминает человека весьма легкомысленного, что это, природа, природа тема абстрактная, легкомысленный человек, мне кажется, подобно и выражается, патетично, высокопарно, ни о чем. Отвечаю ему: ну, какая природа, уважаемый землянин, о природе думать раньше надо было, нынче от нас ничего не зависит, какой-то идиот, вон, нажал на кнопку, все, кина не будет! – Хм, хм, галсон, ты плав, что-то я по скудоумию не ласпознал в тебе лицо плосвещенное, – новый сосед зачавкал губами. – Как-то лаз в молозном дыму я заметил окулочек с класной помадой и лванулся из стлоя к нему, тебе уже нлавится некая девочка? – заговорив о любовях, мужчина рисковал: обсуждать девчонок, по крайней мере у нас в школе, считается моветоном. Тем более от размышлений о природе переходить к девчонкам, что же должно происходить в голове данного гражданина, винегрет, полагаю. Отвечаю ему с нескрываемым раздражением: вообще говоря, есть одна, прямо-таки ангел, что закрыл мне глаза, чтобы я смог видеть. – И что же, хм, ваши отношения лавзиваются стлемительно? – разговор наш, чувствую, ни к чему хорошему не приведет. – Да какой там стремительно, скажете тоже, сплошная пробуксовка на месте, я ей со всей заинтересованностью, она мне мыльницы дарит! – Мыльницы, значит, хм, влеменами чудные фолмы чувственности являет нам женщина, главное велно истолковать, – зачавкав губами, произносит. – А мне кажется, девчонок привлекают увечья, вот меня как-то раз собака цапнула за ногу, получилась рвано-укушенная, а не колото-резаная ранка, – задумчиво говорю. И продолжаю: собрались со всей школы девки, обступили меня полукругом, восхищаются, глядя на укус, каждая вложить палец норовит, нет бы кто скорую помощь вызвал. В очередной раз учитель словесности вернулся к исполнению своих обязанностей, быть Михаилом. – О, женщины, – только и смог помпезно сказать он. Вероятно, вспомнив, какими горькими на вкус бывают попки девчонок.

Перед сном опрометчиво решаю, значит, прочесть дневничок той самой девушки Ванды. На первой странице нас встречает эпиграф без авторства. «Не смотри в окно, там уже начинается зима, звезда мороза бессонна, как пустая колыбель, и хотя сон пришел к тебе на мягких подошвах, не засыпай, позволь ему раствориться в твоей крови». Почерк нервический, угловатый, лишние украшательства присутствуют, волнистые линии, звездочка, снежинка. – Вам не помешает свет, думаю вот почитать, не помешает, а? – спрашиваю деликатно у Миши. – Читай, читай, заяц, – отвечает, – я вообще с включенным светом предпочитал спать одно время, хозяйка, сдающая мне комнату, отчего-то безнадежно поверила в мои песьи способности, позабыв, что собака далеко не всегда человеку друг. – Обложка еженедельника приятная на ощупь, темно-морковное подсохшее пятнышко даже его не портит. Собираюсь читать по порядку, правда, если станет совсем уж скучно, буду перескакивать. Литература вещь субъективная, временами уродливая, что крошка Цахес. В то же время, как говорит Екатерина Михайловна, чего-то говорит она такое про искусство и науку, мол, это два глаза человеческой культуры. Решил я, значит, взглянуться в чужой глаз, отчего не взглянуться, когда позволяют.

«Сегодня я проснулась раньше обычного, еще до рассвета. Внутри меня настоящий ураган, нет, настоящая буря, вырывающая с корнем дерева, мои чувства и мысли все перепутались. Се-

годня день моего рождения, наконец-то, мне исполнилось восемнадцать лет, это что-то с чем-то. Это значит, теперь мать и отец больше не имеют власти над моим телом, мыслями, отношениями с мужчинами, закончился постоянный, ужасающий все мировые организации террор. Это значит, они теперь не вправе запрещать мне ничего, пишу сейчас “ничего”, а у самой мурашки по всему телу. Больше никаких: “ты пришла на две минуты позже, интернет не увидишь до пятницы, курва”, или “поговорим дома, ты нас очень расстроила, нам стыдно за свою дочь, за подобную мерзавку”. Кстати, что касается дома, теперь я могу, громко хлопнув дверью, уехать жить к Саше, полгода как собрала свои вещи, они даже ни о чем не догадывались. Считала дни до своего восемнадцатилетия, отмечала в календарике гвоздем, деньки казались мне такими долгими, железобетонными, каждый раз мой гвоздик прорывал насквозь календарь. Сегодня же расскажу родителям, что меня отчислили из медицинского, не терпится посмотреть на их лица. Отец, наверное, опять схватится за свое сердце с правой стороны, а мать начнет в меня плевать, а будет попадать в отца. Хотя уход из дома и отчисление вещи все-таки посерьезней, чем вызволение меня из отдела милиции в полпервого ночи. Или, скажем, когда они меня искали по всему городу, а я ночевала у Саши, но сказала, что ночью у подружки». Дочитываю до этого места, *par excellence* несчастная Ванда, мне кажется, излишне драматизирует. Ну, с кем не бывает, разногласия с родителями случаются у многих, если ты, Ванда, повзрослела, как говоришь в своем дневнике, то где, спрашивается, мудрость и терпимость к своим предкам. Ладно, перепрыгиваю через несколько страниц, вчитываюсь дальше.

«Саша позвал Петю с Леной, мы едем в Карелию! Конечно, это не то, чего бы мне хотелось, тем более палатка одна на четверых. Но любимый сказал: считай настоящую поездку не свадебным путешествием, а первым нашим совместным вояжем. Он тоже никогда не понимал гиперопеку моих родителей, хотя сам почти из поколения папы, совсем немножко помладше. Мы с ним выбирали полдня платье, купили мне походный рюкзак. Вечером пили чай с марципановыми конфетками, сидя у него на кухне, у нас на кухне. Вдруг Саша подарил мне серебряное кольцо и золотой кулон в форме шприца. Глядя на украшение, я почему-то стала очень громко смеяться, подумала про медицинский, мое отчисление лучше, что случалось со мною когда-либо. Нельзя учиться тому, чему не планируешь посвятить свою жизнь. Железно решила в следующем году поступать на дизайнерский факультет. Родители мешали мне осуществить свое предназначение, создавать образы, парить над обыденностью и рутинной, менять сознание людей. Мама всегда с презрением говорила, что шьют одежду одни неудачницы, по ее мнению, ты либо терапевт, либо человек второго сорта. Бесит. Как же мне повезло встретить такого щедрого и понимающего мужчину. Он обмолвился о нашем венчании, хочет, чтобы все было серьезно. Иногда меня посещают странные мысли, нужно ли вообще строить семейную жизнь так быстро. То есть как минимум не хочется повторить ошибок своих родителей, проработать эту травму с психологом. Сколько же нас таких, кто до сих пор не может закрыть гештальт, вынужденно живя с абьюзерами. Правильно говорят, токсичные отношения в семье прямой путь к биполярному расстройству». Ох, засорили тебе мозги, Ванда, ох, засорили, размышляю. Нейролингвистическое программирование осталось ввернуть, Ванда, неужели ввернете, Ванда, вы заметили, Ванда, как я ловко перешел с вами на вы. И что-то мне подсказывает, оно у вас дальше появится, это нейролингвистическое программирование. Вздумали тоже, тешить себя иллюзиями, мнится таким девочкам, что расцветут они на лучшей почве, а ты попробуй-ка, расцвети здесь, среди камней и терний! С полным основанием пропускаю страниц десять.

«У нас привал, все просто ужасно. Зачем только полезли в это ртутное озеро. Все Петя виноват, смотрите, как оно блестит серебром. Кто ж мог подумать, что ртуть настоящая, просто невероятно, нет слов. Лена еще на латыни заговорила, сначала ее тошнило, потом морозило. И вдруг начала ржать, как ошпаренная, кричать: *vincere aut mori, non progredi est regredi!* Я-то язык учила,

но у нас даже преподавательница так чисто не говорила. Как это объяснить, откуда у нее такие познания, или победить, или помереть, что Лена хотела этим нам сообщить. Саша еще повел себя, мягко говоря, неадекватно. Полез на сосну, якобы ловить сигнал. Но я-то видела его испуганные глаза по пять копеек. Сейчас разбили палатку на холме, отдохнем и пойдем дальше, надо выйти к людям. Телефоны не ловят, это ладно, но надо же было учитывать возможные варианты. Главное, таблетки для сна мы не забыли, а карту местности современную, ой, она семидесятого года. Почему она семидесятого года, тут весь ландшафт за пятьдесят лет поменялся до сантиметрика, деревья, холмы эти, полные сапоги воды теперь. зуб на зуб не попадает, каждую косточку своего тела чувствую. Хорошо, что спички не промокли, а то не знаю, пришлось бы под кустиком ложиться и помирать. Мужчины называется, костер запалили, Ленка в палатке бредит, идти к ней совсем не хочется. Да уж, а дома сейчас мама с папой утку с картошечкой зажарили, они всегда по субботам такой ужин готовят. И поразительное самое-то, Саша как не узнает меня, глаза опускает, мямлит. Никогда бы не подумала, что мой Саша, солист московского хора, любитель чинзано, дорогих кубинских сигар, утонченный и такой галантный мужчина, с которым очень давно еще моя мать встречалась и хотела уйти от отца к нему, так безбожно матерится. От костра валит густой дым, кажется, пламенем Пете опалило ресницы и брови, Саша комментирует, при мне он себе такого не позволял. Грязно, мерзко, меня просто оторопь берет. Не знаю, выберемся ли мы из этого леса, ничего уже не знаю. Сожрут нас тут, не сожрут, как Джеймса Кука, все равно, плевать. Подошел Петя, попросил проведать Лену, я же у нас медик. Не сдержалась и накричала на него, посоветовала самому в том озере искупаться. Надо же было так ошибиться в Саше, надо же было так ошибиться». Дорогая Ванда, ну, что же вы так расплескались, вон у вас на целой странице несколько слезинок высохших. И все-таки я думаю, тщетны россам все препоны, нам категорически противопоказано предаваться меланхолии, разве что в дневниках. Ванда, мы опять переходим на ты. Скажи-ка, Ванда, ты когда-нибудь разбирала утку, а дрова доводилось колоть, может быть, ты своим родителям сподобилась хотя бы разок подарить свое большое человеческое спасибо за доверие, оказанное тебе. Не постеснялись, родили тебя, да, перегибы в воспитании, то от собственного неумения по-другому воспитывать, любовь они выражают убедительно, мне это видится так. Вспомни, Ванда, ту африканскую девочку в платье из обыкновенного мешка, вспомни то видео, Ванда. Где китайская туристка подарила ребенку красные, резиновые тапочки, о, сколько неподдельных эмоций выказала африканская девочка, чуть не плача, восхищенная обыкновенными красными резиновыми тапочками. Быть может, я брюзжу тут понапрасну, но даже мне, девятилетнему Феде Меркулову, Ванда, понятны мотивы твоих родителей и обстановка на Ближнем востоке, образно говоря. Перемещаюсь лихо страниц на пятнадцать вперед.

«Ленка успокоилась, мужчины ее связали скотчем, такой вот лесной БДСМ, она быстро заснула. Я не могла долго перестать смеяться, нервное, наверное, защитные механизмы. Мы легли в палатке, как дети в родильном доме, в этих спальниках друг к дружке прижались. На удивление, в момент отключилась, не знаю, благодаря диазепаму или события предыдущего дня настолько меня вымотали. Даже Саша стал нормальным, извинился, поцеловал, как раньше, нежно в висок. На улице ухала сова, дятел стучал, обычные такие звуки. Я в детстве ездила в лагерь «Хрустальное озеро», там то же самое было. Часа в два ночи Петя стал задыхаться, оказалось, подавился собственной зубной пластиной. Помню, до того как проснулась от хрипа, мне снилась деревня. Домики, срубы какие-то из сухостоя, старые, жуть. Будто иду я по деревне этой, а все такое покинутое, тоскливое. Велосипед ржавый валяется, ворона дохлая в траве. И чувствую, как на меня из каждого дома, мимо которых я прохожу, смотрят. Гнетущее ощущение, в общем. Петю привели в чувство, Лена перестала на латыни разговаривать. Попытались опять спать улечься, ни в одном глазу, просто лежали все в темноте какое-то время, молчали. Ближе к трем часам утра, когда я не выдержала и спросила Сашу, каким образом он планирует меня опять завоевывать, кредит доверия-то не бесконечный. Он стал отшучиваться своими прибаутками. Ленка, слышу, пристает к Пете, мол, смотри, какими должны быть здоровые отношения между любящими людьми. На-

пряжение спало, у ребят нашлась бутылочка коньяка, пригубили. Обсуждаем, как завтра выйдем к ближайшей деревне, Сашка вспомнил, когда он залез на дерево, ему показалось, он видел какие-то дома. Успокоились, даже настроение появилось, с хорошими мыслями задремали. А потом началось. Сначала ощущаю прикосновение липкое, холодное, наподобие фонариком свечу, понять ничего не могу. Лена проснулась, спрашивает, чего такое. Мужчины повскакивали, да тут же притихли. Видим, хмарь расплзлась по всей палатке, пение далекое слышим, женские голоса сливаются в один, похоже на колыбельную. Зачем-то мы вышли наружу. Наш холм со всех сторон окружал туман. Туман стелился белесый, белесый, точно молоко. И силуэты людей черные, много силуэтов. Вдруг Саша грустно произнес. Произнес так странно, но уверенно, мол, из Медвежьегорска они пришли, посмотреть на нас хотят». Ванда, какая у вас фантазия, ваше желание прифрантить собственный рассказ мистической мишурой. Ваше желание совершенно понятно. Думается мне, юной барышне свойственно присочинить, если этого требуют обстоятельства. Обстоятельства же в вашем случае таковы, что начало самостоятельной жизни вдали от родителей – событие, сопряженное со страхом неизвестности. А где неизвестность, там и магическое мышление. Неизвестность, Ванда, признаться, пугает даже меня, девятилетнего Федора Меркулова. Решаю прекратить читать на сегодня девчачий дневник, не надеясь более встретить что-то любопытное. Но по доброте душевной даю шанс этому тексту, читаю ближе к концу.

«Теперь я понимаю, есть места, которые исключают самого человека, они даже не предназначены для того, чтобы мы их посещали. Хотя посмотришь, обычный лес, обычные сороконожки, заползающие в уши, они шевелятся там, им там покойно, хорошо им там. Я встретила утро, я дожидая до утра. Туман рассеялся, фантомы людей на нас посмотрели, уши, но до сих пор я чувствую прикосновение их смертельно тоскливых взглядов. Еще когда все началось, Лена разделилась и убежала прямо к силуэтам, почему-то мне врезалась в память ее бледная задница. Саша тоже куда-то ушел, плача. Мы с Петей остались вдвоем, вслед за ребятами не решились идти. Он сейчас полез на дерево, хочет понять, в какой стороне дома. Не знаю, что случится дальше, кажется, нужно было сообщить родителям, куда я поехала». Вот вы опять со своим магическим мышлением. И не просите даже, Ванда, не буду дочитывать. Дневник фантазерки был категорически закрыт мною, потушена лампа. И ничего, размышляю, не исключают человека наши места, не исключают, не выдумывайте даже. Да, эксцентричное поведение граждан наблюдается в отдельных случаях. Взять хотя бы Нину Кулагину, нашу библиотечкару, незаурядных способностей барышню, между прочим. Чуть книгу не в срок принесешь, она злиться начинает, аж свет сам собою включается, выключается, а предметы из шкафов без посторонней помощи вылетают. Или, допустим, на соседней улице живет у нас мальчонка, всю жизнь подковывал блошек, трудился на оборонном предприятии, солидный юноша. Выйдя на пенсию, этот мальчишка занялся подлинно великим делом, стал дрессировать вшей, эктопаразитов отряда пухоедов, если вам угодно. Мы негодовали, зачем тебе эти божьи жемчужины, считавшиеся издревле признаками святости, а влюбленные трубадуры снимали с собственных голов данных паразитов, ссаживали на дамочку сердца. Выдающийся мальчишка-пенсионер лишь загадочно улыбался. А потом по новостям стали передавать: нашествие вшей произошло во Франции, Германия не в силах совладать с миллионами божьих жемчужин. Мы тут же все поняли, сложили два и два, какой патриот среди нас проживает, выдрессировал армию, а потом наслал на Европу. Одним словом, Ванда, вы что-то перепутали, у нас люди не люди вовсе, мамонты, таких нигде больше не встретишь, подозреваю, что в вашей Москве, Ванда, они тоже отсутствуют. Ладушки-оладушки, Ванда, кстати, ваше имя значит смутьянка; знали вы подобную подробность? Впрочем, это меня ничуть не касается. Будем надеяться, у вас все хорошо, вы нашли своего Александра, Александр вошел в рассудок, да и не женился на вас, а голая Ленка вернулась, не подцепив никаких постыдных болезней. Михаил величественно спит, его храп напоминает произведение Чайковского, а именно партию мышинного короля.

Глава 11

Биполярно расстроенные зайчики*Трагикомедия в двух актах**Акт первый, воссоединение семьи*

Действительные лица. Джентльмен в сером костюме-тройке с головою лося, коллега мамы Федора, по темпераменту кавалер. Федор Меркулов, мальчик средних лет, не зная его – что сотрудничать с Марком Брутом, Иудой Искарриотом, прочими коллаборационистами. Некто Модест, завхоз археологической экспедиции, кряжистый мужичок лет шестидесяти, умеет говорить о меню применительно к духовной пище, то есть человек, имеющий склонности к философии, душа компании. Миша Токарев, литератор, от которого никто притворной нежности совсем, совсем не требовал, собственно поэтому он и не скрывал печальный хлад своего сердца, не было нужды, знаете ли, маскироваться. Сонечка, коллега Меркуловой-старшей, барышня, обремененная навязчивыми мыслями, ипохондрик необычайный, к своим тридцати годам сделавшаяся до крайней степени мнительной, сфера интересов ограничивается этнографическими штучками. Изыскания свои проводит в данной области, весь этот этногенез, состав, расселение, культурно-бытовые особенности: для Сонечки *ad infinitum* важно, в недавнем времени все-таки обзавелась молодым человеком, как-никак тридцать лет. Мама Федора Меркулова, женщина волевая, понимает: озеро – аэродром уток, и что зрелая душа на все отвечает любовью, правда, не всегда ей удается продемонстрировать свойства собственной зрелой души в этой связи. Мама Федора женщина неординарная, сколь неординарен, скажем, извозчик-жук, что погоняет на маленькой этой земле, под лимонными рощами облаков, пегих лошадаков, запряженных в повозку.

Время действия полдень, но ощущается как полночь. Место, в котором действительные лица предположительно взаимодействуют: вход в пещеру, сама пещера. Прежде всего зрители наблюдают огромный камень в окружении деревянных елок, в некотором смысле незатейливые деревца, как будто по ошибке, перепутав утренник в детском саду и серьезную постановку, заглянули на сцену. Звучит Клод Дебюсси «Лунный свет». На сцене темно, только луч прожектора проламывается сквозь темноту, освещает камень. На камне высечено разное легкомысленное, к примеру: Апрель плюс Домника равно сердечко. Сирка, где мои олени? Здесь был Иосафат. А еще всякого рода петроглифы вон тот пожилой господин во фраке из второго ряда может увидеть, если прекратит, естественно, лезть со своими азартными поцелуями к юной блондинке, по-видимому, чьей-то дочери, ее щеки красны, ее щеки нужны, ее щеки важны. Так вот пожилой господин в состоянии разглядеть, при условии, если он перестанет носить за блондинкой покрывало и смотреть на ее жемчуга. В состоянии будет пожилой, но господин, господин, или не господин, а куда деваться, господин разглядеть в состоянии будет петроглифы: двух лебедей с длинными, длинными шеями, быть может, то не лебеди вовсе, но динозавры. Зритель на склоне лет, с пронзительно-голубыми глазами, в уголках рта у которого собралась слюнка, ежели вынет язык свой из ушной раковины спутницы. Сможет насладиться, ко всему прочему, наскальной живописью довольно воздушной, силуэтами облаков, чаек. Шалун Калигула из второго ряда во фраке увидит кой-чего, что сможет потешить его буйный нрав, карельскую камасутру, незамысловатые позы, впрочем, позы, принимаемые потешными человечками с большими глазами, комичны, тут не возникает сомнений. Два зайчика, сконструированные при помощи пальцев, меж ними разворачивается приближающийся диалог. Зайчики проецируются, собственно говоря, на камень.

*Тень зайчика один: Здравствуй.**Тень зайчика два: Здравствуй.*

Тень зайчика один: Ты куда? Туда? И я туда.

Тень зайчика два: Нет, нет, сейчас я не туда. Я сюда.

Тень зайчика один: Сюда? Я тоже сюда, а потом туда.

Тень зайчика два испуганно: Нет, тогда я сейчас туда, а потом сюда. До свидания!

Происходит форменная смена декораций, праотцовский камень в окружении бесхитростных елочек поднимается на тонких тросах, вместе с елочками поднимается. Зрители, коих в зале не вполне много, пожилой сударь и девчонка, могут лицезреть, неужли живые: кедр, секвойя, пихта. У автора пьесы, которого достопочтенные критики традиционно относят к поколению драматургов «после Вампилова», тревожная мысль возникает: ах, они настоящие, в самом деле, настоящие, реквизитор притащил на сцену истовые кедр, секвойю и пихту. За это же полагается штрафная рюмка водки, но, постойте, мне пить совершенно нельзя, трусливо размышляет автор пьесы, сокрытый клубами дыма, он сидит в самом последнем ряду, посматривая с опасением на сцену, на макушки граждан из второго ряда. Музыка сменяется на еле слышные звуки ночного леса, в траве шуршит мышка, ухают совы, ветра порыв колышет веточки, кузнечики, надо признать, не стрекочут. Дело в особенностях акустического аппарата, как только выпадает роса, мокрый орган не в силах издавать стрекот. Зато раздаются глухие, пульсирующие кваканья, перерастающие в неистовый гул. У черного провала, входа в пещеру, трое: Федор Меркулов, джентльмен в сером костюме-тройке с головою лося, Миша Токарев. Тринадцать раз пробили наручные часы на руке джентльмена.

Лось, смотря значительно на часы: Надесь тут повстречался нам человек, а уже, стоит заметить, трянуло будь здоров, человек тот был одет в костюм ОЗК, запотевающие окуляры противопогаза, представляете себе, какое зрелище. А мы, вообразите, недалеко от места раскопок, отлучились все по малой нужде.

Федя Меркулов удивленно: Что же, все разом отлучились?

Лось, вытаскивая ресничку из глаза Миши Токарева: Мы ж арбуз кушать изволили, постойте, постойте, ресничка.

Модест, выходя из пещеры, закуривает, говорит игриво: Часик в радость, чифир в сладость, дорогие мои, Архип Архипович, у нас гости?

Лось, он же Архип Архипович: Да, Модест, сын Меркуловой с учителем пришли, аргонавты настоящие, такой преодолели путь.

Модест в малиновой рубашке с закатанными до локтей рукавами, в светло-синих джинсах, поразительно похожий на american boy в летах: А ведь народ сподвижник и герой, оружие зла оружием встретил, что же мы, не встретим разве с почестями наших путешественников!

Миша Токарев, морица нос, явно нервничая: Так и что же, человек в костюме ОЗК вам сказал?

Модест, подозрительно прищурившись: Какой человек в ОЗК, вы, я думаю, не аргонавт, вы, я думаю, воду мутите.

Архип Архипович, положив руку на плечо Спартака: Какая неловкость вышла, неуклюжесть, я бы сказал, я рассказал нашим гостям о человеке в ОЗК, сам это сделал, вы меня слышите, они по-прежнему аргонавты?

Модест, убрав консервную открывалку от горла Токарева: Да, лейтенантик еще, жажнуло когда, их собрали в части, выдали оборудование, сюда привезли, чтоб население предупредить. Аргонавты, аргонавты, не теми глазами я посмотрел на вас, pardonъте.

Архип Архипович, трогая свои безукоризненно лопатообразные рога: Погоди, Модест, отлучились мы по малой нужде, а тут повстречался нам человек в ОЗК.

Модест, перебивая: Лейтенантик тот посоветовал нам в пещеры уйти, мало ли чего, на глубине, оно безопасней будет, к тому же, у нас запасы воды и жранья месяца на два, так вот о нас заботится родной научный институт археологии, с излишком всего выдали.

Архип Архипович напряженно: Спартак, мы сейчас рассоримся, видится мне, соблюдайте, по-

прошу, очередность в репликах.

Миша Токарев, шумно выдыхая: Граждане, граждане, ну, куда вы спешите, моя голова за вами решительно не поспевает! Моя голова все-таки не сельсовет, попрошу говорить по очереди, поднимая руку.

Федя Меркулов учителю словесности: У меня складывается впечатление, дорогой Михаил, нашим политическим взглядам тут не рады.

Модест смешило: Ажно о политике заговорил, малой, да, политика у нас простая, сидим как морлоки под землю, носу не кажем, проедем тушенку, пойдем в райцентр.

Архип Архипович: Вот что, Модест, не пугай ребяташек, у нас тут женицин, убивших все мужское население острова, нет, вернее, только Сонечка да мама Федора, но, слава богу, они пока никого не убили.

Федя Меркулов: А золотое руно у вас имеется в наличии?

Модест, затягиваясь сигаретой, важничает: А как же, конфеты золотое руно, шоколадные, килограмм пять.

Миша Токарев, снисходительно улыбаясь: Посчитайте, пожалуйста, в попугаях, во сколько нам обойдется ваше гостеприимство, товарищи?

Архип Архипович, поддерживая общий шутиливый тон: Хоть поверьте, хоть проверьте, но вчера приснилось мне, а стоит заметить, в пещере мы прилично уж времени, приснились мне вы. Полагаю потому, что матушка данного господина нам все уши прожужжала, де придет мой мальчик, он у меня сообразительный, оставьте конфеты в покое, нужно сыночке оставить.

Модест, хлопая по плечу Федора: Неча облучаться зазря, уважаемые аргонавты, попрошу вовнутрь, чаевничать.

Не особенно вдаваясь в подробности, скажу с присущей мне простотой, технически происходит выключение света прожектора. Сцена оглашается тьмой, лишь светлячки вьются, фотогенные клетки, lanternы, работают в высшей степени хорошо. Характер мерцания неоднороден. Автор пьесы с последнего ряда талантливо идентифицирует голубоватый свет водяных светлячков, обитателей японских рисовых полей. И пенсильванских светлячков с красными глазами, привезенных по специальному заказу из Канады, безупречно определяет. В массе своей сцену населяют ивановские червячки, яркие, при помощи одного ивановского червячка можно, допустим, читать книгу, вода им по строчкам. Светлячкам вполне хватает кислорода, поэтому их органы свечения испускают свет. Легкие, дорогие зрители, у них отсутствуют, кислород извне подается в организм по сложной системе постепенно сужающихся трубочек, трахеолам. Еле слышно звучит песня группы The Marvelettes «Forever». Наши герои пропали, наши герои вынесены за скобки. Они в данный момент проходят запутанными коридорами, чтобы в дальнейшем предстать пред вечно-стью глухой. Потемневшая сцена являет собой образ потери зрения, однако уши всевозможных форм, наверное, способны слышать. Вы совершенно верно догадались, имеющие уши да услышат, дорогие зрители, имеющие глаза да увидят. Относительно разума ничего сказать не могу, вероятно, мы его почти растеряли. Однако до дядюшки с блондинкой из второго ряда доносятся высказывания матери Меркулова и Сонечки. Иными словами, на сцене светлячки да женские беседы. Хочется заметить, поведение зрителей по-прежнему отвратительно. Старикашка, никого не стесняясь: светлячки испускают недостаточный свет для того, чтоб обнажить, происходящее во втором ряду. А из второго ряда меж тем звучит пылкий шепот: я понял, отчего не летают люди, как птицы, оттого, что не встретили вас, так будьте же моей императрицей! Блондинка, помещенная в данные обстоятельства, вероятно, не желала быть созданием без воли, не желала она быть также игрушкой для страстей и похотей других. Автор пьесы слышит звук пощечины, по всей видимости, пораженный девчонкой в щеку пожилой гражданин перестал паясничать. Во втором ряду воцарилось оскорбленное молчание, а вниманием зрителей завладел диалог, расплывшийся по сцене. Но постойте, постойте, автор пьесы желает подать юным зрителям ремарку о светлячках, зрители постарше всенепременно это знают и так. В частности, о происхождении светлячков.

Неназванный бес макиавеллистически совершенно пытался проникнуть в рай, однако храбрый апостол Петр, известный вам рыбак из пятой главы трактата о воспитании отцов «Папа у Федора силен в метафизике», пылко скинул того с девятого неба. Бес расшибся на тысячи искр, из которых в дальнейшем получились пресловутые светлячки. Темными ночами можно увидеть скопления светлячков на опушках, по краям дорог, на распустьях, словом, в опасных местах. Такое вот око райского змея.

Сонечка мелодраматично: Ах, лучше б я уехала по обмену опытом и не вернулась, была же возможность, звали же в Италию добрые люди, копать неповрежденную этрусскую гробницу.

Мама Федора, передразнивая: В Италию, а в Италии глаза в сандалиях, слышала когда-нибудь такое утверждение? Всех вас пора торговым венком вымести, вы из отечественной земли попросту откопать что-то стоящее, такое, чтоб сразу же в музей захотелось поместить!

Сонечка, раздумывая: Всегда хотела у вас поинтересоваться, не тяжело ли вам без мужчины, то есть о женском счастье я всегда хотела поговорить с вами, в вас, извините меня, так много жизни, как в обогащенном уране.

Мама Федора, польщенная: Софа, да как тебе сказать, мне кажется неуместным восторг девушек относительно, знаешь, замужества. Понимаешь ли, Софа, я женщина старой закалки, мне мужчины нужны лишь в качестве инструмента. Главный для меня мужчина, не инструмент, – Федор, остальные так, отвертки, плоскогубцы, кувалды, молотки, в редких случаях ножовки по металлу.

Сонечка: Но разве вам никогда не хотелось, возвращаясь домой, встречать не только сына, но мужа, способного пронести вас до туалета, когда произошел вывих голеностопного сустава?

Мама Федора: Софочка, сколь прочно в тебе утвердился микроб выученной беспомощности. Кстати сказать, какой прелестный у тебя инструмент для удвоения мира.

Сонечка радостно: Вы про мое зеркальце, его подарил мне один молодой человек, мы с ним планируем пожениться, но вот незадача, совершенно не можем спать вместе. То есть, например, я ночую у него, или он проводит ночь у меня, засыпаем хорошо, даже прекрасно, но по прошествии некоторого времени живем вместе, скажем, неделю, начинаем ворочаться до самого рассвета. Не знаю прямо-таки, ерунда какая-то.

Мама Федора поучает: А я тебе скажу, детка, о принципе жизни вразжопицу. Жить вразжопицу, иначе говоря, не имея сексуальной близости, иначе говоря, в этом смысле раздельно! При этом совместно нажитые дети воспитываются двумя родителями, которые, заметь, не в разводе, они просто спят в разных комнатах, а также не докучают друг другу лишний раз.

Сонечка смущенно: Как это, не имея сексуальной близости, я хочу иметь сексуальную близость, а потом и детей от этой сексуальной близости, не знаю даже, что вам ответить.

Мама Федора печально: Соф, как ты меня разочаровываешь нынче, я по наивности полагала, мол, ты всецело человек науки, что средневековые поселения Нижнего Дона для тебя уместней лишнего познания секса с очередным мужланом. Что керамические клейма Северного Причерноморья с легкостью заменяют не поднятый, извини меня, стульчак, свисающие с люстры грязные носки, не смывтую в раковине щетину. Что находки на Елизаветинском городище, в конце-то концов, эстетичней, чем прилюдное ковыряние в пупке!

Сонечка стыдливо: Истинно так, для меня это именно то, что вы говорите. Просто, просто мне тридцать лет, а я только сейчас, слышите, задумалась, кто я такая. А потом с ужасом поняла, да ведь женщина. Хочется, понимаете, оставить после себя...

Мама Федора, перебивая: Успеешь еще оставить, помнишь, как ты оставила целый научный институт без электричества. Череп из Сандармоха сканировала, помнишь или не помнишь?

Сонечка: Вам бы все шутить, подтруниваете, что называется. А я серьезно, годы обостряют пороки, а также притупляют достоинства. Каких-то пять лет назад со мной флиртовал каждый сотрудник мужского пола нашей лаборатории. Теперь же мне бабки уступают место в троллейбусе, говоря, садитесь, тетенька, вам это нужнее.

Мама Федора философски: Испортить вино способна вода, дорогу портит повозка, а женскую душу, как несложно догадаться, портит мужчина.

Прозекторский, нет, нет, прожекторный луч светит на сцену. Исчезли светлячки. Зрители видят внутренности пещеры. На стенах белесые петроглифы. Зайчики в лодке. Летит птица с непропорционально вытянутой головой, из пасти торчат длинные зубы. Человечки с большими глазами погоняют мамонта. Крохотный мегалит, сооружение из каменных глыб, характерное для финального неолита. Конструкция напоминает черепашку, шесть столбиков, на них лежит плоский камень. На камне несколько вскрытых банок тушенки, печенье, металлические кружки. Словно пуповины, ниточки чайных пакетиков. Действительные лица в полном составе. Разбросаны рюкзаки, несколько спальных мешков. В центре сцены одна треть, а лучше одна пятая бочки. В ней натурально горит огонь, театр был не в силах позволить себе противопожарные сигнализации, пользующиеся определенной, как это говорится, популярностью среди населения. Попрошу заметить, те, кто экономит на театре, вынужден потом строить тюрьмы. Ни в коем случае не называю фамилии, а лишь укоряю за авторское невмешательство в жизнь нашего провинциального театра, Георгий Иванович. По-нынешнему времени труднее представить себе большее предательство, чем незаинтересованность в делах драматургических. На сцене все чего-то умалчивают. Автор пьесы, снедаемый думами о грандиозном провале, начинает яростно шептать: мама, я пробился сквозь прощальные слезы, ну, Федя, мама я пробился сквозь прощальные слезы! Пожилой гражданин из второго ряда встает со своего места, обращается к автору пьесы: молодой человек, вы мешаете нам созерцать, сообразовите этого не делать вовсе. Тогда драматург кричит ему: заткнись, тюремщик! Затем обращается проворно к блондинке: а ты, Кассиопея, как я от тебя не ожидал, о, как я не ожидал, что ты с ним вот, с ним! Девушка тоже поднимается с кресла, оправдываясь: ну, Миша, у Валентина Константиновича свое видение ситуации, он творец, а еще он обещал меня устроить к себе в газету, ты же сам уволил меня из театрального буфета. – Ложь, – неукротимо выкрикивает драматург, – его газетенка дурная пародия на французскую ежедневную газету Брэдбери, она же Le Figaro! Вознамерившись дать ответ, престарелый соблазнитель стал щелкать пальцами, беззвучно открывая рот. Его спутница ответила вместо него: ну, Миша, ты сам виноват, ты обращался со мной очень нехорошо! Наконец, величественный гражданин решил и произнес, откашлявшись: пес, я тебя уничтожу! И уже обращаясь к блондинке, смягчившись: Кассиопея, пойдем-те, пойдем-те отсюда. Драматург, делая страшное лицо, вытаскивает из кармана своей шубы из искусственного меха, расцветки розового фламинго, противопехотную темно-зеленую гранату времен Второй мировой. – Попрошу занять места согласно купленным билетам, – напряженно говорит он. И все вынуждены это сделать. На сцене тем временем случается разговор стоящих полукругом, лицом к зрителям, действительных лиц.

Федор торжественно: Мама, я пробился сквозь прощальные слезы к тебе, а это Михаил, он выступил в качестве моего зонтика!

Мама Федора: Скажешь тоже, прощальные слезы, один раз что-то в глаз попало, то была не слеза вовсе, маленький осколочек черепа на раскопках. И в тебе ничуть я не сомневалась, у меня не ребенок, а Лариса-расхитительница гробниц.

Архип Архипович и Модест поют хором: На заре голоса зовут меня, на заре голоса зовут меня!

Мама Федора, обнимая мальчика, Токареву: Ни здрасти, ни до свидания, одним словом, социальный нездоровый элемент.

Миша Токарев, язвительно рассуждая вслух: Миндальничать с вами, а также рассыпаться бисером, а также шаркать ногами, увы, отказываюсь.

Мама Федора с презрением: А я тебя в жизни точно таким и представляла, ты же совершенно психический.

Меркулов младший удивленно матери: Как, вы знакомы?

Меркулова-старшая Федору: Шапочно.

Федя: В рамках цигейковых, или в рамках шапок-петушков, попрошу уточнить?

Архип Архипович и Модест поют хором: На заре голоса зовут меня, на заре голоса зовут меня!

Родительница сыну: Ах ты, мой котик Летаев, ну, каких цигейковых, речь о том, что с Михаилом я познакомилась заочно еще до твоего рождения, когда он интересовался по-настоящему великими делами, а не писал своих поганых верлибров, наверное, посещал музеи, а что сейчас.

Миша Токарев раздраженно: К чему мне посещать музеи, путешествовать, если у меня имеется расстройство личности, которое не перестает удивлять, не перестает будоражить воображение!

Федя почтительно: Дорогой Михаил, вы так авантажны, что просто кошмар.

Мама Федора: Сынок, он арифметическая сумма людских заблуждений, не слушай, не слушай, теперь мы снова вдвоем, а Михаил может идти.

Федя, вырываясь из объятий матери: Но я не хочу, чтобы он уходил, помнишь, ты говорила, что дедушка говорил о литераторе, который мой старший двойник.

Мама Федора конфузливо: Заяц, ну, какой литератор, ты посмотри на него, это же какое-то недоразумение.

Федя запальчиво: Ах так, тогда я буду вынужден последовать за ним, как Наталья Фонвизина, Елизавета Нарышкина, Александра Давыдова!

Мама Федора помпезно: Хох, девятнадцатый век, мой фланер, необычайно пошлое время.

Миша Токарев женщине: Вот и живите тогда в бытность мезолита.

Мама Федора удивленно, но вместе с тем язвительно: Сдается мне, ты укорить меня решил, я женщина и научный сотрудник с мировым именем, а подобного не потерплю ни от Рейгана, ни от какого-то поэтишки.

Миша Токарев дерзко: Вашей археологии до смертинки две пердинки, лучше бы ребенком так интересовались, он у вас имеет чрезвычайные наклонности к литературе, к слову.

Федя Меркулов: Благодарю, дорогой Михаил, за подобную характеристику.

Архип Архипович и Модест хором: На заре голоса зовут меня, на заре!

Мама Федора учителю словесности: Ты посмотри, успел подговорить моего Феодора, каков жук!

Миша Токарев устало: И никого я не подговаривал, должно быть, вы спутали меня с генералом Власовым, привычки плести интриги за спиной, увы, не имею.

Архип Архипович и Модест хором: На заре!

Мама Федора, смотря на них как на идиотов: Мальчики, вы решили меня довести? Сначала требуйте налить сто грамм, теперь песни поете?

Модест, улыбаясь: Мур, вы такая дикая кошка в моменты, когда злитесь, о-ля-ля.

Архип Архипович, покачивая своей рогатой головой: Коллега, что за развязное поведение, к чему эти животные, глубоко физиологичные разговоры, тем более при детях?

Модест, пытаясь приобнять женщину: Признаться, вы женщина видная, у меня к вам чувство внушительных размеров.

Сонечка, о которой все позабыли, выбираясь из спального мешка, подходит к бочке: А что происходит, я задремала, когда у нас ужин?

Мама Федора, нанося удар, что называется, под дых, отстраняется от припавшего на колени Модеста: Модест Иванович, в следующий раз я соизволю проломить вам башку.

Миша Токарев говорит восхищенно: Какая вы ошеломительная, кто бы мог подумать.

Мальчик Федор: Да, мама, поразительный удар!

Мама Федора польщенно: Мальчишки, вы чего, я простая сильная женщина, способная на то-то и то-то, а вы тут вгоняете меня в краску.

Сонечка по-прежнему полусонно: Как здорово, что мы все такие друзья теперь.

Мама Федора, подойдя к импровизированному столику, берет банку тушенки: Не такие уж друзья, ладно, пускай остается этот Миша Токарев, но только до эвакуации, дружба дружбой, а табачок, то есть Феденька, врозь.

Внезапно сцена погружается во мрак. Слышится звук лопнувшей лампы в прожекторе. Огонь в бочке гаснет, его задувает сквозняк. Действительные лица смолкают. Блондинка Кассиопея из второго ряда начинает верещать: помогите, он перестал дышать, Валентин Константинович, дышите! Автор пьесы, подгоняемый девичьими стенаниями, ликуя внутренне, быть может, успеху своей постановки. В самом деле, допускает он, от накала страстей сердца Валентинов Константиновичей способны лопаться, точно лампы в прожекторе, нет, нет, в прожекторе. Автор пьесы включает фонарик на телефоне, луч, словно зайчик, скачет по залу. Кнопочный телефон драматурга как символ прошлого, как связь поколений, как приверженность традициям. Да и просто удобно. Молодой человек, спускаясь стремительно, воздействию подвергается, воздействию, см. далее. На середине пути он спотыкается об искусственное тело мамонта, что совершенно не пригодились в процессе постановки, огромная туша, сконструированная посредством искусственного меха, гипса, подушек. Умудряется пасть, по щучьему ли велению, иль вестибулярный аппарат виной тому, так или иначе, иначе никак, туша смягчает падение. Блондинка из второго ряда, едва заслышав исполненный горечи крик автора пьесы: ах, ты ханаанская собака такая! Взаимно кричит, девы, что встречались на жизненном пути автора, только и могли, что взаимно кричать: Миша, не придуривайся, тут человек помирает! Все мы умираем каждую минуту нашей жизни, желает ответственность Кассиопее гражданин, падший на мамонта. Однако решает смолчать, совсем скоро второй акт, развязка, мошенники станут управдомами, наступит утро и завтра будет совсем другой день, карету подадут вовремя, нитку дешевых бус, так называемых кораллов, позабудет девчонка на железнодорожной станции. Телефонный фонарик затухает.

Акт второй, вы похожи на моего папу

Еле слышно звучит туристическая, походная песнь под аккомпанемент гитары. Молодые голоса нестройно поют: мы затопим в доме печь, в доме печь, мы гитару позовем со стены, просто нечего нам больше беречь, ведь за нами все мосты сожжены. И так далее они поют. – Вызови, вызов, вы, скорую, – мямлит Валентин Константинович. Он по-прежнему во втором ряду, слева от него сидит автор пьесы, справа девчонка, она премило дует на его лицо, расстегнув безупречно белую сорочку мужчины. Обнажив старческую грудь, серебристый пушок. – Миша, пожалуйста, будь человеком, позови тетю Люсю с проходной, – вторит пострадавшему девушка. Пожилой господин закатил глаза. – У меня закончились деньги на телефоне, – ни разу не шутит автор пьесы. Девушка Кассиопея не знает, о чем тут еще говорить, она вполне понимает, ситуация в стране сейчас тяжелая, не то что на телефон деньги положить, за килограмм курицы пятьсот рублей стали просить. – Никто не уйдет, пока мы не услышим, вероятно, самое важное слово, что должно прозвучать со сцены, как вы этого не понимаете, очнитесь! – призывает драматург уделить своей постановке должное внимание. А затем думает про себя: иначе к чему вообще все это, декорации, Бухенвальд, Лето любви, Перестройка. Огонь в бочке разгорается сильнее, сильнее. Действительные лица в полном составе, закутавшись в спальные мешки, сидят вокруг бочки. Пьют чай, кушают. Блондинка спрашивает о длительности второго акта. Трагедиограф уверяет, что не дольше пятнадцати минут он продлится. Спутница успокаивает господина: Валентин Константинович, родной мой, потерпите пятнадцать минуток, пожалуйста, скоро это безобразие закончится.

Модест, глядя на мальчика: Когда мне было девять лет, у меня уже был свой дом и две работы. Архип Архипович, покачивая розатой головой: Как молоды мы были, как искренне верили в материальное благо.

Модест снисходительно: А мальчишка похож на своего учителя, ты не заметил?

Мама Федора, цокнув языком: Нет, вам показалось.

Модест: А я говорю, похож.

Мама Федора: А я повторяю, вам показалось!

Архип Архипович: А я склонен прислушаться к суждениям нашего Модеста, он человек щепетильный, каждую мелочь заметит.

Мама Федора вынужденно признается: Слесарю нашему он кузнец двоюродный, на киселе седьмая вода, может быть, совсем немного похож, кто же сейчас разберет, кем этот учитель словесности приходится моему Федору.

Модест, громко разворачивая конфету золотое руно: Как тревожно, как тревожно, я тревожусь, как целый комитет солдатских матерей.

Федор Меркулов: И напрасно, для меня учитель словесности пример, я смотрю на мир глазами, похожими на его глаза, наверное, я тоже теперь учитель словесности.

Миша Токарев: Но-но, не смейте тут развоплощаться, Федор, а то я расплачусь от сантиментов.

Архип Архипович глубокомысленно: Чернила тень, нам пишет солнце на заборе три буквы. Да, три буквы, каждый в меру своей испорченности додумает, какие.

Сонечка мечтательно: А как вы считаете, когда нас эвакуируют, что станет с цивилизацией, в смысле, что от нее останется, не забудут ли граждане, как выглядит колесо. А то как же без колеса, в театр не съездишь, в наш институт автобус и так постоянно ломался, я опаздывала, тут вообще кошмар будет, без колес-то.

Мама Федора Сонечке: Первым признаком цивилизации, по признанию антрополога Маргарет Мид, является бедренная кость, что была сломана, а потом срослась. Иначе говоря, кто-то помог, беднягу не съели, не выкинули на мороз, ему помогли. Помощь другому человеку во времена трудные – поступок, с которого начинается цивилизация, Софа.

Модест, приобнимая Сонечку: Давайте байки травить, бог с ней, с этой цивилизацией, мы сами себе цивилизация.

Федор, хрустя галетой: Давайте рассказывать, давайте рассказывать.

Модест с таинственным видом: Ильматар, дочь воздуха, проживала в воздушных просторах. Наскучила ей жизнь небесная, спустилась она к морю. Волны морские подхватили Ильматар, забеременела дочь воздуха от вод. И носила она плод свой семьсот лет, но разродиться никак не могла. Тогда взмолилась она верховному небесному божеству, громовержцу Укко, чтоб облегчил он страдания Ильматар. Недолгое время спустя мимо пролетала утка, искала место для гнездышка. Дочь воздуха подставила ей свое большое колено, утка свила гнездо на колене Ильматар и несла ровно семь яиц, шесть золотых и одно железное. Яйца побились, понятное дело, стоило только деве пошевелиться, они пали в море. Из верхней части яиц встал высокий свод небесный. Из желтков явилось солнце. Из белков ясный месяц. Ильматар плавала по морю еще девять лет, на десятое лето она стала изменять земле. Движением руки воздвигала мысы, там, где касалась ногою дна, простирались глубины. Где ложилась боком, появлялся ровный берег. Земля приняла свой сегодняшний облик, словом сказать. Однако ребенок дочери воздуха, вещий песнопевец Вьянямейнен все никак не рождался. Тридцать лет он блуждал во чреве матери своей. И однажды взмолился солнцу, небу, месяцу. Но те были глухи к его воззваниям. Тогда Вьяйнэ взял инициативу в свои руки, отправился в опасный путь к свету. Все у песнопевца получилось, правда, родился он взрослым человеком, восемь лет провёл в море, пока, наконец, не выбрался на сушу.

Федор увлеченно: О чем же это нам говорит, не о том ли, что мальчик может добиться всего сам, без помощи отца?

Мама Федора: Истинно так, заяц, однако дядя Модест упустил самое важное. Без помощи матери Вьяйнэ смог бы засеять голую землю травой, деревьями, – полагаю, нет.

Миша Токарев, допивая густой чай: Правильно я понимаю, речь идет о каком-то карельском фольклоре?

Архип Архипович, смеясь: Модест все перепутал, ключевая роль в эпосе Калевала уделена все же мужскому началу, женщина сосуд, никто с этим, конечно, не спорит, а все-таки без мужичины сейчас никуда, нет, никуда.

Мама Федора, перебивая: Архип Архипович, сами вы сосуд, вот заладили: сосуд, сосуд. Дело в первооснове, в женском начале, в том, что дарует жизнь.

Модест спорит: А без мужика, как же это возможности, всего поровну должно быть, я так считаю, можете, конечно, не согласиться с простым, честным и симпатичным завхозом, дело ваше. Кстати, напомните, что там было раньше, яйцо или курица?

Федор весело: Да, никто и не спорит, вы дальше давайте, рассказывайте!

Сонечка, отодвигаясь от Модеста: Модест Викторович, уберите, будьте любезны, руку с моей попы.

Модест оскорбленно: Да вы не думайте, чтобы согреть вас, у меня рука вон, раскаленная, как сердце.

Архип Архипович, взяв себя за голову, снимает ее: Друзья, мне надо признаться, меня зовут совсем не Архип Архипович, я Добычин Леонид.

Под головой лося оказывается круглое лицо лысатого мужчины лет сорока.

Модест с уважением: Каков артист, а я все думаю, о каком запахе снега ты говоришь, артист, честное слово!

Миша Токарев: Прошу меня извинить, но что вы делали в моем туалете, верней, почему вас искали именно в моем туалете?

Мама Федора, горестно всхлипнув: Ах, мне тоже нужно признаться!

Леонид Добычин покидает сцену: Когда вам захочется небывалого, куда-нибудь уехать, приезжайте в Брянск, там и свидимся, Миша.

Модест: Леня, погоди, там же радиация!

Федор требовательно: Признаться в чем, женщина-первооснова?

Мама Федора, кивая на Токарева: Этот учитель словесности, этот учитель словесности твой отец.

Федор, бросаясь с объятиями к Мише: Папа!

Миша Токарев, давая возможность обнять: Да, сынок, да.

Сцену заволакивает занавес. Действительные лица продолжают шушукаться, судя по характеру шушуканья, герои крайне возбуждены. В зале зажигаются две скромные лампочки. Света хватает впритык, чтобы осветить троицу из второго ряда. Валентин Константинович внезапно воспрял, вскочив со своего места, он неистово аплодирует, крича: брависсимо! Блондинка, пораженная чудесным исцелением своего дружка, удивленно восклицает: Валентин Константинович, вы чего, вам же нельзя, у вас же сердце! Драматург с улыбкой наблюдает за гражданином, экзотичное поведение зрителя чрезвычайно радует трагедиографа. Кассиопея тщетно пытается усадить почтенного главного редактора на место, сколь властная дамочка, ужас. Пожилой господин в свою очередь несдержанно поясняет спутнице: вы слышали, он сказал папа, какая экспрессия, каков замах! Наконец, к девушке обращается автор пьесы: послушай, Кассиопея, она же Мария Лаво, Йоркширская ведьма, Анжела де ла Барте, в конце-то концов! Девица, заинтересовавшись вольным пересказом собственных имен, вступает вынужденно в диалог: зачем ты меня так называешь, мне вообще-то неприятно, я оскорблена, если угодно. – Вот что, давай не будем вязнуть в твоих штучках, чары не действуют более, верни-ка меня, будь любезна, в прошлое, когда мне было девять лет, – с некоторой лендой молвит автор. Валентин Константинович продолжает усиленно аплодировать, в зале бытуют лишь его хлопки, хлопки благодарных ладоней. Девушка, вероятно, не совсем понимает: какие девять лет, идиот, мы с тобой перестали видеться, когда тебя в коррекционную школу номер двадцать два перевели. Молодой человек абсолютно не верит в ее сказки, Царевна-лягушка не пересвистит Соловья-разбойника, что вы. Невозмутимо автор пьесы интересуется: то есть вы отрицаете собственное вмешательство в пространственно-временные слои посредством сжигания волосков с ноги вашей матери? Аплодисменты Валентина Константиновича прекращаются, он с изумлением говорит, ни к кому конкретно не обращаясь: юноши уходят в море, чтобы оторваться от отца, надо же, я обязательно напишу в газете, все напишу, люди должны это увидеть. Драматург, польщенный первыми отзывами на свою постановку, великодушно решает не использовать испанский башмачок в беседе с Кассиопеей. Пусть и потеряны годы, в таком случае необходимо найти, быть может, завтра и поищу, улыбаясь, кумекает драматург. А вслух говорит лишь: я не в чем тебя не виню, Кассиопея. И она отвечает лукаво, поцеловав автора в щечку: дурак.

Глава 12

Пенсионное удостоверение моей Лолиты

Откуда ль пришел зусман, иными словами, дубак в наш виварий исключительно циклопический. В наш виварий, где произрастают всевозможные орхидеи. Мои любимые по имени Ван-да до крайности прихотливы, температура в пределах шестнадцати, двадцати девяти градусов, влажность в пределах восьмидесяти, светолюбивы, но без прямых попаданий солнечных лучиков, корневая система должна быть непрерывно открытой. Разительно черный ползет Амурский полоз в желтую полоску по искусственному газону, коим выслан пол нашего стеклянного сада. Фиолетово-красное возшло ложное солнце, а второе взойдет поверх фиктивной звезды, минует что-то близкое к получасу. Белый маяк с карминной полоской посередине, родственник маяку Портланд-Билл. Он скорее для красоты, но светит с двадцать пятого года. Его зажигали не для зловещих морей, а для вещественной вечности. Ибо свет маяка, по признанию писателя древности, подобен вздоху ребенка, который подобен, может быть, богу, до нас он едва долетает. Сенсорная печатная машинка перегрелась, длинные пальцы мои пианиста споткнулись на финальном аккорде. По всему вероятно, стройность оркестра не выдержала новизну контрапункта. Я в нашем семейном саду, созерцая зеленого воробья о двух головах, вспорхнул, выпренный выскочка. По обыкновению, он прилетает ко мне на рассвете. Сидит минут пять на крыше стеклянной, вглядывается, вчитывается. Мне же пишется лучше всего ночью, когда эмпирии достигают концентрации необходимой. А личная роспись понизу текста превращается в отбившегося от собственной стаи гуся. Бесконечное фонарно хотелось бы закончить, доступно, но утонченно, чтоб и связь поколений всем увидалась. И чтобы особенно не докучать перегруженной композицией, менуэтом в болоте, водевилем в окопе. Чтобы фанфара справедливо могла прозвучать к месту, действию, времени. Праздно шибаться по закоулкам пусть и родных для меня граждан, по закоулкам их мыслей, переживаний: совершенно нет настроения.

Представленные дневники есть комбинации слов редкостной красоты, чья сила воздействия на читающую публику в определенном значении сродни мышцам сведенным. Суггестивно, как заметил бы желчно профессор литературного института, почуяв с последнего ряда запах немытого тела. До безобразия переменившись в лице, да так и хожу последние дня два, я приступил к набору данного эпизода. Встреча отца моего с дедушкой, столь изысканное знакомство произошло при весьма тревожных обстоятельствах. Само время неумолимое диктовало, словно преподаватель в классе коррекции, диктовало сверх всякой меры мудрено Хулио Кортасара. Эпидемия мировой бессонницы, изучаемая нонче почтеннейшими учеными, ей посвятили даже раздел в школьных учебниках, ею пугают матери деточек, если те пренебрегают жареным луком. Обмены дружескими ядерными пощечинами, пусть никто до сей поры и не признался, а все данные засекретили, радиоактивные пятна смущения продолжают гореть тут и там. Вместе с тем я постарался выстроить повествование таким образом, чтобы речь Федора и учителя словесности не перегружала излишне вестибулярный аппарат моих современников. Что до волнения, волнение, присущее моему столь юному голосу, созвучно в некоторой степени контрально, случай поистине выдающийся. Меня сложно всерьез удивить, во второй половине двадцать первого века на это способна лишь наша царица императрица. И пусть ничуть вас не смутит характер гласа моего, ведь я говорю честно, потому как я человек мыслями своими модернистский. Да, в случаях крайнего волнения могу давать петуха, однако это простительно, сами попробуйте увязать воедино несколько голосов, чтоб звучали они гармонично. В настоящее время принято вживлять людям, например, тенор, баритон. Гражданам нравится иметь в арсенале несколько голосов, жонглировать ими по случаю. Приведу вам один из дедушкиных верлибров, человека обширных взглядов, Миши Токарева, верлибр относится к периоду времени, когда настоящие дневники были написаны. Уже тогда мой родственник предвидел развитие биоинженерии. Название стихотворения

отсылает нас к кибернетической аугментации. Иными словами, возможности приобрести сверхчеловеческие способности при помощи вживления киберимплантов. Одноклассница, проснувшаяся танком. И в этом названии премило секретничают влюбленность с насилием, видится мне.

Отчеркнутый соответственно
Пересказу урока черчения
В редакции Боголюбова,
Примерно сказать берег,
По счастливой случайности,
Присыпанный первым снегом,
Синее байковое одеяло,
Застрявшее в ветках березы.
Развивая туземные образы,
Не исключаю возможности
Шагов гнедой лошади,
По-нашему, она лоша,
По-ихнему, как-то еще.
Вероятно, можно причислить
Стон чернозобой гагары,
Пар лошадиного тела,
Обобщенную зиму.
Но куда не посмотришь,
А взгляд возвращается
К серому химзаводу,
Канареечно-желтой речке,
Наледью перечеркнутой,
Как на уроке черчения
В редакции Боголюбова.
Предположительно, ты,
Вдохновенно молчащий,
Не менее вдохновенно
Страдающий,
Значительных мыслей
Надумавший,
Rag exelance элегичных,
Можно сказать, юноша,
Можно сказать, мальчик
На том берегу.
Ее называли абсциссой,
Не похожую на них одноклассницу,
Но она тебе нравилась,
Это нравилось, оно тебе
Нравилось,
В том смысле, что чувство,
Но одноклассница в первую очередь.
И вот однажды уснула,
Все мы засыпаем, не ведая,
Проснемся какими мы завтра,
И твоя одноклассница,
Уснувшая в женском обликии,
Проснулась невиданным танком.
Предположительно, ты
В одиночестве на берегу
Думаешь боязливо,
Придется ли завтра прыгать
Под колеса любимого танка,

И что кричат в этих случаях,
Нужна ли граната.

Разрешите со всей серьезностью отрекомендоваться, Эдуард Федорович Токарев, сын Федора Михайловича Меркулова-Токарева, внук достопочтимого литератора Миши Токарева. Божьей милостью дарованный в две тысячи тридцать четвертом году миру этому, ныне являющийся двадцатилетним повесой с признаками гигантизма. Мне двадцать лет, и время, этот вор, неуловимый, дерзкий, быстрокрылый, уносит дни моей весны унылой, так и не давшей всходов до сих пор. По временам, перечитывая заметки отца своего, я думал о невозможности событий двадцатилетней давности. Всего-то двадцать лет, но ощущается так архаично, совсем иная эпоха, люди, нравы, кони. Знакомые с детства места стали обрывать чешуйками подробностей. С момента встречи папы и дедушки мы научились путешествовать по кротовым норам. С момента встречи папы и дедушки случился Перл-Харбор двадцать первого века; японцы ударили по американским станциям с Луны, прямо в день благодарения пятидесятого года, как и предсказал прозорливый Джордж Фридман. В спешке лидеры держав обратились к римскому праву, да и заключили общемировой пакт о ненападении всех на всех. А западных горилл, бенгальских тигров и черных носорогов мы перестали видеть совершенно. А инженерная мысль извернулась экстравагантно, извернулась настолько, что получилась графема Алеф. И поэтому мы теперича берем энергию прямо от солнца. Ловим весь этот сланцевый газ исполинскими сачками. Несколько иначе обстоит дело с песнями, увы, мы выкинули из них слова. Гори, гори, моя звезда лишилась цыган. Интерес к русской речи поприших. Однако уже в пятьдесят втором году, с выходом фривольного романа «Кокетка», дедушка возвратил читательские взгляды на место. Впрочем, если позволите мне воротиться к разъяснению, на каком основании внук, а по совместительству сын, поделывает нечто такое в тексте, где причудливым образом переплелись столь разительно отличающиеся судьбы. Я буду премного благодарен, возвращаясь. Причины моего непосредственного нахождения оговорены заранее, на то есть устное соглашение с авторами дневников. На правах младшенького я любопытен до безобразия в вопросах, касающихся моей семьи. И для меня, Эдуарда Федоровича Токарева, удивительно, как история воссоединения, восславляющая великую русскую речь, до сих пор не воссияла на радость общественности.

Вероятно, многим обольстительным читательницам, о коих принято говаривать: у бурных чувств неистовый конец, и он принадлежит всецело вам, прелестная дикарка. Так вот обольстительным читательницам, вероятно, любопытно узнать, какова ситуация на любовных фронтах. Заряжены ли гаубицы поцелуями, все ли в полку способны обнять, уютно ли в дзотах, как в усадьбном домике перед камином. Спешу обо всем этом сообщить. Спешу, спотыкаясь, запутавшись в подштаниках, лечу, распростер крылья, на кухню за апельсиновым соком. Возвращаясь в чудесный наш сад, сообщаю. С непосредственной биологической матерью моего папы у дедушки отношения не сложились, как говорят пошлаки, *abiens abi*, перестань мучить, плати алименты. Однако здравствуют и процветают две действующие женушки Михаила, за столь долгие годы он так и не решился обременить себя отчеством, жест достаточно смелый в среде литераторов. Нейронные сети пишут любым стилем, любым слогом, в любых вариациях. Дражайшие пииты вынуждены патентовать собственные языковые находки, что и говорить об отчестве. Одна из барышень, моя африканская бабушка Аданная, семь дядюшек-мулатов, произведенных ею: Абиг, Бадд, Гакэру, Джууман, Зикимо, Камо, Мунаш. Семь дядюшек, произведенных ею, ныне занимают весьма высокие правительственные посты. Пусть их возраст ничуть вас не смутит, самому старшему едва исполнилось восемнадцать. Руководящие должности с тридцать девятого года принято подавать молодым. Несмотря на африканские корни, замечательным образом дядюшки ассимилировались, все до одного склонны к сочинительству. Известный эпос о смехе зайца, доносящийся из брюха слона, принадлежит перу Камо. Непосредственно имя Камо, тихий воин, изложил в своем произведении небезынтересную концепцию о колыбели цивилизации, Африке.

Китайская же бабушка Чанчунь сподобилась привнести в нашу семью семерых дядюшек-азиатов: Вэйдун, Джанджи, Джингтуо, Земин, Йи, Киу, Лао. Отсюда, полагаю, во мне бытует восточная мудрость, а также способность разбираться в радиоэлектронике.

Кроме всего прочего, в финальный вариант беспрецедентного документа эпохи кое-чего я решил не включать. Что же решил ты не включать в это издание, задается моя собственная же-нушка, вынужденная вкалывать как проклятая, дабы выращивать самые большие тыквы в округе, держать высочайшую планку и нести с гордостью звание заслуженного фермера Карельской губернии. Премилый отрывок о Мишином городе детства, Ангарске, городе сталинского ампира, основанном в послевоенном тысяча девятьсот сорок восьмом году. О городе нефтехимиков. Я благоразумно решил промолчать на этот счет. Воспоминания дедушки в какой-то момент начинают сосклизывать в область запретного. Рассказывая своему сыну, моему отцу, Федору Михайловичу о собственном папе. Миша Токарев прослеживает сходства с маньяком, Михаилом Попковым, он действовал в Ангарске во времена, когда Токарев был еще мальчишкой. Используя принципы физиогномики, литератор отмечает знакомые жесты, мимику, особенности речи у душегубца. Пространные измышления уводят моего дедушку в область, где первенствуют девиации, завывает бейдевинд и парусник в грозу летит по направлению скал. По нынешним временам за подобное упоминание неминуемо последует высылка в Антарктиду. Признаться, мировой заповедник хоть и населен теперь на десять процентов, по-прежнему является землею со свирепым климатом. Эстетствовать там не получится, попробуйте средь южных морских слонов, крестовидных дельфинов да пингвинов аристократично сказать: я прокачу вас на вороны, то есть проголосую супротив. Кстати сказать, петя Лазаря мой дедушка не стремится, его стремление препарировать действительность носит характер природоведческий. Также взглядом натуралиста глядит и мой отец. Они совершенно не обременяют кавычками карельские леса, ироничные разговоры с произвольными гражданами, собственные, сокровенные размышления о природе друг друга.

Позволив себе цензурную интервенцию, я чрезмерно рисковал царапаться с народонаселением собственной семьи. Являлось непозволительной для меня вещью. Бабушки, дедушки, отец и мать могли осерчать за столь своевольное вычитание эпизодов из финального варианта. Однако, пойдя на поводу родни, мой современный получил бы на выходе неподъемный том в две тысячи страниц. Откровенно говоря, и так зачастил в последнее время обмакивать перо войны в чернильницу людскую. Поэтому на берегу предупредил семейные члены: о, не запрещайте мне включать, что хочется, а выключать иное, в противном случае, дорогая бабушка Аданная, бабушка Чанчунь, матушка, Миша Токарев, отец Федор, я включу газ, да и запамятую его выключить. Мои просьбы возымели должный эффект. И в окончательный вариант, например, не вошла дедушкина переписка с барышней Болеславой К., гениальной швеей, швеей, можно сказать, поцелованной богиней Таит. В известном значении корреспонденция не обделена, что называется, присутствием ангела дружбы Самуила. В отдельных случаях разговоры Михаила и Болеславы обязали меня краснеть, что, согласитесь, говорит о несомненной пикантности характера переписки. Однако не будьте поспешны, словно инфантильное отождествление имени автора с персонажем из книги. Попрошу впредь соблюдать такт, ритм, или размер. Пылко чувственных всхлипов не содержат беседы Токарева с Болеславой, но содержат избыточный флер той особенной романтической дружбы, приводящей в подлинный восторг мечтательно настроенных школьников, возвышенно-чувственных девушек, женщин и даже бабушек.

Перебравшись из нашего вивария в мезонин, поближе ко второму рабочему месту, что занимаю эпизодически. Скрипнуло польское кресло, именуемое в простонародье циркулем. С минуты на минуту истинное солнце оттеснит ложное. Ни в коем случае не можно глядеть на данный природный пердимонюль. Вы знаете, тысячи моих современников по глупости ли, с намерением ли подергать бога за бороду совершенно исчезли, стоило лишь посмотреть на солнце. Сте-

ны мезонина драпированы болотной жаккардовой тканью, приятной на ощупь, словно шкура, предположим, кота. Малочисленная такса по имени Тобик прилегла у подножья стола. Предпочтя подстилке-матрасу, набитому китовым усом, близость своего друга, Эдуарда Токарева. Впрочем, что это я, амикошонно, развязно о себе в третьем лице. – Милый, иди на свой матрац, чего же ты, – говорю псу, тот неподвижен. Мой школьный товарищ-моряк подарил нам китовый ус. Помню, дедушка с папой, на медведя охотясь, щетинки уса в колечки сворачивали, потом заливали водою, морозили, жиром нерпы обмазывали. У берлоги раскидывали. Мишка кушал, шарики в желудке таяли. А китовый ус дело такое, форму-то сохраняет, выпрямляется, нанося зверю раны. Подобная технология вызвала острое осуждение со стороны моих родственников после первой же охоты. Но вот белая шкура посреди мезонина расстелена в память о садистских наклонностях, что оставлены в прошлом дедушкой и отцом. Интимнейший, чуть приглушенный зеленоватый свет изящной пурпурной лампы омывает предметы. Окно заложено кирпичами. Примерно минута через десять станет возможным выйти на улицу, затмение утреннее прекратится. Помните, у Гиляровского, ставшего соглядатаем прелюбопытного происшествия, встречалось нечто подобное, о странных исчезновениях людей. Не помните, а я напомним, пока долину смерти в Якутии, саамские лабиринты Карелии, китовые аллеи Чукотки, мансийских болванов республики Коми касаются лучики оккультного солнышка. Гиляровский сообщает о том, как в участок привели странно одетого гражданина. Учашенное сердцебиение гражданина имело патологический характер. Он утверждал, что на дворе две тысячи четвертый год, а данное событие принадлежит началу двадцатого века, стоит заметить. Человек с прибабахом поведал о своем путешествии в горящем поезде, который назвал неясным словом метро. Владимир Алексеевич Гиляровский в своих дневниках подробно изложил также рассказ того несчастного, будто вся Москва изрыта туннелями, по ним на огромной скорости движутся поезда, перевоза миллионы пассажиров. Долгое время исследователи, да и просто читатели не могли взять в толк, о чем, собственно говоря, лопотал тот гражданин. Однако спустя век, в две тысячи четвертом году между станциями Автозаводская и Павелецкая случился взрыв. Несколько человек бесследно исчезло. Я полагаю, нечто схожее мы наблюдаем вот уже на протяжении пяти лет с этим двойным солнцем.

С улицы доносится протяжный писк, словно тысячи комаров затянули свою комариную песнь. Такса по имени Тобик подняла голову, вслушивается напряженно. Ящик стола открываю, достаю баночку с засушенными лапками лягушки мантиллы Бернхарда, наделенные чрезвычайными полезными микроэлементами, они положительно влияют на поджелудочную, почки и печень. Угощаю своего пса, угощаюсь сам. Стихает писк, можно вернуться в сад. Сенсорная печатная машинка стоит на столе. Поработаю тутось, размышляю. О, каким я стал инертным, до крайней степени неповоротливым, быстрым, словно уставшая борзая, крепким, словно крупковская сталь, подвергшаяся разрушительному воздействию открытого космоса. И это в двадцать-то лет, а что нас ожидает дальше, скажи-ка, престарелый очевидец разложения. Между прочим, моему отцу нынче сорок, дедушке пятьдесят восемь, очевидно, что с мужскими потенциями у них все в порядке. В край вечной охоты не имеют нужды отправляться. И как подлиннные конкистадоры, глашатаи свободного искусства, они активно путешествуют по миру, папа в качестве исследователя древностей, дед в статусе журналиста. Уже наступил вечер, они тронулись в путь. Мне искренне хотелось бы привести вам в пример один из свежих очерков Миши Токарева. Склонный грустное выдавать за смешное, он поразительно точно воспроизвел нелегкую жизнь дома терпимости. Путаны у него праздничны, обаятельны, трогательны. Однако мы ведем речь в данном произведении преимущественно о событиях тридцатилетней давности. Поэтому мне следовало бы не плестись на поводу сиюминутных желаний включать не относящиеся к делу стенограммы. Пусть мне и хочется в полном объеме процитировать вам прошлогоднюю повесть Токарева «Меня вскормили северные ветры, медведица опоила молоком», делать этого не буду. А ведь каков размах, какое невообразимое количество реально существующих талантливых джентльменов. И с каждым дедушка имел честь быть знакомым. Даже с тем объемным гражданином, которого портные по

утрам вынуждены измерять вместо зарядки. А сколько в той повести тотальной любви, столько вы, вероятно, не насчитаете в столице нашей родины Санкт-Петербурге канализационных люков.

– Эдик, Эдик, – слышите, восклицает моя супруга? Она, совладав с новой моделью универсального вращателя магнитных полей для домохозяек, занялась своими тыквами. Зовет меня в надежде, что я составлю ей компанию. Испытывая трепет, слушая отрывки небезынтересных лингвистических статей, главы книг, над которыми я работаю, она иступленно уничтожает многометровых червей-паразитов. Словом, жена Марта на удивление любопытна в вопросах гуманитарных, моя работа редактора кажется ей делом увлекательным, порою так увлекательны поделки с мужиками в гараже и распитие с ними же пива в глазах подростков. Хозяйошке приносит душевное спокойствие мой звучащий, по временам вяло текущий, голос. Она говорит: а Расскажи еще раз, в чем там отличие между Битовым и Байтовым, отчего восемь бит равняется одному байту тоже Расскажи, не таись. Или, к примеру, а поведай мне, Эдик, об образе Древнего Египта в документальной прозе Дмитрия Мережковского, я прямо-таки млею, мне весело живетса, работа у меня спорится, когда ты рассказываешь об образе Древнего Египта в документальной прозе Дмитрия Мережковского. Разница в возрасте у нас не существенна, какие-то десять лет. Мы познакомились, когда мне исполнилось восемнадцать, нас познакомили, смешно вспомнить, медицинские пиявки, кольчатые черви, образно выражаясь. Она сидела на кушетке в поликлинике в открытом купальнике цвета филе лосося, по плечам струились ручейки крови. Дверь в кабинет была приоткрыта, проходя мимо, я поймал ее застенчивый взгляд. Обширная медсестра недо-вольно бурчала: вы заляпаете мне весь паркет, вы негодяйка. Мои губы беззвучно прошептали: bonjour, petite ami. Помнится, у дедушки в юности была страсть к девочкам постарше. Полагаю, мне передались по наследству его утонченные вкусы. Любопытно в этой связи одно произведение Миши тех, двадцатых, годов. Поэтическое высказывание с одноименным названием, названием, что носит заключительная глава сего творенья. Пенсионное удостоверение моей Лолиты.

К вящему неудовольствию
Отгугаривших психиатров,
Сдав экзамен блестяще
Пред врачебной комиссией,
В неизбывном стремлении
Познакомиться с женщиной,
Дарую присутствие
Собственных чресел,
Устной речи, ланит,
Дланей, десниц
Восхитительным Химкам.
Белые мальвы в горшках
В подъезде на подоконнике,
Квартирная дверь
Задрапирована бархатом,
Указующий перст,
Словно янтарная муха,
Прилипая к звонку,
Легонько дрожит.
Между тем
Уж притихли жуки
В спичечном коробке,
Иной коробок
С квинтетом кровососущих
Чегой-то поет
В кармане джинсовой куртки,
Дверь открывается,

И я открываюсь той женщине.
 Исключительно по объявлению
 В исконно районной газете,
 Весьма поучающей,
 По временам поучительной,
 Герой умирает одиножды,
 Трусишка тысячи раз.
 Будем ли с вами ватажиться,
 Сосуществовать
 Предпочтительней,
 Я человек гораздый
 Слышать сокрытое, тайное,
 То есть не лишен сострадания,
 Вы слышите, что ль, стучит,
 Не ваша ли сосудистая дистония
 Совершает данные тыгыдыки,
 Прошу ответить, волнуясь.
 И она отвечает.
 Не стойте предо мною фертом,
 Я умываю руки,
 А тут вы здрасти, пожалста,
 По какому-то объявлению,
 Да, подавала,
 Но подавала иначе,
 По поводу репетиторства,
 Совсем не о свадьбе,
 К тому же мне семьдесят лет.
 Ах, как это волнующе,
 Мне нравятся девчонки постарше,
 Вековые, могучие,
 В тени которых прохладно
 Дремать знойными вечерами.

По всей видимости, я чересчур увлекся, как это называется, рассказами о своей жене. Вопрошающий взгляд нашей таксы, два мрачных сома плавают в аквариуме. – Сейчас, дружок, покормлю, закончу главу, – такса вновь погружается в дрему. Дневниками папы и дедушки своевременно заинтересовалась одна барышня. Внучка семейной пары психологов Проффер, Адель, видный издатель нашего времени. Возжелав до умопомрачения напечатать «Папа у Федора силен в метафизике», неотрывно следила за процессом работы над книгой. Наше личное знакомство состоялось при весьма странных обстоятельствах. Те обстоятельства принадлежат периоду, когда я всерьез увлекался суфийскими практиками. Всласть хороводил по поводу и без повода. Марта подумывала даже, чтобы сделать мне приятное, поменять собственное имя на Ибн Араби. О, времена, в прошлом году времена такие случились. Адель с прической под мальчика возникла в нашем имении, платье, сшитое из невода, вызвало бурный восторг у Марты. Поинтересовавшись о причине визита, чем вообще вызван столь необыкновенный интерес заметного книгопечатника. Я заварил чай, супруга оперативно испекла пирог. Дамочка на тот момент успела издать трехтомное собрание сочинений моего родственника, вдобавок такие бестселлеры как Двойная экспозиция, Собачий остров, Воспоминания лорда Байрона. Гостя была немногословна, пила чай из кузнечиков сдержанно, больше присматривалась, приноживалась к тыквенному пирогу. Все же призналась, как бы нехотя, что прочитала недавно фрагменты дневников, которые великодушно напечатал иной талантливый издатель, Вадим Климов, главный редактор Опустошителя. Перед нами, насколько я могу судить, филологический роман, где центральное место занимает сама литература, она же, собственно говоря, действующее лицо. Примерно в таком ключе высказалась Адель о тексте. К особенностям она отнесла также постоянную игру стилистиче-

скими регистрами, высокую цитатность, пародийность и медовую вязкость семейной истории. Словом, Адель вознамерилась познакомить общественность с Федором и его папой.

Кое-что потрясающее состоялось со времен предыдущего абзаца, посвященному редактору Адель Проффер, в замужестве Харакири. Я по-прежнему в мезонине, Тобик покормлен, в этом нету сомнений. Непосредственно до того, что имело смелость состояться. Я держал в голове подробнейший план финального варианта. В моем плане, где тщательнейшим образом были учтены сюжетные ходы, даже эпилог. В моем плане не нашлось места той нечаянной радости, коей меня трахнули по голове буквально пять минут назад. Признаться, по задумке я должен сейчас пере-сказать вам тридцать минувших лет в общих чертах, каким образом Токарев достиг языковых прозрений, достойных Пимена Карпова, как ему удалось не сойти с ума окончательно. С каким трепетом были написаны все последующие романы. И об отце, отцу нашлось бы место в тех послесловиях. И о раскопках гробницы императора Цинь Ши Хуана, о несостоявшемся отравлении ртутью. Долгом восстановлении. О людях-ящерах, ну, это Убадийская культура, Месопатамия, вот об этом. Но вошла Марта, она радостно провозгласила о своей случайной беременности. Кажется, для нее самой новость стала полной неожиданностью. Ведь пока жена провозглашала о грядущих детках, она ни разу не упомянула о своих тыквах. В будущем времени, совершенном или несовершенном, нашу семью ожидает пополнение, тройня, если уточнить. И как вы понимаете, на редакторскую деятельность силенок абсолютно не остается, теперь моя редакторская деятельность исключительно потенциальные дети. С детьми беда, беда, пропадают, уж не заговор ли какой. Достаточно форточку приоткрыть, глядишь, а детеныш куда-то упорхнул. Приходишь потом подавать заявление в опорный пункт дружины, а там и говорят, мол, пропавшие дети секрет фирмы. Мы, конечно, поищем, но и вы поищите, за диван, может, закатились, может, серебряный голубь утащил, но вообще-то это секрет фирмы. Знаете, мне по-настоящему страшно, вместе с тем и волнительно, надо же, происходит поистине невероятное почкование. До чего стремительно я повзрослел, какая невообразимая ответственность лизнула мою щеку своим шершавым языком.

В какой-нибудь раз я дам о себе знать, запоздалая весточка прилетит вместе с хлопьями снега со двора, да прямо в оконную раму. Обрадовав отца своего Федора Михайловича по телефону, допечатываю это ни к чему не обязывающее послесловие. А ведь ребенок наследует безумие родителя, что унаследуют ваши тройняшки, элегантно пошутил папа. Дедушка, должно быть, не пошутил. Порой весьма неясно, насмехается ли этот Хулио Хуренито, иль всерьез. Отец моего отца поведал по телефону о безызвестном творце, что принимается за свое великое произведение. Работает над ним, что-то там переписывает, перечеркивает. Исподволь в дом просачивается нужда, затем полная нищета. Дети вечно сопливые, жена обращается в неврастеничку. Квартиру приходится сдать внаем, самим ютиться в одной комнатухе. А он все пишет, пребывая в состоянии полубезумного счастья. Полнейшее запустение вокруг, однако творец продолжает переписывать себе там, перечеркивать. И вот однажды дети сбегают из дома, жену починают в психушке. В один из дней, дождливых ли, солнечных, наступает момент, когда человек ставит финальную точку. Звонок в дверь. Почтальон приносит известие, что жена обручилась с лечащим врачом, а дом, принадлежащий жене, просят освободить в кратчайшие сроки, дети не желают его видеть, а если б желали, они бы даже не вспомнили подробностей внешности того человека. И что делает данный писатель, он в ответ почтальону лишь восклицает: ну, наконец-то! Именно так отреагировал дедушка на предоставленные мною сведения о беременности супруги. О чем же ты хотел сообщить мне, Миша Токарев, о чем ты умолчал. – Эдик, Эдик, – голосит жена Марта, – у меня начались схватки, Эдик! Начались схватки, надо же. В таком случае вынужден с вами раскланяться по причинам глубоко личным, по причинам семейным, вы и сами все слышите. Я ставлю здесь троеточие, но не порываю с литературой вовсе. Я ставлю здесь троеточие, чтобы дети мои, впервые родившись, увидели прежде всего папу, который необычайно их любит, а уже потом печатную машину Гутенберга, греко-персидские войны, падение Константинополя, индустриальную революцию, церковный раскол и депрессии. По всей видимости, дети на то и нужны, чтобы мы становились отцами.

Игорь ИРТЕНЬЕВ

Ты говоришь, уже житья нет,
Ну, предположим, нет и что ж?
Оно само собой нагрянет,
Когда уж вроде и не ждешь.

Все что копилось поэтапно –
Из века в век, за годом год,
Однажды рухнет вдруг внезапно
Под грузом тягостных невзгод,

И в русло нужное вернется
Лишь стоит малость обождать.
Жаль, что когда оно начнется
Нам не дано предугадать.

Не мы ли, друг мой, в прежни годы
Ходили в дальние походы
И возвращались вновь домой
С победой, друг бесценный мой?

Не мы ли, вспомни, брали с бою,
Царьград, Афины, тот же Рим?
Да, это были мы с тобою
И если надо повторим,

Не мы ли в океане мыли
Индийском вместе сапоги?
Да, это мы с тобою были
И наши грозные шаги

Полмира, вспомни, сотрясали
И, дай нам волю, сотрясут,

Игорь Иртеньев родился в 1947 году в Москве. Закончил Ленинградский институт киноинженеров и Высшие театральные курсы. С 1993 по 2003 год – главный редактор иронического журнала «Магазин Жванецкого». С середины 80-х годов до начала 90-х был одним из основателей, а затем и председателем клуба «Поэзия». Автор более 20 поэтических книг. Стихи печатались в журналах «Арион», «Знамя», «Октябрь», «Интерпоэзия», «Урал», антологиях «Строфы века», «Самиздат века», переведены на основные европейские языки. Живет в Москве.

Не нас ли англосаксы ссали?
А если нет, еще зассут,

И наши грозные желёзы
Вновь в прах повергнут все вокруг.
...Лишь бы не выпали протезы
Зубные наши разом вдруг.

Я сроду не играл в орлянку,
По пьянке вдрызг не рвал тальянку,
Не славил потную портянку
Букетом пышных од,
Судьбу не искушал индейку,
Считал ничтожную копейку,
Чтобы по мере сил семейку
Сберечь в голодный год.

Я просто скромный сочинитель,
И строк во строфы сочленитель,
Но если в мирную обитель,
Где исстари живу,
Хоть кто-то вломится без стука,
Кто б ни была бы эта сука,
То – опыт мой тому порука –
Моментом пасть порву.

Ответь, небесный наш отец,
Когда наступят времена,
Чтоб нам такой пришел Pizdets¹
Что дальше только тишина?

И воцарился под луной,
Бесповоротно глух и нем
Один silentium сплошной
Не нарушаемый ничем –

Ни колыханьем тростника,
Ни лаем дворовых собак
Ни диким смехом мудака,
В ночи смотрящего «Аншлаг».

¹Латиница в данном случае как бы подчеркивает высокий строй стихотворения. (Прим. авт.)

Дабы ничто и ничего
Не отвлекало по пути
Его, а именно того,
Кто заповедан нам прийти.

Дабы почувствовал народ,
Давно обещанный приход
Того, кого послал нам Бог
И лучше выдумать не мог.

По чьей-то созданы причуде,
Без всяких видимых причин,
Мы все в каком-то смысле люди,
Включая женщин и мужчин,

Одна у всех у нас забота,
Включая кошек и собак.
«А как же дети?» – спросит кто-то.
А я отвечу: да никак.

Пусть перестану быть поэтом,
Пусть стану я тупым скотом,
Только б воздалось им на этом
И лишь потом уже на том.

Из всех козырей одни лишь крести,
Да черви под ними еще, пожалуй,
Вот и все, наверное, что останется на месте
Этой огромной нелепой державы,

Этой огромной крапленой колоды,
Которой учили меня гордиться,
В которой выпало мне родиться
И прожить свои лучшие годы.

Сияют звезды алые
Над сахарным Кремлем,
А мы как дети малые
В обнимочку блюем.

Счастливые и вольные,
Направив время вспять,
Как будто в годы школьные
Вернулись мы опять.

Как будто мы на лавочке
На школьном том дворе,
Да что ж такое, мамочки,
Ну всё уже, харе!

И сладостно и гадостно,
И голова болит,
Понизить надо б градус, но
Природа не велит.

Мне снился сад, во сне он был железным,
В саду росли железные цветы,
Возделан был трудом он бесполезным
Во имя бесполезной красоты.

И пусть мне смысл был его неясен –
В искусстве я не смыслю ни черта,
Но ужас в том, что был тот сад прекрасен,
Хотя была и мертвой красота.

Два Авраама

Есть города, обреченные на умирание. И даже обилие китайских закусовых и торговых центров никого не вводит в заблуждение.

Есть города, обреченные на умирание. Особенно поздней осенью, когда ландшафт, освобождаясь от излишеств, становится лаконичным, бесстрастным, сухим.

Повсюду рождественские ярмарки. Хрупкие стеклянные игрушки, карусель, сладкие рождественские песенки. Нет ничего более веселого, обнадеживающего и лживого, чем праздничная ярмарка во время войны. Рождественская пытка весельем. Бенгальский огонь в окошке напротив. Мерцание разноцветных лампочек.

Я помню, как в окнах напротив почти одновременно выключался свет, и люди один за другим выходили в морозную ночь. Я видел это из своего окна и понимал, что это всего лишь вопрос времени.

Я видел, как женщины, одетые в шубки и пальто поверх затрапезного домашнего платья, инстинктивно ищут защиты у мужей, как дети жмутся к матерям, как мужчины, сохраняя достоинство, пытаются «не терять лица».

Я видел профиль старика за мятой занавеской, возможно, он думал, что его все-таки не тронут. Кому нужны старики? Зачем лишать старика обжитого места, сдергивать с кресла, отрывать от зачитанных книг, от прокопченных стен?

Я видел, точно в замедленной съемке, летящее из окна третьего этажа инвалидное кресло.

Есть города, обреченные на память.

– Вы еще не были в гетто? Сходите непременно в гетто, послушайте про гетто, – вот в этом самом месте было гетто.

Там доживала свою жизнь семья из шести человек. Каждую ночь прислушивались они к звукам, – сейчас? Завтра? Когда?

Каждую ночь в них просыпалась надежда. Во-первых, не может такого быть. Просто не может.

За стенами Рождество. Время чудес. Хотите святочный рассказ? Про чудо?

Сколько дней он просидел в подвале? Месяц? Два? Год? Там только и были что крысы. С одной из них он вел долгие ночные беседы. О, это была умнейшая крыса, с могучим интеллектом. Он звал ее Авраам. Авраам уходил, оставляя его на несколько часов, но всегда возвращался с какой-нибудь мелочью. То свечным огарком, то коркой заплесневелого хлеба. Авраам молча клал добычу к его ногам. И садился неподалеку. Во тьме крохотные глазки его поблескивали, казалось, в них проступает некоторое подобие сострадания. В конце концов, Авраам был единственным живым существом на расстоянии вытянутой руки.

Говорят, нет существа умнее крысы. Все говорят о людях, и никто не вспоминает крыс. Это было великое нашествие крыс. Гетто буквально кишело крысами, и многие утонченные натуры не выдерживали. Женщины сходили с ума. Те самые женщины, которые не желали расставаться

с какими-то милыми безделушками, шляпками, чулками, шкатулками. Они сходили с ума в буквальном смысле слова. Одна мысль о том, что где-то рядом прошмыгнет крыса, не давала покоя. Некоторое время они пытались жить «как раньше», «как будто ничего не». Нельзя было говорить о смерти, о том, что происходит в двух шагах от стены. Но крысы, вездесущие крысы, они, словно посланцы «с того света», шушали и скреблись совсем близко, здесь, и еще вот здесь... Господи, Авраам, сделай же что-нибудь, я так долго не выдержу.

Вы не были в гетто? Непременно сходите. Сходите в солнечный день, их так мало бывает зимой, но именно в солнечный день вы увидите то, чего не видели они.

Его звали Авраам. Это он помнил точно. Возможно, в той, прежней, жизни его звали иначе. Возможно, он был профессором или врачом-окулистом. Он помнил круглый стол в столовой, сервиз на двенадцать персон. Соня, Эбигейл, Руфь, Юзек, Шимон, Суламифь, Бася...

Порой, чтобы не сойти с ума, он шевелил губами, каждого называя по имени. Боялся упустить хоть какую-то деталь.

Юзек был франтом, транжирой. Шимек отличался рассеянностью, похоже, это передается по наследству. Возможно, его гены, Авраамовы. Эбигейл была красавицей, буквально с обложки модного журнала. Бася хромала, плохо видела, натыкалась на стулья, все время падала. Доходило до смешного.

– Аба¹, Бася опять упала, – смеялся Юзек, и тут начиналась невообразимая суета, какая-то игра под названием «поймать старушку».

Бася все падала и падала, как в кино, и всегда находился тот, кто успевал... буквально в метре от земли.

Однажды она таки упала. Однажды она упала, и раздался смех. Боже, как это было смешно, ведь это действительно смешно. Падение старушки, допустим, из окна третьего этажа.

Руфь, Соня, Эбигейл. Нет ничего прекрасней алой помады на губах юной Эбигейл. Прекрасны в подвесках щеки твои, в ожерельях – шея твоя...

Рыжая Эбигейл была насмешницей, каких мало, она была из тех, кто всегда «негед»², счастливая упряmica, капризная Эбигейл.

Темноглазая Соня была тихоней, она читала книжки. Сколько раз она слышала, – прекрати читать в полумраке, испортишь глаза. Голубка моя в расщелинах скал, под кровом уступов! дай мне увидеть лик твой, дай мне услышать голос твой! ибо голос твой сладок, и лик твой прекрасен!

Сколько раз, лежа в крошечной тьме, он звал их по именам, перебирал, точно соколовища, их детские ужимки, капризы, кокетство, непослушание, дерзость. Эбигейл была дерзкой, Соня – кроткой. Шимек – высокомерным. Нет, высокомерным был как раз Юзек, а Шимек был нежным, тихим, рассеянным. Руфь была терпеливой, она была исполнена ангельского терпения.

Суламифь...

Была ли Суламифь? Была ли она? Или это плод его воображения...

Как алая нить – твои губы, как дольки граната виски твои. Шея твоя подобна башне Давидовой. Мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей как запах Леванона.

Он ждал подтверждения от Авраама. Шорох у стены означал жизнь. Суламифь это сама жизнь. Хоть какую-то весточку от нее.

К счастью, он ничего не слышал, не видел, – ни причитаний Баси, ни бледного лица насмешницы Эбигейл. Ни тихих шажков Сони, ни книги, которую она оставила под подушкой.

Соня читала книги. Заканчивалась одна, начиналась следующая. Освещение было скудное, но это ей не мешало. Побереги глаза, прекрасные свои глаза, зажги в столовой лампу, посмотри, какие огни за окном. Сколько света. Больно глазам. Там празднуют Рождество, звенят бокалы. Слышен грохот посуды...

¹Аба (ивр.) – папа.

²Негед (ивр.) – против.

Кого смутит разбитая чашка, если перевернут стол?

В крошечной тьме нет ничего важнее слуха. Нет ничего важнее шороха крошечных лап. Сколько времени он просидел так? Год? День? Вечность?

Слушайте внимательно, дети. Память никуда не девается. Невозможно заткнуть дыру. Невозможно не знать. Невозможно не помнить. В этом доме жила Суламифь. Руфь, Эбигейл, Шимон, Соня.

Звук включенного радио заглушал крики и выстрелы. Хотя вряд ли там было радио. Но можно представить себе, что все-таки было. Романсы, марши, мазурки звучали безостановочно. Лучше, чем мертвая тишина, лучше, чем сдавленные рыдания. Итак, музыка, – вдохновляющая, сентиментальная, сладкая. Мерцание праздничных огней. Ослепляющий свет прожекторов, остервенелый лай овчарок.

Вытянув вперед руки, он делает шаг, еще один. Белый, точно лунь, бредет вдоль стены. Совсем не старик, последний из дюжины. Пальцы его стерты до крови. Он боится яркого света.

Каждую ночь он ждет Авраама. Вы видели Авраама?

Он шевелит губами, – Руфь, Эбигейл, Шимон, Суламифь...

Варшава, 2023

Рука бога

У Дони Грач детское сердце. Так сказала педиатр Поплавская, неулыбчивая женщина без возраста, и Дониная мать протяжно всхлипнула, комкая в ладони носовой платок. Поплавская сразу засобиравалась, укладывая в докторский саквояжик блестящие штучки, и бойко застучала каблучками по коридору – там, на общей кухне, торопливо ополоснув холодные свои белые пальцы (на одном из них блеснуло колечко с камушком бирюзы), поискала глазами полотенце, но так и не решилась воспользоваться захватанным вафельным, висющим на кривом гвозде.

После визита участковой Дону отправили «на воздух» и велели дышать, так как в доме травили клопов, то ли керосином, то ли еще какой вонючей жидкостью, но в прошлый раз, надышавшись этой гадостью, Доня долго болела, ее сильно тошнило и даже вырвало, и Поплавская кричала на мать, а мать казалась маленькой, жалкой, несчастной, и, собственно говоря, так оно и было, Доня не помнила мать молодой и веселой, и иногда задавалась вопросом, почему у других детей во дворе матери молодые, а у нее, у Дони – старая. Это было обидно, ведь каждый мог накричать на нее и натопать ногами, и особенно участковая, которая брезгливо ощупывала Донин живот, и Доня стояла, выпятив пузо, стараясь не дышать, не хватало еще, чтобы к детскому сердцу прибавилось что-то еще. Доне хотелось быть здоровой, прыгать на одной ножке, как другие девочки во дворе, но вместо этого, тяжело дыша, она спускалась по лестнице и стояла у подъезда, укутанная в тяжелое пальто с проплешинами. Гулять нужно было для здоровья, и это как раз было легко, потому что все остальное было дорого. Например, яйца, домашний творог, печенка, витамины.

Дом был старый, «под снос», но его отчего-то не сносили, наверное, ждали каких-то особых распоряжений, а люди тем временем обживали темные тесные норы, обставленные темной случайной мебелью – столами, шифоньерами, разнокалиберными стульями. В доме любили, оплакивали, рожали, но больше скандалили, а иногда (в хорошие дни) слушали романсы в исполнении Изабеллы Юрьевой.

Мать уходила на работу, она работала в горячем цеху, а Доня сидела у окна в боковой комнате (восемь метров) и играла в прищепки или свечи. Вообще же, ей никогда не было скучно или тоскливо, потому что прищепку или свечу можно было завернуть в тряпочку, и получалась кукла, много кукол, у них были имена, и Доня иной раз, заигравшись, забывала о том, что голодна.

А когда вспоминала, то украдкой пробиралась на кухню и там находила замотанный в холщовую тряпицу кусочек хлеба или вареного картофеля. Позже приходила мать, она долго разматывала теплый платок, и сидела некоторое время с вытянутыми ногами, и Доня помогала ей стачить боты, и ставила их в угол. С бот натекала грязная лужица, и Доня, стараясь быть нужной и полезной, несла тряпку, и, по-взрослому кряхтя, подтирала лужицу и вместе с матерью прибирала накрытый клеенкой шаткий стол. Из чугунка валил сытный картофельный пар, и Доня, почти счастливая, засыпала прямо за столом и не слышала, как стол сдвигался, и мать относила ее в постель, а после, стоя у окна, расплетала бледную свою косицу, расстегивала кофту, под которой обнаруживалась фуфайка, а под ней – желтоватое штопаное белье и жидкая синеватая грудь. Мать укладывалась вместе с Доней, подтягивала ее к себе, лежа на боку и обняв одной рукой, и Донины живот и спина согревались, оттаивали, и вот уже они дышали в унисон, становясь единым целым.

Утром включалась радиоточка, и Доня, еще не проснувшись, чувствовала, как что-то теплое и мягкое отделяется от ее тела, но глаза ее были закрыты, пока мать, белея в утреннем молочном свете худыми плечами и руками, надевала кофту, юбку, фуфайку и из теплого живого организма вновь становилась почти старушкой. Конечно, если бы Доня раскрыла глаза, то она бы увидела, что мать совсем не так стара, и кожа ее светится в полумраке, и если бы не худоба и болезненность, не толстая фуфайка, не теплый платок...

Наверное, это было хорошее время Дониной жизни, когда мать, пусть не такая молодая и красивая, как у других, была рядом, она сердито вела ее, Доню, к трамвайной остановке, там стояли какие-то люди с корзинами и мешками. Веселый молодой мужчина, смеясь, резко подхватил Доню и поставил на подножку трамвая, и трамвай, долго петляя между заснеженными улицами, все ехал себе и ехал, и на мутном окошке проступало облачко, которое Доня надвигала ртом.

Потом были ступени, кафельные плитки, длинный коридор, по нему, расписывая полное ведро, шла нянечка. В смотровой Доню раздели до трусов и долго вертели, крутили в разные стороны, щупали живот, прикладывали всякие холодные штуки, и один человек в белом халате и шапочке, похожий на бога, наверное, он и был бог, оправив на Доне резинку от трусов, внезапно рассмеялся и шелкнул по пупку. А потом по носу.

После Доня сидела за дверью и смотрела, как нянечка шворкает тряпкой и, кажется, сердится на нее, потому что с Дониных валенок натекла лужица. Время шло медленно, но Доне не было скучно, напротив, тусклый свет в коридоре утешал после резкого и холодного в смотровой, там Доня ощущала неловкость от того, что одетые люди смотрели на нее, раздетую до трусов, маленькую, с торчащим картофельным животом, и смех человека в белой шапочке оставил ее безучастной.

Через четверть часа дверь скрипнула и приоткрылась, и Доня, соскользнув со стула, приникла к просвету, в котором угадывался силуэт матери, ее подпрыгивающая голова и бледное лицо, как всегда, искаженное плачем.

Все люди в этом месте казались ей важными, большими, всесильными, даже нянечка с тряпкой и ведром. От какого-то немыслимого, тяжкого горя Доня тоже заплакала, и плач ее был мышиный, почти неслышный, но, странное дело, недобрая нянечка перестала сердито шворкать и повернула к ней плоское коричневое лицо – не бойсь, не бойсь, Артем Андреич добрый, он тебе сердчишко полечит, бегать будешь, в школу пойдешь, буквы учить станешь.

К разным словам, которые уже знала Доня, не так давно прибавились такие, как «сверхурочные», «смена», «паек», «карточки», это случилось недавно, слова возникали из полутеней, из сгустков, из холодного воздуха и картофельных очисток. Откуда-то из долгих сумерек вынырнуло слово «романс», к нему полагались соседкины шипцы для завивки и сползающий по стене шнур. Среди многих слов были любимые – сахар, снег, кукла, мама.

Присев на корточки, Артем Андреич (теперь она знала, так зовут бога) заглянул в Донины глаза и весело так, быстро спросил – куклу видела? Говорящую. Пойдем покажу. Большая кукла, с ресницами, говорит «мама», – и взял Донину руку в свою, сильную, теплую, и дальше они уже шли, четыре Дониных шажка на два мужских, и, очарованная, Доня позволила довести себя до лестничного пролета, а потом спохватилась и заревела густым басом, потому что вспомнила, что

мать только что была, и куда-то подевалась, она в отчаянье стала звать ее и вырываться, обнаружив невиданную силу, но рука бога держала крепко и, похоже, не думала отпустить.

Градусник

Я знаю, с чего, собственно, все началось. С градусника. С обычного ртутного термометра, важного, точно статский советник! Как самый главный врач, выносящий вердикт у постели больного.

Осторожней, не дай бог разбить!

Если вы не в курсе, ртуть это страшный яд.

Однажды из дома напротив выселили чуть ли не целый подъезд. Папу, маму, детей, старенькую бабушку и кошку! И все из-за того, что один мальчик (девочка) разбил градусник, и ртутные шарики закатились под тумбочку и под кровать, и собрать их было невозможно, и все в той квартире отравились, им делали промывание желудка!

Не дай бог потерять градусник в ворохе предметов, загромождающих стол или сервант! Ведь если что-то и падает со стола, то в первую очередь это градусник!

Боже тебя сохрани! Градусник вложить в плотный картонный цилиндр, закрутить крышечку, и сам футляр хранить на верхней полочке с другими важными предметами. Например, с университетским значком, который прикрепляют к лацкану пиджака, с плоской стальной флягой, из горлышка которой пахнет затхлым. Там же лежат бумажные папки с тесемками, и в них хранятся квитанции прошлого столетия, счета за давно отключенный телефон...

Кстати, телефона действительно нет. Как и градусника. Куда-то исчез тяжелый, внушающий почтение аппарат, никто даже и не подумал на прощанье поблагодарить его за долгий бескорыстный труд. Некоторое время он стыдливо таился в углу, по-стариковски поскрипывал, подавая признаки жизни...

Еще пару раз по нему звонили телефонные мошенники, хулиганы-вымогатели, один из них плаксивым голосом гнусавил: мама, мамочка, спаси, я сбил человека. Звонила плечистая женщина-комендант, какие-то бумажные голоса шелестели в трубке... И трубка пахла, разогреваясь от дыхания. Ах, как она пахла! Тревогой, ожиданием, долгими зимними вечерами, хвоей, Новым годом, поздравлениями, новостями...

– Мальчик, два пятьсот! У вас мальчик...

Она пахла обмороком тети Бети, коридором, пыльными книжками, анисовыми каплями, корвалолом и корнем валерианы. Она пахла молчанием, порой слишком долгим, нестерпимым, оглушительным. И эти гудки, короткие и длинные, и вкус металла во рту, и тусклый свет в доме напротив.

Деревья раскачивались, а вместе с ними фонари, и тротуар покрывался хрустящей ломкой корочкой, но ты, обвязанный колючим папиным шарфом, накрытый тяжелым одеялом, дышал во всю силу своих маленьких легких. Пахло горчичниками и ненавистным горячим молоком. С медом и содой. На столе лежал (вопреки всем предостережениям) градусник, его полагалось энергично встряхнуть...

Тридцать восемь и шесть! Виданое ли дело? Градусник, выполнив важную миссию, предусмотрительно упакованный в футляр, отправлялся восвояси, на дальнюю полку. Инфлюэнца, ангина, катар верхних дыхательных путей, не дай бог перейдет в бронхи, не дай бог!

Однажды, когда ты был маленьким...

Подложив сомкнутые ладони под щеку, свернувшись калачиком, ты сладко внимал монотонному дождю и этому тихому голосу. Прохладная ладонь на пылающем лбу, заботливо подоткнутое одеяло.

Совсем-совсем маленьким, очень давно...

Это сейчас ты большой, и сам листаешь книжки, с картинками и без, и, морщась, пьешь ненавистное горячее молоко с медом.

Еще немного, и первые в жизни часы украсят твоё запястье. Кстати, куда же они подевались? Простые часы на плотном ремешке, самые прекрасные в мире. Исчезли в круговороте предметов? Затерялись на верхней полке? В дальнем ящике шкафа? В кармане плаща? Не может быть, чтобы они остановились. Их маленькие стрелки так нежно тикали, наполняя предчувствиями.

Касаясь предметов, лежащих на полке, я замираю. Блюдца с подробным орнаментом, плавные окружности тарелок, черенки вилок и серебряных ложечек, фарфоровые статуэтки и глиняные петушки, старые зеркала, стоящие под ними добротные, почти не сношенные женские туфли. Туфли бережливой женщины. Возможно, она чуть прихрамывала, потому что набойка на левом каблук почти целая, чего не скажешь о правом. Пряжка, небольшая царапина на носке. Немного распухшие шиколотки нависали над бортиками, но плотная добротная (сейчас таких уже не делают) кожа сжимала ступню, сообщая твердость походке и определенность намерениям.

Все началось с градусника. Вернее, с его пропажи. Или с синей лампы, обмотанной толстым шнуром. Я точно помню, в последний раз я видела ее на антресоли, рядом с поломанным смычком, полозьями санок и початой коробочкой ваксы.

Вжик-вжик! Как весело натирались узконосые туфли, ботиночки, сапожки. Ряд детской и взрослой обуви, выстроенной вдоль стены. Вот эти, купленные «по благу», с рук, у забытых нынче спекулянтов-фарцовщиков. А эти – ненавистные, тупорылые, советские, уродующие детскую ступню. Китайские кеды, в которых молодая тетя Бетя покорила то ли Тянь-Шань, то ли предгорья Урала.

Как весело мелькает сапожная щетка, и вот уже узкие носочки блестят, вытанцовывают, нетерпеливо стрекочут по лестнице...

Хлопает входная дверь, подгоняемая сквозняком, – ты там недолго, слышишь! Чтоб в десять как штык!

Дом, оставшийся позади, кажется постылым, в нем застоявшийся плотный воздух, особенно зимой. Морозный ветер врывается в юные легкие, шапка срывается с головы, позади хлопает форточка.

Градусник. Я точно помню, я положила его сюда, на клеенку. Или все-таки под. Там еще были старые коробочки из-под лекарств, но-шпа, таблетки активированного угля. Почему не выбрасываю? Ну, мало ли что. Все еще может пригодиться. В этой коробочке шнурки. А в этой – крышечки. Все нужное. Здесь квитанции за электричество, метрика, свидетельство о жизни. Кнопочный телефон, старая нокия. Иногда я нажимаю на кнопку, слушаю сообщения. Как будто вчера.

Документы в кожаном портфеле, забытом на сидении троллейбуса. Троллейбус разворачивался, огибал площадь, и что-то в груди ширилось... разрасталось. Чувство жизни, ее неотъемлемого присутствия. Как первая любовь, необязательно, впрочем, первая. Просто любовь, наполняющая до кончиков пальцев. Шестнадцатый троллейбус. Плавный разворот. Застывшие купола соборов. Туда, наверх, в дом на улице Артема. Улицы, то ширясь, то сужаясь, надвигаются, разбегаются, исчезают. Ворох коричневых листьев, первый снег, сухой, мелкий, как манная крупа...

Не помню, с чего все началось. Возможно, со старого приемника, который казался вечным, и стоял вот в этом углу. Там – топчан, здесь печатная машинка и приемник. Там вязальные спицы и пряжа. Вывройки из модного журнала. Справочник, большой русско-французский словарь с множеством закладок.

Или с тех самых разношенных кед. Их же носить и носить, это тети Бетины, с историей.

Или с кожаного портфеля, забытого на заднем сидении. Потертого, с тремя отделениями, с таким чудным замочком. Правда, язычок то и дело западал...

Возможно, все дело в ртутном термометре. О чем говорить... Он показывал самую точную температуру. Таких больше нет. Не делают. Лежал вот здесь, никому не мешал. На клеенке. Или все-таки под... Главное, чтобы он не разбился. Боже тебя сохрани! Помнишь, как в доме напротив.

Люба МАКАРЕВСКАЯ

Фрукты которые
я ела с мужчинами
апельсин
яблоко
груша
смерть
ежевика с
тобой

Так мы разламываем
мир
как мякоть
только чтобы
посмотреть
что внутри

Так смотрят
звери
на чужие
позвонки
и влагу

И властная
темнота
не уходит
от их взгляда
когда раздеваешь
ты
когда раздевает
другой

И детство
вдруг плачет
в углу
как кошка
как ошипанная
птичка.

Люба Макаревская родилась в 1986 году в Москве. Стихи и проза публиковались в журналах «Дружба народов», «Транслит», «Воздух», «Носорог», «Зеркало», «Новое литературное обозрение» и др. Вошла в шорт-лист премии Bookscripтор в жанре «современная проза». Автор трех сборников стихов: «Любовь» (Арго-Риск, 2017), «Шов» (Free poetry, 2019), «Еще один опыт сияния» (Кабинетный ученый, 2022), а также книги прозы «Третья стадия» (Inspiria, 2023). Стихи переводились на испанский, итальянский, польский и английский языки.

Отдалась страданию
как отдаются
воде
думая об огне

И чернота
распускается
проходит
по отражению
зеркалам

Где как
в воде
стоим застывшие
мы

Будто смертное
войско
в мороз

Вспомни мои
лопатки
снег за окном
и как разделяя
дыхания
разделяешь
судьбу

И не остается
ничего
кроме правды
совместного
сна.

Отдаляется горизонт
как спина любимого
твоя спина
короткая полоска
света

И из собственной
памяти
мы всплываем
как из боли
и нежности

Растерянные
и пространство
вокруг
всегда взорвано

На коже
следы
комариные укусы
любовь
морские звезды
твердое мы
на кончике
языка
бессильное
мы ниже
слюны.

Я поделюсь
на рык
и стон
на чистый
вой

Так солнце
разламывается
глазами

Не нежность
не злость
а тоска
ее звериное
нутро

Как звери
в норах
до сна
и прежде
него

Вспоминают
свет
на своих
шкурах
и шерсти
прежде чем
упасть в сон

как в темноту
в ее власть

Где маленькое
сердце
его стук
или плечо
случайны.

* * *

Где осень
разбила свое
зеркало
чтобы мы
увидели лица

Безмятежные
лики смерти
их цепочки
крючки

Вспомни меня
как ветхозаветное
животное
мой позвоночник

Вспомни прошедший
год
как кровавый
след
всегда неудобный.

Александр ЗАЙЦЕВ

КРУГИ НА ВОДЕ

Повесть

- Еще мы скинулись... слушай... а еще, кроме охраны, ну чопа, мы скинулись на металлоде-
текторы и...
- Ров с крокодилами.
- Смех.
- Зато там теперь три кольца...
- Ну, чем рисковать...
- Угу, угу, – многие кивнули.
- Это по месту жительства?
- Да, но это Большая Ордынка, так что...
- У нас тоже хорошая школа была.
- Помнишь Савицкого?
- Конечно, где он?
- Где-то.
- То есть Лена там учится?
- Ее глядят по голове.
- Да.
- Лена похожа на плюшевого медвежонка.
- Ты в каком классе?
- В пятом.
- Официанты вокруг так и скачут.
- Знаете, детские модельные агентства обычно шняга, они детей ломают. Но это проверенное
- много рекомендаций, знакомые...
- У Лены почти нет бровей. Выщипаны?
- А я нашел Савицкого в фб. Вот.
- О, господи!
- Что там?
- Что там у него?
- Красные флаги на аватарке.
- Смех.
- А мы... Я не рассказывал... Мы нашего Лешу лечили.
- От чего?
- Опухоль мозга.
- О...
- Мы боролись. Два года, теперь всё нормально – полная ремиссия.
- Уф.
- Господи, как страшно.

Александр Зайцев родился в 1979 году в Ставрополе. Лонг-лист премии Дебют–2005 (короткая проза). Автор книг «Старое общежитие» (2009), «Тектоника» (2012), «Убежище Бельвью» (2020). Публиковался в журналах «Дружба народов», «Новый берег», «Крещатик», «Формаслов» и др. Живет в Москве.

- Ты не говорил.
- Ребенок...
- Да-да...
- Слава богу.
- Настоящий боец.
- Вы же в Нью-Джерси?
- Уже восемь лет.
- Вы должны благодарить здравоохранение нормальной страны, врачей штата...
- Мы лечились здесь, в Москве.
- Это чудо. Дай бог, чтобы всё...
- За здоровье детей.
- Давайте.

Когда пришла моя очередь, я пожелал всем преумножения достатка.

Джаник, Гладилина, Ляшковский. У нас действительно была непростая школа.

Пока болтали, я от души сожрал стейк.

Даша и Галя. Даша в Ментоне с Эрвье держит ресторан и против Путина. А Галя здесь организует выставки и патриотка. Спорили-спорили, а потом решили, что Галя в марте приедет к ним погостить.

В целом у нас дружный класс.

Я из сборищ всегда вынырываю. Как из бассейна: освежает, но всё же другая среда.

Такси вызвала Света.

Завтра отлет на форум.

Питер скачет по погоде – как всегда. Солнце, ливень, снег с дождем, солнце, ветер.

Плохо, что фуршет устроили на теплоходе, по идее он должен был неспешно бродить по каналам, а мы – наслаждаться общением с бокалами на открытой палубе, но из-за этих скачков мы то высыпали на палубу, то прятались в баре, потом на палубе стало совсем неприятно, и все сбились внизу, было душновато, хотя работали кондиционеры.

Зато на форуме – на официальной части – можно было не жаловаться на духоту. Особенно когда выступал Гарант – тогда, видимо, из боязни ковида, в зал повернули воздушные пушки, и они выдували всё с такой чудовищной силой прочь от него, что, казалось, нам снимет скальп.

Вообще форумы больше для статуса, чем для реальной работы. Реальная работа – на 90 процентов – не выходя из офиса. Если не считать поездок к особым клиентам. Но то другая история.

Звонит Вова. Я не понял, что он хочет сказать. Разобрал «братишка» и «обнимаю». Вову жалко, его время ушло.

В девяностые я смотрел на него как на бога. Он же на сколько? – на двенадцать лет старше. Вел бизнес, когда я еще учился. «Элитная водка» – мотался по заводам, наводил контакты... откаты... А к нулевым это всё постепенно рассеялось, – понадобились топы с настоящим образованием, экономисты... Примерно как в «Жмурках»: теперь охранник в Мытищах.

Я беру и разгоняюсь на лэндровере по прямой до ста сорока. Есть пустынные улицы без камер, где это делать безопасно, – как на Яузской аллее. Важно самому понять, когда твое время ушло. Причем в разных смыслах, не только про бизнес: про очередной возраст, например, и то, что ты из него вышел. В любом случае печально, как ни крути, но, если принять этот переход во время, по крайней мере не будешь смешным. Улица заканчивается за несколько секунд.

День рождения Ибрагимова в яхт-клубе. Скинулись, собственно, на яхту – круглая дата. Над водохранилищем самолеты каждые пять минут – в и из Шереметьево. Это, конечно, не яхта в морском смысле – такая у него есть, – а крупный прогулочный катер с мачтой. Вполне подъемно.

Я люблю его короткой стрижкой, проседью, осанкой, ладным скромным пиджаком, пока он общается с гостями. Невероятный мужик. Подтянутый, культурный, готовый работать 24/7. Без понтов, – они для тех, у кого труба пониже и дым пожиже (где это слышал?).

Стою у причала, вода хлопает об бетон. Он подходит, говорит:

– Толя, дорогой. Есть проект в Казахстане, пришло детали.

Киваю. Жмем руки.

Смотрю на водохранилище: от ветра легкие волны.

А начиналось с того, что просто был клиентом нашего банка. Теперь я его консультирую... Десять лет уже, – можно сказать, друзья...

Звучит музыка. На открытую сцену возле клуба выходит Киркоров.

В 21:00 начинается фейерверк. Позже еду домой.

Между прочим, Ибрагимов пригласил в Крым – в любой день до 20-го. Не знаю, смогу ли, да и зачем.

Дома выставляю освещение на минимум, кондиционер на шестнадцать.

В воскресенье в офис к семи Света приезжать уже привыкла, а с документами понимает не всё.

– Справки готовы, счет закрыт, как они просили, срочно, перевели на другой, почему сразу не отправить?

– Потому, – говорю, – что надо дать понять, что ради них мы в выходные поставили на уши весь отдел, что тут много человек сутки работали в поте лица. Отправишь им письмо в понедельник, где-то в четыре.

Отличное чувство, когда выхожу с работы рано, а там – пустой центр, малолюдные улицы, открывающиеся кафе.

Что-то метут. Солнце блеснуло в окне Coffee Bean. Туда и пойду.

Щурюсь на кофе и омлет.

Звонит мама:

– Я приехала на дачу.

Звонит Лёля:

– Ты где вообще?

– В «Кофебине» на Страстном.

– Подождешь пятнадцать минут?

Что ж: сию жду. Типичная Лёля.

Заходит, осматривается, улыбается, подходит, целует, садится.

– Я тебя не видел лет пять?

Лёля начинает быстро говорить:

– Смотри. Ты нам очень нужен. Мы стараемся не отставать от рынка (она картавит – «гын-ка»), но абсолютно не поддерживаем раздувание («газдувание») мыльного пузыря. Сейчас конкуренты откровенно перекупают кандидатов. Дельты по зарплате очень серьезные... – она водит пальцем по столу. – Я думаю о будущем. Через 5–10 лет компаниям будут нужны IT-специалисты, но с их запросами никто не будет иметь возможности их нанять. И мы придем к глубокому кадровому кризису при физическом наличии людей. Абсурд, да? Поэтому я за коалицию работодателей. Нужна договоренность о непереманивании людей. Надо определить максимальный уровень окладов, единый для всех. Под каждую категорию айтишников.

«Договоренность о непегеманивании».

– Ну а я во всем этом кто?

– Вы же тоже состоите в ассоциации, поговори со своими эйч-арами. Я хочу, чтобы ты просто посчитал и дал нам разумное обоснование по зарплатам.

Лёля совсем такая же, как на первом курсе, – стремительная, говорит картаво взхлеб, та же косичка на плече, – только тётка. Интересно, она заметила переход?

- Как Олег?
- Растет.
- В сад ходите?
- Ты что. Уже в школе. Так ты считаешь?
- Посмотрим, если наши заинтересованы.
- Спасибо! Пока, – быстро встала, поцеловала, вышла, уехала.

Я вот думаю за рулем: у Юльки же родился сын в прошлом году. Я тогда попросил Свету перевести ей сто тысяч, но не заехал. Это ж мы где-то полгода не виделись – нехорошо. Сейчас можно.

Звоню – они дома.

Заспанная Юля, заспанный муж. Старший, Коля, играет с машинкой – увидел меня, радуется: «Дядя-я!»

Показали спящего младшего.

Идем в кухню, Сережа (муж) немного хромает, садимся за стойку (у них стол вроде барной стойки). Шепотом:

- Как дела?
- Нормально.
- Что с ногой?
- Нерв защемило.
- Я знаю хорошего мануальщика.

Пересылаю координаты. Сережа смотрит в телефон:

- Шесть тысяч за сеанс? Десять сеансов? – улыбается. – Нет, спасибо...

А что хотел. Людям не надо платить за работу?

Сережа – смешной и безобидный. Социалист. Вернее, так себя называет. Я его называю «философ». Сережа всегда добавляет: «философ-марксист». ...По-моему, настоящие философы – исключительно идеалисты. Ну, если понимать эту категорию не как направление философии, а как фактор подлинного, житейского отношения к жизни... Короче, Сережа в свои заблуждения верит.

Пьем кофе. Юля спрашивает:

- Как мама?
- Хорошо. На даче. Вы созвонитесь и приезжайте туда тоже. На майские, например. Или в июне.

...Мама уже двадцать лет как патриотка. Только если у Сережи «хорошие» – это ранние советки, то у мамы – все «наши». От Царя Гороха до Гаранта, и СССР даже каким-то образом. Хотя вспомнить ее году в 89-м, вспомнить очереди за курицей и что она тогда говорила... Смотрит по вечерам Соловьева, при случае мне пересказывает. Спорить? – да ради бога: в ее возрасте нужна уверенность, что есть что-то правильное, незыблемое...

Показываю Юле видео из телефона, как мы в январе катались на снегоходах.

– Тимбилдинг в Саянах.

Сережа предлагает салат, Юля шепчет:

- Он не будет. Там сельдерей.
- Люблю ее.

Нужно пройти свои десять тысяч шагов. Варианты: парк возле дома, дорожка в World Class (в моем же доме), погулять по центру, где я сейчас еду.

На дорожке в World Class в быстром темпе доаживаю норму. За окном невнятный дождь. В отражении вижу стройную женщину в бейсбольной кепке, тренирующуюся на одной из соседних дорожек. Звонит мама:

- У вас тоже дождь?
- Да, – говорю в гарнитуру, – да, пошел.
- Ты был у Юли? Молодец.

- Заезжал.
- Как у них?
- Хорошо.

Если бы в 96-м она не убедила меня поступать в тогда никому не известную «Вышку», если бы до этого не перевела из школы по месту жительства в центровую, если бы не тянула мои теннис, поло, стажировки, где бы я сейчас был.

– Это чистая комедия, – говорю. Лёля слушает. – Маркетологи наши потратили сто тысяч баксов на благотворительность, а потом еще семь миллионов на рекламу. Рекламу самой акции.

Принесли стейк, а Лёле салат.

– Гении.

– А че, задание выполнили. Так слушай, мало того, пригласили чувака, который до этого писал пресс-релизы в «Номе.Забота», он им это сочинил: «Когда у банка есть сердце». Так он знаешь кто? Поэт. Причем какой-то премированный. Ты знала, что существуют поэты? Нет, серьезно. В смысле, печатаются в каких-то журналах, у них там своя кухня, грызня, возня...

Улыбаюсь: сегодня я пью водку – делаю это примерно раз в месяц. Полезно для кровообращения.

– Мир поразителен.

– Точно. У него там стихи, значит... «Енотик, енотик»...

– Детские?

– Называют преемником Бродского.

Она в темпе съела салат.

– Мне надо забрать сына после тренировки. Ты же посчитал?

– Да, – даю ей распечатки. – Наши эйч-ары в курсе. Они там собрались эту коалицию регистрировать. Так что мы с тобой еще пересечемся.

– Супер, – берет сумочку. – Ты супер.

Целует, уходит.

Полчаса читаю РБК, листаю мусор в инстаграме (у меня пустая страница), незаметно прошло время. Приехали пацаны.

– Здорово.

Смотрю на них, как они усаживаются, прикалываются, заказывают. Учились вместе – на два года младше. Я их называю свободные художники. Сто мест работы, все не по специальности. Интересно, как выглядят их трудовые книжки. Знаю, в этом плане я, наверно, немного идеалист. Вначале 12 лет отпахал в банке N, потом перешел в банк В. ...Топ-менеджером вообще нельзя стать сразу после выпуска. Топ можно вырастить, – это дело небыстрое. Так что в известной степени я за себя не волнуюсь. Петя и Дима помоложе, им лавирование по душе, – так почему нет.

Сейчас Петя раскручивает онлайн-курсы по тому да по сему. Находит спецов, которым есть что предложить, – область знаний любая, – делает им сайты, ютьюб-каналы, рекламу... Пятьдесят на пятьдесят.

А Дима – Дима поруководил департаментом в правительстве Москвы (было смешно, – я ему об этом говорил, – когда увидел фотку в кабинете, где он за массивным столом на фоне флага, гербов и портрета Собянина), а сейчас вдруг резко – проректор университета. Да, о «Содружестве» говорят – шарашкина контора, – но, раз Дима там, сколько же там бабла...

– Сколько же там бабла, – говорю.

– Понимаешь, после мэрии я мог пойти куда угодно. Десять вариантов. Но выбрал туда – там реально интересные проекты. Мне нужна новизна. Это – ну, как наркотик мой. Я потому и без командировок не могу, чтоб не реже раза в месяц. Иначе я на одном месте с ума с хожу, ей-богу...

У него белоснежная рубашка Ральф Лорен. Как они делают такой цвет? Он кажется белее белого. А самое главное, Дима не врет. Взять хотя бы его жен. Сколько их было? Десять? Пятнадцать? Смотря как считать. Официальных или неофициальных... Была шведская татарка. Вторая – русская киргизка. Потом австралийка, тунисская немка, это я помню, даже колумбийка... Остановился (если остановился) на горской еврейке.

Мир, как выразилась Лёля, поразителен.

Я вдруг понял, что Петя похож лицом на императора Траяна. Говорит ли это о высокородности первого? Или – об обычности второго?

Петя с брюшком такой округлый и уютный, Дима – подтянутый, остроугольный и энергичный. Завтра пойду в спортзал.

Расплачиваюсь наличкой. Света вызывает такси.

Подкачивать мышцы в сорок четыре – совсем не то же самое, что в тридцать четыре... Энрике мне помогает держать ровно спину. Звонит Наташа. Слезая с тренажера.

Наташа – самое близкое, что у меня было к жене.

Нам было по тридцать. Познакомились случайно. Вместе провели примерно полгода. Никогда не ссорились. В какой-то момент спокойно отдрейфовали. Потом, знаю, она была замужем, родила дочку.

У меня на нее – единственную – как ни на кого, всегда была бешеная реакция. Какая-то магическая – стоило ей подойти на полметра... Потом один раз виделись – восемь лет назад. Был такой взрыв на сутки, а потом опять – тишина.

У нее спокойный, мягкий голос. Хочешь – приезжай, свободная неделя.

Я соображаю: время в принципе есть. Иногда нужна спонтанность. А может, мы еще не дозрели?..

А дочка, – ну что: дочка...

Сегодня пятнадцатое: удачно. Света заказывает билет в Симферополь. Повод – встреча с Ибрагимовым.

Перед отлетом стригусь. Барбершоп, как и многое другое, в моем доме. Здесь как бы свой мини-город: на территории всё есть. На крыше вертолетная площадка, если что, – правда, ей вроде бы никогда не пользовались. Но пафос у многих местных зашкаливает: дорого-богато.

Смотрю в зеркало, как меня стрижет Игорь. Стрижет как бог. Слушаю его – это особое удовольствие:

– Осенью пошли за грибами. С кумом и тестем. А там лес вот так идет, идет-идет, а потом ЛЭП, а потом дальше идет и вот так чуть-чуть. Ну я думаю, надо прямо держаться, чтобы потом ровно развернуться и назад. Кум с тестем петляют, туда-сюда, по кустам шарят. А потом такие, а где мы. А я так аккуратно развернулся и говорю: туда. А они такие: да ты ж ни разу тут не был. А я говорю: да точно туда. Короче, пошел, пошел и вывел. Грибов, правда, не было. Но то в прошлом году. А в этом тесть кума топором ударил.

И т.д.

Глубоко вдыхаю крымский воздух, пока мы идем от аэропорта к парковке. Наташа выглядит невероятно. Никакого перехода в тетки. На вид ей не больше тридцати пяти (в тридцать пять она выглядела на двадцать). Буду присматриваться.

У нее красный джип Wrangler 2010 года сカスタмизированной крышей. Сумку кладу на заднее сиденье.

– Эта машина тебе идет.

– Да?

– Не жалеешь, что уехала из Москвы?

– Я привыкла жить у моря.

– Да, здесь хорошо.

Наташа в сером спортивном костюме, на голове зеленая кепка, блондинистый хвост на затылке пропущен сквозь отверстие над ремешком.

Наташа ведет уверенно и быстро. Трасса петляет в сторону Ялты. Я смотрю на ее руки на руле. Понятно, ухоженные, каждый день кремы. Но – ни намека на увядание! А тыльные стороны ладоней – это главный признак, его обычно не скроешь. Я смотрю на ее маленькие ручки на руле.

За поворотом из-за горы бьет солнце, она надевает темные очки, ловит мой взгляд и улыбается.

В лифте я бросаю сумку на пол и сжимаю Наташину грудь.

...У нее круто отделанная двушка. «Прокачанная». В узкой высотке из новых, – до моря неблизко, но из окон его видно.

Темнеет.

Предлагаю пойти ужинать. Наташа говорит «пойдем» и начинает собираться.

Она ведет меня переулками старого центра, прежде чем вырुливаем на набережную. (Ощущение, что я снова среди старых декораций каких-то отыгранных спектаклей.)

– Устрицы?

– Вон там должен быть ресторан. Между домами. Там хорошее каре барашка.

– Согласна.

– С чем или на что?

– Почти на всё, ты же знаешь.

Там далеко не Мишлен, да и санкции, но я вообще люблю простую еду.

– Иногда сажусь в машину, еду за город, на какую-нибудь полянку, развожу костер.

Она улыбается.

– Какая у тебя сейчас машина?

– Лэндровер. Дефендер. Девятнадцатого года.

Одобрительно кивает.

– Так вот. Развожу костер, ставлю котелок. И делаю тушенку с макаронами.

Пахнет морем.

– Ты проголодался?

– Да. А ты?

Вообще, можно есть всё, нужны только баланс и умеренность. И нужно слушать профессионалов. Во всем важен профессионализм. Творог, например, любят добавлять в диету при физических нагрузках из-за белка, но забывают или не знают, что в нем 500 мг натрия на порцию, а натрий задерживает жидкость, поэтому для контроля веса творог не подходит. (В моем возрасте главное контролировать вес и холестерин.) Поэтому, когда передо мной разрекламированный диетолог несет ненаучную чушь, хотя о натрии в твороге знает даже мой тренер-пуэрториканец (а он просто занимался самообразованием), ну извините... В сорок два я резко почувствовал, как изменился метаболизм, стал больше за собой следить. Важно поймать баланс – между спортом, диетой и возможностью побаловать себя, чтобы не допускать лишних стрессов. И cheat meals должны быть – они вполне законны, – только надо знать, что и когда есть.

Конечно, и секс стал другим. В том числе в плане темпа и выносливости. Сильно потеешь, очень повышается пульс. Но бывают моменты (сегодня был), когда всё идет в прежнем режиме: только глаза застелило каким-то туманом. Но это потому, что первый раз. Ночью, думаю, будет по-другому.

Мы сидим в ресторане. За окнами совсем темно. Поблескивают стекла в антикварных шкафах. (Вокруг, по-моему, одни москвичи.) Порция оказалась двойной. Ребрышки на большом блюде вложены друг в друга. Внутри мясо нежное и розовое. Рядом картофель с розмарином.

Наташа ест с аппетитом.

Пьем вино.

– Закажи еще вина.

– Какое ты хочешь?

– Любое красное.

Она выбирает.

– Зинфандель?

Смеюсь:

– Зинфандель в Крыму? Может, что-то из ваших? «Золотую балку», там. Или вот: «Alma Valley».

Тут я спохватываюсь:

– А дочка твоя где?

– У родителей.

А, да. Я забыл: ее родители из Крыма. В итоге заказали «Бельбек».

В первый раз глаза мне застелило туманом. Почти ее не видел. Сейчас не тороплюсь и смотрю. Сколько же она пашет, чтобы иметь такие мышцы, такой живот... Кроме того, у нее от рождения всё не только очень красиво, но и *на месте*. С ней удобно *в любом положении*. Она получает удовольствие *от всего*. Талант, как ни крути.

В ванной небольшое джакузи на двоих. Включает, пошли пузырьки, ложусь рядом, толкаю ее ногами, хихикает. Уже два часа. Кладу левую руку ей между ног, а правой беру бокал. Она включает подсветку, бурлящая вода играет зеленым и синим, как в советских киносказках, по бортам поднимается пена. Мне хорошо. Не то чтобы я пьян – такого давно не было, – но есть чувство, что остановиться надо было на полбутылки раньше.

Поворачивается ко мне, смотрит с улыбкой.

– Мальцев, – говорит, – я рада, что ты приехал.

Полпятаго уже рассветает, а у меня тахикардия. Всё-таки перестарался. Иду в кухню, пью таблетку и много воды. Иду в туалет, сижу, избавляюсь от излишков. Руки слегка дрожат. Смотрю на них – суставы пальцев припухшие, кожа на тыльной стороне какая-то синюшная, как у курицы.

Доспали до девяти – чувствую себя гораздо лучше. Такая расслабленность отпуска. (Пока Наташа готовит завтрак – варит яйца и делает тосты, – я работаю за ноутбуком.)

После завтрака созваниваюсь с Ибрагимовым. Потом говорю:

– Ты не против, если пару дней мы проведем в «Мрии»?

– В «Мрии»? Шутишь? Конечно, не против.

Думаю: с одной стороны джип, «упакованная» двушка, с другой – ура, два дня в «Мрии». (Оказалось, двушка и машина – от бывшего мужа.)

Едем по трассе. Слева из моря поднимаются лесистые скалы, разделяющие поселки, – все эти «Кошки», «Драконы» и что там еще, что придумали местные, – а справа – горы посерьезнее, типа Ай-Петри, за которыми начинается плато.

Территория отеля огромная. Нас ведут в номер в маленьком корпусе, одном из не знаю скольких (Света забронировала). Цены выше, чем в Ницце. Хотя, с другой стороны, в Ницце не самые высокие цены.

Персонал вышколен. Видно, что их сильно дрючат. В принципе, это единственный способ добиться от наших уровня Европы. Отсюда и цена. За особые усилия, так сказать.

Номер двухкомнатный, со своей террасой и видом на море. Между корпусами передвигаются электромобили.

Наташа довольна. Улыбаюсь, видя, как у нее загораются глаза. Повалилась на кровать. Изучает программу спа, планирует массажи, бассейн и что-то еще.

– Я работать.

– Мне здесь за неделю всего не обойти.

Шлет воздушный поцелуй.

У Ибрагимова снята вилла. С подогреваемым бассейном, садом, пляжем и прочим.

– Это единственный способ нормально разместить своих, – говорит. – Чтобы всем было место – и маме, и жене. Племянники, вот, с нами.

Предугадывая мой вопрос:

– У меня мама больна. Ей запретили далеко летать. Поэтому мы здесь.

Спрашиваю, что с мамой.

– Представляешь, агрессивный рак. Всё было так быстро, думал, ее потеряю. Две операции в Германии, переводили из клиники в клинику, а потом выяснили, что, чтобы остановить метастазы, нужен особый препарат. Препарат передовой, он только вот несколько лет как появился. И теперь, слава богу, всё хорошо. Уже два года они не растут.

– Слава богу, – говорю.

– Этот препарат их сдерживает. Не дает развиваться. ...Ну, пойдем за стол.

В принципе, не было никакой нужды прилетать и все вопросы можно было решить по телефону, а документы – чтоб не светить по имейлу – передать мне на дом. Но так ты работаешь с человеком бок о бок и рождается большая доверительность. Ты пожимаешь руку, видишь его глаза. Нужна человечинка, я это понимаю. В том числе по поведению самого Ибрагимова. По тому, как он держит себя даже с теми людьми, которые не стоят его мизинца.

И потом Ибрагимов – особый случай. У нас своего рода дружба.

Когда мы почти закончили, появляется его мама. Мама мне, если честно, не понравилась. Такая рыхлая, большая старуха. Но не в этом дело. Она как-то недобро шпыняет службу, двух молодых парней, которые что-то не так сделали в саду. Они выглядят испуганными. Не так поставили лежаки, что ли.

– Вас вообще гнать отсюда нужно, – и всё такое прочее.

Глядя на это, Ибрагимов чуть-чуть качает головой:

– Мама-мама, она в себе это так и не преодолела, – и потом добавляет странно: – Я за нее повешу.

Потом мы еще говорим за вином о наследии совка, о том, что он оставил в людях – во многих навсегда – ошетиенность загнанных зверьков, боязнь что-то недополучить, упустить, там, место в очереди... Запасы туалетной бумаги вспомнили, дефицитные джинсы...

– Помню, как она таскала меня по поликлиникам. Выбивала путевки в санатории. Я был очень болезненный, она меня одна тянула...

В этом мы с ним похожи.

Звоню Нате – она еще на обертывании. Сажусь на террасе и смотрю на фиолетовое море с барашками.

Она возвращается, и вчерашнее повторяется, только без такого количества вина.

После идем гулять. Ходим, дышим, спуски, подъемы, японский сад, винный парк, развлекательный центр, парк аттракционов, чайный дом, амфитеатр, пляж... Всё это искусственно и скучно. Море и горы красивые.

Вечер. Почему бы не посмотреть кино?

Листаю фильмы в «Окко». О, Вуди Аллен.

– Ты смотрела «Иррационального человека»?

– Нет.

Включаю. Кайфую. Спустя час говорю:

– Понимаешь, что это Достоевский в стебном варианте?

– Нет.

– «Преступление и наказание».

– В школе не смогла дочитать.

– Я, наоборот, проглотил.

Многие говорят: «Матч-пойнт» лучше, чем «Иррациональный человек». Один из аргументов – в «Иррациональном человеке» всё слишком схематично. А я думаю, Вуди просто лучше других понял, что люди более схематичны, чем кажется, а их сложность – преувеличение писателей и режиссеров.

Я не заметил, как заснул.

Утром говорю:

– Поехали куда-нибудь.

– Давай подумаем, где ты не был.

Думаю. Да я, в общем-то, везде был. Она перебирает:

– В Никитском зацвели тюльпаны... Севастополь, Балаклава, Форос... Дворцы... На квадроциклах можно. Еще – Бахчисарай...

– Был.

– А в монастыре?

Смеюсь:

– В монастыре не был.

– Ты оценишь. Там реально красиво.

Поехали. В принципе, мне всё равно, куда. Лучшее в этом – сама поездка. Скалы, сосны, всякие деревушки и кафе...

От побережья поднимаемся на плато. На поворотах с высоты мелькает море. Наташа опустила крышу, купаемся в воздухе. (Вспомнил, как когда-то гонял в четыре утра на квадроцикле по пустой трассе от Линдоса дальше на юг. Прикольно было.)

Поселок. Притормаживаем перед гусями. Дальше опять лесная горная дикость.

Бахчисарай, как и раньше, – пыльный. Минуем его, паркуемся у кафе, от которого тропа ведет к монастырю и дальше в горы – к заброшенным древним поселкам – не то татарским, не то караимским.

Проходим монастырь – он в длинной низине между горами. Часть построек на дне, часть – вырублены в скалах или прилеплены к ним. Яблони цветут.

Наташа крестится.

– Пойдем внутрь?

– Ок.

По тропинке к Чуфут-Кале монах гонит коров. Мы отошли, чтобы пропустить, но он согнал их в сторону. Мужик моих лет, высокий и худой. Я ловлю его взгляд, хочу получить какую-то реакцию. Интерес, там, насмешку или раздражение. Там нет ничего. Будто нас нет.

Сам Чуфут-Кале малопримечательный. Несколько пустых домиков, ниши, вырубленные в скале. Но отличная природа и виды. Мы бы пошли выше, но надо было надевать другую обувь и брать больше воды.

Спускаемся. Вверх по параллельной тропе какой-то мужик катит мопед. Может быть, к торговым палаткам. Там торгуют сувенирами.

Издали улыбается Нате, начинает что-то говорить.

Мне показалось, я расслышал «опять выгуливаешь».

– Что? – говорю. Останавливаюсь, оборачиваюсь.

Тут Ната схватила меня за рукав так крепко и потянула так сильно, – я понял, она скорее его оторвет, чем отпустит. Женщины иногда так делают. Продолжаем спускаться.

В монастыре неожиданно встречаем мою одноклассницу Полину. Вот так встреча. Я не видел ее очень давно. Несколько секунд соображаю, кто это вообще. Она высокая, ненакрашенная, морщинистая. Седые волосы под черным платком, платье в пол.

Ната и Полина стоят рядом, пока мы разговариваем: сверстницы.

Полина в паломничестве. Здесь святая земля, говорит, ороплена кровью предков, русских воинов. Сначала в Крымскую, потом в Великую отечественную. (Еще штук десять не назвала, думаю.) Сколько головешек сложили наши защитники, говорит. Я вспоминаю: у Полины был муж, друг ее брата, – кажется, немного старше. Поженились молодыми. У нее в семье военная династия. И тот тоже был офицером. Погиб во Вторую чеченскую, и уже больше двадцати лет Полина такая. Паломничества, крестные ходы. Я рада, говорит, что и вы пришли сюда помолиться. Сюда всех тянет, чтобы попросить Господа очистить грехи. Я так рада вас встретить. Обращается к Нате как к моей жене. Ната в темных очках. Я коротко рассказываю о встрече одноклассников в конце марта. Полина слушает невнимательно, вежливо кивает. А сама будто параллельно слушает радио «Радонеж», которое, похоже, звучит где-то у нее в голове.

Мир поразителен.

На прощание трижды целует меня и Нату в щеки.

В кафе внизу я не могу не пошутить – умеренно. (О муже Полины не рассказываю, такое горе может кого угодно подкосить, так что ее вариант еще далеко не худший.)

Ната говорит:

– Я и сама верю.

– О, – говорю. – В храм ходишь?

Нам принесли суп.

– Конечно. На Пасху.

Ната ходит в бейсбольной кепке, пропустив хвостик в отверстие над ремешком. Носит темные очки. Футболки оверсайз и джинсы. Или свободные спортивные костюмы. Худи и кофты оверсайз. Будто маскирует свою красоту. И только когда она снимает кепку и очки или потягивается, сидя за столом, как сейчас, когда одежда выдает контуры ее тела, понимаешь, как она невероятно красива.

Поздно вечером, вернувшись на ЮБК, сворачиваем с трассы в Алупке. Паркуемся у кафешки, о которой я вспомнил. В ней интерьер в морской тематике. Официанты в тельняшках.

Ната смотрит в меню:

– Как же я хочу пива и бургер. Но мы так не доедем до Ялты.

– А давай, – говорю, – здесь переночуем.

– Где?

– Да легко, сейчас найду гостиницу.

Беру телефон. Нам приносят огромные бургеры, блюдо раков и литровые кружки пива. Надеваем перчатки. У Наты сияют ее серые глаза. Играть музыка, довольнолюдно, в основном молодежь. В полночь танцуем, она дает фору любым тинейджеркам.

Веду ее по покатым переулкам. Включил фонарик. Высвечиваются старинные виллы и кипарисы. Пахнет котами. Веду за руку, в другой держу бутылку вина.

Какая-то компашка от нас шарахается. Это смешно.

По прилету на весах ожидаемый результат: плюс 3,4 кг. Половина – понятно – просто лишняя вода, выйдет за сутки. Остальное еще за неделю спортзала.

Ладно, стоило того.

Каждое утро по пути на работу за рулем краем глаза финансовые новости и соцсети.

Реклама Петиного (с лицом Траяна) платного семинара «Ситуационный маркетинг во время ковида». О, любопытно. Был период, говорит Петя в своем видео, когда на волне паники все охотились за масками, а в аптеках висели таблички: «Масок нет». Он и раньше был связан с пищевым производством, где маски всегда использовались в чистых зонах. И стоили еще в 2019 году примерно рубль за штуку. То есть имел выход на производителей. Рассказывает, что в марте двадцатого сбывал маски в промзонах за кэш – 3200% прибыли. Покупали, потому что деваться было некуда. Теперь делится бизнес-смекалкой. Вот же химик.

Попалась в ВК Полина (в Крыму мы обменялись телефонами). У нее там церковные купола, белые голуби, куличи, георгиевские ленточки и – стихи:

Молись Святая Матерь
За Русь свою молись,
Ты знаешь что солдаты
Отдали свою жизнь.
Молись Святая Дева
Покрой и сохрани, –

и так далее.

Иногда всё это вызывает во мне ступор. Не смех, не несогласие, а ступор.

Когда в очередной фигуре ежедневного калейдоскопа сходятся, например, Петя, Полина. Наташа, которая, оказалось, тоже верит. Перед отъездом она попросила помочь: летом ей надо отправить дочку в лагерь. Я оставил 70 тысяч. Ее смешило, что я везде таскаю с собой наличку и не пользуюсь картами. Сидя в татарском кафе у выхода из монастыря, я спросил ее, как она представляет себе Бога. Она сказала, что Бог – это Христос, и надела темные очки. А кто же еще. Я тогда сказал, что Бог – это то, что в человеке не хочет умирать.

Много работы.

Из офиса не выезжаю две недели – если не считать спортзал. Звонит мама. Освободил воскресенье.

У мамы на холодильнике магниты из всех мест, где мы были.

В форме чешской пивной кружки, португальской Синтры, марокканского тажина, итальянского граната, тайландского дуриана, греческой яхты... Штук сто.

Перед глазами вдруг отчетливо Санторини. Крутая ступенчатая улочка к морю, солнце высоко и чуть правее. Яхты как комары в бело-голубом море у соседнего темно-голубого острова, короткие тени от белых стен на ступенях.

Осыпаются красные олеандры.

Ради чего-то такого мы и живем.

Мама рассказывает, как навела порядок на даче, как кормит там белок, как ходила в Москве на выставку Кандинского.

Смотрю на нее: всё такая же.

По поводу мамы и всяческих ступеней – отдельно. Этим она не раз удивляла незнакомых. На том же Санторини – когда преодолела трехкилометровый подъем за пятнадцать минут. Я видел, как вспотевшие молодые атлеты, отдыхавшие на полпути, с удивлением пропускали худенькую старушку, с улыбкой бегущую вверх и на ходу что-то фотографирующую.

Мама по именам называет соседей по даче и их родственников, по именам белок, подробно пересказывает биографию Кандинского, включая факты, о которых не знала экскурсовод.

Однажды она приехала ко мне, а в доме заблокировались лифты – сработала пожарная сигнализация, – так она не стала ждать, пока их запустят, поднялась на семнадцатый этаж, взяла какие-то документы и ушла по своим делам. А я еще долго сидел в холле и злился.

– Мам, полетели в августе в Испанию?

Ее васильковые глаза загораются, она кокетливо говорит:

– Я не против. А может, лучше на Крит?

Я не могу не улыбаться. Я знал, что она опять выберет Грецию. В последнее время это ее главная любовь.

– Что ж ты там не видела? – выискиваю магниты – гипсовый дельфин, развалины Кносса, розовый песок Элафониси... Она говорит:

– Помнишь, не доезжая Лассити монастырь?

Помню.

– Я очень хочу еще раз там побывать.

Прошу Свету подыскать варианты.

Стараюсь делать всё, чтобы мама ни в чем не нуждалась. Чтобы ей не было одиноко. Многие с возрастом меняются, и еще как. Но она, тьфу-тьфу, не такая. Не раскисает и не жалуется, у нее подружки, делишки, она всегда в движении. Съездить на дачу своим ходом с двумя пересадками, чтобы полить цветы, а потом сразу отправиться обратно, чтобы вечером успеть на концерт, для нее не проблема. Она часто навещает Юлю и сидит с племянниками.

В девяносто втором мы ели гуманитарку. Отвратительные растворимые каши. И даже – я хорошо это помню – сухую детскую молочную смесь. Это было *унизительно*. Но она быстро сориентировалась и устроилась менеджером в Craft Foods – они тогда только зашли в РФ, им нужны были профессионалы, знавшие местную специфику, – а мать до этого пятнадцать лет проработала биотехнологом на пищевом производстве. Сумела своими силами подтянуть английский (ей тогда было за сорок, – а когда тебе за сорок, это сложно). В девяносто четвертом, после периода нищеты, ей положили зарплату около 3000 долларов – по тем временам неслыханно.

А сейчас копейная пенсия – у нас же «социальное» государство.

Я помню, что такое очки. Все помнят, если им не меньше лет, чем мне. И что такое очки, не отделенные друг от друга ничем, никакими простенками и дверьми. Я помню, как в младших классах до последнего терплю, но к третьей перемене уже немоготу, и я с ужасом иду в конец коридора по этому натертому тошнотворной мастикой паркету, открываю дверь, а там – кто-то художественно обыскает стены, кто-то курит, кто-то, матерясь и гогоча, бьет кого-то по голове, вонь, духота, мокрый пол, наляпанное мимо дырок говно, рисунки и надписи на стенах, где «хуй» – самая приличная. Я стараюсь стать как можно аккуратнее, в стороне от всех и ссу максимально быстро, чтобы быстрее оттуда выбежать, и при этом молюсь, чтобы меня никто не толкнул. (Это была школа по месту жительства. В седьмом классе мама перевела меня в престижную на Красной Пресне.) Я помню туалеты восьмидесятых и девяностых – в школах, больницах, на автовокзалах, в вузах, – где грязь и смрад, неработающие бачки, расколотые унитазы, окурки, тараканы, отсутствующие щеколды. (Музеи и театры были исключением не всегда.) Помню освещенный лампочкой деревянный сортир возле кафе под Воронежем – с замерзшими дерьмом и мочой, изваянием поднимающимися над тем, что летом было очком, с воткнутым в стену возле выключателя шприцом, иглой вперед, на кончике которой замерзла капля крови.

И, разумеется, полное отсутствие туалетной бумаги. Годами в туалетах России не было туалетной бумаги. В лучшем случае порванные или нарезанные газеты. Ну или какая-нибудь тетка в платном выдавала моток дешевейшей, грозившей прорваться у тебя в руке при попытке использования.

Шло время. Это были те же самые люди. Только они научились не ссать мимо. Те же технички и уборщицы так же мыли полы. Только стало чище. Очки стали пропадать. Унитазы стояли всё больше целыми. На них появились ободки. Появились ершики и замки на дверцах. Бумага робко появилась – сначала в виде одного общего рулона, лежавшего где-нибудь на подоконнике перед кабинками (его никто не тырил!). Потом – в каждой кабинке, да еще и в затейливых металлических держателях. К этому добавились ароматные моющие средства вместо хлорки, автоматические освежители воздуха. Кое-где – сенсоры (автоматическое смывание), автоматически наде-

вающиеся сменные чехлы на ободках... В иных туалетах сделалось так хорошо, что туда начали водить на свидания.

Бумага улучшилась. Она становилась двухслойной, трехслойной, на ней появились узоры, изображения зайчиков и цветочков.

Когда я слышу, как говорят о великой культуре России, ее взлетах и падениях, – Достоевском, там, или том же Достоевском, но в Баден-Бадене, – я думаю только об одном: только бы сортиры не утратить. Только бы опять всё не засрало.

В июне на даче дождливо. Сережа (муж Юли) много лет назад взял одну ноту и держит ее: в его мире есть класс капиталистов и пролетарии. А еще (как бы параллельная метафизика) есть созидатели, а есть паразиты. Зачем ему это?

Он, конечно, созидатель: историк в вузе. (Как же он, представляю, пудрит молодежи мозги.) Но разве это не случайность?

Юля в его типологии тоже созидатель – инженер-строитель: тут я согласен больше. Закончила МГСУ. Хроническая отличница. Несколько раз бывал на ее стройках. Забавно видеть, как она, высокая и худенькая, в касочке деловито ходит туда-сюда среди каркасов строящихся зданий и здоровенных мужиков и распоряжается ими. Они при ней не матерятся.

Мы хотели погулять, но с утра зарядил дождь. Он сильный, мы смотрим на капли на крыльце и на газоне во дворе и открываем вино. Мама говорит, что дождь побьет маки. А может, и не побьет. Я не очень люблю цветы. Я не хочу, чтобы побило маки. Но больше люблю деревья. На участке много молодых деревьев. А за заборчиком – сразу лес. Натуральный лес с лосями, кабанами и прочим. Я думал, здесь всем будет хорошо. В смысле, для этого покупал этот дом. Маме в первую очередь. Ну и всем близким и друзьям – чтобы могли собираться. Юльке и ее детям. Жаль, что тетя Лера не дожила.

Я думаю, не растопить ли баню.

Десятилетний Коля играет с машинками, а маленький Ваня лежит в качалке.

Я люблю их всех. И Юльку, и ее детей, и Серегу с его бутафорским марксизмом, и Юлину маму тетю Леру, незримо присутствующую. Вернее как – незримо: у меня часто случается в голове это наложение времен, когда я смотрю на реальность, а на нее, как в старых фильмах, накладывается другая картинка из прошлого: и умерший или просто исчезнувший из моей жизни человек, таким, каким я его видел прежде, ходит среди плотских и живых, он как бы тоже здесь.

Мама так рано не пьет. Может вечером бокальчик.

А мы умеренно потягиваем, – что делать в такую погоду, – тихо работает телевизор, иногда перекрываемый возгласами Коли, я думаю, когда провести санацию дома, а между тем тоненько тянется разговор ни о чем.

Дом в средиземноморском стиле – чтобы круглый год напоминать о наших поездках. Кухня à la Provence.

Я тут бываю раза три в год, заезжаю максимум на два дня.

Вспомнил Marathon du Beaujolais. Это был... ноябрь. Ну правильно, он же, собственно, и проводится в ноябре. Смешно: там были эти точки на пути марафона, где участникам предлагали отдохнуть и подкрепиться жареным мясом и вином.

– Помнишь, – говорю, – Вильфранш... как его там?

– Вильфранш-сюр-Сон.

Мама помнит. Там же марафон и собор Notre-Dame-des-Marais. Она рассказывает историю и что внутри, и как мы ходили пешком до Уана.

Идя из гостиной в кухню за холодной бутылкой, главное не долбануться на какой-нибудь детской машинке.

– Что?

– Милостыня и благотворительность – это не помощь. В лучшем случае самоутешение.

(По телевизору реклама приюта.)

– Почему?

– Благотворительность иерархична. Вертикальна. А нужно, чтобы была горизонталь. Равный доступ, а не подачки.

Это меня смешит. Один фонд Ибрагимов за неделю делает больше, чем Сережа сделал пиздежом про социализм за всю жизнь.

– Серега, – говорю, – зачем тебе это всё?

– Знаю, – улыбается, – я, наверно, всех задолбал...

Юля, варящая у плиты кофе, шутливо вздыхает, – мол, что уж, мы привыкли. Сережа хихикает и говорит:

– Мне, видишь, в середине жизни важно удостовериться, что я не говно. Ни для кого – чисто для себя, – он двигает бокал. – Просто нужно себе проговаривать базовые координаты. Но получается, иногда проговариваю и другим. Ну, там, типа, я четко могу сказать: я не поддерживаю убийства людей...

– Так и я не поддерживаю, – улыбаюсь.

Лена-медвежонок мелькает в рекламе детской косметики.

Бывает, выбирают свою нишу: например, «я еврей и главное для меня всё еврейское, сионизм вне критики, а кто против, тот антисемит, даже если сам еврей», и т.д. Или, там: «я социалист», и всё об этом. Или Полина со своими кексами и алтарями. То есть куличами.

Я явно пью чаще раза в месяц.

За кофе Сережа советуется с женой, надо ли ему сообщить что-то декану так-то или так-то. Я бы не рекомендовал пить кофе сразу после вина. Юлька ему говорит, как лучше. Он внимательно слушает, послушно кивает.

Юлька очень умная.

После полудня ложусь спать, а когда просыпаюсь, дождя уже нет. Мы идем гулять. Ребята подстраиваются под детей, а мне надо прошагать свои десять тысяч шагов. Что касается мамы, она убежала с подружкой по грибы.

Бродим среди дач.

– Смотри, – говорит Сережа Коле, – что это?

– Это дом, – отвечает Коля.

– Нет, сынок, – Сережа хихикает и смотрит на нас. – Это товар!

Я вяло улыбаюсь.

Позже Юля с Сережей деликатно объясняют, что у Юли гинекологическая проблема, нужен хороший специалист. Видимо, следствие родов. Не вникая, советую Джаника. Там, наверное, дорого, говорит Сережа, узнав, что за клиника. Поверь, говорю, вам будет бесплатно. Ты не знаешь Джаника.

У Сережи мало друзей. Он часто говорит: «Важно не количество, а глубина контактов». Типичный шизоид.

Мама возвращается вечером: в ее корзине белые, подосиновики, подберезовики.

Как я провел лето. Закрыв несколько сделок. На совете директоров попросили подготовить план экспансии в Юго-Восточную Азию, поставили сжатый срок. А я его *уже подготовил*. Я знал, что они это предложат. Кто молодец? Суть: не приобретение новых бизнесов, а приобретение лицензий и строительство новых бизнесов. Для этих целей формируем подразделение: оно будет взаимодействовать с регуляторами соответствующих стран. Юридически оформим как холдинг. Филиппины, еще две-три страны. Плюс Индия, хотя она в стороне. Только это многолетний проект, ничего быстро не появится. Они это понимают. Предстоит изучение рынков в моем списке, тестирование гипотез, первое общение с регуляторами. Не говоря вообще об M&A.

С Ибрагимовским проектом в Казахстане тоже получилось. Сначала только была неувязка с землей под склады: там оказалось какое-то старое мусульманское кладбище, местные возмутились, но вопрос быстро уладили при участии самого Ибрагимова.

Тренировался больше обычного – а всё равно наметился живот. Потому что нарушаю диету. Чего еще особенного? – Да ничего особенного. Работа. Юлю, вот, свозил к Джанику. Вернее, добирались мы каждый своим ходом. Клиника на Сретенке – место обалденное. Москва вообще, как по мне, – это не Кремль, высотки или проспекты. Я здесь вырос, я знаю, что говорю. Москва – это город переулков. А сейчас еще середина июля – она полупустая...

В клинике Джаник встретил Юльку как родную. Он такой мягкий, интеллигентный. Выглядит как добрый гном – невысокий, круглый, – только в белом халате. Осмотрел-опросил, везде водил без очереди. Я ждал в коридорах. Куча обследований, всё объяснил, назначил лечение и, разумеется, не взял ни копейки.

Когда я предложил, он взглянул на меня так, что я засмеялся и обнял его.

На каждом этаже возле лифта журчат фонтанчики.

Вот тоже интересная история: у него есть старший брат. Оба из Туркменистана. Но: тот дикий. Ну то есть натурально дикий. Неадаптированный, жену бьет. Средневековый такой чувак, как, увы, многие. А Джаник – ну, достаточно сказать, что у Джаника абонемент в Большой театр. Он по-русски говорит как диктор советского телевидения. В нашу школу, кстати, его тоже перевели в седьмом классе, как и меня (его после развода воспитывала мать, а брата – отец). Это нас, наверное, особо сблизило. Хотя, думаю, обратиться к нему любой из наших – его реакция была бы точно такой же.

В клинике картины, фонтаны и мрамор. Всё сверкает.

– Джаник, – говорю. – В чем тут секрет?

Мы стояли во дворе под каштаном – он вышел покурить. Двор ограничен изнанками старых особняков. Юлька уже села за руль своей мазды и укатила.

– Я тебе так скажу... Знаешь, зачем приходят 80 процентов? – он понизил голос. – Зашиваться.

– В смысле?

– Строгие восточные правила, старик. Невеста должна быть невинна до брака. За это готовы выложить сколько угодно.

Я посмотрел вверх на раскидистый каштан. Как там Лёлька говорит: мир поразителен.

Летим из «Шарика». Томное чувство утра и скорой перемены места. Немного облачно. «Дью-ти-хуяти». В «Шарике» сейчас не много людей.

У нас с мамой традиция: когда все досмотры пройдены и багаж сдан, едим суп в «Иль Патио», в меню обозначенный как «Домашний очаг». Ресторанчик не бог весть что, но так повелось. Пусть даже в семь утра.

Суп, кстати, ничего.

Решено было так: сегодня летим мы. А Юля с Сережей и детьми – завтра. Я не хотел лететь с детьми – при всей любви. Это тяжело. К тому же для мамы всегда беру бизнес-класс, а брать бизнес-класс на всех было бы слишком.

Они сами оплачивают билеты, с меня – вилла на месяц (сильно сказано, – просто домик) на берегу, в К.-Х. Там тихо и мало туристов, бывшая рыбацкая деревня. От Ираклиона полчаса.

Сам остановлюсь неподалеку – в отеле. Чтобы иметь возможность поработать, тишину, и вообще.

Два часа из четырех в полете я проспал.

Снижаемся над голубым морем, уже видно блеск барашков, видно остров в гористых складках и белых поселках. Я смотрю в иллюминатор. Мама тоже выглядывает вниз. Я вижу, что она счастлива.

Быть счастливым от малого – это есть не у всех. Очень многие годами, что бы ни получили, отравляют себя каким-то ядом... Ладно.

Вот Ираклион, потряхиваясь в воздушных ямах, тянется справа, а вот шасси касаются бетонной полосы.

Всё это сто раз видено – а ощущение по-прежнему, что мир этот нереальный. Сложно объяснить. Дело не в климате и географии, и он не лучше других, но кожей чувствуешь, что собран из других молекул. От этого на островах не покидает ощущение сна.

Водитель складывает чемоданы в багажник. Воздух пахнет нагретыми травами, – ветром их аромат доносит на парковку.

Здесь любой пустырь благоухает.

Двадцать минут по трассе на восток – и мы на месте. (Проехали мою гостиницу – несколько уютных белых корпусов – она близко, вернусь пешком.) Достав чемоданы, таксист с выражением говорит:

– Welcome.

Осматриваюсь. Должно быть там.

Катим чемоданы по короткому переулку в сторону моря. Застройка не выше трех этажей. Олени осыпаются над белыми стенами. Во дворе маленького домика показалась овчарка, посмотрела на нас и снова ушла в тень. Столовая небольшой гостиницы. Загорелая женщина на пороге нам улыбнулась.

На нашей «вилле» хозяева, пожилая пара, передают ключи, показывают, где что. Работают кондиционеры. Всё очень прилично. Новая мебель, огромная кухня со всеми ложками-поварешками, окна в пол. Муж в брюках, клетчатой рубашке и очках на цепочке, с аккуратной щетиной, похож на университетского профессора, а его жена – просто на средиземноморскую старуху.

Перед домом деревянный заборчик с калиткой и бетонная дорожка, а сразу за ней, за паркетом, пляж.

Дом двухэтажный, уступом, на крыше первого этажа терраса. В этом его фишка – на ней можно загорать, а по вечерам сидеть и смотреть на закаты.

Низко пролетает самолет.

Захожу внутрь принять душ.

Позже, когда мама распаковала вещи, идем по жаре в супермаркет (он здесь рядом, я посмотрел по карте) – мимо огражденных домиков с садами, открытой кофейни, церквушки, пары сувенирных и продуктовых лавок, gent-a-sag, пиццерии, перед входом в которую припаркованы скутеры доставщиков. Вентиляторы выбрасывают из кофейни и магазинов на раскаленную улицу холодный воздух. Всего семь минут.

Нагружаем тележку продуктами. Мама не может сдержаться при виде исполинских картофеля – со смехом показывает клубень размером с авиабомбу.

– Земля родит, – говорю.

Тащим по жаре домой. Маме хоть бы что, с меня пот градом. (Понятно, я несу большую часть.)

Дома она готовит средиземноморский томатный суп с расчетом на ребят, на завтра.

– Лангустинов запекать уже с утра.

– Ты бы сама чего-нибудь поела.

– Я поела в самолете, пока ты спал. У меня еще осталась булочка. Ты что-нибудь будешь? Сделать яичницу? С твоими колбасками.

О, колбаски – местные, критские, сыровяленые с разными травами. Копеечные, но очень вкусные. Не по диете – но какая разнича.

– Не возись, – говорю, – я их так съем.

Смотрю на термометр: на улице 38. Кондиционеры убавляю до 16. Жуя колбасу, обхожу комнаты.

Устраиваюсь на диване в гостиной, совмещенной с кухней. Глаза смыкаются.

– Я посплю, – говорю.

– Спи, – говорит мама.

В банкомате у супермаркета я снял для нее немного налички (с карты, оформленной на Свету). Не парясь с чемоданами, прямо за углом беру напрокат тойоту-ярис. Самое новое, что у них

есть. Маленькая, белая. «Климат-контроль!» – с гордостью говорит владелец. Кидаю в нее чемодан, сумку, через минуту подкатываю к гостинице.

Регистрируют шустро.

Здесь собственный участок пляжа при выходе из номера, отделенный от других непроницаемыми для глаз живыми изгородями из кипарисов. Корпуса новые. Типа пять звезд, но выглядят на четыре. Сойдет.

Возвращаюсь пешком по прибрежным дорожкам. Прохожу сквозь кафешки, мимо маленьких жмущихся друг к другу гостиниц.

А вот и Джо.

У него почти никого – для ужина еще рано. Его брат помогает на кухне и с раздачей. Белые скатерти по краям столов зафиксированы прищепками. Основания металлических зонтиков укреплены бетонными блоками – на случай сильного ветра.

Джо замирает, увидев меня, морщится.

– Нет, нет, нет, – говорит Джо по-русски. – Опять ты.

И тут же громогласно:

– My VERY best friend!

Весь в поту. Толстый лицедей.

– Джо, Джо, Джо, – говорю. Качаю головой и смеюсь. Пожимаем руки.

Он садится вместе со мной. Официантке быстро приказывает по-гречески, она бежит в кухню, несет бутылку и стаканы.

– Ты давно? Надолго?

– Сегодня прилетел. И сразу к тебе. Недели на две, там посмотрим.

Его брат улыбается и кивает из-за стойки.

– О-о-о! – он вскакивает. – Что будешь? Всё сделаем!

– Джо, – говорю. Смотрю на море, потом опять на него. – Джо. Для начала твой офигенный бургер.

– О-о-о! – кричит. – У тебя будет ЛУЧШИЙ бургер на Крите! The best of the best!

Отдает приказ официантке, та убегает. Всккивает:

– No, I am going to cook myself for my very best friend!

Через бисерные шторы заходит в кухню, становится у плиты, не переставая что-то приготавливать.

Немцы за соседним столом ржут.

Через 15 минут приносит две огромные дымящиеся котлеты, из которых сочится сок. Вилкой отодвигаю гарнир – картошка фри и рис с овощами. (Чего никогда не пойму – как их можно совмещать.) Официантка ставит дзадзики, хлеб и греческий салат.

Вина выпили.

Я пробую мясо.

– Джо, – говорю. Он смотрит с видом «ну как?». – Это самый офигенный бургер, который я ел за последний год.

Он расцветает и начинает петь. Грек из-за крайнего стола раздраженно ему кричит. Джо уходит к нему, кричит в ответ, жестикулирует.

Я ем хрустящую снаружи и розовую внутри котлету.

Возвращается и громко заявляет:

– You know, Tolya, I only have ONE problem.

Поднимает указательный палец.

– What is it? – спрашиваю.

Взмахивает руками:

– GREEK PEOPLE!

За соседними столами смех.

Он пародирует:

– “I want my souvlaki right now!” But it takes time to cook them, see? Do you understand me?!
TIME!!

Он изможденно качает головой и садится. С моря задувает ветер, скатерть шевелится.

– Ты ничего не имеешь против Вьетнама?

– Против Вьетнама, – говорю, – ничего.

– Ну вот и отлично, – хитро улыбается.

Говорю ему, где остановился.

Щеколда на деревянной дверце скрипит. За ней море и остров напротив. Выходим с мамой на пляж. Тихо, не людно. Солнце сядет после восьми, еще жарко. Пляж узкий, без всяких зонтов и лежаков, на нем темный песок и большие камни. За фиолетово-белой водой километрах в десяти остров Диа. На нем ничего нет. Самолеты регулярно заходят справа, с востока, пролетают над берегом и садятся в Ираклионе. Далеко слева видно аэропорт и поблескивающие самолеты на полосе. Видно, как они взлетают оттуда в сторону западных гор. Они отрываются от земли и резко уходят вправо, в сторону моря, туда, где садится солнце.

Захожу по колено. Вода чистая, дно мягкое. Захожу глубже, плыву.

Мама плавает дай бог. Она аккуратно держит голову над водой, чтобы не намочить волосы. Но волн почти нет. Потом мы зажигаем. Через час переоделись, идем на прогулку вдоль берега на восток, мимо разношерстных домиков и маленьких гостиниц со столовыми, разделенных кое-где переулками и пустырями. Здесь дорога шире. Людей мало. Гуляют семьи, парочки, местные пенсионеры с собаками. После плавания в мышцах здоровое чувство. Доходим до конца поселка – дальше территория большого отеля – там делать нечего – поворачиваем назад. Перед нами весь залив, и солнце садится в море правее Ираклиона. Мама говорит:

– Хорошо, что мы всё-таки это увидели.

Я спрашиваю, что именно.

– Всё.

Через минуту она добавляет:

– Вообще, если бы не ты, я бы так и не узнала, как прекрасно путешествовать.

Каким образом в ней это совмещается с ностальгией по Союзу и всяким охранительством – мне неизвестно. Хотя – в ком нет противоречий. Люди же не ходячая логика. Правда, многим кажется, что именно они лично, в отличие от других, последовательны и логичны.

Мы возвращаемся в дом, поднимаемся на террасу, я открываю рецину (мама называет ее «резиной»), мы сидим в шезлонгах с бокальчиками и смотрим на закат.

Здесь нет адресов. Вечно «там, за церковью, повернете налево». Я попросил Джо, чтобы она ждала меня у фонтана Морозини, – потому что фонтан легко найти. Джо попросил заехать, говорит, она того стоит. Ее, говорит Джо, тоже не перепутаешь.

Тонкая худая азиатка у венецианского фонтана на львиной площади выглядит эффектно и как-то неожиданно. На ней короткое обтягивающее платье. Она мне сразу понравилась.

У нее непроницаемое лицо без эмоций, но, кажется, нет крена в сторону недовольства или «мне всё равно». Сели в кафе.

– My name is Tolya.

– My name is Rosa.

– What would you like?

– Iced coffee.

– Two iced coffees.

Приносят. Пьем. Раскидистое дерево, тенты, фонтан, голуби, ранние туристы.

– What a day, – говорю.

– It's going to be crazy hot. – Добавляет: – I like it, though.

Да: каждый день над нами огромное голубое небо – на нем ни облачка, и, скорее всего, не будет ни облачка до самого отлета.

– You wanna go for a walk?

– Sure.

Плачу за кофе.

– Is that your wife's card? – слегка улыбается.

– My secretary's, – улыбаюсь.

– Oh, you've got a secretary, – она делает комично-почтительное лицо. Когда очень красивые женщины так шутят, это производит фантастическое впечатление. Я хихикаю. Она смотрит на меня и улыбается чуть больше:

– I like you.

Беру ее за руку, и мы идем в сторону галереи. Бродим по переулкам, закрытым тентами, потом выгуливаем к собору Св. Тита. А потом город так прогревается, что пора менять локацию.

– Where do you want to go?

– Where are you staying?

– Nika Beach.

– Oh, I know the place.

В машине, потому что она новая, климат-контроль фигачит так, что я через пять минут переключаю с 16 градусов на 19.

Розе нравится пляж в моем номере. Ей нравятся живые изгороди из кипарисов. Она идет внутрь переодеваться.

Возвращается в розовом купальнике, тонком и крохотном. Ей, понятно, лет двадцать пять. Кладу руку ей на бедро, а она – ладонь на мой затылок.

...Всегда удивлялся, как играют талантливые джазовые музыканты: с одной стороны – накал эмоций и полет, с другой – четкий контроль ситуации.

После такого хочется как следует выпить. Идем к Джо. (Мама позвонила: ребята прилетели, уже у нее. Загляну к ним завтра.)

Вечереет, спадает жара, а духоты здесь нет из-за постоянного ветра с моря.

Он видит нас издалека.

– Oh no, you again.

Убирает табличку Reserved со стола на краю террасы, который ближе к морю.

Садимся.

– Джо, Джо, Джо, – говорю.

С непонимающим видом заглядывает мне в глаза:

– Что?

Вдруг мы хохочем.

Роза делает гримасу «что взять с двух дураков».

– Да-а, – говорю, когда приступ проходит.

Джо соглашается кивком. Официантка приносит кьянти, но я говорю:

– Нет. Сегодня узо.

– О-о-о! – Джо, тряся животом, бежит за барную стойку. – О-о-о!

– You drink Ouzo?

Роза отвечает:

– Constantly.

Возвращается с бутылкой, рюмками и льдом. Остров Диа в лучах заката.

На льду узо становится молочным. Это невероятно вкусно.

– Actually, – говорит Роза, – I don't like Heraklion that much. And I don't like cities. All these shops and tourists...

Джо кивает и слушает внимательно, как папаша.

– I actually like this rustic shit, – легким жестом показывает вокруг.

Мы киваем.

– I like simplicity, nature, mountains, sea.

Мы киваем.

– I like godforsaken villages and cafes in the middle of nowhere.

Мы киваем.

– I even like Joe's shitty taverna.

Мы хмыкаем.

– I even like Joe.

Мы ржем.

– How can you say that. You are like a daughter to me!

Принесли блюдо с рыбой, мидиями, осьминогом и половиной лобстера. Я на седьмом небе. Внутри тепло.

– Я рад, – говорит Джо, – что ты доволен.

Дальше танцы в двух пляжных кафе по пути в гостиницу, потом мы поднялись на трассу, Роза сняла босоножки, несет их в руке, я обнимаю ее за талию. Кусты олеандров темнеют, как бастионы. Вдали совсем не видно гор.

Портье косятся на нее – как она ступает по мрамору босыми ногами и пока заполняет карточку. Понятно, ее бы все хотели.

В номере включаю сумеречный свет.

Мы выходим к морю. Она скидывает платье и заходит в воду. Я следом.

Проснулся в кровати. Роза варит американо в кофе-машине.

– Do you mind?

– Of course not.

Она оглушительно красива. Утром по-другому.

Дает мне чашку. Странно: я не чувствую похмелья. Так бывает только в самых хороших местах. Предлагает:

– Breakfast?

– No. You go alone. I'm gonna go meet with someone.

– Can I stay here?

– Sure. The restaurant...

– I know, it's downstairs.

Я принимаю душ, надеваю шорты, футболку и кроссовки и устраиваю легкую пробежку вдоль моря в сторону маминой «виллы». Здесь будет километра три.

Окна распахнуты, ребята уже проснулись, мама готовит у плиты, остальные у стола на террасе: Юля уговаривает Колю съесть омлет, малыш Ваня в коляске – улыбается солнцу и, похоже, всему на свете, а Сережа пьет кофе и что-то читает в телефоне.

– Физкульт-привет, – говорит. – Представляешь, кубинцы до сих пор предоставляют бесплатное...

Коля бежит ко мне и обнимает за ногу.

Мама хитро смотрит:

– Доброе утро.

Улыбается, прищурившись, – от нее трудно что-то скрыть.

Она никогда не пилила меня по поводу семьи и детей. Я благодарен ей и за это. Пару раз я говорил ей, что мне лучше жить вот так, одному, – еще много лет назад, – и она это приняла и никогда не пыталась переубедить или давить. Просто она умная и не как большинство мамаш.

Возможно, дело еще в том, что по своему опыту знает: жизнь с супругом – не всегда вершина гармонии.

Сажусь за стол. Как долетели? – Нормально. Спрашиваю, какие планы. – Юлия хочет на Курнос. Мама – в монастырь. В итоге решаем, что лучше пока отложить поездки, нормально акклиматизироваться, особенно детям, и вообще получить удовольствие от моря. Поплавать, позагорать и выспаться.

Ем гренки с яйцами.

Как Юле дали месяц отпуска? – Накопилось с прошлых лет. А у Сережи, понятно, как у всех преподав, целых два, – роскошь. Хорошо быть преподам. Отпуск ли у меня? – Нет, что-то мерцающее: я как бы на работе. Просто получилось организовать такой просвет... Но в любой день, может быть, придется сорваться. По идее две недели точно есть.

Юля говорит, что у меня забалдевший вид.

Вот они – созданы для семьи. Причем Юлия – главная, определяет стратегию. Как, когда и что будет: сегодня ремонтируем балкон; завтра делаем ребенка. Сережа – возится с детьми не меньше, чем она, видно – с удовольствием. Он заботливый, спокойный. Особо забавны на этом фоне разговоры о революции.

Позже они идут к морю, а я возвращаюсь к Розе.

Еще три дня – лень, секс, плавание, валяние на берегу, вылазки к Джо. С мамой – прогулки по деревне. Заходили раз вглубь, в горы. Ближе к ночи вино. Иногда ночные заплывы. Этим утром я просыпаюсь на песке. Надо мной пролетает самолет.

К шуму самолетов, заходящих вдоль берега в Ираклион, быстро привыкаешь. Он не будит. Да ночью и меньше рейсов.

А днем на пляже с Розой или мамой мы смотрим вверх и стараемся разглядеть авиакомпанию. Иногда это просто, иногда солнце бликует или мы не понимаем, что за рейс. Вот это Swiss Air – да, точно, Swiss Air. Их не перепутаешь. У них лучшая кормежка из всех.

Разумеется, я делаю так, чтобы мама и Роза не пересекались. Еще не хватало.

Захожу в комнату, залезаю в кровать. Я в песке, – ничего, уберут. Роза меня сонно обнимает.

– Tell me something.

– What?

– Some story.

– Like what?

Мне не нужен разговор «за жизнь», о том, как она здесь оказалась, – в этом ничего интересного. Просто нужен фон.

– Do you have fairy tales in Vietnam? Tales or legends?

– Of course we do.

Она садится по-турецки, на секунду задумывается:

– Well, here is one. A story from my grandma. She was living in a small village in the jungle. When she was little, they found a man. He looked like – like, butchered. The old woman in her village whispered crazy things, strange things. They called him a demon. Only in the hottest years this happened... And that year, it grew hot. They began finding their men. They found them sometimes without their skins... and sometimes much, much worse. They called him “the demon who makes trophies of men.”

Сучка: она же пересказывает первого «Хищника». Сначала я повелся. Бью ее подушкой. Идет легкая борьба.

– So did your grandma kill the demon?

– No, – говорит она, отбиваясь. – She sucked his dick!

Она будет поинтереснее Наташи. Да, собственно, и большинства женщин, которых я знаю. Женюсь. Но сначала в душ.

Там такие каменные ступени в ванну, сажусь на одну из них и наполняю ванну водой. Плещу себе из крана на лицо. Заходит Роза, берет душ, льет воду мне на голову.

Мы устали сидеть на месте.

Роза садится за руль, и мы отправляемся на запад, – она хочет показать мне акведук Святой Ирины, а потом деревню Арханес. Акведук двухъярусный, огромный и заросший, как на итальянских картинах. В нем гнездятся стрижи. Проходим под ним, фотографирую с разных сторон. Лучшее всего получается с обочины трассы – оттуда он вмещается в кадр целиком. В Арханесе узкие переулки и много склонов. В итоге мы бросаем ярис на площади и идем гулять по самой жаре. Захолустье. В тени валяются тощие коты. Временами машина поуже нашей тойоты протискивается по переулкам. Почти у всех машин поцарапанные бока. Здесь на это не обращают внимания. Небольшие частные дома цветов от розового до темно-синего. В одном пустынном переулке из двора вдруг выходит девушка, скорее всего еще школьница, – при параде – накрашенная, с уложенными волосами, в костюме, на каблуках, – куда-то идет, – возможно, в гости. Что у нее за жизнь? Везде чисто. Возле храма открывается вид на низину и соседний холм. На флагштоке рядом с колокольной флаги – бело-голубой государственный и церковный, желтый с орлом.

В каком-то тупике поднимается над забором запущенное апельсиновое дерево, всё увешано красноватыми плодами. На парадных улицах такого не увидишь.

Следующим утром выдвигаемся на восток – в сторону плато Лассити. Мама в предвкушении, она радостно-изумленно, как в первый раз, разглядывает горы, по-детски радуется поворотам трассы, подмечает красивые (как она говорит) бухты, что-то вспоминает. Я чувствую себя свежим. Внизу остается Малия – туда точно не стоит соваться, – разве что кому-то хочется смотреть на толпы блюющих англичан. Климат-контроль на 20, чтобы ее не заморозить.

(Роза уехала в Ираклион.)

Поднимаемся довольно высоко, мама сжимает сумочку на коленях, и на одной из извилин дороги, на склоне, – монастырь. Мама говорит:

– Панагия Кера Кардиотисса.

Не помню, что это значит.

На парковке кроме нашей две машины. Мама достает косынку. Покупаем билеты. Проходим на территорию – всё маленькое, компактное. Ухоженные клумбы. С террасы прилично далеко видно – до самого моря. Посреди храм – небольшой, сложенный из больших неодинаковых камней, приземистый, старый. Мама, прежде чем зайти, обходит его вокруг. Говорит:

– Пойдем вместе.

Пойдем – внутри сумрак, прохлада, тишина. Поблескивает позолота, несколько свечей, лучи из узких окон. Мама проходит, насколько я понимаю, к главной местной иконе – Богородицы (копии продаются в лавке – купили несколько вместе с сувенирами). Стою жду. Еще два туриста – муж и жена – осматривают фрески на левой стене. Полутьма, прохлада и тишина.

На секунду пол поплыл под ногами. Будто меня легко толкнули. Обернулся – никого. Да, тут частенько трясет – местные не обращают внимания.

Выходим на яркий свет. Мама сияет. Я говорю:

– Ты почувствовала толчок?

Она не слышит, вся в себе. Ладно: не буду ее пугать.

Выше по трассе семейная таверна. Она стоит на краю деревушки, в которой не больше десяти домов.

Столики на площадке с головокружительным видом на серпантин, который мы проехали, Малию и море внизу. Садимся между шведской семьей (в древнем смысле) и французской парой. Заказ принимает хозяйка – сморщенная, суровая, но суровая не по-настоящему. Дочка приносит-уносит блюда, отец с сыном в кухне этажом ниже – тут всё на склонах и не поймешь, что называть цоколем, что первым этажом, что вторым.

Маме подают обжаренный ломоть домашнего хлеба с уложенными на нем кусками феты, оливками и вялеными помидорами, всё спрыснуто маслом со специями. Мне – баранью котлету с картошкой. Мама пьет лимонад.

Отдохнув, идем бродить по деревне. Никого, гуляет ветер. Возле самого большого дома – возможно, это что-то вроде местной администрации, – выставлены кадки с цветами, хотя вокруг всё и так в зелени.

Через дорогу – на склоне – магазин всякой белиберды. Самодельные сувениры, колокольчики, фенечки, автомобильные номера.

Внутри, за бисерной шторой, неподвижно сидит бородатый дед.

Едем дальше. Показываются старые неработающие мельницы, некоторые без лопастей, за ними местность выравнивается, и вот перед нами плато. Овцы пасутся на лугу справа. Еще мельницы, ресторан на развилке. Дальше – километры плоских полей и садов, окруженных горами. Здесь перестает ловить навигатор. Еду через оливковые рощи наугад. Открываются новые виды на горы с разных сторон плато. Людей нигде нет. Вдруг попадают сожженные солнцем фермеры – они что-то поливают из шлангов. Равнодушно косятся на нас.

Мама в восторге.

Возвращаемся на «виллу» к вечеру.

На «вилле» (уже закат, ужин, вино) Сережа говорит:

– Удивительно, на Кубе до сих пор предоставляют бесплатное...

Он даже не понимает, что произносит оксюморон. «Предоставляют бесплатное». На уровне государства – нонсенс. Да что там на уровне государства – на уровне его пребывания здесь...

Звонит Вова – отхожу к перилам – чтобы мама не слышала.

Опять пьяный, опять «братишка» и «обнимаю», но в этот раз мне его особенно жалко: почему-то подумалось (смотрю на море), что он прожил свою жизнь и теперь снова разговаривает на языке младенцев. Такая инволюция. Странно представлять его сейчас в его двухкомнатной материнской квартире в Мытищах. Я тоже говорю «братишка» и «обнимаю», «да» и «обязательно увидимся», – когда он делает паузы в своем нечленораздельном лепете.

Он сын брата отца. Та половина семьи почти вся такая.

Возвращаюсь за стол. Сережа кормит крохотного Ваню.

Я вот думаю: мой отец нас бросил, когда я был таким же. Я его даже и не помню. Держал ли он меня на руках? Качал ли? Обнимал хоть раз, как это делает сейчас Сережа со своим сыном? Каким надо быть гонимым, чтобы оставить ребенка в таком возрасте. Ладно.

На следующий день мои уезжают на озеро Курнос. Я, хоть убей, не понимаю, в чем кайф. Ну да, большое пресноводное озеро в горах. Да, чистое. «Там черепахи – на противоположном берегу, – Коля хочет увидеть черепах». – Ну ладно, черепахи... Там вода красиво меняет цвет с голубого на изумрудный, причем так, что видно четкую линию, где над песчаным дном она разделяется по цвету. Но слишком много людей, по берегам бродят гуси, совсем уж колхозные столовки, везде катамараны... Чтобы всех вместить, Юлия взяла напрокат Escalade. Возможно, единственный на острове.

В 7:30 подбираю Розу в Ираклионе, едем в Ретимно, – говорит, там есть один браслет, который она давно хотела купить. Потом обещает показать заброшенную деревню. Называется Лаппа или как-то так.

Я получаю удовольствие от езды по горной трассе, от ее поворотов, которые я прохожу на скорости, – из ярыса можно кое-что выжать. Из-за высокой крутой горы на очередном повороте показываются другие, и так снова и снова. Иногда трасса выныривает к побережью, и тогда справа внизу открывается вид на голубое море. Где-то склоны гор поросли лесом, а где-то только тронуты зеленью, голые и каменистые.

Около десяти мы в Ретимно. До жары идем в Фортеццу – поднимаемся на холм – между камнями на ее высоких стенах кое-где торчат кусты. Сверху, со стен, хорошо смотреть на море. В одиннадцать уже жара. Спускаемся в старый город. Идем по переулкам, перекрытым тентами, в ювелирной лавке покупаю ей браслет. Она благодарит и целует.

– It's nothing, – говорю. Но мне приятно.

Садимся завтракать в кафе на площади (если ее можно назвать площадью) возле фонтана Римонди. Тут дома тесно и несимметрично налеплены, народу снует много. Плетеные стулья. Приносят «большой греческий завтрак» – он никогда не такой большой, как ожидаешь. Сидеть с молодой девушкой под тентами в прохладе вентиляторов, пить кофе и смотреть на туристов и местных – отдыхающих, продавцов, доставщиков, официантов, – смотреть, как протискиваются машины, стараясь не зацепить углы домов, кто сидит за соседними столиками, смотреть на ее смуглую кожу, почти ни о чем не думать...

В общий чат пишут: Лёля погибла. (Чат сокурсников.) Я смотрю на площадь, людей, дома с тентами, фонтан слева от нас. Над окнами лавки напротив разными цветами написано «Cul de Sac».

Что значит «погибла»? – Утонула в Таиланде. Известно только это. – Утонула в океане? – Поехала отдыхать. – Какой ужас. – Без сына? – Вдвоем с мужем. Сына оставили у бабушки. – Ему же всего восемь. – Жили в гостинице на Пхукете. – В голове не укладывается. – Мужа сейчас допрашивает полиция. Я перестал читать.

Глажу Розу по руке.

– Let's go?

– I just need to use the toilet.

Роза встает, я сижу и вдруг вижу, как из толпы в тень кафе заходит Лёля. Садится в кресло напротив. Ее косичка и курносый нос. По-деловому достает из сумочки телефон, сейчас расскажет, шепелявя, об успехах коалиции работодателей, потом убежит – забирать с тренировки сына.

Что это за Лаппа? Брошенная деревня. Древняя, разумеется. Роза долго искала, мы колесили по диким местам, пока не заехали в полную глушь. За бортом сорок два. Хорошо, что в ярисе холодно. На солнце блестит белый капот. Наконец, нашли. Роза не уверена. Возможно, это другое место.

Мы бросаем машину там, где осталось подобие грунтовой дороги, и идем по тропке по-над скалами. Вокруг заросли. Мы не видели никого на километры вокруг, – только маленькое стадо коз, на одной из которых позвякивала погремущка.

Идем через заросли, как через туннель, потом они чуть расступаются, – и вот, действительно, деревня. Вернее, то, что от нее осталось. Несколько грязно-белых стен – без крыш, окон, дверей. Каменные ступени и заросшие терраски. Церквушка – тоже без крыши. Ни крестов, ни росписей. Внутри видно примитивный каменный алтарь. Кто-то прикрепил на низкой, с человеческий рост колоколенке новый блестящий колокол. Здесь настолько тихо и дико – не знаю, как передать. Фоновый треск цикад подчеркивает тишину. Приходит чувство, что ты нигде. Я подумал, что если я сейчас закричу, звука не будет.

Роза приводит к выступу из скалы, спрятанному под деревьями.

– Here, – говорит. – Sit down.

Я опасюсь, что могут быть змеи.

На жару я опасюсь за сердце.

Но скоро забываю о страхе и о другом.

Когда мы идем обратно к машине, я подхожу к колоколенке и дергаю язычок колокола. «Тун-н-н!» – звук всё-таки есть, но какой-то пустой, под стать месту.

К Джо не пойду. Выпью дома (в смысле, в номере). Кто-то говорил мне, что моя квартира в Москве похожа на гостиничный номер. По-моему, в ней просто чисто и ничего нигде не валяется. (Уборщица убирает раз в неделю.) В самом деле, это в гостиничных номерах всегда набросано.

Роза меня поддерживает – в плане алкоголя. Она не слабак.

Темнеет. Сижу в шезлонге между кипарисами. Смотрю на горизонт. Закат слева. Ветерок.

Почему допрашивали мужа? – Оказалось, она вышла поплавать ночью, пока он спал. – В море? – Они снимали бунгало с бассейном. Она вышла поплавать в бассейне. – Утонуть в бассейне? – Это очень странно. – И муж ничего не слышал? Я перестал читать.

Смотрю: солнце заползает вниз уже не в море, а ближе к западным горам.

Когда я плаваю, я всегда очень аккуратен.

Роза ждет, когда я заговорю или встану и предложу окунуться или пойти поужинать. Она меня не трогает. Наконец, она встает и идет в номер. Уже совсем темно – видно только огни по побережью.

Присылают видео. – Оказалось, муж ни при чем. – Запись с камеры наблюдения над входом в бунгало. Разумеется, без звука. Время: 02:24. Показывается Лёля, ее видно со спины и сбоку. Сбрасывает халат и заходит в подсвеченный бассейн. Его видно только на четверть. Уплывает за пределы видимости, – от ее движений создаются круги на воде, – они попадают в объектив. Один, другой, третий... А потом всё.

Напоследок беру на два дня яхту. Содержать яхту – не по моим доходам, а арендовать на денек-другой – вполне. Джо посоветовал капитана в Ираклионе.

Первый день – семейный. Мы идем на восток, минуем Малию, Спиналонгу с его крепостью, Агос Николаос, потом огибаем остров и идем на юг. Снимаю на видео куски побережья – прежде всего те, где берег не плоский, где из воды поднимаются скалы, а из них как бы вырастают белые поселки.

Маленький Ваня хорошо переносит море. Он довольно выглядывает из-под козырька своей коляски. Иногда Юлия уносит его в каюту поспать. В открытом море останавливаемся (сегодня штитль). Сережа и Юлия прыгают с борта, мама спускается по лесенке. Коля в надувных оранжевых нарукавниках. Нам предлагают коктейли – Юлия пьет апероль шприц, Сережа – белое вино. Я – немного красного. (Шучу: красное должен пить он.) Фотографирую Юлю и Сережу с детьми. Фотографирую их вместе с мамой. Димитриос (один из двух членов экипажа) фотографирует нас всех вместе. Все уже неплохо загорели. Когда идешь на яхте, жара переносится по-другому.

Мы сворачиваем в дику бухту среди скал. Бухта с изумрудной водой. В ней несколько других яхт – здесь неглубоко, чистая вода просвечивается солнцем, на дне видны тени от яхт, и кажется, что они не лежат на воде, а парят над чем-то бесплотным.

Вечером нам предлагают бургеры с овощами, которые жарят здесь же, на гриле. Что за день.

Посматриваю на маму – она светится. Смеется, болтает с Юлей, возится с детьми. Видеть ее такой для меня – отрада. Получается, всё не зря. Довольно дерьмовая первая половина жизни компенсируется нормальной, полнокровной второй.

Розе яхта нравится. Капитан ей знаком, что неудивительно. Капитан и помощник – профессионалы. Не расспрашивают и не лезут не в свое дело. Мы идем на запад – до Элафониси – и назад. Фотографирую Розу на носу яхты: она дурачится, принимая позы а-ля модные журналы. Лучшее фото: сидит в белом парео, солнечных очках и шляпе с большими полями, вытянув свои изумительные длинные загорелые ноги. Пусть для нее эта прогулка будет вишенкой на торте.

Света заказала билет.

Вечером захожу на «виллу» прогуляться с мамой. Привычный маршрут – до края деревни на востоке, поворачиваем назад, и тут она говорит, что немного устала.

Слышать это от нее удивительно.

Говорит, всё хорошо.

Может быть, слишком много впечатлений. Или уже возраст.

На прощанье Роза говорит:

– Call me whenever you want.

Перед расставанием я проявляю максимальную щедрость.

Интересно, как ее в самом деле зовут. Нгуен-что-нибудь-там. Вот и Джо – он ведь тоже не совсем Джо. (Ему я тоже перевел – в благодарность.) Проходя недалеко от его таверны, слышу, как он кому-то рассказывает:

– You know, I only have one problem.

– What is it? – спрашивают.

– Greek people!!

Слышится смех.

В Москве немного душно и сухо. По прилету сразу погружаюсь в работу. Большую часть времени занимает проект с Азией – с ним всерьез и надолго. Ибрагимовский проект в Казахстане реализуется нормально – если бы не было досадных стычек с местными рабочими. При строительстве складов двое разбились – упали с лесов, страховки не было. (Почему это допустили? Я не знаю деталей – занимаюсь сугубо финансовыми вопросами.) Ну, остальные давай бастовать. Типа, вы нам и зарплату не поднимаете, да еще и это... Там на беду оказался один из европейских инвесторов, итальянец. Он вышел с ними общаться – решил урезонить. Он стал им говорить: «Многие хотят феррари, но чтобы его купить, сначала надо долго и усердно работать». Что-то такое, плюс минус. Так они там так взъерепенились, что чуть его не убили. Ибрагимов мне это рассказал со смесью смеха и негодования: мол, это ж надо быть настолько ебанутым, чтобы говорить людям подобные вещи... Никакого понимания реальности и психологии.

Интересно, я увижу в этом месяце дождь?

Юля пишет (они еще в Греции): мама немного хворает. – Температура? – Нет, общая слабость. Сегодня осталась полежать вместо прогулки. – Последи за ней. – Юлька отвечает: конечно, «не боись», всё под контролем.

Возвращаются они двадцать пятого.

В конце августа, пока у меня еще есть время, по страховке отправляю маму на обследование в «Мед Би». Там всегда по высшему разряду. У них уникальное оборудование. Отдельная палата с ванной. Через неделю ее не выпускают – говорят, надо дообследовать. В итоге говорят, что нашли одну опухоль – небольшую, – повода для беспокойства нет. На то, нужна ли операция, говорят – нет, не нужна. Достаточно неинвазивной терапии.

Говорят, если обследовать любого пожилого человека тщательно, обязательно что-нибудь найдут.

Мама вполне бодрa и крепка духом. В клинике она проводит больше времени в соцсетях, каждый день поздравляет френдов с юбилеями советских достижений и побед, – всякие там курчатовы, чкаловы и прочие белки-стрелки. Заваливает открытками «Мы помним, мы гордимся».

В сентябре летим с одним из акционеров на Филиппины – знакомиться с местными регуляторами, налаживать контакты, присматриваться. Всего на пять дней. Он моложе меня, хватка бешеная. Мы прилетели на его бизнес-джете. Многие думают, что банкир – это такой мистер-твистер. Они не понимают, что я лишь топ-менеджер. Управленец. Между мной и любым из наших основных акционеров дистанция примерно такая же, как между мной и Ибрагимовым.

(Маму пока не выписали, диагнозы и рекомендации – невнятные. Но – лечат, относятся внимательно. Каждый день выхожу с ней на связь.)

Сначала Манила, потом Кабанатуан. Пять дней меня, если честно, немного выбивают. Чувствуется джетлаг, да и климат тут, несмотря на облачность и дожди, кажется непереносимо жарким. Дело во влажности, хотя к сентябрю она, по идее, должна спадать.

Дожди – да не те.

Главное, есть прогресс.

Вернуться с пустыми руками было бы не самым приятным началом.

В Москве наконец прохлада. Галя позвала на выставку. Давно не виделись.

– Как съездила в Ментону?

– Нормально.
– Как Даша?
– Хорошо.
– Как ее ресторан?
– Дела идут.
– Она с Эрвье?
– Да, по-прежнему. Но вечно балансирует на грани. Раз от раза изобретает какие-то проблемы. Ну, ты знаешь Дашу.

Мы ходим по выставочному центру в Пушкинском переулке.

Посреди затемненного зала стоит колонна с надписью «СВОБОДА», по стенам подвешенные к потолку кресла-качалки, их крепления подсвечены зигзагообразными светодиодными гирляндами а-ля молнии, уходящими в потолок, на который спроецирован открытый космос, – медленно вращаются галактики, туманности и прочее. В некоторых креслах сидят посетители.

В программке написано: «INSIDE OUT – иммерсивная мультидисциплинарная выставка, которая будоражит сознание, погружает зрителя в пространство экзистенциальных озарений и помогает найти путь к себе».

– Ты, – говорю, – организовала?

– Да. Видишь: мы решили экспозицию в формате мультижанрового диалога между автором и зрителем. Вернее, не я, а автор, – Миа Литвак. Но и я поучаствовала.

В другом зале – кромешная тьма, только звучит пульсирующий бит и на одной стене сияет серебристая проекция оленя.

«Выставка дарит совершенно новый эмоциональный опыт и дает ключ к пониманию себя».

В третьем – весь потолок в сталактитах из увядших полевых цветов и ковыля.

Когда выходим на свет, Галя говорит:

– Ты загорел.

– Да, – говорю, – на Крите.

Она в больших золотых очках, объемной разноцветной арафатке, накрученной на плечах поверх длинного платья в пол, массивных африканских браслетах на запястьях. Крупная, симпатичная. Это ее мир – она здесь как рыба в воде. Пока пьем кофе в кафешке, смотрю на нее с теплотой: как это из таких маленьких мальчиков и девочек вырастало такое удивительное и разное. Хочется, чтоб у нее всё было хорошо.

Галя много увлеченно рассказывает о своем искусстве: об аудиоинсталляциях, видеоарте, виртуальной и дополненной реальности, каллиграфии и арома-композициях, об инсайтах, эмерджентности и неотделимости от единого целостного бытия, а мне вдруг хочется рассказать о Лёле (ее похоронили, пока я был в командировке, Галя ее, разумеется, не знала, – мы учились в разных вузах), о видео с неподвижной камеры наблюдения, о том, как пошли круги на воде, а потом прекратились, но не знаю, как привязать это к разговору. О маме тоже не говорю.

Кофе переросло в вино, вино в бехеровку. Распрощались мы только за полночь. Насколько я знаю, Галя никогда не ложится раньше трех.

В «Мед Би» что-то мутят. Хотят больше денег, понятно. Третья неделя – уже без страховки – долго и бесплодно. Мама, при всех ее разумности и спокойствии, говорит, что находиться в палате и гулять в коридорах и палисаднике осточертело. Да и эта неопределенность. Направлений не дают. О каком-то улучшении не говорят.

Она просит ее выписать – возвращается домой. Чувствует себя лучше.

По крайней мере на руках результаты обследований и назначения. С ними еду к Джанику.

Мама понимает, что надо лечиться.

По статистике, почти у всех пожилых людей рано или поздно находят рак. Особенно у долгожителей. В таких случаях обычно два сценария: либо берут свое общий износ организма и другие

естественные причины, либо успевает развиваться онкология. Чаще не успевает – большинство видов прогрессируют медленно.

Я знаю, есть случаи, когда с небольшой неопасной опухолью живут годами.

Ей, конечно, рано уходить. Исключено. Семьдесят один – не возраст. Впереди, дай бог, еще двадцать лет.

По-прежнему легкое недомогание и утомляемость.

Джаник говорит, изучая документы:

– Ты знаешь, я не онколог. Вот тут есть опухоль – в кишечнике. Я поговорю со своими. Скорее всего, надо оперировать.

– Насколько быстро она может развиваться?

– Обычно медленно. Тут надо смотреть...

– А кто по таким вещам лучший?

– Профессор Васильев. Я с ним лично не знаком.

Пытаюсь договориться о встрече с Васильевым. Пять раз созваниваюсь с его помощниками. Дважды по договоренности приезжаю в клинику, но он оказывается то в командировке, то на совещании.

С моей занятостью – это раздражает. Во-первых, я не абы кто. Во-вторых, мы вроде взрослые люди.

Вообще я привык, что в большинстве контор нашей страны 95 процентов – мудаки. За двадцать три года работы с кем только не имел дела. От сантехников до премьер-министра.

Кто бы из настоящих спецов ни заговорил со мной откровенно, по душам, – все «по секрету» сообщают про свою отрасль одно и то же: «Если бы ты знал, какой у нас пиздец».

Удивительно, как всё в целом еще работает.

Профессор Васильев, похоже, набивает цену. В последний раз я его шестерке говорю:

– Послушайте, скажите просто, сколько нужно денег.

Спустя два дня соизволили принять.

Васильев – надутый хер за шестьдесят. Долго говорит об отслеживании динамики. Перепутал имя мамы – дважды назвал ее Еленой Ивановной вместо Екатерины. Потом всё же признает: да, надо оперировать. Но надо и отслеживать динамику... В общем, «поставит в очередь».

Даю ему визитку и еще раз коротко, но четко объясняю, кто я. Называю пару имен.

Снаружи сухая осень, ржавые листья каштанов, солнечно, тепло и ветерок. От этого сразу спокойно, переключаюсь. Иду в сторону Абрикосовского – туда, где припарковался. Во дворах небольших дореволюционных особняков – бывших корпусов императорского университета – памятники Пирогову, Сеченову...

Когда, особо не думая, небыстро идешь по улице, хорошо. Наступаю на высохшие листья, чтобы услышать хруст.

После Крита я совсем не потолстел. По-прежнему слежу за собой. Почти не пью. Если что-то и налью вечером – то максимум бокал. Сейчас из-за проработки азиатской экспансии почти монашеский образ жизни. Из офиса приезжаю иногда в 10. Выходные провожу за компьютером. Нерабочих дней как бы нет. Мои два удовольствия – спортзал – разогнать кровь – и полежать. Да: просто лечь на диван в полной тишине пустой квартиры и кайфовать от этого. Кондиционер иногда на шестнадцать, иногда на девятнадцать.

Пропускаю несколько дней рождения – включая Юлькин и Сережин. Об обоих мама напоминает постфактум. Пишу запоздалые поздравления в WhatsApp.

Раз в неделю общаюсь с домработницей – вот и вся моя светская жизнь. Ее зовут Марина, ей за пятьдесят, она из Белгородской области. Переехали с мужем и детьми в Москву лет пятнадцать назад, но по-прежнему больше там, в провинции, чем здесь, в столице. Там родственники, друзья. Удивилась, когда узнала от меня, что Ботанический сад граничит с ВДНХ. То есть любопытно:

годами она ездит на метро к разным клиентам, как-то устраивает жизнь, быт, приобрела дачу за Домодедово, а город всё равно едва знает, – только отдельные маршруты.

Иногда привозит мне домашние соленья – консервированные помидоры, огурцы, – в сезон – свежую зелень с огорода. Я беру, благодарю, но потом, как правило, выбрасываю. Иногда забываю, и какой-нибудь латук подгнивает в холодильнике. Она не очень понимает, кто я и чем занимаюсь, хотя несколько раз спрашивала и я объяснял настолько доходчиво, насколько мог.

Сегодня видела, как я парковался, – спросила, как называется моя машина.

– Лэндровер. Модель Дефендер.

– У-у, – уважительно кивает. – А что это значит?

– Что значит? – улыбаюсь. – Defender – по-английски «защитник».

Кивает.

Что бы ни говорили, есть люди, созданные для определенных целей. Она создана, чтобы мыть и подметать. Причем сама говорит об этом искренне. Она рассказывала много историй из своей жизни, и везде это проходит красной нитью. Например, когда она вышла замуж, свекровь на первых порах внимательно за ней следила – хорошая ли та хозяйка, чистоплотная ли, и т.п. Кончилось тем, что в дни, когда Марина устраивала в доме генеральную уборку, свекровь куда-нибудь исчезала, – у нее не было сил смотреть, как невестка тщательно протирает каждую тарелку в серванте и до стерильного состояния надраивает каждый угол, отодвигая диваны и шкафы.

– Родные уже смирились, – говорит Марина. – А я от этого кайфую.

Заплатил за санацию дачи, не заезжая туда (обслуживает одна и та же проверенная компания), после на уборку отправил туда Марину. Вот где для нее раздолье.

Мама никогда не соглашалась на домработницу. «Чтобы у меня кто-то мыл? Что ты! Это ты занятый, а я в своей квартире порядок навожу сама».

Готовить, разумеется, сейчас времени нет – хотя иногда я люблю что-нибудь состряпать. В этом есть что-то от искусства и одновременно успокаивающее. Сейчас – одни доставки. Только по утрам сам делаю тосты и кофе в кофемашине. Иногда прошу Свету заказать в офис суши или бургер.

Утром посмотрел на себя в зеркало – у меня под глазами черные круги, как у енота. Но я-то не енот. Освобождаю ближайшее воскресенье, надо хотя бы один день отдохнуть.

План нехитрый: выспаться, утром к маме, потом – куда-нибудь за МКАД на природу, пока тепло.

Приехал – мама встретила и легла на диван. А ведь еще утро. Так, ну это ненормально.

Спрашиваю, ничего ли не болит. – Нет, только сегодня небольшая слабость. Предложила мне пообедать, я выпил кофе с пирожком. В магазины ходишь? Гулять? – Конечно, и в магазины, и гулять с подружками. – Что-нибудь заказать на дом? – Нет, всё есть. – Как аппетит? – Хороший. – Мам, не бойся, всё будет хорошо. Она удивленно и немного насмешливо поднимает голову: – П-ф, так я и не боюсь ничего.

Если завтра Васильев не назовет конкретную дату операции – найду лучшие варианты. На нем свет клином не сошелся.

После мамы не хочу никуда ехать, прогуливаюсь по Стрешневскому парку, а потом возвращаюсь к себе и ложусь спать.

Васильев предсказуемо переносит на январь, я кладу трубку. Еще один конченный мурак.

Встречаюсь с хирургом-онкологом в больнице РЖД (Джаник посоветовал) – без мамы – не хочу ее лишний раз нервировать, – вдруг и здесь будет бесполезно. Врач оказывается молодым и внимательным, с нормальным лицом. Изучив документы, говорит:

– Нужно оперировать как можно скорее.

– Где?

– У нас или не возьмутся за такое, или сделают хуже. Германия... Возможно, Израиль...

– Может быть, Куба? – говорю с непонятным себе юморком.

– Куба, – отвечает он, – была бы лучшим вариантом. Лечение при том же качестве обошлось бы в три-четыре раза дешевле. Но ваша мама может не выдержать перелета.

Я благодарен ему за то, что он говорит прямо, ничего не скрывая и не боясь напугать.

Рекомендует профильную клинику в Марбурге. Через него созваниваю с немцами, в течение нескольких дней согласовываю даты, и вот мы летим 2 ноября.

В этот раз при посадке под нами не сияющее море, а ублюдский Франкфурт. Нет города приятнее.

Из аэропорта мы едем на специально заказанном минивэне до Марбурга. То есть в сторону той Германии, которую обычно рисуют в путеводителях: тихая речная долина, старинные маленькие городки с замками на холме и лабиринтами узких булыжных улиц. Ну, может быть, они не все там такие, но Марбург точно.

– Ты как? – спрашиваю.

– Я, – говорит, – замечательно!

Подобные ее ответы – это никогда не ирония (тем более не горькая ирония). Произнесенные с кокетливой улыбкой, они всегда имеют буквальное значение – спокойствие, уверенность и радость жизни.

Когда мы добираемся до города, в нижней его части лежит туман и видно только ландграфский замок и шпили церкви и дома оберштадта. Мы проезжаем мимо. Клиника за городом, среди пожелтевших лугов на холмах, обсаженная тузовыми деревьями.

Проблема в том, что московские обследования, анализы и прочее, совсем недавние, их не устраивают. Согласно правилам, всё надо проходить заново. Это несколько лишних дней и очень много денег. Плюс – перед операцией нужна диета. Только в первый день ее отпускают со мной в город. Вечером выглянуло солнце, мама любит фахверковыми домами у реки и выше, на рыночной площади и в старом городе. Разумеется, поднимаемся к замку и смотрим на всю эту лепоту сверху. Ужинаем тут же, в Buckingsgarten. На террасе холодно, мы садимся в зале. Заказали оленину и по бокалу вина, – не самый диетический вариант, но – когда ей еще разрешат так поест. Оленина изумительная.

Нам предоставляют переводчика, хотя с врачами общаемся на английском. Есть двое русскоговорящих. Ее прикрепляют к одному из них. Лев Юрьевич Заславский. Приятный лысоватый еврей лет пятидесяти пяти, в его речи слышен украинский и одновременно немецкий акцент.

Я думаю, остаться на всё время у меня не получится. Через три дня подтверждают – опухоль в кишечнике, надо оперировать.

Мне надо лететь в Москву. Я никак не могу остаться. Юлька тоже крайне занята – зашивается на работе.

Мама уверена, что справится сама. Палата большая, чистая и светлая, с видом на тутовые деревья, холмистые луга и леса за ними. И потом, тут прекрасный внимательный персонал. (Еще б им не быть внимательными.)

Я ее целую и обнимаю.

Очень надеюсь, что всё пройдет хорошо и что ее продержат не дольше, чем две недели.

Подписаны первые документы с регуляторами на Филиппинах. Планируются первые сделки по приобретению лицензий. Проект идет. Маму прооперировали – это длилось три часа – она позвонила еще в полудурманенном состоянии и в эйфории говорила, что ее спасли и какие здесь все чудесные. «Мои спасители». Это явная экзальтация вследствие наркоза и обезболивающих.

В следующие три дня, насколько я понимаю, ей непросто, хотя она старается скрыть. Но я слышу.

Потом выясняется: у нее не работает кишечник. – Что делать? – Нужна консультация гастроэнтеролога. – Так позвоните гастроэнтерологу. – У нас их нет. – В смысле? – Это узкоспециализированная клиника. – Вы проводите операции на кишечнике, и у вас нет гастроэнтерологов? – У

нас узкая специализация. Мы занимаемся конкретными видами опухолей... – Что предлагаете делать? – Формально ее надо переводить в больницу, где есть гастроэнтерологи. (Прикидываю: еще миллиона полтора.) – А неформально? – Купите ей семена льна. – Что? – Семена льна. Отвар из них поможет. – Где купить? – В любой аптеке, они стоят пять копеек. – А вы сами не можете этого сделать? – Не имею права...

Спасибо и на том. Всё-таки товарищ с нашей школой. Осталось у него в голове нормальное понимание вещей. (При первой встрече рассказывал, что в восьмидесятые окончил Днепропетровский мединститут.)

Короче, лечу я с тщательно упакованными пакетиками семян льна – молясь, чтобы в Шереметьево или Франкфурте их не отобрали из-за каких-нибудь нелепых ограничений по ввозу/вывозу.

Пока прохожу контроль, вспоминаю историю: один приятель слетал как-то на отдых в Турцию – туда и обратно – а позже дома нашел в своем рюкзаке пакет с травой. Он забыл ее выложить перед отлетом – осталась с какого-то пикника...

Отвар семян льна действует, мама идет на поправку. Она выглядит хорошо, только похудела (при том, что никогда не была толстой).

– Что скажете? – спрашиваю Льва Юрьевича. – Это всё стоило того?

– Конечно, – говорит он. – Конечно. Вы всё правильно сделали. Подарили ей еще два-три месяца жизни.

– Два-три?

Мы сидим в его кабинете.

– В наилучшем случае – четыре.

Не скажу, что к этому я был готов.

– Должно быть какое-то решение.

– Этот вид рака – он как бы нигде и одновременно везде. Вы понимаете, удаленная опухоль – не единственная и, конечно, не первичный очаг.

– Возможны еще операции?

– Теоретически да, но это будет лишнее... м-м. Центры паллиативной помощи обеспечивают комфортный уход. Я вижу, вы хороший сын, делаете всё, что можете...

– Никаких средств лечения? Вообще ничего нет?

– Почему, есть.

Я его чуть не ударил.

– Ну?

Я привычно держу себя в руках.

– Это очень проблематично... Есть новый препарат... Вернее, он на рынке уже двенадцать лет...

– Что проблематично?

– Он входит в топ-пять самых дорогих в мире.

– Ага.

– Я понимаю, вы состоятельный человек.

Пожимаю плечом.

– О каких порядках мы говорим?

– Примерно сорок тысяч долларов за курс. Я знаю, вы любящий сын, и для успокоения совести, возможно, захотите...

Он что, ебанат?

– Где его приобрести?

– Да буквально за углом.

А, это он шутит.

– В Касселе. У них там лаборатории. Там же можно и приобрести.

– Что за препарат?

– Лаборатории «Сантья». Препарат «Элинап». Я вам сейчас всё напишу. Схему приема и так далее.

«Элинап» – я где-то слышал или читал.

– Так, а в чем проблема? Он не всегда эффективен? Побочки?

– Нет. Он очень эффективен. Я сейчас всё напишу. Негативные эффекты – минимальные.

Проблема – только цена.

Он печатает, я гуглю. 38000 трехнедельный курс.

– Сколько нужно курсов?

– В том-то и дело. Пожизненно. Пока пациент принимает – ремиссия. Вернее, развитие метастазов фактически приостанавливается. После отмены – снова набирает обороты.

– Приобретать можно только напрямую у них?

– Нет, он зарегистрирован в России. Лучше купить сейчас здесь, сколько возможно. Понятно, вам не дадут вывезти чемодан. Но несколько доз... Курсов на пять-шесть... А потом – можно приобрести в Москве. Я дам координаты клиник.

Я вспомнил, где слышал про «Элинап», – от Ибрагимова.

– Я вижу, вы любящий сын, – говорит Заславский, допечатывая. – Вы хороший человек. Я помолюсь о вас обоих в кугелькирхе.

«Кугелькирхе»? Нахожу силы на юморок:

– Неужели вы протестант?

– Нет, – говорит он, вздыхая, – нет. Но я стараюсь молиться всегда и везде – с католиками, православными, лютеранами. Мой дедушка – раввин – говорил, что молиться надо везде, везде иметь друзей и молиться при любой возможности... Только, ради бога, не говорите никому, что мы здесь давали вашей маме отвар льна... Иначе мне... – он проводит рукой по шее.

Захожу в палату. Мама читает. Улыбается, откладывает книгу на одеяло.

И я улыбаюсь.

– Что читаешь?

– Биографию Нижинского. Безумно интересно.

Я смутно помню, кто это.

– Я многого не знала. Он же любил мужчин. Его покровителями были князь Львов, Дягилев...

Дягилев... Вспомнил: танцовщик. Вот и на обложке – черно-белый, в дурацком костюме и вычурной позе.

– Однажды на пароходе в Аргентине он познакомился с венгерской аристократкой Ромолой Пульской.

Мгновенно забываю имя.

– Сойдя на берег, они тут же поженились. Представляешь, какая любовь... Такой силы... Дягилев, когда узнал, конечно, страшно взревновал. И лишил его покровительства. Выгнал из труппы и тем самым лишил средств к существованию. Но они прожили с Ромолой несколько счастливых лет. У них родились дети. А потом у него проявилась наследственная болезнь – сошел с ума. Представляешь? Бедный... Но Ромола его не оставила – до самого конца была рядом.

– Чем не сериал для «России 1», – говорю.

– Между прочим, среди них есть весьма ничего...

На следующий день маму выписывают – она тепло прощается с врачами и медсестрами, – мы едем в окрестности Касселя. (Взял напрокат мерседес серии GL.)

Она ходит без труда.

Еще одно футуристическое многомодульное строение в лугах, обсаженное краснолиственными кленами. Летом тут, наверное, почти как на старой заставке Windows.

Нас встречает чувак, видео с которым я после разговора с Заславским только и смотрел на ютьюбе и сайте Santia Labs.

Лысый, с каймой черных волос, в очочках, позитивный.

– Welcome. Ich heiße Klaus Mendel.

Он повторяет то, что я уже и так знаю – от потомка раввина и из их рекламных видео.

Умалчивает только о том, что склады забиты этим препаратом, о том, что, как сам говорил на камеру, компания «готова обеспечить всех заинтересованных пациентов нужным количеством препарата», который, «без преувеличения, стал волшебной пулей современной онкотерапии». (По-английски так говорят – magic bullet.) Ну и о цене при маме – ни слова.

Всё правильно – нет никакой нужды продавать миллион ламборгини в год. Достаточно двух – двух с половиной тысяч.

Мы в Москве. Уже последняя неделя декабря – мама чувствует себя превосходно.

После месяца работы (надо сказать, успешной) хорошо попасть на день рождения Гали.

Ну а что – как можно без радостей. Не смеяться. Как можно не жить. Юлька всё знает и полностью меня поддерживает.

Она тоже здесь – с детьми и Сережей. Здесь и Галины родители, и ее двоюродный брат с семьей, и его родители, и пара ее богемных подруг, и моя мама в красивом платье, и несколько одноклассников с семьями, столы сдвинуты, официанты снуют, бегают дети... Подсвеченное окно с видом на засыпанный снегом Филевский парк...

Я выпиваю и хохмлю. Подкальваю то маму, то Сережу. Маму – насчет ее историй об императрице Александре Федоровне и о жене Хрущева, – они имеют привкус женских романов. На Сережу переключаюсь по поводу советской аристократии, в связи с той же женой Хруща и тем, как они, в отличие от народа, жили... Серый реагирует нормально – ржет. С рюмкой я обхожу сдвинутые столы и чокаюсь и обнимаюсь то с тем, то с другим. Образовалось несколько группок, где текут свои разговоры. Все под хмельком, но никто не пьян, – у нас так не принято. Из одной группки народ перетекает в другую. Сдвигают стулья. Беседуют, смеются. Все чувствуют себя раскованно, по-свойски. Нас немного глушит музыка. Мама говорит теплый тост о Гале и нашем дружном классе – замолкнув, народ внимательно слушает. В ресторане симпатичный интерьер. Приносят десятый набор закусок. Юлька пьет зеленый коктейль из прозрачного бокала в форме птички. Подарок от нас – дизайнерские серьги, цепочка и что-то еще. (Разумеется, выбирала Юлька.) Галя говорит проникновенный тост обо мне как о друге. Потом о всех здесь собравшихся, «таких чудесных особенных людях».

Такси вызывает Света.

Новый год празднуется более приглушенно. Мы на даче. Я вырвался на четыре дня. (Ибрагимов надумал перебраться с семьей в Швейцарию – поэтому в январе нам надо закрыть несколько дел до его отлета.) Маму я привез сам. Не хотел, чтобы она, как раньше, добиралась своим ходом.

Густо падает снег. Двор завалило. Мы с Сережей позже почистим дорожки и площадку около ворот и возле парковки. Снежные шапки лежат на крышах бани и беседки, на елях и соснах в лесу за забором.

Я выгребу всё до копейки – это понятно.

Что будет дальше – посмотрим. Сориентируемся по ситуации.

Я всё посчитал, еще когда Заславский произнес слова «сорок тысяч долларов». Примерно год. Что дальше – непонятно. Дженириков можно не ждать.

Можно взять в банке кредит. У меня же безупречная кредитная история. Шучу.

Мы принесли небольшую елку из леса – ради детей, и потом – так принято. Вчера мама, Юлия и Коля ее украшали. Еще развесили гирлянды по стенам и над окнами в кухне и гостиной. Подарки, разумеется. (Мне подарили черный худи с Веселым Роджером. На Новый год я прошу либо домашние штаны, либо свитера с приколом.)

Сегодня 1-е. Ночью, уже после соседских салютов, когда все легли, я выходил в туалет и с балкона второго этажа видел, как мама стоит внизу, у окна гостиной, и смотрит на слабо освещенный двор и лес за ним. Было часа четыре.

Я, наверное, должен с ней разговаривать в новом ключе. А я не знаю, как. Она ведет себя практически так же, как до болезни. Поводов к изменению общения не дает. О Германии рассказывает будто о туристической поездке, максимум – о том, каким заботливым был персонал и с кем из медсестер подружилась. Я не вижу ни вербального, ни невербального запроса на что-то дополнительное. И я разговариваю, как до болезни. Может, я недостаточно чуткий? Я не могу быть более нежным, чем я есть. Я мог бы попробовать, но не уверен, что это будет выглядеть естественно и сделает ей лучше. У меня есть чувство, что она всё видит и знает. В ней ее обычная мощь, но не стали, а моря. Море – оно ж куда сильнее.

Сказать ей: «Мам, я тебя люблю»?

Так я это постоянно говорю.

Этого недостаточно?

Я гуглю о раке. Блоги врачей. Блоги пациентов. Форумы. «Фонд борьбы с...». Психологические и благотворительные сайты.

Истории счастливого исцеления. Истории долгой жизни с периодами ремиссии и рецидивами. Истории переживания смерти родных. Пишут интересное и полезное о том, что такое, собственно, рак. О депрессиях и их преодолении. Много ерунды и болтовни. Кто-то обвиняет врачей в невнимательности и непрофессионализме. Кто-то благодарит. Рассуждают о нахождении мира внутри. О вечной жизни.

Некто Edwin, американец, пишет: My father killed himself so he wouldn't bankrupt the family trying to treat his cancer. He was my best friend. We did a Go Fund Me for his medical care and ended up using it for his funeral.

Много православных каналов. На одном из них фото – радуга над маковым полем и поверх неба надпись славянской вязью: «Не надо спасать весь мир. Помогите тому, кто встретился тебе на пути. Будь для него ближним».

Пойдем-ка мы гулять.

Снаружи изумительно свежий воздух. Закутанные, в высоких ботинках, мы сначала расчищаем двор – вдвоем с Сережей, – а потом всей компанией отправляемся гулять по поселку.

Если что-то и изменилось в нашем совместном общении, так это то, что при мне Сережа перестал цитировать Маркса и теоретизировать о построении бесклассового общества. Вообще он всё больше молчит.

Веду под руку маму и Юльку. Сережа катит саночки с маленьким Ваней. Коля подбегает к обочине, зачерпывает снег, лепит снежки и бросает то в нас, то в отца.

Дача словно из зимней сказки.

Как там, в новой рекламе нашего банка: «Это всё не зря».

3-го я в Москве. 6-го Юлия привозит маму, чтобы она не пропустила рождественскую службу в своем храме – у нее там подружки и любимый батюшка. 15-го Ибрагимов приезжает ко мне домой.

Конечно, он человек из другого мира. Живет в другом формате. Специальные сотрудники продумывают движение его кортежа (из двух машин, но всё же). Рассчитывают, где забрать, где высадить по минутам.

Говорит, что сотрудничество продолжаем, но дистанционно (впрочем, оно и так на 95% было дистанционным). Продолжаем, несмотря ни на что (тут я его не понял). Может быть, намекает на какие-то личные трудности, о которых мне не надо знать.

Жмем руки.

– Как ваша мама? – спрашиваю.

– Всё хорошо, слава Богу.

– Сколько она на «Элинапе»?

– Уже четыре года.
Я желаю ему счастливого пути.

Январь проходит в нормальном рабочем темпе. Мама регулярно сдает анализы и обследуется у Егора, того молодого врача, который направил нас в Германию. Визиты и анализы, разумеется, платные, но это, естественно, ничто по сравнению с основными тратами на препарат. Никакого ухудшения – magic bullet действительно работает.

Привезенных доз пока достаточно, плюс я заранее договорился о приобретении новых через «Мед Би» (единственная из двух клиник, где препарат можно купить у нас). Правда, накрутка – три тысячи за каждый курс. Дешевле будет за ними летать, но для этого не всегда найдется время. Можно будет просить Юлю, Сережу или кого-то еще из своих, кто будет проездом во Франкфурте.

Из нелепых новостей: после очередной стрельбы в школе где-то на Урале – Гладилина, у которой дочка учится в пафосной гимназии на Ордынке, подбила родителей из класса скинуться на новые американские бронированные парты со специальными запирающимися отсеками, в которых дети смогут прятаться в случае опасности. Почти год назад на встрече выпускников мы обсуждали три кольца охраны возле их школы, и вот теперь – новые меры. Похоже на паранюю.

Ну а 24 февраля началось то, что началось. СВО, или как ее назвать. Этот ужас. Да, мы все знали о Донбассе, о бесконечных стычках, но всё это казалось таким мелким, тлеющим... Много где в мире годами текут похожие вялые пограничные конфликты без особых обострений. Долго сыпались взаимные угрозы и упреки – но они казались пиар-ходами, игрой... А тут – ракетные удары, авиация, десанты, армии... В первые часы я не мог поверить своим глазам и ушам. С пяти утра примерно не отрываясь следил за новостями. Пошли звонки и сообщения...

Одной из первых позвонила Даша из Ментоны. Она истерически кричала в трубку:

– Он ебанулся, ебанулся!!

Признаться, тогда она своим истерическим криком взбесила меня больше, чем Гарант своим наполеоновским наскоком.

В первые недели была надежда, что горячая фаза как-то быстро завершится, – та или другая сторона получит достаточно люлей, верхушка испугается, пойдет на попятную... А потом завертелось: наступление, отступление, контрнаступление, разрушенные города, «снарядный голод», чеченцы, «Вагнер», нацисты, наемники, помощь НАТО, видео перерезаемых глоток и гранат, сбрасываемых с квадрокоптеров на сжавшихся в окопах человечков...

Возможно, у него была надежда, что первые удары Киев так шокируют, что все там обосрут, устроят новый Майдан и посадят на трон какого-нибудь Медведчука. Не прокатило.

Соловьев в эфире заговорил цитатами из Сталина – сам я, конечно, не смотрел, мама пересылала, она ж «за наших», – какой же всё это лютый пиздец.

Накрылось много проектов сотрудничества. Начался уход бизнесов. Отток денег со счетов. Возникла угроза отключения SWIFT, не говоря о прочих санкциях. Два топ-акционера внезапно погибли с разницей в день: один случайно выпил средство для чистки ванн, другой совершил самоубийство, выстрелив три раза себе в висок.

Но я-то чист, не подкапываюсь. Я всегда работал прозрачно и честно, – можно проверить. И потом – во многом я лишь воплощаю поставленные передо мной задачи...

Господи, на дворе двадцать первый век: неужели нельзя было договориться, найти компромиссы, перекупить, предложить больше?

Нам отрезали тот мир, в который мы чуть было не вошли. Теперь черт его знает, как ездить в Европу, как налаживать контакты, как попасть при необходимости в Штаты... И совершенно неизвестно, что будет со страной через пять лет. Короче, назад, к очкам.

Главное – доступ к «Элинапу» не перекрыт. Его завозят в Москву. Пока есть и возможность летать за ним, хотя теперь стало сложнее. В конце концов, у меня куча знакомых там, тот же Ибрагимов...

Когда первоначальная паника улеглась, оказалось, всё не так плохо: люди ходят по улицам и гуляют в парках, заняты своими делами, машины ездят, рестораны открыты, магазины работают, в них полно товаров.

Вместо «Макдоналдс» теперь «Вкусно – и точка».

(Появилась шутка: вместо «Тиндер» будет «В койку – и точка».)

Важно, что азиатский проект не свернут, – Азия не спешит присоединяться к санкциям, – изначально для экспансии был выбран правильный вектор.

Что касается фронтовых новостей и всего с этим связанного, – тут, я для себя понял, нужна информационная гигиена. Если следить за каждым событием и ста версиями его интерпретации, включаться в массовый злобно-переможный психоз, можно самому поехать. Поэтому я только отслеживаю то, что непосредственно нужно по работе.

Встал вопрос: где проводить лето? Ради экономии можно никуда не летать. Но разве это нормально? Сколько лет у нее еще будет?.. Сколько я смогу выкручиваться? Разве будет лучше, если последние месяцы мы проведем, условно говоря, на хлебе и воде?

Думаю, она сама бы этого не хотела.

Отказ куда-то ехать создаст дополнительный драматизм, – его и без того хватает... Она начнет задавать вопросы... Зачем ее расстраивать. Не знаю, знает ли она о цене. С одной стороны, Юльке и Сереже строжайше запретил это обсуждать. Сам ни разу ничего не сказал, а она ни разу не спросила. С другой стороны, мама свободно пользуется интернетом, давно могла проверить. Может, не обратила внимания. Может, витает в облаках и гуглит больше о нижинских и александрах федоровнах, чем о болезни. Может, боится и намеренно себя отвлекает и суеверно старается ни о чем таком не читать... А может, знает цену, но не очень представляет себе, что это значит...

Какие у нас варианты? – Европа почти вся закрыта. Ну, Турция. Ну, всякие Мальдивы и Сейшелы.

Сочи сейчас дороже Турции, только без нормального сервиса... Крым – опасно...

Турция была бы дешевле... Мама, знаю, недолюбливает турок. Стамбул называет Константинополем...

Говорю ей в гостях:

– Полетели на Мальдивы?

– Ой. Когда?

– В августе.

– Ты всегда даришь такие подарки... Я буду очень рада.

Она растрогана.

– Только лететь долго...

– Ерунда. Я чувствую себя прекрасно. Твой препарат очень помог. Всё благодаря тебе. Знаешь – любая мать может только мечтать о таком сыне.

Я ее обнимаю, и мы стоим так минуты две в ее кухне, рядом с двухдверчатым холодильником, увешанным, как медалями, разноцветными магнитиками.

Островки из белого песка едва выступают над голубым океаном. Между некоторыми можно пройти по колено в воде. На них возвышаются рощи из пальм, отдельные бунгало и ресторанчики. Кое-где между островками и бунгало проложены деревянные мостики.

У нас свой остров. У нас комфортабельный дом, бассейн, бар, в котором коктейли, вино и закуски нам подает лучезарный индус.

Завтраки, обеды и ужины официанты привозят на лодке.

Здесь мягкое солнце и много ветра и совсем не так жарко, как в Средиземноморье или Таиланде.

Мы обходим остров по полоске пляжа – он неправильной формы, с тремя выступающими мысами. На стороне противоположной нашему жилищу пальмы имеют дикий запущенный вид.

Здесь есть один поваленный ствол у воды, на который мы иногда садимся, чтобы молчать и смотреть в открытый океан.

Вряд ли это рай в православном смысле, но в светском это вполне себе он.

Находиться здесь безумно дорого.

Когда стоишь на диком пляже на краю земли, на кромке суши и воды, остро ощущаешь эту границу миров... В нахождении на берегу всегда есть эта промежуточность...

Странные мысли.

Мама сухая, красивая, загорелая, с короткими седыми волосами и васильковыми глазами, в легком платье и босиком.

Мы почти всё время босиком. Мы немного потерялись в днях. Смотрю на свои ступни на белом песке. Вода набегаёт, обтекает голени, ступни погружаются чуть глубже. Отступая, вода уносит струйки песка.

Я думаю о Х-ском кладбище. Бывают же бесплатные места, – это когда нет возможности брать ни погост, ни расположение участка, – и семейные, приобретаемые через специальный аукцион. У нас такое. Там мамина мама и тетя Лера. Дело было недешевое, но я когда-то выкупил.

Я вижу перед собой этот участок с несколькими невысокими деревьями.

Рядом по ослепительному песку ползет маленький краб.

– Смотри, крабик.

Его сносит в воду.

Мама говорит:

– Отсюда вода кажется изумрудной.

Киваю.

– Знаешь, есть стихи:

изумрудное море не знает о том,
кто вдоль берега бродит,
говорящий планктон, человек ли, фантом,
что в нем зреет и бродит,
что молчит и растёт на воздушных дрожжах
предвечернего света,
в наклоненьях каких и каких падежах,
для какого факета,
он пустынный прохожий при взгляде извне,
в городском непросторе,
но у ног его блещет, как в сбывшемся сне,
изумленное море.

Я ничего не понял, но чуть не заплакал.

К счастью, подошел Биджой.

– Anything for the lady? Anything for you, sir?

– No.

– Это поэт Сергей Шестаков. А я ведь знаю много стихотворений...

Последнее звучит как-то растерянно.

– Пойдем, – беру ее под руку. – Пойдем в бар, под навес. Почитаешь мне еще. Или будем слушать истории Биджоя о том, как он работал на круизном лайнере.

Мы идем по песку.

– Спросим у него, будут ли вечером на соседних островах фейерверки.

– Пообещай мне, – она сжимает мою руку, – что ты ни в коем случае не продашь ни дачу, ни квартиру и не влезешь в долги.

Я киваю, глядя перед собой.

– Ну сам подумай: это будут ненужные фокусы. И потом ты всегда должен думать о Юле и ее детях. Им надо где-то проводить каникулы, выбираться на свежий воздух...

Я киваю.

– И вообще ты за них отвечаешь.

Ночами над океаном восходит огромная белая луна.

Я ложусь спать, только когда удостоверюсь, что мама спит.

Заглянул в календарь – впереди у нас еще шесть ночей.

Последние полгода мы ежедневно сталкивались со сложностями в трансграничном движении капитала. Прыжки валютных курсов, попадание компаний в санкционные списки, пристальное внимание иностранных банков к деньгам, полученным из РФ, – всё это негативно влияло на скорость и суть финансовых отношений с зарубежными партнерами. Основной проблемой стали «зависшие» средства. Возврат происходил месяцами.

Да и сейчас никто не даст стопроцентной гарантии, что деньги до поставщика дойдут, а не затеряются на несколько недель или даже месяцев, как это было в конце весны и начале лета. Многие банки-корреспонденты больше не работают с российскими финансовыми организациями, даже с теми, что не под санкциями.

При этом сложнее стало работать и с дружественными юрисдикциями. Например, сроки открытия счетов в Гонконге сильно увеличились – банки требуют дополнительных сведений о клиенте, процедура KYC затягивается...

Мы перестали работать со SWIFT, с февраля по июль были ограничения по переводу валютных платежей. В результате решением стала релокация, – всё больше предпринимателей регистрируют компании в странах СНГ.

В Киргизии или Армении, например, можно открыть бизнес и продолжить расчеты с иностранными контрагентами. Кроме того, для многих это возможность масштабироваться, прощупать новые рынки сбыта.

Местами ситуация стабилизировалась. В логистике первый шок прошел. Хотя кризис, конечно, продолжается. Об этом говорят и увеличенные сроки доставки товаров из Китая мультимодальными перевозками, и глубина бронирования по авиаперевозкам, – до двух недель вместо двух-трех дней...

Акционеры мною довольны.

В личной беседе с одним из них я обрисовал ситуацию с мамой, – мне без разговоров выписали премию в два с половиной миллиона. В долларах это как раз еще один трехнедельный курс.

Наценка в «Мед Би» увеличилась до пяти тысяч.

По идее, после прекращения приема какое-то время сохраняется эффект.

В октябре-ноябре полечу в Германию.

Объявили частичную мобилизацию. Народ перепугался. Кто-то сразу свалил. Звонит Петя (Траян):

– Я лично знаю военного прокурора области...

Звонит Дима (по-прежнему проректор в «Содружестве»):

– Если что, можно поступить к нам в аспирантуру...

У меня должна быть бронь. Не могут же они похватать топов и бросить в окопы. Они же понимают, что тогда у них не останется нормальных управленческих кадров.

Я был уверен, что Дима и Петя свалят, но они остались и увлеченно рассказывают о перспективах работы в области военной медицины.

Спустя месяц банк подтверждает бронь.

Домработница Марина, пересказывая то, что слышала в новостях и от знакомых об очередях беглецов в Грузию и Казахстан, искренне так недоумевает:

– Если все уедут, кто же нас будет защищать?

Я говорю:

– Царь-батюшка. Он останется.

Народ, конечно, похватали. У нас из отдела призвали водителя. Абсурдно и глупо, что загре-мел Игорь, мой многолетний парикмахер. Пятидесятилетний чувак с артритом и ожирением...

Я кидаю клич среди одноклассников и сокурсников насчет лечения.

Приходят приличные суммы от всех. От всех!

От Джаника, Гладилиной, Даши из Франции.

От Пети и Димы.

Ляшковский из Нью-Джерси перевел 10000. Галя – три.

Когда мы встретились с ней, она рассказывает историю о Даше и Эрвье (у нее с Дашей что-то вроде соперничества, хотя непонятно, в чем: живут далеко и очень разной жизнью).

Опасаясь за детей от первого брака и бывшую жену, Эрвье еще в начале спецоперации вывез их из Киева. И – поселил на его с Дашей вилле под Ментоней. (Эрвье не француз. Фамилия – Айрапетян.) А когда объявили частичную мобилизацию, Даша «выписала» из Москвы бывшего мужа (который, по слухам, много пьет и не работает; он отец ее ребенка). Теперь живут одной большой компанией в доме на Лазурном берегу.

– Я не понимаю, – говорит Галя, – что у людей в головах чисто психологически. Ну вот как можно на такое пойти. Дело ж тут явно не в спасении близких. Вернее, не столько в нем.

– Конечно, нет, – говорю.

– Тогда почему они это сделали? Какие-то подспудные сексуальные мотивы?

– Можно и так назвать, – говорю. – Они сделали это, потому что могли.

Немного меняю тему:

– Ты же поддерживаешь СВО?

– Ну, не так черно-бело... Вначале было сильное неприятие – такое, чисто инстинктивное, знаешь, как неприятие любого насилия. А сейчас, когда всё зашло очень далеко, уже не важно, кто изначально прав, кто виноват, да и можно ли говорить в таких категориях об общественных процессах... Сейчас, скажем так, я не могу желать проигрыша своей стране, потому что на кону существование... Ну и ребят на фронте очень-очень жалко.

– А твоя выставочная тусовка? Как вам работается? Они ж там поголовно либералы?

– Во-первых, не поголовно. Это преувеличение. Потом, среди либов на самом деле большинство – сомневающиеся, но они боятся говорить то, что думают и что не принято в их тусе. А меньшинство, их лидеры мнений, медийно делают вид, что они большинство. Поэтому им так важно всё время слушать Латынину или Арестовича, это как бы наркоз для мозга. ...Видишь – смешно получается: в СССР политинформацию получали от комиссаров. А они – из «независимых» медиа.

– У меня мама каждый день в VK пишет посты о русском мире и освобождении Новороссии.

– Твоя мама чудо. Хоть бы поправилась. Мы все ее очень любим.

– Спасибо, – говорю. – Хоть бы.

Я, разумеется, не рассказывал Гале и другим конкретно – об «Элинапе», его стоимости и необходимости постоянно его принимать. Сообщил просто, что рак.

Не знаю, с чем это связано, – с маминой ситуацией, СВО, огромным страхом за нее или мелким быть призванным, или всем вместе, – но я совсем перестал пить. Веду исключительно здоровый образ жизни. Спорту уделяю столько времени, сколько могу. Питаюсь правильно. Принимаю «Мезим», «Гептрал», «Отрио», витамины группы В.

Стали заметны траты, раньше казавшиеся пустяками, – например налог на машину, который, как обычно, заплатил в сентябре.

В родном селе домработницы (на границе Белгородской области) разбомбили школу. Убирая, она то и дело отвлекается и говорит:

– Нет, ну вы представляете...

В начале ноября отправляюсь в Кассель, чтобы купить дозы на *оставшееся* плюс премию плюс суммы от друзей. Странно понимать, что у меня больше *ничего нет*. Ну, зарплата, – но что-бы что-то накопить, уйдут годы...

Лечу экономом.

Опять безупречно постриженные красные клены по периметру футуристических корпусов, – куда ж они денутся.

Улыбающийся Klaus Mendel. Поблескивают очки:

– Мы очень рады видеть вас снова.

Где-то тут должны быть склады с «Элинапом».

Я спрашиваю, возможны ли скидки.

– Бывают отдельные виды медицинской страховки...

– Медицинской страховки.

– Угу.

– Или?

– Некоторые наши клиенты запрашивают помощь через благотворительные фонды.

– Благотворительные фонды.

Я представляю себе, как медленно и сильно избиваю его до тех пор, пока его немецкая рожа не превращается в месиво, пока не начинает выплевывать свои зубы.

Он ерзает и смотрит через жалюзи в коридор, где ходят другие сотрудники Santia Labs.

В течение всего визита я предельно корректен.

Итак, у нас есть еще три курса – это до середины января. Что ж: по совету друга Клауса связываюсь с фондами.

Большинство требуют заполнения онлайн-анкет.

«Опишите вашу проблему».

«Место работы», «должность», «средний размер оклада».

Несколько раз мне отказывают, где-то – просто не отвечают.

Даже если б не отказали, поставили б в очередь, – а это много месяцев, – да и выделили б что-то мизерное, ни туда ни сюда.

В один приезжаю лично, заполняя заявку на месте. Со мною беседует сотрудница – тетенька в застиранном рыжем свитере. Вдруг что-то вспомнив, говорит:

– Я же видела вас в телевизоре.

– Не может быть.

– Точно! На «РБК». Вы давали интервью. Что-то о динамичном развитии.

Я спокойно рву анкету и ухожу.

Никогда не испытывал диплопии. (Это двоение в глазах.) Я работал за компьютером, как обычно, допоздна, и тут буквы поплыли. Я посмотрел на часы на стене и понял, что с трудом различаю цифры. Тогда я прикрыл правый глаз – левым всё увидел хорошо.

Просыпаюсь утром – глаз не открывается. Веко как бы нависло. Приподнимаю его рукой – всё то же: картинка плывет, предметы наезжают друг на друга.

Звоню Свете и говорю, что приболел. Впервые за десять лет – ничего, простят.

Под глазом пульсирует боль. Я лежу на диване в затемненной комнате. Кондиционер на шестнадцати, хотя на улице минус.

Так продолжается сутки. А потом ничего – проходит.

Мне кажется, прошлый Новый год был вчера.

Да что там: кажется, многое было вчера.

Мне захотелось вести дневник. Черт-те что.

Никогда в жизни этого не делал.

Причем не на будущее, там, не ради воспоминаний, не для потомков. Я и потомков не планирую (весь ход событий показывает: не зря).

Скорее всего позже я его уничтожу.

Утром или вечером возникает потребность записать (в тетрадь, по старинке), что в голову придет. Получаются не очень связанные предложения о всякой ерунде.

Я как бы пытаюсь что-то проговорить или что-то объяснить, но выходит в основном о том, во сколько я проснулся, какая на улице температура и что я увидел за окном.

Странно смотреть на себя со стороны, наблюдать, как сижу и пишу: «За окном идет снег». Или: «За окном снег». Или: «Снег за окном».

Да: полно снега.

И на даче тоже. Маленький Ваня уже ходит. Даже не ходит, а бегает вовсю. За ним глаз да глаз. Коля, старший, трогательно за братом присматривает.

Сережа отличный отец. Отличный, но бестолковый. Я всегда буду Юлке помогать.

Елка, подарки, разговоры, – как ни в чем не бывало.

Юлька раз втихаря беззвучно поплакала. Думала, никто не видит, – стояла у плиты, отвернувшись от возможных взглядов, – хотя взглядов не было: мама с Сережей и детьми пошли гулять. Только я подглядел с балкона второго этажа.

Я тихо вернулся в свою комнату и позже ничего ей не сказал.

«За окном снег. Мама с Колей, Ваней и Сережей пошли гулять. Юля плакала».

Ок.

Продам часы Rado.

Продам часы Maurice Lacroix.

Лэндровер.

Квартиру.

Ее квартиру.

Дачу.

Дальше что?

15-го января с мамой мы гуляем в центре. Всего минус пять, тротуары расчищены, ветра нет. Я припарковался в начале Малой Никитской – идем по направлению к бульварам.

Мне чаще звонят знакомые и друзья.

Мама часто ходит на концерты в консерваторию – и вот я иду с ней.

Мне-то, собственно, другого и не надо.

Разве мне когда-то другое было надо?

Я позвонил Ибрагимову.

Он перебивает после первых слов:

– Больше ничего не говори. Я знаю, что такое рак и что значит мать.

Дальше – в течение трех дней переводит сто тысяч долларов. (Еще на два с половиной курса.)

Мы сидим с мамой в кафе напротив консерватории – она рассказывает о Карле Орфе. «Кармина Бурана». – Я всегда думал, что «Кармина». – На латыни это значит «Песни Бойерна». – А я думал, это какое-то женское имя. Вроде Брунгильды. Мама смеется: нет, то у Вагнера.

Перед нами дымящиеся чашки кофе и по куску морковного торта.

В кафе чисто, аккуратно, красиво, светло. Приветливые официанты.

Мама хорошо одета, тщательно покрашена и с обновленной прической. Спину держит ровно – не то, что я.

Она рассказывает: считать Орфа нацистом только потому, что он был популярен в Рейхе, глупо, – так же, как обвинять Вагнера в фашизме лишь за то, что он нравился Адольфу.

– Что ты, – говорю. – «Вагнер» вообще – антифашисты...

Доели торт.

Изучив себя в зеркальце, мама говорит:

– Я готова.

Во Франции мы как-то раз смотрели, как готовят фирменный омлет в средневековом кафе на Мон-Сен-Мишель. А как-то раз были на кулинарном мастер-классе Жака Пепена. (Вспомнилось.) Звоню ей, чтобы сказать: – А помнишь, как мы там были? Она, конечно, помнит: подробно описывает переулки Сен-Мишель, будто мы ходим ими снова, и с кем мы познакомились на мастер-классе (я уже не помню). Я этого и хотел: прижать трубку к уху и послушать.

Оказывается, деньги от Ибрагимова – из его фонда. Но фонд-то – помощи детям с лейкемией. Получается, он взял оттуда и как бы у кого-то отобрал. Там же очередь, как везде... Я не уверен, что попросил бы, если б знал.

Немного любопытного об истории препарата «Элинап». Ее держат втайне. Вернее, говорящие головы Santia Labs повествуют о кропотливых целенаправленных исследованиях десятков мега-умов, которые годами бились над тем, как бы спасти жизни людей. Никакой конкретики.

Но уволившийся профессор-левак (теперь преподает в Гарварде) растрюбил о том, что открытие, как и обнаружение свойств, было случайностью и никаких особых затрат на разработку компания не понесла. Затеял этукакую кампанию по разоблачению. Они с ним судятся, пока безрезультатно.

То же в левацких блогах (удивительно, как их много в Европе и Америке): эксперты (хотя уровень проверить трудно) утверждают: компоненты и изготовление несопоставимы с ценой. В Santia утверждают обратное.

Дело идет уже к настоящей весне. Мы успешно вышли на рынок Филиппин. На очереди (вернее, параллельно) Мьянма и Таиланд. Это долгий процесс. Москва светлеет от солнца и бурно оттаивает. В апреле Егор говорит, что пора подумать об уходе для мамы. Нет, сиделкой не обойтись. Сравниваю его рекомендации с рекомендациями Джаника и еще нескольких знакомых врачей-онкологов, к которым ее водил. В результате выбираю хоспис на Рублевке.

Мама не против. Ей теперь тяжело справляться по дому. Последний прием «Элинапа» был в марте.

Я занимаюсь спортом, не пью и выгляжу как атлет.

Мама это отмечает.

Я сильно погрузился в медицинскую тематику. Знаю, что в какой-то момент ей может стать больно, но это поправимо. Полностью купируется с помощью мощных эффективных анальгетиков.

Странно: у меня никого не было с Крита.

Вдруг об этом подумал, потому что, вспоминая Крит, мама перепутала Малию с Ханией.

Она теперь в огромной двухкомнатной палате с окнами в пол, выходящими в густой сосновый бор. По сути, как загородная гостиница с полным пансионом. Есть там рядом, у главного входа, и большой сад для прогулок, – в нем ухоженные клумбы, фонтанчики и скамейки. Там постоянно возьмется садовники – мама говорит, скоро появятся цветы.

Кровать оборудована миллионом приспособлений.

У нее на тумбочке икона из критского монастыря.

Соснового леса несколько гектаров, они обнесены забором и оборудованы дорожками. Чудно пахнет смолой. Есть свой спуск к реке.

Некоторых пациентов заботливые медсестры возят в креслах.

Я ставлю лайки под каждым ее постом в VK, под всеми ее патриотическими открытками и фотографиями героев, под всеми пожеланиями победы русским солдатам над западными бесами.

...По поводу «никого не было» – видимо, какой-то блок. Да и особо об этом не думал. Не возникало потребности. Вернее, всё это время на самообслуживании. Вообще, то, что мужчина якобы не может долго обходиться без женщин, большое преувеличение.

На хоспис мне на первых порах пришлось взять у Юли и Сережи. (С ближайшей зарплаты начну возвращать.)

Я заехал к ним, Юля на очередной свой стройке, Коля в школе, а Сережа сидит с Ваней.

Сережа передает мне шестьсот тысяч рублей. Ему неловко, он, видно, очень боится сказать или сделать что-то не так.

– Вот, мы сняли... Это в общем-то всё...

Я беру с ободряющей улыбкой.

– Извините, – говорю, – что оставляю вас летом без отдыха.

– Ты дурак, что ли, – произносит это, как могут только близкие люди. – Садись, посиди с нами чуть-чуть.

Я сажусь на диван в гостиной, совмещенной с кухней. Ваня пару минут кокетливо мне улыбается. Теперь то катает машинки по полу, то бегаёт туда-сюда. В телевизоре мультики.

Сережа в рваной домашней футболке и шортах – моет посуду, время от времени отвлекаясь и хватая Ваню, когда тот лезет на подоконник или в шкаф.

– Ай-ай-ай! Хулиганство! Тебе заварить чаю?

– Завари, пожалуйста.

– Угу, только домою. О, смотри, – оборачивается и показывает на экран, – сейчас будут танцевать змееныш, крокодильчик и утконос. Смотри-смотри! Кайф. Это же чистая наркомания...

Ваня приносит мне пластмассовый паровозик.

– Что я должен сделать?

– Поставь на пол и нажми на трубу.

Ставлю, нажимаю. Паровоз уезжает под звуки торжественного марша. Ваня в восторге за ним следит. Когда паровоз доезжает до стены, Ваня берет его и снова приносит мне. Так повторяем раз двадцать.

Сережа дает мне чашку.

– Знаешь, что меня удивляет? – говорю. – Ведь что такое, по сути, рак? Это рост. Но ведь вся жизнь об этом. Только тут получается бесконечный рост в конечной системе.

Сережа изумленно говорит:

– А ведь точно – рак...

Когда я не понимаю его, я не переспрашиваю и не уточняю. Дальше мы просто сидим и пьем чай под «Синий трактор».

Чтобы что-то сказать, спрашиваю об СВО. Он с готовностью высказывается:

– Многие известные левые сейчас заняли идиотскую позицию: мол, империалистические хищники дерутся за рынки и ресурсы, простой народ же с обеих сторон страдает, – поэтому мы не делаем ничего. Дескать, «оба хуже». Либо мировая революция и всех свергаем, – а это, очевидно, нереально, – либо ничего. Это и есть троцкизм. То есть они просто сохраняют для себя статус-кво и продолжают комфортно жить на донаты от ютьюбовских видео, в которых праведно обличают всех.

– А ты что-то делаешь?

– Волонтёрю. Собираю аптечки для солдат.

– И какая у тебя в итоге позиция?

Сережа улыбается:

– Почему каждое девятое мая эти, – он двигает головой вбок, – закрывают мавзолей ширмой, но не сносят?.. Понимаешь, тридцать лет контрреволюции ломали СССР, но не доломали. Он по-прежнему здесь – в инфраструктуре, системе недоразорванных связей, в самой логике способа производства... Он есть еще в большинстве республик, кроме Прибалтики... В «Государстве и революции» Ленин писал, что одного захвата власти недостаточно, – надо, мол, выстраивать новую государственную машину на месте буржуазной. Что и было сделано. Но ведь этот тезис работает и в обратную сторону. Власть-то они в 91-м захватили, а сумели ли разрушить прежнюю машину? – Полностью – нет. Капитализм у нас так до конца всё и не пропитал, он только на верхушке. Отсюда такая шизофрения в головах Гаранта и компании. Они хотят и прибыли сохранить, и чтобы были виллы в Монако, и противостоять империализму, чтобы он не поглощал остатки Союза, для чего надо идти на безвозвратные траты, вкладываться в высокотехнологические производства и т.д. Тот же переход к госкорпорациям показателен... То есть нынешнее руководство – и есть та картонная ширма, а постсоциализм – временный дрейф. Надеюсь... Если страна устоит и удержит суверенитет, удержит и перспективу возвращения в свое, м-м, будущее-прошлое, что ли...

– Понятно, – медленно киваю.

На экране конвульсивно пляшут мультяшные пчелы.

Кстати, вот и девятое мая. Весь день пришлось работать, и к маме не заехал. Но, разумеется, в VK поставил лайк под ее открыткой-поздравлением с Победой. Еду 10-го – мама в хорошем настроении. Мы гуляем в парке. Мама ходит медленно. Останавливается у клумб и изучает цветы. Я всматриваюсь: она не выглядит подавленной. Она исхудала, ослабла, но не видно страха и тоски.

Говорит, познакомилась с бывшей балериной Большого театра, – одной из пациенток. Та танцевала с самой Максимовой. Теперь они подружки. Я рад, что есть с кем общаться. Кроме того, тут постоянно работают психологи. Проводят сеансы музыкальной терапии. Празднуют дни рождения. Устраивают трогательные вечеринки для тех, кто в состоянии принять участие.

Здесь невероятная атмосфера – вообще кажется, что люди здесь крепче, чем те, что за забором.

11-го я тоже свободен, поэтому приехал. Приехали и Юлия с Сережей, привезли Колю и Ваню. Мама их всё время гладит и покрывает поцелуями.

Солнечно. Мама говорит, среди сосен хорошо гулять и в дождь. А когда ливень – приятно посмотреть из больших окон на лес.

Мы дошли до реки. Река здесь течет спокойно и гладко. Коля взял камешек и бросил в воду. Пошли круги.

Мама просит Юлию привозить племянников чаще. Они в сотый раз обнялись. На парковке всплакнул Сережа. Он не смог скрыть, но отвернулся и быстро привел себя в порядок. Дети не заметили.

В банке распространили негласную рекомендацию – сотрудникам за границей не отдыхать. Я усмехнулся. 2-го июня мама говорит, что хочет съездить к тете Лере.

Я не могу – нет, не в плане времени. Прошу Юльку – она стальная. Свзила.

Как же мне ее благодарить.

Мама созвонилась с бабушкой, и на следующий день он приехал к ней.

Врачи в один голос говорят, что то, что она так долго продержалась, невероятно.

В маме светятся ее васильковые глаза.

К 15-му мама всё больше лежит. Она регулярно пишет в VK что-то духоподъемное и радостное. Пишет, у Времьевского выступа наши герои доблестно сражаются против немецких танков, как в 42-м. В комментариях ее поддерживают подружки.

Сидя рядом с ней, я держу ее за руку.

17-го она пишет: «Мне лучше. Съела на обед несколько ложек каши и половину огурца».

Эпилог

Галя, которая недавно организовывала похороны деда, сказала, чтобы, когда я поеду договариваться на кладбище, оделся как можно проще и не показывался на машине. А также не надевал часы. Там всем заправляет одно любопытное землячество с юга.

Их бригадир тоже косит под простенького, – потертая куртка, старые джинсы, подъехал на «шестерке». А у самого маникюр.

Семьсот тысяч – чтобы выкопать яму!! Это не считая остального. Я сбил до трехсот.

Пришлось взять небольшой кредит – разумеется, отдам до конца года.

Мы успешно вышли на рынок Камбоджи, Лаоса, Таиланда.

– Ты знаешь, – недавно говорила мама, – что можно просто радоваться солнышку?

Я кивал.

– Конечно, знаешь. Я помню лето, когда тебе исполнилось пять, и ты по утрам обязательно выглядывал в окно и смотрел на деревья в палисаднике, и такой ты был каждый раз счастливый – просто от того, что видел солнце и деревья. Я тогда многому училась у тебя.

Ибрагимов говорит, что всё это, конечно, психологически тяжело, но надо продолжать работу, несмотря ни на что не следует стоять на месте. Есть новый проект.

Несостоявшийся пригожинский мятеж я из-за похорон почти не заметил. Мне не было до него дела.

Меня признали вторым самым эффективным банковским топ-менеджером в России.

Я вдруг думаю, не стать ли грузчиком в марокканском порту. Или ловцом черепах в Индонезии. Видел и тех и других. Странные мысли.

Звонит Наташа, зовет на юг.

В августе в парке возле дома знакомлюсь с симпатичной казашкой – зацепилась глазами, я игру поддержал. Она напомнила мне Розу. Сидя рядом за столиком в кафе, она смотрит на мою руку:

– Настоящие Rado.

Не может поверить своему счастью.

По полной кутнул.

Мамина квартира стоит закрытая. Рано туда пока ехать.

Я кое-что записываю (например, про грузчика и ловца черепах), но позже дневник, конечно, выброшу.

Недалеко от дома, возле храма, встретил Полину. Ее лицо чернее, чем ее одежда.

– Моего миленького убили на войне.

Подумал, она тронулась. Ее муж подорвался на mine в Чечне двадцать с лишним лет назад.

– Мой братик погиб на Донбассе. Он поехал туда добровольцем, защищать Русь Святую.

Я не стал кричать: «Какую еще Русь?!», просто ее обнял.

Через день тренировки. Я подкачался и теперь похож на супермена. С поправкой на возраст.

Каждый раз под надзором Энрике прорабатываю разные группы мышц.

Теперь меня стрижет другой парикмахер: Леша из Белоруссии. Мастер от Бога.

В воскресенье звонит двоюродный брат Вова, он подшофе. Говорит:

– Толечка... Давно не виделись...

Я сообщаю ему о маме.

– Какое горе, братишка...

– Слушай, а давай я заеду к тебе через час.

Вова еще почти трезвый. Совсем седой, с животом.

Он несколько обалдел от моего внешнего вида: наверное, я произвел на него примерно такое же впечатление, какое он производил на меня в 90-е.

Я ожидал увидеть квартиру алкаша. А увидел образцовый быт восьмидесятых. Похоже, Вова не менял тут ни мебель, ни занавески, ни проигрыватель, ни обои, ни ковер на стене. Всё старое, но чистое. На стене, среди прочих, его фотография 88 года – в форме и с автоматом: подтянутый выпускник военной академии приносит присягу родине.

Обнимает.

Проходим в кухню, наливает.

– Я до двух не пью. С этим строго. Ну а после – обязательно.

Коротко пересказываю, что было.

Он говорит:

– Помянем Екатерину Ивановну.

Я давно не пил, тем более водку. Но чуть-чуть пригубливаю.

Поначалу Вова держится. Отмечает мою физическую форму, спрашивает о Юльке. Через полчаса скатывается в прерывистый монолог:

– Охранником в «Меге» пока. Ну, там, разруливаю, то се. Ленка решила вернуться – я ей хер. Молодое мясо. На самом деле, есть дизайнер. Бутылку сделал. В Калуге запустим линию. Свою водочку. Только вчера мне снилась. На самом деле, я тебя обнимаю, братишка. Только про Калугу никому... Так вот я о ней тоскую, так мне ее не хватает, понимаешь? Каждый день!..

Бьет кулаком по стене.

За окном сваливается стеной ливень. Я отодвигаю занавеску.

– Всю жизнь чертежницей проработала, а в шестьдесят почки отказали. Я здесь ничего не трогаю, чтоб всё как при ней.

Я понял: это он говорит о своей маме. Пауза. Потом:

– Молодое мясо.

– Что?

– Молодое мясо. Поехали снимем.

А, вот что.

Потом плачет – жалко маму. Задремывает на стуле.

Я перетаскиваю его на диванчик. Сквозь сон бормочет:

– Хохлы... суки...

Немного погода выхожу и спускаюсь по лестнице и собираюсь было пойти на станцию пешком под дождем (я же немного выпил, машину придется оставить), но потом понимаю, что это глупо, – ливень стеной, – и вызываю такси.

Егор МОИСЕЕВ

Ме-ду-хур-мы
как на духу
умерли мы
с нет на слуху

Ломтик о мель
ложен плавник
тюлень – то язык
тень возымел

даже в молчании

Ледяного лепета не слышно,
не слышать прядания воды.
На зимовку замыкают клешни.
Пойми,

озера спинное декольте
рябь рубцует, позабыв о роли,
ряби отведённой в декабре.
Солнце обретает нечто овощное. Тем же боле

для того, кто смотрит из воды.
Для того, кто был когда-то звёздным,
а теперь запрятан в пузыри.
Пузыри – скорее свет, чем воздух.

Наши вышли наперекор,
покорили и воротились.
Вы же вышли на перекур,
потрындели и запылились.

Объясняет старшак перваку:
«Все мы бражники здесь, блудницы...» –
а на деле кукареку –
вот такие здесь ходят птицы.

Им по зернышку сыплют корм:
похвальба, сравнение, вниманье.
А хотелось бы наперекор
голышом искупаться в Немане.

И у каждого про себя:
«я такой же как вы пропащий»,
и ещё кое-что про себя:
«только более настоящий»

Дача

Небес голубела громада,
звучали признаний слова.
Но не одна трава помята.

Ох, если б только одна трава.

На краю небольшого посёлка
у нас домик для отдыха был.
Если есть у природы наколка,

это то, как растут грибы.

Сердце любили тревогой тревогать
по чесучим кустам голышом,
а над нами медвежий коготь
вис, хоть медведь не дошёл.
Лежали с завязанными глазами,
не в силах разогнуть колен,
что было даже не наказанием,

но лютой силой взамен.

...А если вытянуть из гортани
бабу, сидящую на
лопнувшем чемодане,
будет песня одна.

Про огни золотые Саратова
и лопнувший аэроплан,

как старость к ней подкрадывается,
она же – лицом в диван.

...А если вытащить из глотки
бабу с пыльным ковром,
пойдут куплеты-колодки
на то про то, что мы умрём.

Что звезды наши задохнутся,
как под одеялом,
и заледенеет дьявол,
не успевший запахнуться.

Песня спесивым будочником
не пустит нас на объект
нашей великой будущей
общей любви. Обьедок,

как мне кажется,
выкинет нам пососать
и спать уляжется,
тараща на нас глаза.

Солярный миг

1

...Всё куда как раньше:
дуга лука – полукруг, как Солнце
на стыке суток, а лук – оружие рассвета
цивилизаций. И, стало, быть, заката.

Горизонт – сплошная черта кочевнических
прищуров, брошенных
в искомую скоростную даль.

Золотая Орда закатывается
за внимание своих слуг.
Они были возвеличены
его милостью, и теперь
служат ему колыбелью, склепом,
линолеумом на люке
погреба в подземный мир.

2

В черных ящиках
краснокнижных птиц
находят всё больше
солнечной тревоги.

3

...А потом я ехал на холм,
где в подробностях виден закат:
то ли курица выльнет яйцо,
то ли внутренность ухнет из брюха,
то ль резинка на поршне шприца,
вакцину числа довтолола.

Вытесняет закон Архимеда
лихих комаров
из тьмы горизонта,
когда в неё
погружается
краснёхонький-краснёхонький пухляш.
Полуночники являются в наш мир –
ища отмщения.
На скрипливом велике
я уношу свою душу скорее с холма.

Обсосалась вишенка желания –
косточку не хочется плевать.
Остаётся, кроме шифрования,
шарик языком полировать.

Кто со мной в дорогу? Два товарища:
лошадь пржевальского и лев
лещенко. Идём искать пристанище,
ленту новостную посмотреть.

Накатила парочка смертельная:
снег да пепел – аж – не по себе,
погорела вишня запредельная,
захромала лошадь, лев запел:

«Как же хорошо нам на пожарище
ворковать по-эр и по англи,
преданные, стойкие товарищи,
морды обгорелые, в пыли».

ЕЛОВЫЙ РОБИНЗОН

Рассказ

...Сказав это, он застыл, глядя поверх надгробия – туда, где в молочном свете растворялись очертания зданий. Ночь, тихо подкравшись, стояла за нашими спинами сплошной чёрной стеной, а здесь, на самом краю кладбища, недалеко от ограды, за которой астенично светились фонари, перемигивались светофоры и время от времени погромыхивал поздний трамвай, возник театр светотени: клены плескали лакированными пятернями, вспыхивали и гасли в мокрой траве красные, желтые и зеленые блики, счастливо улыбающееся лицо на черной плите то скрывалось в темноте, то появлялось вновь, как будто участвуя в нашем разговоре, длившемся уже целую вечность.

– Я видел Бога...

Сказанное никоим образом не было связано с тем, о чем мы до этой минуты разговаривали. Он сказал это как будто не мне, не для меня. Просто произнёс эту фразу, и всё. Констатация факта. Или напоминание – себе самому?

Как бы то ни было, значения этим словам я не придал. Когда-то в прошлой жизни мои друзья – и тот, что сидел со мной рядом на скамейке, и тот, который улыбался нам с могильной плиты – любили эксперименты с подсознанием. Читали разные книги. Пробовали какие-то вещества. Делились со мной впечатлениями. Иногда это было интересно, но всем этим наркотическим озарениям я не особенно верил. Каких только картин не показывают в этом общедоступном кинотеатре... Одним словом, я приготовился выслушать очередную историю об опыте путешествия в глубины собственного «я». Однако продолжения не последовало. То ли мой собеседник забыл о сказанном, то ли не захотел договаривать. Он долго сидел, молча глядя перед собой. Потом достал новую сигарету, помял её в заскорузлых натруженных пальцах, щелкнул зажигалкой. Мы еще немного помолчали, и я спросил, как он пережил первую зиму...

А встретились мы случайно. Хотя уместно ли говорить о случайности, когда сам воздух, само пространство как будто готовили меня к этой встрече! Был бархатный сентябрьский полдень. Мы серьёзно опаздывали, но уж не знаю, что заставило меня пренебречь общественным транспортом, ума не приложу, какой человеколюбивый черт дернул меня поменять обычный маршрут, однако ноги сами понесли с Васильевского острова через Дворцовый мост, на отвыкшую от иностранцев Дворцовую площадь, где пахло свежими конскими яблоками и шатался в обществе двух

Александр Вергелис родился в Ленинграде в 1977 году. Публиковался как поэт, прозаик и критик в журналах «Аврора», «Волга», «Звезда», «Знамя», «Дружба народов», «Нева», «Новая Юность», «Новый берег», «Сибирские огни», «Слово/Word», «Урал» и других изданиях России и зарубежья. Лауреат премии журнала «Звезда» (2006, 2020), премии имени Беллы Ахмадулиной «Белла» (Верона, 2013), победитель конкурса имени Н.С. Гумилева (2017), премии «Молодой Петербург» (2023). Автор трех книг стихов. Живет в Санкт-Петербурге.

скупающих императриц ряженный переросток, изображавший Петра Первого. При нашем появлении вся троица бросилась к нам, но я велел моим девочкам не сбавлять темпа, и мы оторвались.

Оставив позади Певческий мост, почему-то покрытый слоем чернозёма, мы бежали дворами Капеллы. В первом дворе стояла толпа Пушкиных. Бакенбарды, цилиндры, фраки, жилеты, трости... Картину золотого века нарушали разве что смартфоны и возгласы на непонятном языке (определённо не на французском). Пушкины были, как полагается, смуглые и холеричные. Они что-то возбуждённо обсуждали, размахивали руками, смеялись, фотографировались.

Сердце мне, как говорится, защемило: я с тоской вспомнил Анатоля, умершего девятью годами ранее. Как всё-таки жаль, что нельзя отправить фотографию на тот свет! Вот бы потешился покойник! Пушкинская тема его занимала. Он от всего сердца любил Наше всё – впрочем, его интересовали не столько стихи А.С., сколько его бакенбарды.

– Кино, что ли, снимают? – поинтересовался я на бегу у одного из Пушкиных – самого маленького.

– Сынимают, – ответил Пушкин. У него был золотой зуб и сильный восточный акцент.

В следующем дворе нас встретила шеренга странных фигур. Человекоподобные объекты, грубо сваренные из железных обрезков, воздевали руки к небу. Я снова вспомнил Анатоля, в отличие от меня, знавшего толк в современном искусстве. И мысленно всё-таки отправил ему фото – не важно, что инсульт убил его ещё в эпоху кнопочных телефонов...

В третьем дворе ничего особенного не было – выющаяся растительность на стенах, маленькое кафе, скамейки. Уютно, мило, буржуазно. Но в четвертом, последнем, перед нами возник рослый бородач с собачкой, которая была меньше его ботинка. Весь вид его как бы говорил «нет» филистерской умиротворенности третьего двора. Мы посмотрели друг на друга и в одну и ту же секунду воскликнули: «Ба!»

Он заметно поздоровел – раздался в плечах и как будто даже стал на полголовы выше. Впрочем, возможно, дело было в широкой куртке цвета хаки и ботинках на толстой подошве, да ещё в кепке военного вида. Во всём этом дядя Фёдор был похож на какого-нибудь латиноамериканского повстанца. Не думаю, что он косил под Че Гевару, такая одежда просто удобна там, где он жил.

Вот уже седьмой год как он обитал где-то на Псковщине, на самом краю какой-то полузаброшенной деревни – можно сказать, в лесу. И носа оттуда не казал, даже в сетях с тех пор почти не появлялся. Как оказалось, в Питер дядя Фёдор приехал по делу: собирался переписать квартиру на достигшую совершеннолетия дочь. Всего дочерей было три. Квартир тоже три. Старшая получила своё ещё до его «дауншифтинга», как он это называл. Среднюю планировалось осчастливить завтра, и завтра же, не мешкая, уехать восвояси. Младшей только что исполнилось тринадцать, так что следующий, возможно, последний свой визит в родной город он планировал лет через пять. А пока – гулял с собачкой.

– Никто не хочет с ней гулять. А я – хочу, – сказал он в своей фирменной манере – чуть растягивая слова.

Мои девочки, присев на корточки, трепали крохотную бородатую болонку, забыв о музыкальной школе, куда мы так спешили.

– Повезло твоим дочкам с папашей, – сказал я, подумав о том, что моим по части жилплощади повезёт гораздо меньше.

Король Лир... Так мы с покойником Анатолем, у которого был сын, дразнили дядю Фёдора, когда у него родилась третья девочка. Уж не знаю, было ли в этой шутке что-то от пророчества,

но теперь король раздавал всё своё многометражное королевство в историческом центре Петербурга, оставляя за собой одну только древнюю избенку в лесу.

– Повезло... Да и мне спокойней. Отдарился на всю жизнь. Теперь не надо ничего придумывать на дни рождения, на Новый год...

Когда дядя Фёдор рассуждает в подобном роде, никогда не поймешь, серьёзно он говорит или шутит.

– А я как чувствовал, что тебя встречу. Вот только что дядю Анатоля вспоминал. Представляешь, тут в соседнем дворе...

Я хлопнул себя по лбу и схватил его за рукав.

– Черт побери, ты знаешь, какой сегодня день? Сегодня же день его рождения!

Встретиться мы условились на выходе из метро «Волковская» в семь – раньше я не мог. Дядя Фёдор приехал первым, сидел на парапете, курил, таращась в телефон. Я было потащил его в продуктовый, но водку и хлеб он уже взял. Оставалось купить цветы. Цветочного киоска на прежнем месте не оказалось. Я запаниковал – времени искать магазин не было, до сумерек оставалось не больше часа. Дядя Фёдор, как всегда, сохранял спокойствие. Вдоль мутной Волковки на газоне росла в изобилии сныть, белые зонтики которой он принялся срывать – молча, деловито, как на своем псковском огороде. Я присоединился, и вскоре у нас образовался довольно пышный букет. Не хуже каких-нибудь гвоздик.

Много раз бывавший на месте, где упокоился наш Анатолий, я тем не менее умудрился заплутать. Наверное, потому, что всегда приходил сюда не в день его рождения, а в день смерти – в полуголом ноябре, почти зимой. Теперь же листва заслоняла собой привычные ориентиры, и когда мы, наконец, нашли его могилу, оказалось, что она плотно укрыта со стороны дорожки разросшимися кустами и низкими ветвями клёнов. Образовалась своего рода беседка. Её хозяин приветливо смотрел на нас с чёрного камня, пока дядя Фёдор ввинчивал в сырой песок пластиковый стаканчик с водкой, на который был положен кусок ржаного.

Темнело быстро – как в лесу. В старых русских кладбищах с их обильной растительностью вообще есть что-то от лесов или, скорее, от запущенных парков – заметил я, когда поминальные формулы были произнесены, а бутылка опустела наполовину. Я вдруг вспомнил, как мы с Анатодем, еще студентами, забрели как-то в мае на Смоленское, и греясь на припёке, возле старинной могилы распили бутылку крепленого. Откуда-то слетелось множество щебетливых птах, они без умолку свистели в молодой листве над нашими головами, и ничего упительнее того кладбищенского пикника я в своей жизни не помню. Юность, беззаботность, мечты о будущем... Мир мёртвых, в который мы так легкомысленно вторглись со своим копеечным вином, со своими плавлеными сырками и сигаретами «Прима», с разговорами о девочках – этот мир находился под нашими ногами, но не осознавался нами как нечто реальное, как что-то, имеющее отношение к нам, двадцатилетним, бессмертным.

Теперь, в осенних сумерках я смотрел на каменную плиту, я думал об Анатоде, ставшем этой плитой, этими кустами и клёнами, этими сумерками, я думал о его жизни, так неожиданно оборвавшейся в роковые тридцать семь, и было мне его по-прежнему жаль, но острого ощущения потери, человеческой недостачи, когда то и дело мысленно обращаешься к умершему, как бы на долю секунды забывая о его непоправимом отсутствии, уже давно не было – его смерть стала частью моей жизни, его небытие – неустранимой приметой действительности. И только утренняя пробежка по дворам Капеллы, только вид ряженных в онегинских цилиндрах заставил меня

машинально хватиться давнишней пропажи, ощутить фантомную боль в области памяти, увидеть продолговатую дыру, зияющую в пространстве.

То же самое, думаю, чувствовал и дядя Фёдор. Не только память об Анатоле, но вся картина прежней городской жизни для него поблёкла, утратила четкость очертаний, однако наша встреча в четвёртом дворе Капеллы как будто включила свет в полутёмной комнате, и он снова увидел всё – и полузабытого меня, и себя, прежнего, как в зеркале – худого, безбородого, смешливого.

Водка развязала языки. Я приступил к расспросам. Да, он так и живет там, в своей деревне. Работает, что называется, дистанционно – благо электричество там еще есть и интернет худо-бедно ловится. Зарабатывает хорошо, но живет анахоретом – половину зарплаты отправляет бывшей жене, половину перечисляет на помощь каким-то беженцам. Деньги ему, в общем-то, не нужны. Он уже привык обходиться малым: соль, спички, интернет. Кормится огородом, лесом, рекой. Научился вялить рыбу, солить грибы и варить черничное варенье. Женщины? А что женщины... На самом деле можно и без них. Но кое-какие «тёти» там все-таки есть. Нет, совсем дикой его жизнь не назовешь. Вот, например, притащил откуда-то ванну, поставил в своей баньке, греется там зимой, отмокает. Зимой труднее всего – дом старый, щелястый, дров уходит уйма. Но ему нравится, возвращаться он не намерен.

Неужели его совсем не тянет в город? Неужели никакой ностальгии? А Нева, а Эрмитаж? Нет,нисколько. Никакой. И всё-таки, как приехал, сел в первый попавшийся трамвай и так и ехал до самого кольца, просто глядя в окно. Потом пересел на другой, потом на третий...

О «дауншифтинге» дядя Фёдор заговорил давно – лет пятнадцать назад, еще когда мы по пятницам собирались у него за картами. Оказывается, уже тогда с ним случилась та история, о которой он никому не рассказывал, и о которой поведает мне чуть позже, а пока мы говорим о книгах – книги там у него есть, часть своей городской библиотеки он перевёз в деревню. По-прежнему любит фантастику. Вот, недавно перечитывал «Жука в муравейнике». Отличная вещь... Я вспомнил его квартиру на Мойке, стены которой от пола до четырехметровых потолков сплошь состояли из книжных полок, по которым дядя Фёдор с обезьяньей ловкостью забирался, как по лестнице, и прыгивал вниз с нужной книгой в зубах. Большой он оригинал, всё-таки, наш дядя Фёдор.

– Я видел Бога...

Вдали чахло светились фонари. Светофоры мигали. Покойник жизнерадостно улыбался.

...А первая зима, наверное, самая трудная... Да, именно – самая трудная. Все силы уходит на то, чтобы согреться. И не сойти с ума. Выходишь из дома, смотришь – белая пустыня. Ослепнуть можно от этой белизны. И никого нет. Ну, потом полегче стало – привык. Человек ко всему может привыкнуть.

– Но никому не советую...

Пить? Пить там опасно. Соседа нашли утром на крыльце собственной избы. Окоченевшего. Приполз ночью пьяный в лютый мороз, не смог дверь открыть. Лицо ему лисы обглодали.

Я осторожно интересуюсь насчет прочих удовольствий. Моему воображению рисуется любовно обустроенный парничок за банькой, хлопоты трудолюбивого огородника... Но нет, с травкой и тому подобным баловством он давно покончил – еще в городе. Не интересно. Ну а грибы? Жить возле леса и ни разу не соблазниться? Помнится, дядя Фёдор заваривал когда-то «грибной чай» из сушеных поганок. Стоял потом весь вечер столбом, бормотал что-то невнятное. Нет, и этот вопрос в молоко: по грибы ходит, да не по те. Белых там много, подосиновиков. В этом году хорошо насущил. Значит, с веществами завязал? Так что ты там говорил насчет Бога?

Он будто не слышит. Но помолчав с минуту, начинает рассказывать – сначала медленно, как будто нехотя, но потом всё более оживляясь. Значит, дело было давно, можно сказать, в прошлой

жизни. Ездили с женой и дочками на Свирь, подальше от цивилизации. Однажды утром взяли удочки, сели в резиновую лодку. Далеко не отплывали, копошились в камышах у самого берега. Внезапно поднялся сильный ветер, лодку понесло. Отец семейства изо всех сил работал веслами – бесполезно. Вынесло их на середину реки, долго крутило, качало на волнах, а спустя примерно полчаса прибило к незнакомому берегу. Ветер стих так же внезапно, как и поднялся. Натерпевшиеся страху, усталые, рыболовы сошли на берег, огляделись. Вокруг был один сплошной лес, никаких признаков человеческого присутствия.

– И вдруг вижу – бараны...

– Бараны?

– Бараны. Но странные – у них рога такие... Большие. И такие... закрученные, – дядя Фёдор рисует указательными пальцами две размашистые спирали у висков. – Я и не знал, что такие бывают. Подошли к нам, стоят, смотрят. Штук семь. И глаза такие... умные. Мои испугались – сзади река, спереди эти рогатые. Я лодку к березке веревкой привязал, жену и девчонок в нее посадил – так безопаснее. Успокоил их, сидите, говорю, а я, мол, погляжу. Интересно мне стало. А бараны меня обступили, стоят, смотрят.

– А потом?

– А потом появился он...

– Кто – он?

– Еловый Робинзон. Так он себя назвал.

– Почему Робинзон, более или менее понятно. А почему еловый?

– Не знаю. В лесу потому что, наверное... Кругом сплошные ёлки. И дом у него еловый. Не дом даже, а шалаш – из веток, из лапника. Он меня пригласил посмотреть – тут же, недалеко от берега, на полянке. Много лет, говорит, тут живу. Мы пошли, и бараны с нами, как собачки – совсем ручные...

Рассказывая, дядя Фёдор как будто преобразился. Даже голос у него стал другим. Ну вот, подумал я, встретил городской житель на лоне девственной природы отшельника, да попросту бомжа лесного, и напала на него этакая блажь, пропёрло его, как говорится. Прорубило. Бывает... Но дядя Фёдор как будто расслышал шелест моих мыслей:

– На бомжа не похож. На вид обычный человек. Пожилой. Борода седая. Как был одет? Не помню. А глаза вот запомнил. Вы, говорит, баранов моих не бойтесь, они смирные. Стал меня расспрашивать, кто да откуда. Долго говорили... Я как будто из времени выпал. И из пространства, можно сказать, тоже. И хорошо так... Не объяснить... Вот мы с тобой сидим, выпили, кайфово нам. Но любые сравнения неуместны. Ни с кем никогда в жизни я так не разговаривал. Спрашивает, где, мол, живу, и тут же, не дождавшись ответа, подробно мне описывает мой дом на Мойке, набережную, соседей... И так хорошо на душе, легко так, уходить не хочется. Глаза у него такие, как бы это объяснить... Смотрю в них и чувствую, что сейчас заплачу – как в детстве.

Сколько помню дядю Фёдора, он всегда мог ошарашить неожиданной откровенностью, но никогда не был склонен к излияниям подобного рода. Житейский цинизм и боязнь сентиментальности были свойственны им обоим – и ему, и Анатолию. Поэтому, наверное, он ничего и не рассказывал. Или по другой – гораздо более серьёзной причине так долго держал это в себе, а потом внезапно всё бросил, уехал в глушь, и только сейчас, спустя столько лет...

– А живёт вот прямо в этом шалаше. В еловом доме. Как же вы зимой-то, говорю? А он – я с баранами зимую, бараны меня греют. А потом ласково так говорит – ну ладно, вы назад плывите, пора, мол, ветра больше не будет. Ну, мы и уплыли.

– Интересно... Так что же, ты думаешь, это был... Бог?

– Не знаю. Может, и нет. Но я что-то почувствовал... Понимаешь? Некое присутствие... Как это называется? Религиозное переживание? Откровение? Кто знает, как оно на самом деле даётся...

Блуждающее пятно света выхватило из сумерек улыбающееся лицо Анатоля. Эта фотография мне никогда не нравилась – на ней наш Анатоль выглядит как-то жлововато, тут он похож скорее на бандита, чем на того, кем он на самом деле был – эстетом, циником, запойным книгочеем. Я снова остро ощутил его отсутствие в своей жизни. Было бы здорово обсудить всё это втроём. Что бы он сказал о Еловом Робинзоне и его баранах? Промолчал бы, скептически пожевав пухлыми своими губами? Посмеялся бы?

Мне на секунду с ужасающей отчётливостью представилось то, что лежало под нашими ногами на двухметровой глубине, в страшном почерневшем ящике... Неужели это – единственная правда? А где же всё то, что наш исчезнувший друг выудил из своих книг? Где вся его эрудиция, где парадоксы, остроты, интеллектуальные импровизации? Где вся его ёрническая Пушкиниана? Где любовь к выпивке и романтическим приключениям? Где теперь обитает его глумливый смех? Где хранится его память о нас с дядей Фёдором, о наших достопамятных попойках, карточных сражениях? Неужели всё так просто кончается? Неужели всё завершается гнилым ящиком, прелыми листьями?

– В общем, не знаю, что это было, – помолчав, подытожил дядя Фёдор. – Но именно тогда я решил, что уеду. Навсегда.

Он снова закуривает и долго молчит, глядя в истекающую бледным светом даль. Что дальше? Он не знает. Но единственное, чего он хочет для себя в этой жизни – стать таким же, как Еловый Робинзон. Когда-нибудь оборвать последние связи с миром, завести баранов, которые будут греть его зимой.

Я не знаю, что ему на это сказать. Я оборачиваюсь. Я вижу ночь, стоящую за нашими спинами.

Маргарита ГОЛУБЕВА

снег и свечи
окна – синие квадраты
ни о чем не думай

ничего не обещают, ни труху зимних праздников,
ни шелуху их –
а только предъявляют себя –
огоньки, густая синева, утешение красотой
боль, разлитая по ничьим нервным окончаниям

не выбранное ни для чего
и вот чем я пытаюсь стать:
я теплый ток, который наполняет тело,
и мой взгляд никого не смутит,
ни во что не вмешается, не спросит, не свяжется.
прогревает, обволакивает, умягчает мышцы,
которую застал больной,
опечатывает,
идет дальше,
катится,
как огненное колесико.

12 ноября 2021

птицам лететь над парком – как дышать.
за несколько колен стая привыкает и чувствует, чем пахнут
неоновые огни, сырые и дымные ночные магистрали,
влажный проблеск дальнего света, непросыхающий асфальт.

а заморив червячка, засыпай, не сбавляя высоты –
где-то здесь начинается: мысли в слова,
казалось мне радужным, и вот черное, и не успела выйти отсюда раньше,
бывают же такие дураки. когда же оно кончится
и чем, и что будет дальше? да не потускнеют,

Маргарита Голубева родилась и живет в Москве. Училась на филологическом факультете МГУ и историко-филологическом факультете РГГУ. Публиковалась в журнале «Волга» (2012, 2014, 2015, 2019), на портале Textura, в журнале «Вопросы литературы».

чьи имена кричит, когда летает во сне
над всеми своими домами, где не горят окна.
пусть печаль будет длиться вечно,
интересно было узнать заранее.
это ветер, это рассвет, но будем спать до обеда,
который некому приготовить, что за обед –
брось, от этого мы свободны.

28 октября 2021

кто-то склоняется и говорит:
– ружье «октава» стреляет единственный раз за вечность,
у тебя больше нет патронов и попыток,
что ты здесь лежишь?
тебе хочется еще чего-то?
да, шансы были высокие,
я был почти уверен, что у тебя получится,
но очень редко кто попадает;
кстати, твой друг, вот у него получилось.
попадают редко и мало,
жалко, конечно, в каждом случае,
но что поделать.
пора вставать, давай,
что ты лежишь, прижимая к себе ружье?
а я только и отвечаю – «еще пять минут»,
прижимаясь щекой к дулу.

9 сентября 2021

больше мне никуда не надо не так ли
нет ли вечных каникул и белой ночи
и для дочери Евы – невырастающего младенца

смотрит он защищенно
сквозь ее прозрачный
живот на этот
мир вверх ногами

«мать вод, ела ли ты
землю этого мира
в который меня приводишь

когда ты откусишь
гнилое яблоко смерти

я следом, а значит позже
когда ты попробуешь
красную воду и черную жижу»

так и стучим как в стекло
как будто там что-то есть
нас обещали насытить истиной
и мы плодим новые рты
мы сами новые рты

как же так, Иисусе,
как же так

вот видящий затыкает дырку собой
и делает вид
что можно на него положиться
и продолжаться
небытия нет, расходимся по делам

но в надире и основании
не камень – мягкий человек

не надо надеяться
может быть, отчаяние
спроецируется на противоположный полюс
и смотрение в пустоту
намайнит нам

20 мая 2021

если бы я могла написать,
если бы знала Рим,
написала бы о римлянине,
потерявшем рыжую римлянку.

ночью он пьет один, и кажется,
будто у самых ног шипит
не столь уж близкая
Адриатика.

пейте
наденьте красное: мы и тел молодых не носим
если снищем милость судьбы

пейте, но не забвение,
а ясность

он увидел
как на рассвете всё залило солнце
и всё стало золотом

он уснул, когда золото стало
превращаться обратно
во всё остальное

июнь 2021

А. Е.

это, значит, юг
ночное море
можно на камень сесть
стрекохут безымянные насекомые юга
кричат стрижи

одноэтажные дома
так тесно
в короткой жизни
что хожу не расправив плечи
всё – дорога,
всё – переход

и в груди тесно
всматриваюсь в себя,
погружаюсь в себя
на сотни световых лет

вся материя перетекает,
всё состоит друг из друга
не знаю в точности
но из чего состою я,
из того же и еще что-то
в сотнях световых лет отсюда

а часть меня так давно
была каплей в мировом океане,
частью волны

соль, шероховатый звук, запах водорослей

сколько себя помню,
никогда не одиноко в одиночестве
я всматриваюсь в себя, через себя,
в туманности и скопления звезд,
погружаюсь в себя –

и чувствую:
в доселе равномерном пространстве
кто-то есть

без вариантов:

..... Андрей

.....

.....

.....

так что никаких писем, наверное

нет

на всякий случай

.....

.....

...

пока я буду человеком здесь
посижу на камне
посмотрю на горизонт

Анапа, 5 июля 2021

и то, что ты предпочтешь забыть,
и то, что так хочется вспомнить
подробнее и ярче, переживать снова –
еще и еще,
вернется к тебе.

увидела один цветочек и записала,
через неделю там зацвели все холмы.

так «один» превращается в «много»:

здесь расцвели
желтые лютики,
куриная слепота.

Нескучный сад, 24 мая 2021

Эле Погорелой

опаленный листочек кружится:
сбудется – не сбудется
легче перышка

глаза открываются,
а колесо повернулось
да, на дцать лет

но ночное небо всё то же:
смотрит, всё понимает,
сказать ничего не может

начало 2022

*«...and the first shall be first,
and the last shall be last;*

*cast your eyes to Heaven –
you've got a knife in a back.*

*nobody's righteous, nobody's proud, nobody's innocent
now when the chips are down»*

“Hadestown”, Anaïs Mitchell

когда мы кричали
«отдай нам Варавву»
казалось, так проще,
никакой мороки
всё по-старому
хотя дела нет до этого разбойника
мне всё равно

неужели всерьез
невзначай погубили Царя?

продали его за спокойствие,
порядок и хороший тон,
которых и не было?

неужели всю нашу жизнь
в недобрую минуту погубили,
и будущие дни сторели,
как солома?
мы не подумали.

я стою у большого костра соломы,
пылающего столь ярко,
что впереди всё черно:
вечный покой.

а мотылек летит, летит на огонь,
а ягненок идет, идет на убой,
такой невинный белый

во время всесожжения
дай рядом лечь с Тобой
дай рядом лечь с Тобой

январь 2022

Кате Богдановой

мау
волшебное слово
весь спектр значений
все цвета радуги

синий: гибернация
(мрак)
красный: собранность
(вперед)

солнечный зайчик
как солнечный котенок
проскальзывает
золотым бликом

снег метет в лицо
или солнце палит
ясный осенний день
и весенняя слякоть

мау навсегда.

2021

о горькие милые души,
омытые соленой водой.
смутно на небе, маятно на земле –
приидите, поклонимся и припадем
Самому Христу, Цареву и Богу нашему!

но слышу, как стучат сердца,
как гонят густую кровь,
как шуршат соленые волны –
одна за другой,
и большой мир
умывается отчаянием,
ложится в постель
на свежую простыню
и просыпается от кошмара;
хочет смыть страх,
но из-под крана течет один страх,
так что тщетно он пытается умыться
и умывается,
и умывается,
и умывается.

я ничего не вижу, говорит,
здесь так темно, тихо,
включите свет, пожалуйста,
и звон трамваев, и соседский телевизор,
самый гул улицы за окном,
включите обратно
хоть что-нибудь.

20 февраля 2022

Сёма ТКАЧЕНКО

просьба отойти от края платформы

какая сумятица в поезде-электричке
ночью не видно лиц пассажиров ИЛИ
за окном продолжаются переключки
верстовых столбов и фонарей в мундирах

рельсы упрямо ждут окончания рейса
но растворяются следом за локомотивом
в северо-западной пыли и южной взвеси
ИЛИ становятся бряцающим пунктиром

песенка как неродная в ушах
проводник проснулся
и рукавом протирает окно вагона
поезд ушёл ИЛИ с поездом разминутся
ИЛИ вагон-ресторан по ночам взволнован

тем что мужчины в России отцов не знают
и потому длится горе в звенящих кружках
мы прибываем ИЛИ поезд в разрезе замер
на перегоне северном в шуме южном

Сибирское лето

посв. Егору Евсюкову

как ни смыкай глаза все равно сибирь
эхо звучит в мозгу до пустых околиц
тащит безмолвие в лес распирает вширь
где там его отыскать бы в траве по поясу
или в снегу крупнозёрном как чешуя
видишь же как суетится да в поле рыщет
выйдешь к нему и уйдет из-под ног земля
ветер слова украдет да своё просвищет
что в сновидениях быстрых терять родных
что просыпаться на даче одно и то же
еле раскроешь глаза и запишешь стих
и ничего не случится сегодня больше
вот и ходи по спирали потом за ним
в летнем болотном тумане черти квадраты
он остается таким же глухонемым
парадоксальный невидимый согладатай

Сёма Ткаченко родился в 2001 году в Томске. С 2020 года – студент Литературного института им. А.М. Горького. Редактор сетевого журнала «Таволга». Публиковался в журнале «Новый мир», на порталах «Новая карта русской литературы», «Полутона», в сетевом журнале «Флаги» и арт-дайджесте «Солонеба».

Der Flug

что остается выцветшие страницы
как от луны отражается белый свет
так на плечо холодами зима ложится
будто бы выдумка есть оно или нет

ветер бумагу раскидывал понапрасну
и без того здесь ни буквы не разобрать
пасмурно точка когда уже будет ясно
снега побольше поменьше заболеть

пить молоко ноября вспоминая сны но
от молока привкус гари на языке
капает с неба луна и на веках стынет
льется строкой бессловесной в моей руке

всё ничего просто выдумка а подснежник
был молчаливою песней небесных рыб
сон остается трагедия неизбежна
как неизбежны похмелье и недосып

если записывать сны – на какое имя
или устать выдумывать имена
и оставлять тетради совсем пустыми
словно нутро прорастающего зерна

или шуметь понапрасну тревожить сына
брать со столешницы неба стакан воды

месяц отходит на шаг выгибает спину
ёжась от горького привкуса лебеды

и остается на свете одно безмолвье
белое-белое ветром как простыня
бьется о стены скребется о дно глазное
в чёрного превращается журавля

гнется в полёте подкрылком и сучит клювом
по бесконечно далёкой уже земле
спит на лету но патрон покидает дуло
чтобы навечно остаться в его крыле

Alten

расцветали рябины и вишни
старики выходили с окна
и молчали то громче то тише
как пульсирующая десна

стариков возвращали на небо
били в спину ломали носы

угощали краюшечкой хлеба
рюмкой водки и каплей росы

осыпались в квартире растенья
сумасшедший раскручивал кран
не до кладбищ в момент пробуждения
дела нет до меня старикам

до того засиделись в прихожей
что теперь и в лицо не узнать
старикам тут не место а может
нам самим предстоит умирать

Как пыль, как взвесь, как белое пятно,
мне снится сон. И я во сне болею.
Апрельский снег расстреливал окно,
но целился в застуженную шею.

Как пыль, как взвесь... мне больно говорить,
но вот во сне находишь мелочёвку,
которую хотелось бы забыть:
и в комнате уже перестановка,
а на окне заплесневелый хлеб.

Скребутся мыши или входит старость,
безумно одинокая, как степь.

И что теперь в коробке сна осталось?

Детали незначительны. Апрель,
и, в общем, всё, что заменяет воздух,
не кажется невидимым теперь.

То был не снег, но сыпалась извёстка
с подъездных стен. А белая вода
стучит в окно, отбрасывает тени
и пишет слово «смерть» наоборот,
зеркальное заметив отражение.

Из цикла «дневник птицелова»

2.

через сон дотянется может быть
померещится за углом
все ни рыбу есть все ни водку пить
не сидеть за одним столом

вот колечко нашел да кому оно
с чьей руки да кому в ладонь
достучалась воровка в мое окно
самой хитрою из ворон

блеск нахальных глаз как дурная весть
солнцем выжженный антрацит
а она все так же со мною здесь
и являясь во снах молчит

4.
все плывем-плывем по тропе-петле
по листве-траве да по яви-сну
как по облаку горлица на крыле
в непроглядно пустом саду

ничего не видно куда смотреть
я к тебе пришел и чего же вдруг
по спирали воздуха бродит смерть
и высматривает пичуг

что в кармашке я для тебя несу
знай воробушек в клюве не уташил
то колечко да гладкую бирюзу
я в шкатулке своей хранил

ветер льет из горлышка на весу
оплетает голову сухоцвет
затянуло инеем здешний пруд
да потерял след

5.
знать бы только куда зовет да о чем толкует
чернокрылая вестница падчерица твоя

я же знаю что это она я же видел такую
по ту сторону парка в пруду где теперь земля

в небе стаи над городом носятся черным дымом
сон навязчивый месяцем вспарывает висок

ты не рядом но здесь и порывисто дышишь в спину
мне с рассветом бы выйти за вестницей на восток

но натянуто небо холстом над моей столицей
где дышать тяжело но все чаще покинув дом

я себя ощущаю отчаявшимся сновидцем
в отражениях окон бредущим за огоньком

Дмитрий ЛАГУТИН

ИЗВОЗ

Рассказ

Глеб свесил руку с кровати и нашарил на полу телефон. Поднес к лицу, прищурился, Катя заворочалась недовольно, потянула одеяло на лоб.

– Твой отец, – сообщил Глеб.

– Тогда ответь.

Глеб ткнул пальцем в экран, поднес телефон к уху.

Из динамика – сквозь музыку и гомон, сквозь звон, кажется, бокалов – зазвучал голос тестя.

– Зятёк! А зятёк! Ты там спишь уже, что ли?

– Да как вам сказать... – Глеб присмотрелся, часы на комодке показывали половину второго.
– С малость...

– Извини, зятёк! – в голосе раскаяния не чувствовалось. – Выручишь старика, а? Поехал, понимаешь, на встречу выпускников, – тесть фыркнул, – думал, пить не буду... А дальше... Ну, сам знаешь, как оно бывает. Знаешь ведь?

Глеб пробормотал что-то уклончиво.

– В общем, заberi меня, подбрось до дома, а? Не хочется зверюгу тут оставлять. Доверенность открытая, ты ж сам не пил?

– Не пил.

Вечером они с Катей готовили суши, потом смотрели сериал.

– Ну вот! – голоса и музыка стали тише, тесть, по-видимому, вышел куда-нибудь, в коридор или вообще на улицу. – Заberi, зятёк, уважь батю.

– Заберу, чего ж, – зевнул Глеб и полез из-под одеяла, уселся на краю кровати. – Мне не сложно.

– Зятёк! – воскликнул тесть. – Золотой ты у меня человек! Знал, что выручишь, ни секунды не сомневался!

Глеб, растирая лицо ладонью, выслушал все комплименты до единого и уточнил место, из которого тестя нужно было забирать.

– Да в двух шагах от тебя! – И тесть назвал ресторан, который, действительно, располагался совсем рядом, на том конце парка. – Проветришься заодно, погода – вах!

Договорились о времени, о том, что Глеб позвонит, как окажется рядом, о том, что не забудет захватить права. Когда Глеб погасил телефон и встал, потянувшись, хрустя позвонками, Катя заворочалась, пробормотала сонно:

– Что там такое?

– Попросил забрать из ресторана.

– А почему такси не вызвал?

– На своей приехал, пить не собирался.

Катя вздохнула.

– Ну тогда заberi, пожалуйста.

Дмитрий Лагутин родился в 1990 году в Брянске. Окончил юридический факультет Брянского госуниверситета. Победитель международного конкурса «Гайто», лауреат национальной премии «Русские рифмы» и др. Публиковался в журналах «Новый берег», «Нева», «Урал», «Знамя» и др. В «Волге» публиковалась проза (с 2018 года).

– Само собой. Спи.

Глеб сел на кровать и провел ладонью по выглядывающей из-под одеяла коленке. Коленка тут же спряталась. И несколько минут он сидел, глядя в стену, думал о том, что забрать-то не сложно, но вот так ведь не хочется покидать сейчас эту комнату, темную и теплую, согретую его и Катиным дыханием, тихую совсем – слышно только, как гудят едва-едва трубы – тесную, но приятно как-то тесную, уютно тесную, единственную комнату в квартире, висящей в семи этажах над землей, точно гнездо.

– Иди, иди, – поторопила сквозь сон Катя. – Пока он не решил продолжать.

Глеб поднялся, зашагал по комнате, одеваясь, шлепая босыми ногами по ламинату – свет не включал, хватается того, что пробивается от фонарей сквозь шторы – потом поцеловал Катю, нависнув над ней, испугав даже, и вышел в коридор. Подумал и завернул в кухню – выпил воды, умылся над раковиной с тарелками, подхватил из вазочки конфету, развернул и бросил в рот. В кухне тоже было тихо, тепло и темно – свет снова не включал, – но занавеска была отдернута, и за окном видно было облетающий понемногу парк в фонарях, и за парком – огни центра.

Свет Глеб не зажигал и в коридоре – и в коридоре тоже было тихо и тепло, сонно тикали у зеркала часы, – влез в ветровку, обулся и бесшумно, стараясь не звенеть ключами, вышел в подъезд. И тут уж ему пришлось зажмуриться – в подъезде лампы горели на разрыв, со всех сторон, хоть возвращайся за очками.

Обклеенный рекламой лифт – зеркало еще не повесили, а жаль, – площадка с почтовыми ящиками, детские коляски и самокаты, толпящиеся в сумрачном закутке, моргающая огоньком кнопка у двери. Глеб вышел на крыльцо и только что не закачался под порывом холодного, ночного – совсем почти октябрьского, а ведь еще только середина сентября – ветра. Застегнул ветровку до кадыка, сунул руки в карманы – телефон, ключи с брелком из Египта, сложенный вчетверо чек с заправки – пересек двор, лязгнув воротами. И оказался в парке – зашагал по узкой, только-только выложенной плиткой дорожке.

Он еще до середины парка не добрался, а впереди уже виднелся за деревьями, моргал огнями ресторан. Слышно было и музыку – низким эхом она катилась по парку, путалась в ветвях, вязла в шелесте. Деревья стояли то гуще, то реже, между ними вытягивались засыпанные листвой газоны, листва со скрипом ездил по дорожкам, жалась к бордюрам. На бортике уснувшего до утра фонтана стояли несколько пустых бутылок – придет утром дворник и уберет, – и Глебу показалось, что он слышит, как горлышко каждой низко гудит.

В дальней части парка на одной из скамеек, прямо под фонарем, спал, съежившись, поджав колени к животу, приличного вида мужик, в дутой куртке с капюшоном. Проходя мимо, Глеб прислушался – сопит, ворчит даже что-то.

Сквозь поредевшие кроны видно было небо в мутных облаках, то и дело по парку прокатывался, загребая листву, ветер. Справа, далеко за деревьями, маячил прямоугольник летней эстрады, из-за него вставали темные, неподвижные силуэты аттракционов.

Чем ближе Глеб был к ресторану, тем громче звучала музыка, стали встречаться на дорожках и у скамеек курящие – поодиночке или компаниями. Глеб, пружиня подошвами, обогнул высокую чугунную ограду, остановился у крыльца – с которого курящие только что не соскальзывали, так их было много, – и позвонил тестю. И пока ждал его, принохивался против воли – из окон первого этажа соблазнительно тянуло едой, жареным мясом и луком.

– Зятёк! Ух, человечие ты мой родной!

Тесть, нарушая шаткое равновесие, пролез сквозь толпу на крыльце, подошел к Глебу и сжал руку так, словно хотел сломать все пальцы разом и себе, и ему. Затем он приобнял Глеба за плечо, встряхнул и представил кому-то, тоже вываливающемуся из толпы.

– Зятёк мой! – расплылся тесть в улыбке. – Во такой вот!

И снова встряхнул Глеба – тому даже показалось, что он на миг оторвался от земли.

– А это кореш мой, од-но-класс-ничек, – сообщил тесть и фыркнул. – Тоже человечие.

Говоря, он обдавал Глеба горячим – водка и лук – дыханием.

Кореш – длинный, покачивающийся, точно жердь на ветру, мужик с мутным взглядом из-под черных бровей – протянул Глебу ладонь и пробасил, растягивая нетрезво гласные:

– Па-авел.

Глеб представился, пожал корешу руку. Тесть захлопал себя по карманам, выдернул из одного ключи, подбросил, звякнув о перстень на мизинце, и торжественно вручил Глебу.

– Только теток подождем, – предупредил, растягивая гласные, кореш.

Он сорвал с сигаретной пачки целлофан, бросил прямо на плитку, вместе с кусочком фольги, зубами подцепил ближайший фильтр.

– Ну что ты гадишь, Паш? – возмутился тесть. – Стоишь в приличной компании и под ноги себе срьшь.

Он наклонился и поднял целлофан и фольгу, смял в кулаке. Дошел вразвалку до урны – кореш невозмутимо курил, глядя мимо Глеба – выбросил и вернулся.

– Да, зятёк, – подтвердил он. – Теток дождемся... одноклассниц, – он фыркнул, слова «одно-классник» и «одноклассница» его, по-видимому, смешили. – По домам их раскидаем, ага?

Глеб пожал плечами – назвался груздем, полезай в кузов.

– Так ты в машину иди, – предложил тесть. – Заводись пока, осваивайся. Мы сейчас, Пашка вон докурит, и подойдем.

Кореш важно кивнул – одобрил. Глеб снова пожал плечами и обошел ресторан, вышел на парковку, в центре которой возвышался, занимая по диагонали два места, зверюга-джип. Ткнул кнопку на ключах, влез, наступив на порожек, за руль, захлопнул дверь. И оказался в прохладной – кожа и металл – тишине салона. Подвигал кресло туда-сюда, примерился к рулю, к рычагу коробки, щелкнул раз-другой поворотниками. Ткнул пальцем по болтающимся под зеркалом боксерским перчаточкам – миниатюрным – не будут ли мешать? Посмотрел в зеркало и сунул ключ в скважину, провернул – где-то за панелью, в глубине, глухо заурчал двигатель, в салон хлынул из кондиционера ледяной воздух.

Глеб стал думать – не развернуться ли пока? не выехать к воротам? И пока думал, к джипу подошел, качая плечами, тесть, а за ним – кореш и какие-то тетки, хохочущие и размахивающие сигаретами. Тесть открыл двери, и тетки – теток было четверо, но одна, как понял Глеб, не то оставалась, не то уходила пешком – полезли в салон, за спину Глебу, не переставая хохотать.

В салоне тут же запахло духами и табаком.

– Здравствуйте! – хохоча, здоровались тетки, каждая по очереди. – Вы тот самый зятёк?

– Тот самый, – подтверждал Глеб равнодушно.

– Лучший зятёк на земле, – заверял, придерживая дверь и дожидаясь, пока все влезут, тесть.

– Всем бы по такому зятю, да, – он развел руками, – штучный товар.

Тетки изображали сокрушение – ай-ай, как же так?

– Экземпляр, – пробасил, втискиваясь назад, к теткам, кореш. – А не товар.

Тетки заголосили – куда? куда? – стали, хохоча, щемиться, потом одна залезла на колени к другой, и только так кореш смог поместиться, воткнулся в потолок макушкой.

– Все? Утрамбовались? – спросил тесть и захлопнул за корешом дверь, влез на свое, рядом с Глебом, место, уселся поверх застегнутого ремня.

Обернулся на пассажиров, потом посмотрел, улыбаясь счастливо, на Глеба.

– Разобрался? Порядок?

– Так я ж водил ее уже.

Прошлым летом Глеб по просьбе тестя – тогда еще будущего – перепарковывал джип из одного конца двора в другой.

– Ну и прекрасно, – кивнул тесть. – Тогда педаль в пол.

Глеб, поддерживая шутку, рыкнул двигателем, а потом осторожно, выглядывая в открытое окно, выполз с парковки.

– А куда едем-то? – спросил он, выбирая поворотник.

Тесть обернулся на пассажиров.

– Куда ехать? Кто первый?

Тетки начали шushкаться, потом одна из них подняла руку, по-школьному, как будто вызывалась отвечать на уроке.

По ее запястьям запрыгали, звеня, массивные браслеты.

– Я первая!

Она назвала адрес и залилась смехом.

– Знаешь где? – спросил Глеба тесть.

Глеб кивнул, дождался, пока дорога будет свободна, и повернул, поддал газу. Джип понесся по оранжевой – в свете фонарей – улице, густо, точно подражая парку, засаженной деревьями. Тесть откинулся в кресле, довольно посмотрел на Глеба.

– Поддавай, не бойсь.

Глеб притормозил перед светофором, докатился до перекрестка и выехал на проспект – и замелькали по обе стороны вывески и витрины, арки и освещенные прожекторами фасады.

– Му-узыки бы, а, – пробасил кореш.

– Базара ноль, – усмехнулся тесть и принялся тыкать пальцем в магнитолу. – А вы какую музыку-то любите? Ты какую любишь, зятёк?

Глеб ответил, тесть покачал головой.

– Это вообще не музыка. Будем слушать мое.

Он выкрутил колесико, салон затрясся и завибрировал, тетки заголосили со смехом, кореш – Глеб видел в зеркало – расплылся в довольной улыбке.

– Не дует вам? – крикнул через плечо тесть. – Не замерзли?

– Вдует? – хохотали тетки. – Кто кому вдует?

Кореш продолжал улыбаться. Время от времени от встречался глазами с Глебом – и медленно, одобчительно кивал.

Музыка гремела, кондиционер гудел, тетки смеялись – а мимо джипа проносились светофоры и перекрестки, торговые центры и новостройки, скверы и парки, дома вперемешку – старинные, начала прошлого века, и новые, стекло и бетон.

Когда до озвученного адреса было рукой подать, тетки принялись о чем-то судачить – Глеб не слышал из-за музыки, о чем, – подключился, оживившись, кореш, похлопал по плечу тестя, забубнел ему что-то на ухо, и тесть сбил громкость вполовину.

– Продолжить?.. – как будто с досадой, почти растерянно протянул он и посмотрел на Глеба, точно спрашивая его мнения. – Еще посидеть?

– Ну а когда так вот еще собраться получится? – пробасил кореш, толкнул ближайшую тетку плечом. – Когда, а?

– Я вообще через месяц переезжаю, – выпалила со смехом та, с браслетами, которая вызвалась первой. – И ноги моей больше здесь не будет!

Поднялся шум, и тесть, почесав сперва подбородок, потом скулу, потом макушку, прокряхтел как будто с досадой.

– Тормозни-ка, зятёк, где-нибудь. Видишь, дебаты.

Глеб сбавил скорость и прижался к обочине под знаком, зажег аварийку.

И они стали всерьез обсуждать, по домам ли им ехать или заскочить еще куда-нибудь и опрокинуть по рюмочке, да закусить чем-нибудь, вон и проголодались уже, хотя, казалось бы, только из-за стола. Активнее всех за продолжение ратовал кореш – горячился, прижимал ладони к груди, и взгляд его уже не казался мутным, а сверкал из-под бровей почти яростно.

В какой-то момент они с тестем даже вылезли из джипа – и стояли перед капотом, курили, продолжали обсуждение.

Тетки в это время шушукались сзади, причем та, что сидела на коленях у подруги, смогла – кореш-то вышел – сесть нормально и теперь шелкала перед лицом зеркальцем, напomaживала и без того красные, как вишни, губы.

На Глеба тетки не обращали совершенно никакого внимания – точно и он тоже вышел.

Наконец тесть с корешем вернулись, и тетка с зеркальцем, шутливо возмущаясь, полезла на соседку.

– Раздавишь, блин, Танюха! – хохотала соседка. – Ты когда так отожралась?

– Короче, зятёк, – обратился к Глебу тесть. – Довези нас кое-куда, до рестораника. Мы там посмотрим по местам, и, если сядем – езжай домой, – тесть хлопнул по бардачку. – А я уж на такси.

Глеб пожал плечами, уточнил адрес, прикинул, через какую улицу лучше ехать, и отклеился от обочины, погасил аварийку.

– Благодарите зятёка моего, – обернулся тесть и поднял палец к потолку. – Если б не он, бежали бы сейчас во все стороны...

И тетки вдруг точно вспомнили о том, что Глеб вообще существует, и принялись его благодарить и нахваливать – и так всю дорогу до ресторана, который, если бы спросили Глеба, на звание ресторана не особенно-то и тянул.

– А давно ли зятёк – зятёк? – спрашивали тетки.

– А четыре месяца! – отвечал за Глеба тесть. – Свадьбу вон в мае отгуляли.

– И как зятёку семейная жизнь?

– Как зятёку семейная жизнь? – переспрашивал тесть и смотрел на Глеба с напускной строгостью.

Глеб поднимал большой палец вверх.

– Супер.

Тесть трепал его по плечу, царапал перстнем шею.

– Золотой зятёк! Не пьёт, не дебоширит, де-еньги зарабатывает.

Глеб отмахивался.

– Такие-то деньги...

– Деньги – это деньги! На первое время самое то! – обрывал его тесть. – А если надо, так мы рядом, поможем завсегда!

Тетки засыпали Глеба вопросами о том, где он работает, где учился, почему не пошел по специальности, чем занимается в свободное время, – и тесть сидел, надувшись от важности, довольный и раскрасневшийся, точно расспрашивали его, и нет-нет а отвечал, опережая Глеба.

Кореш в разговоре не участвовал, и только время от времени поднимал одобряюще кулак, кивал Глебу из зеркала – молодец, зятёк.

– А курить в машине можно? – спросил он вдруг.

– А курите, хрен с вами, – подумал и махнул рукой тесть.

И поехали вниз стекла, и в салон захлестал, забил туго сырой осенний ветер, и кореш закурил, и кто-то из теток закурил, и тесть тоже закурил – и пока ехали, курил задумчиво, глядя перед собой на дорогу. Снова вытянули громкость до упора, и Глеб крутил руль точно в центре бури – ветер, дым, хохот, музыка, огни.

На лежаках полицейских – Глеб притормаживал и отпускал педаль в последний момент, чтобы качнуть передними колесами, – подпрыгивали всем салоном, тетки хохотали с новой силой, кореш ругался, смахивая пепел с рубашки.

Когда подъехали к ресторану, тетка с браслетами первой, только джип остановился, выпрыгнула наружу – ей уже несколько минут названивал муж, а она боялась отвечать из салона, из музыки и ветра. Выпрыгнула – и засеменила с телефоном в дальний угол парковки.

– Переезд под вопросом, – со вздохом протянул тесть, и салон взорвался смехом. – Пошли, Паш, на разведку.

Они с корешем вылезли из джипа и двинулись через полупустую парковку к цветастому, в гирляндах почему-то, крыльцу, исчезли за дверью.

Пока их не было, вернулась тетка с браслетами, улыбаясь смущенно и немного глупо, влезла в салон, стала отнекиваться, на вопросы отвечать односложно и отшучиваться – но спустя минуту уже хохотала по-прежнему и обсуждала наравне со всеми остальных одноклассников – и одно-

классниц – присутствовавших на встрече. Глеб снова почувствовал себя не то невидимым, не то превращающимся в предмет мебели, и ему захотелось обернуться и сказать отчетливо, положив локоть на спинку своего кресла:

– Эй, тетки. Я все еще здесь.

И тут же он подумал, что и это не сработает – и не произведет никакого эффекта.

– Я вам говорю, девочки, она сука, – с чувством признавалась третья тетка, боявшаяся быть раздавленной Танюхой. – Тварь каких мало. А видели, как сидит? Как улыбается? Колечком сверкает...

Танюха и тетка с браслетами соглашались, кивали и трясли головами.

– Ты, зятёк, не слушай, – вдруг рассмеялась Танюха и тронула Глеба за плечо. – Тетки злые, говорят много гадостей.

Глеб ничего не ответил – повел головой неопределенно.

От крыльца шли с разочарованными лицами тесть и кореш – шли и прикуривали.

– Засада, народ, – сообщил тесть, заглядывая в открытое окно. – Закрываются через пятнадцать минут, кухня уже час как не работает.

Тетки подняли шумную дискуссию – может быть, пятнадцати минут хватит? много ли надо, чтобы выпить рюмку-другую? И Глеба можно будет не отпускать – подождет немного и развезет всех, как хотели с самого начала.

– Херня это, – пробасил кореш. – Что мы, дети малые? Выпить и бежать...

– А давайте в караоке! – предложила вдруг, выпучив глаза, Танюха. – В караоке до утра поют!

Все оживились, даже тесть, казалось, заскучавший, разглядывающий рассеянно свой перстень, вскинул подбородок.

– Этого вон, – он кивнул на кореша, – в караоке пускать нельзя! Вы его голос слышали?

Кореш расправил плечи и пробасил на всю парковку:

– Бо-о-о-ойтесь нана-а-а-айцев, дары принося-а-а-аших!

Глеб усмехнулся – это показалось ему смешным. Тетки зааплодировали.

– В караоке! В караоке! – затараторили они.

Долго определялись с адресом, выбирали из нескольких самых близких – а потом расселись по местам, захлопали дверями, и тесть наклонил голову, посмотрел на Глеба.

– Ага?

– Ага.

И снова потянулись за окнами улицы и перекрестки, заводские стены и закрытые зеленой сеткой стройки, бизнес-центры и платные стоянки. И снова гремела музыка, и вился спиралями табачный дым, метался по салону под ветром, и тетки хохотали, а кореш басил какую-то откровенную чушь, спрашивал у Танюхи название ее духов, закатывал рукав и показывал оставшиеся со школьных времен шрамы на предплечье. Въехали в центр, машин стало больше, и огней стало больше, приходилось петлять по улочкам, спускаться и подниматься, и на каждом повороте боксерские перчатки под зеркалом раскачивались из стороны в сторону и стукались друг о друга.

– Вон, – показал тесть на ворота в ограде. – Туда давай.

Глеб пропустил выезжающий из ворот джип – похожий один в один на их, – вкатился на парковку перед караоке-баром, нашел место поближе к крыльцу, аккуратно заполз в него по зеркалам.

– Сидите, – скомандовал тесть. – Пабло, за мной!

И они снова вылезли и пошли к крыльцу, перед которым курила шумная и пестрая толпа, скрылись в ней. А спустя пару минут – Глеб даже не успел заскучать – вернулись недовольные.

– Мест нет, – сообщил тесть.

Он влез в салон, закрыл не с первого раза дверь. Кореш оставался на улице и безуспешно пытался прикурить, бормотал ругательства. Танюха протянула ему через окно свою зажигалку, кореш затянулся, заглянул в салон и выпустил одно за другим несколько колец, которые тетки стали ловить на руки на манер браслетов.

– И очередь к микрофонам по полчасу.

Тетки закудахтали возмущенно.

– Ну что? – обернулся тесть. – Есть предложения?

И они стали думать, не поехать ли в какое-нибудь другое караоке, или, может быть, в какой-нибудь другой ресторан, а может, просто покататься по ночному городу, раз зятёк не клюет носом и не канючит? Кореш курил в салон, стоя на улице, отворачивался только пепел стряхнуть и все пускал из дыма кольца, и они плавали по салону, цепляясь за спинки кресел, за потолок, и тетки ловили их уже неохотно, без энтузиазма, и морщились, если кольца касались щек. Потом они как-то вдруг все разом поникли и сами стали канючить, и заохали, глядя на часы, прикидывая, что слишком уж много времени тратится на дорогу, – и стало понятно, что продолжение не складывается и все идет к тому, чтобы разъехаться по домам.

Глеб такому развитию событий был рад.

– Ну домой так домой... – щелкал языком тесть.

В обсуждении он участвовал как будто через силу, вяло – и особого рвения ни в одну сторону не высказывал.

Тому, чтобы ехать по домам, противился кореш – он ругался на ленивых теток, загибал длинные пальцы, считая аргументы, говорил, что в обычное время никуда не ходит и ни с кем не встречается, а потому из представляющихся случаев надо выжимать все, что получится, что эта вон – он пускал кольцо в тетку с браслетами – вообще переезжает, и когда еще соберутся вот так, чтобы и время, и место, и – что немаловажно, он пускал кольцо в Глеба – руль...

Но чем агрессивнее наседали кореш, тем прохладнее воспринимали его тетки – и под занавес они вдруг дружно начали зевать, морщась и распахивая напояженные рты, показывая всем видом, что если их сейчас не повезут домой, они разбредутся сами, на своих двоих, и если с ними что-нибудь случится, то это будет на совести неугомонного Паши, от которого и в школе никому спасу не было и который, видимо, за столько лет совершенно не изменился. Глеб слушал и удивлялся – только что рвались люди кутить, пить и отдыхать, а тут вдруг больше всего на свете хотят домой.

Обсуждение было прервано сценой, на которую обратила внимание одна из теток.

– Смотрите, – позвала она и ткнула пальцем за лобовое стекло.

Все проследили за пальцем и увидели, как толпа на крыльце заволновалась, а затем из нее вылетели, вцепившись друг другу в волосы, две долговязые – модельной, возможно, внешности – девушки. Обе они были одеты в вечерние платья – узкие и сверкающие, – и платья эти то задирались, то сваливались с плеч, так что обладательницам приходилось отвлекаться от чужих волос и пытаться хоть как-то прикрыться. Поправив платья, они принимались трепать друг друга с новой силой, в ход пошли кулаки, а потом девушки – обе на каблуках – не удержались и повалились на асфальт перед крыльцом, но и тут не расцепились, а продолжили кататься, обдирая колени и локти.

От толпы отделились несколько человек и навалились на девушек, принялись растаскивать их, а те из последних сил выворачивались и изгибались, лягаясь. Наконец обеих – на почтительном расстоянии друг от друга – увели за стеклянные двери, толпа поволновалась еще немного и затихла.

– Бабы, – подытожил кореш и щелчком отправил окурок куда-то в сторону. – Страшное дело.

Тетки захихикали, потом снова принялись зевать. Кореш влез в салон, и тесть махнул Глебу рукой – по домам.

Первой отвозили ту самую, с браслетами – по уже известному Глебу адресу. Ехали весело, снова и курили, и смеялись, и слушали громко музыку, но за дом или два до своего тетка попросила сделать тише и закрыть окна, чтобы не было слышно и видно тех, кто внутри, а потом и вовсе стала объяснять тестю, что лучше бы подъехать с другой стороны и высадить ее за пределами двора – а не под окнами. Кореш на такие просьбы громкогласно хохотал, картинно, запрокидывая подбородок, а другие две тетки слушали тихо, кивали с пониманием – переезд на носу.

– Давай, зятёк, – согласился тесть. – Попетляем ради переезда.

И Глеб долго петлял дворами, пытаясь объехать дом тетки, который, будучи вдвое выше всех зданий в округе, возвышался над районом – и точно следил за перемещениями джипа. Дороги, которые показывала тетка, оканчивались тупиками или клумбами, где-то приходилось объезжать по бордюру ямы, один раз протискивались между сикось-накось припаркованными жигулями, сложив зеркала. Наконец тетку все устроило, и Глеб высадил ее у одного из дальних домов, в черной тени неизвестно как сохранившегося при такой плотной застройке клена.

Тетка расцеловала всех, кроме Глеба, вылезла, звеня браслетами, уронила и подхватила с земли сумочку и, сворачивая каблук, засемила по асфальту в свете фар – а затем исчезла за углом.

– Теперь меня, – попросилась тетка, вылезшая из-под Танюхи и занявшая свободное место.

– Ясное дело тебя, – фыркнула Танюха. – Меня последней, с моей-то географией.

И она положила голову на плечо корешу.

– Я и подремать пока могу.

– Дреми-дреми, – разрешил кореш.

Он трезвел и уже не растягивал гласные – но смотрел снова мутно.

Тетка назвала адрес. Глеб кое-как выбрался из лабиринта дворов – и долго еще похожий на башню дом маячил в зеркале, точно не желал пропадать из виду.

– Как она там, бедная... – пробормотала Танюха, лежа на плече кореша. – Выслушивает, наверное...

– Отрабатывает, – фыркнула вторая тетка.

В салоне стало просторнее и тише – и Глеб не слышал уже, как за спиной звенят браслеты – музыку до вибрации не выкручивали, даже не курили, ехали себе и ехали, лениво переговариваясь. Тесть вздыхал устало и в задумчивости скреб ногтем шов на панели.

На полпути джип остановили гаишники, Глеб прижался к обочине, зажег аварийку и полез за правами, выронил из паспорта себе под ноги карточку питерского метро.

Тесть при виде гаишников заворчал, заерзал недовольно – а когда инспектор подошел к джипу и принял от Глеба документы, хрустнул шеей и окликнул с вызовом:

– Командир! А командир! Мы нарушили что-то?

Инспектор заглянул в салон, посмотрел внимательно на тестя, на кореша, скользнул взглядом – вскинув бровь – по теткам.

– Зять меня везет, – с вызовом же бросил тесть. – Трезвый как стекло. На остальных не смотри. Мы нарушили что-то, или ты так, скучно стало?

Глеб мысленно приготовился к... что там делают, чтобы подтверждать трезвое состояние? По линии больше не ходят, кажется, нос с закрытыми глазами не трогают. В трубку дуют, но трубка может быть подставная, рассчитанная на результат – и тогда лучше сразу ехать... Куда ехать?

Но инспектор, прищурившись, посмотрел на Глеба, точно просвечивал его насквозь, а затем вернул документы, коснулся ладонью фуражки.

– Хорошей дороги, – и не удержался: – зять.

И до самого дома второй тетки говорили только о встречах с гаишниками – о штрафах, взятках, судах и даже драках. Только Танюха молчала-молчала, а потом выдала, усмехнувшись кисло:

– Вы вот жалуетесь, ноете, а у меня бывший муж – гаишник.

– Поэтому и бывший? – спросил кореш.

Танюха усмехнулась еще кислее.

Вторая тетка жила в пятиэтажке с мозаичными стенами – причем кусочки мозаики в свете фонарей, фар и подъездной лампы поблескивали и переливались разными цветами.

Тетка попрощалась со всеми, поблагодарила Глеба за «извоз», а потом долго топталась у домофона – сперва искала в сумочке ключи, выворачивала все карманы наизнанку, шипела и ругалась, потом звонила по мобильному, выглядывала из-под козырька на темные окна. Когда стало ясно, что мобильный бессилен, она собралась с духом и ткнула пальцем в кнопку домофона.

Все это время джип тархтел напротив подъезда – и тесть с корешем потешались над теткой, бросали ей через открытые окна шуточки.

– Все-е, – снова тянул гласные кореш. – Возвраща-айся.

Танюха фыркала, смеялась тихонько с его плеча – не открывая глаз.

Домофон звонил и звонил, звонил и звонил – но никто не открывал. Когда звонки прекращались, тетка нажимала на кнопку снова, оглядывалась со смущенной улыбкой, хмыкала и встряхивала волосами.

Наконец на четвертом этаже осветилось одно из окон – Глеб увидел люстру с массивными плафонами, картину на стене – и из домофона раздалось недовольное и хриплое «Кто?». Тетка смущенно ответила:

– Я.

– Кто – я?

Тесть и кореш согнулись от смеха, тетка оглянулась виновато, сверкнула глазами.

– Ну я, я! Кто еще!

– А ключи твои где?!

– Дома, наверное, оставила... Открываешь, нет?

– Голову ты свою не оставила?..

Домофон пикинул приветливо, тетка потянула на себя дверь. Обернулась, показала тестю и корешу кулак и шагнула за порог. И пока дверь не закрылась, Глеб видел ярко освещенную стену с почтовыми ящиками и икры поднимающейся по лестнице тетки. А потом еще и в окне с картиной показался крупный силуэт, навис, всматриваясь вниз.

Как только дверь с щелчком закрылась, тесть и кореш захохотали в голос – и Танюха сперва успокаивала их, зывала к сознательности, а затем и сама пошла хохотать, да так, что из глаз ее потекли слезы.

Сквозь смех она назвала адрес, Глеб сверился с картами и мысленно присвистнул – ехать предстояло на самую окраину, в частный сектор.

– Забралась Танюха, – кивнул тесть, словно прочел его мысли.

– Танюх, – позвал кореш. – Может, мы тебе номер в гостинице снимем? Чем в такую даль тащиться...

– Себеними! – Танюха шутливо пихнула кореша в бок и отодвинулась от него.

– Да Таню-ю-юх...

Ехали снова без музыки – то есть без громкой музыки, магнитола бормотала тоскливо, брехала гитарой – и окна не открывали, работал кондиционер. Тесть откровенно клевал носом, зевал в кулак и тер глаза, кореш то смотрел в телефон, сведя на переносице брови, то принимался гудеть что-то Танюхе. Танюха фыркала и отмахивалась от кореша, смотрела устало в окно, тоже зевала.

Глеб рулил – некоторые перекрестки проезжал не по первому разу за эту ночь – притормаживал, пропуская несущихся мимо, оглядывал пустынные улицы в листе и думал о том, что дома сейчас и тепло, и тихо, и нет никаких корешей или Танюх, теток с браслетами, гаишников и ледяных всхлипов кондиционера, что дома спит, завернувшись в одеяло, Катя, и ей, как всегда, снится зима, спит крепко, раз не звонит, не спрашивает, почему так долго... Ну и пусть спит, ей рано вставать, на учебу, это он завтра выходной и может валяться сколько душе угодно...

– Заправиться надо, – сообщил тесть. – Заверни-ка, зятек, на подсолнух.

И Глеб завернул на ближайшую заправку – под огромным неоновым подсолнухом – и по дождал, пока тесть сходит и оплатит и вернется с четырьмя ледяными, в испарине, банками газировки и с новой пачкой сигарет. Заправлял не тесть, а сонного вида заправщик в спецовке, и Глеб чувствовал, как через приоткрытую дверь в салон плывет масляный запах бензина. Когда цифры на экране у пистолетов замерли, тесть сунул в руку заправщика сторубливку, упал в салон и скомандовал:

– Двигаем.

Глеб подчинился и еще какое-то время наблюдал, как город за стеклами становится ниже, редет, как вместо новостроек снова появляются пятиэтажки в мозаике, а вместо них – липнувшие друг к другу коттеджи и частные дома. Улицы становились темнее, асфальт – хуже, зато деревьев было больше, и казалось, что главное здесь – именно деревья.

Тесть ехал задумчивый, подперев подбородок кулаком, кореш отстал от Танюхи и уже не гасил телефон, а Танюха снова дремала, скрестив руки на груди. Это, впрочем, не мешало ей время от времени приоткрывать глаза и отпускать короткие рекомендации:

– Здесь лучше не сворачивать.

Или:

– Не разгоняйся, впереди яма.

Наконец, она сообщила почти весело, распахнув глаза:

– Все, дальше я пешком.

Глеб притормозил, а тесть с корешем стали возмущаться.

– Да мне во-он туда, – Танюха показала в конец темной улицы. – Предпоследний дом. Дорогу у нас перекопали, танк не проедет.

Глеб прижался к траве у обочины и остановился, Танюха заозиралась, осматривая сиденье – ничего не забыла?

– Так, – сообщил тесть. – Ты, зятёк, оставайся здесь, а мы Танюху проводим. Да, Паш? – он обернулся на потягивающегося кореша. – Негоже даме одной по такой глуши чесать.

Улица уходила вдаль, погруженная во мрак, горел всего один фонарь – и оттого казалось только темнее. Кое-где угадывались тусклые огоньки окон, фары выхватывали ближайшие к перекрестку палисадники, блестящие ручки калиток.

– Само собой, – отозвался кореш.

Они вылезли наружу, причем кореш обежал джип и галантно подал Танюхе руку. Танюха хихикнула, поблагодарила Глеба – «спасибо, зятек» – и шагнула на дорогу, захлопнула за собой. Глеб посмотрел за тем, как они втроем – Танюха висит на локте кореша – уходят вперед в свете фар, как исчезают за пределами светлого полукруга, как появляются вновь под фонарем и вновь исчезают, посмотрел и заглушил двигатель. Дернул ручку, прыгнул на дорогу. Потом обернулся и погасил фары – и только тогда закрыл дверь, привалился к ней спиной.

– Тишина-а, – выдохнул он и втянул ноздрями холодный воздух.

Тишина была такой же густой, как и темнота, – непривычной для города, накрывающей улицы куполом. Где-то далеко-далеко лаяла собака, ей отвечала другая – не ближе. Со стороны центра долетал равномерный, едва различимый гул, похожий на шум прибора. Пахло листвой и – тоненько – дымком от костра. Глеб поморгал, потер глаза – привыкали к темноте – и огляделся. Отклеился от двери, потянулся, сцепив пальцы за спиной, присел даже несколько раз, разминая ноги.

Из темноты выплывали понемногу, замирали – тут блик, тут тень чернее черного, тут угадывающийся на фоне неба треугольник крыши – дома и палисадники, гаражи и кроны. Пятно под фонарем светилось так ярко, что больно было глазам. Глеб снова привалился к двери, задрал подбородок и присвистнул – облака разошлись, и над ним светились, тянули друг к другу лучи звезды, особенно яркие из-за того, что центр остался позади, и из-за того, что осенний воздух холоден и прозрачен. «Да будет гореть для тебя во мгле звездная мишура», – вспомнилось Глебу. Он сунул руки в карманы, нашел взглядом Большую медведицу – огромный, накренившийся, еще немного и прольется, ковш – стал искать Малую, запутался, принялся вспоминать, с какой стороны от Большой она расположена, и в этот момент до него донеслись голоса, а затем тесть с корешем показались в свете фонаря. Глеб влез в джип и зажег фары.

– А мы думали, ты все, – сказал, усаживаясь, тесть, – психанул и укатил.

Кореш ворчал и бубнил что-то себе под нос.

– Куда едем? – спросил Глеб, кивая тестю на кореша.

– А все, – развел весело руками тесть, – ко мне во двор. Павлику оттуда рукой подать.

– Рукой подать, – подтвердил кореш и действительно взмахнул рукой. – Меня к подъезду не надо, чай не барин. Я пройтись хочу.

Тесть посмотрел на Глеба довольно, пожал плечами.

– Домой.

Глеб кивнул, завел мотор и осторожно, поддавая туда-сюда, развернулся, покатился в сторону центра – и долго еще зеркало, совсем недавно отражавшее дом-башню, было черным, с редкими точками огоньков, словно его замазали краской.

На середине пути кореш наклонился к тестю и пробасил заговорщически:

– А давай по пивку, а? По бутылочке?

Тесть, к тому моменту едва ли не дремавший, обернулся на кореша, посмотрел озадаченно. Затем скривился, почесал затылок.

– По пивку-у?.. – он зевнул и клацнул зубом по перстню на мизинце. – Ох, Паш...

– Да давай, – загудел кореш и похлопал тестя по плечу. – Дава-а-а-ай. Посидим во дворе, проводим, так сказать, вечер...

– Вечер! – фыркнул тесть. – Ночь на дворе, рассвет скоро!

Глеб всмотрелся в разбегающиеся перед ним улицы – они были точно такими же, как и... сколько?.. два часа назад. Казалось, время остановилось, и город никогда не проснется – и он, Глеб, обречен до скончания веков возить по ночным улицам тестя с корешем.

– Да какая разница! – наседал кореш. – Курить же всяко будем, лясы точить – не сразу же, блин, разбежимся! А то вот еще и пивка вчепыжим – приятное с полезным.

Тесть заерзал в сомнениях, оскалился и постучал уголком перстня по передним зубам. Потом встрепенулся.

– Паш, так сейчас же хрен где купишь!

Кореш засвистел как пробитая шина, замахал руками, смеясь.

– Купишь! Купишь, говорю! – он навалился на спинку Глебова кресла. – Во-он на том перекрестке давай направо, зятек.

Глеб вопросительно посмотрел на тестя, тот пожал плечами, потом мотнул головой – давай, хрен с ним; видишь, зудит у человека?

Когда Глеб свернул, кореш вытянул руку так, что указательным пальцем чуть не ткнул в танцующие под зеркалом перчатки.

– А теперь во-он к тем ларькам.

У пустой, похожей на коробок автобусной остановки светились, прижавшись друг к другу, ларьки – в которых сам Глеб не раз покупал ночью пиво, если с друзьями оказывался неподалеку. Глеб подкатился к остановке и заглушил мотор.

– Я мигом, – сообщил кореш.

И замер, уже ступив на асфальт, обернулся на Глеба.

– Тебе братъ?

– Нет, спасибо.

– Зяте-е-ек, – протянул разочарованно тесть. – Ну ты чего? Выпей с дядьками по бутылочке.

Глеб начал было вяло отнекиваться, врать про ранний подъем, но тесть делал сокрушенный, оскорбленный почти вид – и пришлось согласиться.

– Вот! – и тесть хлопнул Глеба по плечу. – Это по-нашему! А такси я тебе оплачу!

– Да я сам оплачу, спасибо.

Кореш уже гнулся вопросительным знаком перед ларьком, в лицо его из окошка бил свет.

– Пашка хороший мужик, – сообщил тесть. – Шебутной только.

Глеб не ответил.

Кореш оглянулся на джип и показал пальцами – «окей». Потом сунул руки в ларец чуть ли не по локоть и вытянул четыре темных бутылки.

– Себе еще одну взял, – пояснил он, вернувшись. – На дорожку.

Глеб утопил ключ поглубже, повернул, посмотрел в зеркало – пустая, неподвижная улица, даже листва в кронах замерла, даже вот флажок у какого-то крыльца не шелохнется, точно склеен, – и выкатился на дорогу.

И как-то совсем скоро, сам даже удивился – из-за пустых дорог? – въехал через арку во двор тестя, пополз между тесно припаркованными автомобилями, которые стояли и вдоль бордюра, и на газоне, и залезали на тротуар носами.

– Ищи, зятек, – наставлял тесть. – Во-он там, у котельной, мне обычно местечко берегут.

Но Глеб сделал два круга по двору, прежде чем втиснулся между низенькой, точно игрушечной, ауди и стареньким москвичом. Как только двигатель замолчал, тесть ключами дернул с одной из бутылок пробку и торжественно вручил бутылку Глебу.

– Твой дозор окончен! – и предупредил. – Пей давай, сиденье зальешь!

Глеб прижал губой вырывающуюся из бутылки пену, запрокинул подбородок и сделал несколько больших глотков. Пиво было ледяным до такой степени, что вкус почти не чувствовался – а ту кислотину, которая чувствовалась, язык не поворачивался назвать вкусом.

Пшикнули, срываясь с горлышек, еще две пробки – одна укатилась под сиденье – и тесть с корешем стукнулись бутылками, выпили. Затем закурили, высунав сигареты в открытые окна.

– А ты, зятек, не куришь, что ли? – спросил кореш.

– Бросил, – ответил Глеб, выпил еще.

– Ты мне зятка не это самое! – возмутился тесть. – Пацан вон спортом занимается, ручищи видал какие!

– Ручищи как ручищи, – и кореш пожал плечами, выпустил кольцо дыма в окно.

Двор тестя был стиснут новостройками – двенадцать и четырнадцать этажей – и Глебу казалось, что джип стоит в углу огромной коробки, с которой зачем-то сняли крышку. Со всех сторон на него смотрели сотни – тысячи? – окон, и большинство из них были черными, но некоторые светились: белым, желтым, оранжевым, пурпурно-розовым – фитолампа? Глеб нашел взглядом окна тестя – черные, – представил, как темно и тихо сейчас в квартире. Спят собаки, спит теща, спят многочисленные телевизоры, музыкальные станции, кондиционеры и диффузоры.

– Хорошо-о, – тесть отклеился от бутылки и рыгнул, надув щеки. – Как в детстве сидим, да, Паш?

– Много ты в детстве в джипах сидел, – хмыкнул кореш. – За школой пили, на трубах, как бомжи.

– Чего как бомжи? – возмутился тесть. – Своя романтика, трубная.

Кореш фыркнул.

– Романтика! Кто блюет, кто рожу соседу бьет... Шик, ничего не скажешь!

Тесть развел руки в стороны.

– Ну, бывало и такое, да... Так то ж обычное дело.

И они принялись вспоминать – с труб и историй про битье рож перешли на школу и уроки, потом на педагогический состав, одноклассников и одноклассниц, выпускной и экзамены. Потом заговорили про университетские годы, про курьезы какие-то и сложности, связанные с трудоустройством, потом вернулись к школе, в первые классы, в детство, двинулись основательнее в сторону выпускного. Они вспоминали, говорили, то смеясь, то вздыхая, а Глеб слушал их рассеянно, цедил пиво, привалившись плечом к двери, и думал, что пройдет... сколько-то лет, и он сам станет таким же вот мужиком – и тоже будет встречаться с одноклассниками, и вспоминать, и колесить по ночному городу в поисках нехитрых – и довольно унылых, если быть честным, – приключений, потому что когда еще представится случай... Потом он вспомнил теток и подумал, что и Катя его когда-нибудь перестанет быть молодой и красивой и превратится, наверное, в такую же вот тетку, неуклюжую и шумную, с браслетами и вишневой помадой, но будет ли его – *того* его, другого – это заботить?

Окно в квартире тестя озарилось светом, Глеб показал на него.

– Проснулась, хозяйка, – хмыкнул тесть. – Сейчас позвонит.

Он выложил телефон на колено и стал считать.

– Три... два-а... оди-и-ин...

Телефон заиграл саундтреком к фильму с Бельмондо, на экране появилась фотография тещи.

– У аппарата, золотое мое, – бодро ответил тесть и подмигнул Глебу.

Глеб услышал в трубке недовольный голос.

– Сидим во дворе, рахат-лукум моей души, – невинным голосом сообщил тесть. – Ведем философские беседы.

Голос тещи.

– С кем? Ну как с кем? С Пашкой, конечно, с кем же еще?

Он снова подмигнул Глебу и приложил палец к губам – и кашлянул, потому что из динамика отчетливо прозвучали несколько нелестных слов в адрес кореша. Кореш сделал вид, что не услышал, – и продолжил пить пиво.

– Так! – повысил голос тесть. – Спокойнее, дамочка! Договорим и приду!

И он сбросил вызов.

– Красавчик, – одобрительно пробасил кореш. – Раз – и все. С моей бы так не прокатило...

И он принялся жаловаться на свою жену – и жаловался так убедительно, что Глеб даже посочувствовал ему и удивился: зачем вообще жить с человеком, доставляющим столько неудобств?

– Да нормальная твоя Маринка, – отмахивался тесть, и по его реакции Глеб понимал, что кореш на жену жалуется регулярно. – Ну с характером, да. А кто из них не с характером?

Глеб подумал, что Катя – не с «характером». То есть характер у нее, конечно, есть, но – не в том смысле, о котором идет речь.

– С характером! – хохотнул театрально кореш. – С характером! А ты знаешь, что я стабильно трижды-четырежды в месяц в машине сплю? Во дворе!

Тесть помялся.

– Чего так? Выгоняет?

– Выгоняет? – хохотнул кореш. – Не пускает! В голове перемкнет, и если засижусь где-нибудь – все, закрывается изнутри, наглухо! Хоть дверь ломай! Все думает, я баб окучиваю! Уж такой я мачо!

Тесть пожевал задумчиво губу, достал сигареты и закурил.

– Ты вот мне скажи! – полез к нему кореш. – Твоя вот может так? Чтоб дверь закрыть – и ночуй где хочешь! Может?

– Нет, – покачал головой тесть. – В нашей семье такое недопустимо. Ругаться – одно, а это уже...

Тесть обернулся на кореша, посмотрел укоризненно.

– Ну так значит, сам распустил, Паш! На ровном месте такое не появляется! С женой надо чтобы ругань руганью, а субординация...

Кореш усмехнулся криво, отхлебнул пиво, пополоскал его во рту. В этот момент Глеб увидел, как дверь углового подъезда – с квартирой тестя – распахивается, и из нее появляется теща, решительно берет курс в сторону джипа.

– Сан Саныч, – позвал Глеб.

Тесть повертел головой, увидел тещу и крикнул досадливо. А потом процедил сквозь зубы.

– Зятек, тикай. Тикай, пока не заметила.

Глеб замешкался, а потом молча приоткрыл дверь и ящерицей выскользнул из салона. И, не разгибаясь, по-гусиному, расплескивая пиво – спустя несколько шагов додумался зажать горлышко пальцем – заковылял прочь мимо джипа, мимо москвича, подальше от углового подъезда. Время от времени он привстаивал и видел сквозь стекла очередного автомобиля, как теща стоит руки в боки у джипа – и слышал даже, кажется, ее голос.

Кое-где – из-за вылезших на дорожку носами – приходилось пробираться по газонам. Глеб пробирался, выглядывал, прислушивался, поглядывал на окна – увидит его кто сейчас, вот потеха будет – и чувствовал себя, конечно, круглым дураком, но в то же время ему было до того смешно, до того даже весело, как в детстве, до сбивающегося дыхания, что он хотел бы, наверное, чтобы двор никогда не заканчивался – или вообще прикидывал, можно ли вернуться, подобраться незамеченным поближе, чтобы услышать, какими эпитетами одаривает теща кореша – да и тестя, – и как она выпытывает у них, кто это третий сидел в машине, на месте водителя, ведь был же кто-то, она точно видела еще из окна, только не смогла разглядеть лицо. Не женщина ли? А если женщина, то куда она делась? В воздухе растворилась?

Но двор закончился, Глеба втянула под свои своды ярко освещенная, ни одной тени, арка – а затем вытолкала наружу, к тихой и безлюдной улице, примыкающей к проспекту.

Небо на востоке понемногу светлело, но в зените еще было совсем темным, и если не смотреть на восток, могло показаться, что ночь и впрямь бесконечна. Глеб подумал, прикинул расстояние и решил не вызывать такси – застегнул ветровку под горло и пошел пешком, прикладываясь к не ледяному теперь, а просто холодному пиву, поглядывая то на дома с темными – преимущественно – окнами, то на небо, в котором мерцали приглушенно сквозь прорехи в облаках звезды – крошечные, похожие на песчинки или оставленные мелом точки.

Когда впереди, в конце улицы, уже виден был парк – и темный, погасший, рестораник – позвонила Катя, спросила сонно и встревоженно, что происходит.

– Я просыпаюсь, а тебя нет... Смотрю на время...

И всю дорогу до дома – мимо рестораника, через парк, через двор – Глеб, выдыхая бледные облачка пара, гоняя кроссовками листья, разговаривал с ней, рассказывал про ночные приключения – «какие приключения, Кать, скука смертная», – про Большую медведицу, которую хорошо видно с окраины, про тетку, оставившую дома ключи – «но не голову», – про то, как на крыльце у караоке дрались и трепали друг друга за волосы девицы в платьях. Катя злилась и смеялась, обещала поговорить с отцом, потом обещала, что, конечно же, говорить не будет, коли уж он ни в чем эдаком не замечен, а все вопросы к корешу, называла кореша чудачком – и еще по-разному – и говорила, что он был раз у них дома – но они с отцом разругались, и кореш ушел, хлопнув дверью, но забыл свои ключи на столе и потом возвращался за ними...

Оказавшись в своем подъезде, Глеб решил не ехать на лифте, а подниматься по лестнице – чтобы связь не прерывалась и говорить можно было до самой квартиры.

Михаил НИСЕНБАУМ

В СИЛАХ

Песня на склоне

Мы жители Помпей году в семидесятом.
Мы слышали жреца – сулит который год:
Нахлынет с неба бог, плеща огнем косматым,
расплавленным свинцом рот городу зальет.

Мы сами видим дым над ближнею горою,
ступнями слышим гул и чуем серный смрад,
но есть и среди нас бесстрашные герои,
плюс поспевает хлеб и зреет виноград.

Да, несколько семей переезжают в Рим,
иные в Тир плывут, а кто-то в Иудею.
Ну не безумье ли бежать в Ершалаим,
куда огонь падет быстрее, чем в Помпеи?

Мы знаем, как тучна удобренная пеплом
помпейская земля, как щедр приплод олив.
До моря два шага. На небосклоне светлом
ночами блещет лед, нас смехом звезд залив.

В палестре крик борцов, в театре ставят Плавта,
пьют лары в уголке столетнее вино.
От дедовских могил отчалив, аргонавты
сбегают от огня и ищут жар-руно.

Нет силы выбирать одно из двух безумий,
и так ленивы дни, когда болит душа!
А мы сидим и ждем, когда рванет Везувий.
Слегка дрожит земля, погодка хороша.

Михаил Нисенбаум родился в 1962 году в Нижнем Тагиле. Работал художником-оформителем и маляром, был учеником и секретарем проф. А.Ф. Лосева, двадцать лет преподавал латынь, занимался редакционно-издательской деятельностью. В настоящее время читает лекции по истории искусства, участвует в экспедициях по Русскому Северу, снимает документальное кино. Рассказы публиковались в журнале «Октябрь». Автор нескольких книг стихов и прозы.

Разговор с Ноем

Когда все в мире пошло не так?
Есть мнение, что на ковчег
тайком с другими прокрался враг,
и, в общем, спасли не тех.

Гремучей рептилий, коварней гиен,
жестоковейней осла,
он плыл с другими и ночь, и день
и ждал, что утихнет мгла.

Когда же вынесли воды ковчег
на зимнее темя горы,
сошел на берег враг-имярек
в соленых ризах седых.

И всех, кого казнящей волной
не скрыло в утробе морей,
спасешь ли ты, прародитель Ной,
от нас, твоих сыновей?

Тобой спасены убийство и мор,
неправый суд и война,
неистовость вер, клеветы задор,
вся пагуба спасена.

Тут мокрой от брызг морских бородой
кивнул, прищурясь чуток,
и мне отвечает праотец Ной:
– Взгляни пошире, сынок!

Гуляет в каждом из нас ад,
его не зальешь водой,
и бездны в наших душах бурлят
непоправимой бедой.

Но черт побери, осанна, виват! –
простите мне мой иврит! –
в каждом из нас есть свой Арарат,
оттуда улетный вид!

Там каждый миг драгоценен, как жизнь,
там мил каждый божий цвет,
там люди очнувшись за ум взялись,
и розни меж ними нет.

Там лечат больных и любят детей
по-райски сады растят,

там нежно дружат араб и еврей,
ей-крест, уж поверь мне, брат!

Там миром все сочиняют псалмы,
ковчеги, стихи, города,
там вместе не хуже, чем порознь мы,
такая вот ерунда.

Там люди, пожалуй, не злее зверей,
не хуже цветов, ей-ей!
Спасемся все вместе мы, слышишь, брат? –
причаливай – вон Арарат!

– Но в мире по-прежнему все не так,
и кто на ковчеге чужой?
И что тот ковчег – «Титаник»? Барак?
Скажи, прародитель Ной!

А твой Арарат – не гора ли льда,
в какую врежемся мы?
И кто спасется, доплыв туда
сквозь волны, войны и тьмы?

Спуская трап, праотец молчит,
его загадочен вид,
власы развеваются на ветерке,
топор наготове в руке.

Стакан. Весна

Горящих радуг след,
в стакане замерев
с водой,
ты преломляешь свет –
так преломляют хлеб –
со мной.

В силах

Змей воздушный с узким лицом
рвется бежать за ветром-отцом
по сквозняков июльским волнам,
льнет к бестелесным льнам.

А на другом конце бечевы
мальчик летит через дрожь травы,
змея выгуливая налегке,
повод сжимает в руке.

Кто и кем управляет здесь –
свет насущный даждь нам днесь:
змей человека за небом ведет
или наоборот?

У человека в руке поводок,
но он за змеем бежит со всех ног.
Может, ветер, отец-поводырь
тянет их через пустырь?

Или главное та, что следит,
как легкий змей к облакам летит,
девочка, ради нее что есть сил
мальчик вперед припустил?

Взгляд сейчас я перекрою:
именно так и было в раю –
мальчик, девочка, тот же змей
с узким лицом меж ветвей.

Мальчик несется, змей летит,
девочка за полетом следит.
Кто бы ни управлял тут и кем –
так устроен Эдем.

Ирод

Приходит Ирод помолиться в храм,
воздвигнутый по царскому велению.
Жрецы смиренно жмутся по углам,
клубится дым смолистого куренья.

Охрана вносит царские дары:
треножники, кадила, кубки, чаши.
Хор мальчиков, молчавший до поры,
вовсю блажит хвалебные пассажи.

Царь бледен, хмур, он встал не с той ноги
и морщится от утренней изжоги.
Как ни молись, всё множатся враги
и снова нужно повышать налоги.

Как ни молись, всё должен сделать сам:
судить, казнить, предупреждая козни.
Что следует, воздаст он небесам,
не ожидая милости господни.

Кто там вопил: «кровавая резня!»,
«убийца Ирод», «бедные младенцы!»?
Рожали и рожают для меня,
поют осанну – а куда им деться?

И где тот царь, кого на смену мне
сулили полоумные пророки?
...Похоже, дело в греческом вине –
откуда б взяться чертовой изжоге?

Не знает Ирод: года не пройдет,
он кончит жить, и распадется царство,
а мальчик, что рожден в кровавый год,
создаст однажды новой веры братство,

других молитв подымется трава,
и царств иных расчертятся границы,
в капкан короны новая глава
защелкнется и страхом облучится.

Хоть будущее для царей темно,
темней, чем для пророков-отщепенцев,
а все ж понять и Ироду дано:
не стоит, Ирод, убивать младенцев.

2021

Ресницей падает звезда
над Вифлеемом,
и скачут всадники туда
под зимним небом.

Косил с оттягом високок
поля и гривы,
и напоследок все срослось
ох как игриво:

копыт ли стук иль по кресту
на всю пустыню.
Не Вифлеемскую ль звезду
зовут Полынью?

Нет ни единого огня
в промозглом мире,
не видно: скачут три коня
или четыре.

Малая Каргопольская ода

Каркают доски
черных шатров,
дождь кропает
духовный стих.
Жарко-plosки
перья костров,
персты пылают
гроз молодых.

Здесь на стволах стоят облака –
соборы стоглавого борщевика,
марганцем мреет в полях кипрей,
тайная грусть киприды моей.

Верфи развалин, угли домов,
катятся камни черных дымов,
норд по озерным шьет зеркалам
отраженья ватным крылам.

Плату солью
взывает пусть
власть-москова
за свободный путь.
Празднует волю
беглая Русь,
плавит слова
колдовская чудь.

Чахнет розой белая ночь,
чайки чеканят крик во всю мочь.
Плачет живицею божий сын:
час до Голгофы – подарок ФСИН.

Бегство в огонь, взгляд через край,
шаг в красоты ненадежный рай.
Ради каких несожженных крох
выручит нас опаленный бог?

Может, нас соберет он здесь
под журавлиных свистулек песнь
и из Египта вновь поведет
пестрый, глиняный наш народ?
или по кругу опять побредем
глаз остекляя онежским льдом
через пустыни узорных бездн
по бездорожью пустых небес?

Юрий КИТАЕВ

ЗИМНЕЕ УТРО

Рассказ

У Пантелеева было много книг. А кроме того он пил. Пьющему человеку жить трудно, а Пантелеев пил сильно.

Утро началось как ни в чем не бывало. Очень маленький кошмар. А кроме того Пантелеев вспомнил, что накануне встретил Прекрасную Даму. Такая веселая добродушная рыженькая стерва, жрица минутного, все обещающая, на все готовая. От обещаемого, ожидаемого, сладкого и неминуемого было светло и легко. Правда, пока еще ничего не произошло, всякие пустяки мешали, препятствовали, заставляли откладывать... Но все было впереди. Собирались даже ехать в Крым. Пантелеев уже видел жаркое южное солнце в пыльных окнах вагонов.

И еще много было прекрасного и приятного накануне. Ему подарили кучу замечательных книг и предложили хорошо оплачиваемую и необременительную работу.

Где это было? Пантелеев усиленно вспоминал. Вскоре догадался: это могло быть только во сне, *потому что больше я нигде не был.*

И все равно было еще легко и прекрасно.

А потом охватил страх. Нет, это был не тот страх, который терзает бедолаг сутками и более по выходу из запоя, темный, безотчетный, панический, когда даже в полдень стараешься подальше обойти прохожих на улице: для такого страха время еще не настало, Пантелеев был еще порядочно пьян. Сей утренний страх был понятен. Он знал, чего боялся. Это был страх нетвердости памяти.

Пантелеев не был богат. Да и часто ли наши пьяницы бывают богаты? Более того, он был беден. Правда, он работал, служил (инженером) и получал ежемесячно жалованье. Но что это было за жалованье! Денег в доме хронически не хватало, до скуки и тоски не хватало.

Пантелеев, впрочем, привык к своей бедности и сносил ее относительно кротко, но на сей раз это уже ни в какие ворота не лезло, это было уже совершенно непонятно что... Катастрофа...

Дело в том, что накануне он получил свое это самое жалованье и даже немного больше, чем обычно, а вот теперь, утром, никаких денег обнаружить не мог. Того, что нашлось, могло хватить, чтоб раз или даже два выпить и забыться, а дальше что? Вопросы возникали неразрешимые.

Он еще надеялся, разумеется, свои деньги найти, но искал и не находил, и чем дольше не ходил, тем страшней и беспомощней ему становилось.

Некоторая схема в его голове все же складывалась. Но ни утешения, ни облегчения она пока не приносила. В сущности все, может быть, могло быть очень просто. Бедный Пантелеев не слишком доверял своей жене и не совсем напрасно: уже случалось ему по милости любимой женщины оставаться в совершенной нищете (непохмеленности) и наедине со своими *естественными страданиями*, да, к слову сказать, он и себе самому не слишком доверял. Так что накануне, вернувшись, разумеется, пьяным, он мог спрятать деньги, чтоб ей нипочем не найти. Спрятал и забыл где. И теперь, утром, найти не мог. Ни в каких мыслимых местах денег не было.

Вот и явился этот страх, гнусный и липкий, страх больного и бедного человека: вдруг он и не спрятал нигде, а просто, будучи малосознателен, просто потерял навсегда?

О, эти темные вечерние пьяные зимние улицы... Где ходил, зачем?

Юрий Китаев родился в Москве, работал инженером, слесарем, учителем и др. Публиковался в журналах «Топос», «Знамя», «Нева»; предыдущая публикация в «Волге» – «Жалобная книга» (№ 5-6, 2023).

Если я потерял, значит кто-нибудь найдет. Кто-нибудь. Непременно... Непременно... Что ж... И это утешительно... – лихорадочно соображал Пантелеев, на самом деле утешаясь слабо.

Было раннее утро. За окном темно. Жадно допив оставшиеся со вчерашнего вечера глотки (крепленное вино, чуть меньше стакана), Пантелеев отчасти ожил и снова искал. Страх расширил свои пределы. Пусть даже не на улице, пусть даже здесь... Если так спрятал, как потерял?.. То есть когда-то найдется, наверно, но это уже все равно... Дело даже не в том, будет ли он жив тогда, когда найдутся деньги, нет, все было проще, деньги нужны были непременно сейчас: праздники приближались... Да и семья... Да и вообще – должны же быть в доме хоть какие деньги... Занять у кого-нибудь? Это было бы, может быть, замечательно, только, увы, нигде было занять: у всех, у кого можно, было уже занято и до сих пор не отдано, Пантелеев еще и с этих денег хотел хоть половину отдать... А их нет как нет. Но главное – праздники, праздники... Подарки детям... Ни конфет, ни пряников... Дети-то чем виноваты... А денег нет как нет.

В берлоге у Пантелеева было очень много книг, но очень мало порядка. Книги толпились на полках как попало, как умели, грудой лежали на столике, на полу, на подоконнике. Внутри, краем памяти Пантелеев помнил, что в какую-то из этих книг он и заложил между страниц деньги... Но в какую? Те, которые близко и на виду стояли, он проверил. В них не было.

Пантелеев сидел на полу и то нервно дрожал, то немного успокаивался.

Память, память... То сравнивают ее с лесом, то с полем, и никто, кажется, с быстротекущей водой...

Пантелееву случалось и прежде прятать деньги в книгах: и никому невозможно найти, разве перетрясти все, и сам он, ему казалось, всегда мог вспомнить: по литературным ассоциациям...

В голове Пантелеева причудливо кружилась и вращалась клочковатая пьяная дурь.

Было время смешивать и мешать, настало время разделять и властвовать... – бормотал он сам себе. – Ах, какая хорошая была до этого жизнь (не ценил, дурак), какая невыносимая стала... Он посмотрел на часы. Пять минут только прошло... Только!.. Пять минут это же страшно много!

Вялость и нерешительность овладели им.

Листая, просматривая, перетряхивая книги, Пантелеев выхватывал строчки, Случайно и по-неволе читал:

«Женщины, дети, облака. Белые общепитовские тарелки. Дохаживающая беременная в белой куртке и клетчатом платье, медленно идущая в магазин, останавливается и внимательно поправляет потревоженное ветром это самое клетчатое платье... Город, улицы, люди... Стекла, камни, металл... Злой зеленый Кузовов на коне на одноименном проспекте...»

Что за бредовые попадались книги! разве могут в таких оказаться деньги? Разумеется, нет. Бедный пьяница все же еще почитал немного:

«Это настройка рояля. Я настраиваю рояль. Белые облака халатов. Белые халаты облаков...»

Белое, белое... Уж не была ли у меня горячка? – Пантелеев встревожился. – Как будто нет. Книжка была, как книжка. Облако на облаке. Название: *Ближе к небу*. Автор: *Жан Дув*. Издательство: *Архетип*.

Пантелеев лег и снова грезил: В книгу заложил... Закладки, заклады, закладывал... Родион Раскольников тоже закладывал... Только не деньги в книжку, а вещи старухе... А потом старуху убил. Бедный Раскольников. Старую старуху убил, и сколько лет его по поводу и без повода поминают... И сколько еще будут поминать... И правильно. Потому что нельзя убивать... Нехорошо это... Да и не нужно совсем... Потому, собственно, и нельзя, что не нужно...

Вспомнилось Пантелееву, что и у Дмитрия Карамазова во французском лексиконе тысячный билет был заложен...

На всякий случай заглянул в Достоевского. И там ничего.

Пантелеев раскрыл и раскрыл книги. Нелепые мелькали страницы:

«Черного (темного) в моей жизни гораздо больше, чем белого (светлого). Я это постиг, обнаружив, что светлые брюки на мне гораздо скорее мараются...»

«... Они в мире живут с собой и в согласии. А я нет. Я не в мире и не в согласии... Я – нерв...»

Деньги не находились. квартира между тем начала оживать. Ребенок собирался к исповеди. Пантелеева не замечали. Он читал:

«Нет, я не скажу вам “верь”, как говорят проповедники, и не скажу “люби”... Что пользы, что под влиянием проповедей люди в лучшем случае осознают необходимость любви и веры – ведь осознание это еще не вера и не любовь – в этом деле сознание бессильно. Должен совершиться некий органический процесс в такой области, где действуют стихийные силы, в области воли...»

«Всех, всех нужно любить... И не только тех, кто слабее (что естественно), но и тех, кто сильнее... Богаче, удачливей... Потому что они тоже очень слабы в сущности...»

«Не было гражданской войны между белыми и красными (и зелеными, и анархистами, и кем угодно), была гражданская война внутри каждого отдельного человека...»

Пантелеев снова вспомнил про Митеньку Карамазова. У него были деньги во французском лексиконе спрятаны... Может быть, и я... Он потянул с полки словарь. Раскрыл, вытряс. Пусто.

На титуле прочел. Авторов было семь человек. Агапов, Антонов, Чемоданов, Баранов, Ильин, Розенберг. Пятьдесят тысяч слов. Всего. Больше все всемером ни одного слова не вспомнили... А может быть, больше уже ни одного и нет? Пантелеев загрустил. Неужели вся наша жизнь (или хотя бы все, что о ней, все, что в словах) в справочниках, энциклопедиях и словарях заключена и упрятана? Неужели этими только пятьюдесятью тысячами все на свете можно выразить и описать? Какая беспросветная и страшная замкнутость и ограниченность!..

Ох, как нехорошо иметь такие мысли утром и с похмелья! Бедные мы!

Ребенок собирался к исповеди. Старший ребенок у Пантелеева был уже довольно взрослый школьник. Сборы происходили шумно и трудно. Это напоминало игру *«Ну-ка разбуди»*...

На Пантелеева никто не обращал внимания. Верно, думали, что он все еще спит, пьяный, а он не спал. Он тоскливо сжимал руками голову: что делать?

Первое желание его было вполне естественно и разумно: немного отдохнуть, постараться успокоиться и дожидаться девяти, когда откроют овощной магазин. Этот овощной стоял немного в стороне от общих караванных путей, его не все знали, и там довольно хорошее вино довольно дешево можно было купить.

Хлопнула входная дверь. Ребенок ушел в церковь... Пантелеев вспомнил, что сам он исповедовался не очень давно, кажется... Нет, нет... Очень, очень давно... Добрый батюшка все спрашивал тогда: бросишь пить? Обещаешь?

А он только обещал: Постараюсь... А потом сам для себя неожиданно вымолвил: я, батюшка, блудными мыслями паче, чем пьянством, грешен...

Добрый батюшка не хотел говорить ему грустное, но сказал:

– Тебе ведь, если не переменишь свою жизнь, мало-мало ее осталось...

А Пантелеев нагл был и идя из храма думал, что батюшка вовсе не рисковал солгать ни в каком случае: здесь всегда мало, всегда быстротечно...

Отдохнуть, а главное немого успокоиться неожиданно легко удалось.

Даже если потеряны, даже если все деньги, даже если все деньги – это все равно не самое страшное.

Пантелеев старался думать обо всем возвышенно и отвлеченно, как о суете, как о проходящем. Суета сует и всяческая суета...

Но все равно надо было искать. Только делать это, решил Пантелеев, надо спокойно и методически...

Но книги на полках и вообще вокруг в полном беспорядке стояли, лежали, даже валялись.

Перебрать все? Это было совершенно невысказанно. Тем более что сделать это надо было в один день: праздники, и дети подарков ждут, и не виноваты же они... И как он на них посмотрит...

Пантелеев снова приступил к розыскам, беспорядочно хватал то одну, то другую книгу:

«Угулбек (астроном) был внук Тимура (тирана и завоевателя)...»

«Была зима. Наши освободили деревню. Над сельсоветом вывесили алый флаг. И дети утром на мертвых немцах катались с гор: “Вези, родимый!”».

А в русском приложении к адаптированному французскому Мольеру он прочел в примечаниях:

«Le moufti, moufti, муфтий – ученый-богослов в дореволюционной Турции».

Ага! Значит и в Турции была революция!

Денег не было.

Не будет денег, скрипело в башке, и ничего не будет...

Тихо прошла по квартире жена. Пантелеев затаился. Зашумела в трубе вода. Жена вернулась и легла снова. Они спали в разных комнатах: жене было тяжело его пьяное поведение.

Пантелеев вертел в руках пустой стакан, и мысли, тревожные и неумеренные? шли и шли в голову: что же это со мной происходит?.. До чего я дошел? И почему так скоро?.. И чем это может кончиться?

Ничего хорошего происходящее не предвещало.

Провалы памяти. А где я был, когда не помню где?

Стало вспоминаться детство. Та же глупая бедность, гордость бедности, стыд бедности... И не стыдно было, что есть хотелось, а стыдно было, если заметят, что есть хочется... Гречневая каша и сухой пирог... Деревья за окном... Родные и близкие. Товарищи во дворе.

Пантелеев гнал он себя это. Непрошенные воспоминания напоминали подведение итогов. А подведение итогов это такая тоска.

Снова шли сами собой в голову мысли. Голые. Грязные.

«... Когда я уже совсем плохо буду помнить... Тогда... Цитрончик. Паровозик. Шарик...

Я напрасно это изучаю,

Все равно я это все забуду...»

Пантелеев попытался найти для себя в себе хоть какой-нибудь утешительности. Разумеется, это будет легче, когда он немного выпьет. Но тогда труднее будет искать пропавшие деньги... Поиск утешительного мешает поиску денег. И наоборот.

Дилемма. Диалектика. Дерьмо...

В голову полезли слюва на «д»: дура, дыра, дым, двойка....

Пантелеев просмотрел и перетряхнул еще несколько изданий, мимоходом читая, вернее, выхватывая по несколько строк.

«Была скала. Она спала».

«Жили были две девки: Быль и боль».

«Пахло чем попало».

А что если в содержании книг, в их словах и смыслах найдется какой-нибудь ключ или код, который поможет проникнуть в тайное тайных его пошатнувшейся памяти?

Открыл еще одну и прочел.

«А не имеет ли расизм под собой почвы диалектической? Может быть, расистские чувства и наклонности лишь некое скрытое ощущение расовой невозможности белому стать черным, а черному белым?»

Кода, ключа, смысла явно не чувствовалось.

Из некоторых книг выпадали закладки. Когда-то Пантелеев, дочитав до некоторого места, оставлял их, да так и забывал дочитать. Или отмечал закладкой особенно приглянувшееся ему место. И тоже забывал. И теперь вот они выпадали. Тонкими белыми лентами или змейками, извиваясь, падали на нечистый пол.

Пантелеев побрел в ванную. Из зеркала на него глянуло лицо, перекошенное гримасой боли, тоски, стыда и отчаяния.

Пантелеев вернулся. За окном побледнело. Может быть, это уже называлось рассвет?

В самом деле, было уже почти светло. Было как в женской бане: бело и розово. Утро.

Пантелеев кинулся на улицу очертя голову.

На ходу в его мозгу произвольно вертелись какие-то образы, сюжеты из этих самых читанных когда-то книг, одна из которых, может быть, теперь прятала и хранила его немногие, его необходимые, его бедные, насущные деньги...

...Солнце село... Нет, он легло... Нет... Что-то не то. Чехов. Каштанка... Собака Каштанка откликавшаяся на кличку Тетка и на кличку Талант... И пахло столярным клеем.

Еще пришел в голову Горький. Детство Ильи.

Это несомненно лучший рассказ пролетарского писателя.. Содержание незатейливо. Мальчик проводит лето, работая помощником мусорщика. Они вдвоем роются в помойках и там находят нечто, что иногда удается продать (утиль), а один раз мальчик находит даже серебряную ложку... И мальчику по душе эта жизнь. Он счастлив. Но – лето проходит, и мальчик не знает еще, что это была лучшая пора его жизни, что не будет больше никогда у него ни такой свободы, и ничего такого, и вообще ничего такого хорошего... Никогда.

Пока дошел до магазина Пантелеев вспомнил еще один рассказ не любимого им воообще-то писателя Горького. Но это был хороший рассказ. Он был назван именем женщины, кажется польки, но имени он вспомнить не мог. Баба была неграмотна и прислала некоего молодого человека писать за нее письма некому, кажется, Янеку. Он писал ей письма, писал... А некоторое время спустя она попросила его, – он долго понять не мог, чего она хочет, понял – удивился, ужаснулся: чтоб он ей непосредственно как адресатке написал письмо: от этого самого Янека, которому она писала и который был, оказывается, лицом воображаемым, мистическим... Просто ей хотелось писать кому-то письма, и чтобы этот кто-то тоже ей отвечал... Такое вот лютое одиночество.

Пантелеев закурил и больно закашлялся. Ему тоже было одиноко и хотелось любви.

Железная дверь магазина показалась мучительно тяжела. Он был первый, может быть, из покупателей в маленьком темноватом зале.

Продавищица в синем халатике стояла к нему задом. Разговаривала с кем-то внутри. И в это время из соседнего отдела ее громко позвали: Ванда! Она обернулась, и тогда Пантелеев сразу вспомнил, как звали женщину из рассказа Горького. Ванда. Ее именем и был назван рассказ. Хотя зачем, собственно, ему это было нужно? Книг мятежного буревестника он в доме не держал, следовательно денег там быть не могло.

Мечтательность, праздная мечтательность – вот что меня погубило и неуклонно продолжает губить... Зима...

Пантелеев приобрел вино и брел с ним назад. Идти, не выпив немного дорогой, было глупо и скучно, а главное – непривычно. Пантелеев выпил. Мир вокруг заблестел немного. И снег, и дома, и даже вороны на снегу – все стало немного красиво.

Грехи мои не в том, а в том...

Выпитого хватило забыться и уснуть. И еще осталось немного.

Но теперь пробуждение было немедленно тягостно: и страх, и отчаянье, и не было ответа на вопрос «Что делать?».

Позвать? Объяснить жене, чтоб вместе искать? Передать полномочия? Нет, это было невозможно. Среди книг попадались весьма нескромные (немного, правда), а она таких не любила.

Литературные образы и картинки шли в голову сами собой, притом кошмарные (он свои дурацкие книжки еще и читал иногда, не просто так стояли). Он, как в «Голоде» Гамсуна, третий день грыз одну деревянную щепку. Нет, он не потому ее грыз, что других не было, щепок-то было сколько угодно. Просто на третий день она все более разгрызалась и усваивалась.

Пантелеев вглядывался в ряды книг, сердцем пытаясь угадать которая. Взял несколько наугад, перетряхнул. Ничего. Никого. Ноль. Только из Ломоносова кокетливо выпорхнула открытка с артисткой. Перелистал Ломоносова: «Песчинка как в морских волнах...» Как ни странно, показалось утешительно.

В старом журнале напал на странный рассказ. Стал читать, хотя буквы вертелись и прыгали:

«Ленинград как средство от бессонницы, или Комсомольско-молодежный рейд по проверки правильности теории тов. Зигмунда Фрейда

Там, за окном, снег. Маленькая-маленькая метель.

Мы сидим у окна на кухне, пьем чай и кушаем друг друга. Так могут кушать друг друга только очень любящие друг друга люди.

“Человек состоит из мяса и костей” – так было написано в одной умеренно умной книжке. Возможно, так. Но сказано было прежде: “Тяжко мясу без мяса” (старинная сербская поговорка).

Но это неправда (первое утверждение). Человек состоит из двух приблизительно тысяч рыб, каждая из которых (в том и беда) совершенно не знает, куда ей плыть.

Но большая беда в том, что и я совершенно не знаю, куда хотела бы плыть малейшая из сказанных рыб...

...Ну, и что с того, что индийский слон выглядит не в пример задумчивей африканского?

... Любимая, она была с глазами в пол-лица...

А я? А я был прост и кроток, как игла адмиралтейская.

Тройка, семерка, дама...

А были и другие женщины. В Ленинграде. Несчастные, каменные... В Летнем саду. А знаете ли вы, что из тех каменных баб самая худая, естественно, Истина, а самая статная и крупная Юстиция (по-русски – Правосудие)?

Я ли кружил по городу, город ли вертелся вокруг меня? Не знаю, не помню. Летом.

Говорили: время идет.

Это непонятно. Куда идет?»

Бред какой-то. Псих или пьяный писал.

Заглянула жена. Так, ничего. Поговорили. Пантелеев улыбался вяло и неестественно. Жена не обратила внимания. Подумала, известный синдром.

– Я, – сказала она, – когда ты спишь, к тебе и заходить боюсь: то ли ты живой, то ли нет.

– Просто я очень хорошо в это время сплю. Сны совершенно как наяву. Только гораздо ярче.

Жена ушла. Пантелеев почитал еще немного. Из другой, из исторической книги, про эпидемию:

«Иностранцы, свидетели сего бедствия, сообщают две особенности:

1. Везде гибло молодых людей больше, чем старых.

2. Везде, где зараза миновала, род человеческий необыкновенно размножился: сколь чудесна природа, всегда готовая заменить убыль в ее царствах новою деятельностью ее плодотворной силы!»

Пантелеев лег. В голове была какая-то стеклянная ясность.

Он не был ленив. Когда лежал, то только по причине своей болезни.

И теперь лежа он вспомнил, как в детстве, если он долго не вставал, бабушка в шутку звала его Ильей Ильичом, имея в виду Обломова.

Не вставая, допил вино.

Очнулся он поздно вечером. Рассказал жене.

– Можно я сама посмотрю?

Пантелеев махнул рукой: Давай!

А сам снова ушел на холодную темную улицу.

Мне, думал он, гуляя, то и дело хочется поехать, уехать куда-нибудь...

На это мне говорят: от себя не уйдешь... А так ли?..

Когда он вернулся, все было кончено. То есть все кончилось хорошо. Деньги женой были найдены и более или менее справедливо поделены.

– Где? – притворно яростно кривя повеселевшую пьяную морду. – Где? Скажи, кому я доверил, а он не отдал... Изорву в клочья!

Оказался Чехов. Записные книжки. Том 17, с. 78:

«Женщина с деньгами. Всюду запряты деньги. И на шее, и между ногами».

Разумеется, 17 том Антона Павловича он в клочья не разорвал.

Засыпая, умиротворенный, думал: А что? Так и живем: в ежедневных заботах о хлебе насущном, и редких-редких о благе душевном...

Сергей СОЛОУХ

LOVE INTERNATIONAL

Глава из новой редакции романа

Борьба с собственным текстом – естественное для художника занятие. Не беллетриста, отработывающего задачу и соответствующего канону, а естествоиспытателя, ищущего смысл, ну, или бессмыслицу. Прекрасный наш, правофланговый граф, Лев Николаевич, не мог спокойно видеть своих букв. Лишь попадутся на глаза – сейчас же и перепишет. Слегка не наш, но тоже немисливо прекрасный Ивлин Во взял и переделал «Брайдсхед». Да. Огорчился из-из внезапной популярности и спроса на первое издание, решил, что это признак какой-то фальши, и вот – готово. Вторая редакция. Новый вариант. С тех пор только его и знаем.

Не минул и меня удел поэта, исследователя мира и души. Поскольку то, что виделось мне явным и понятным в моем романе *Love International*¹ 2021-го, вдруг обнаружилось, читателю таким не обязательно и кажется. А то, что из разряда как раз изящного намека или же умолчания для меня, наоборот, кричит почему-то и, главное, как-то не так у всех других. И я решил вернуться к тексту. В результате в нем не только появились тут и там стихи и песни, но еще и новая глава. Хорошая, большая. Настоящая. И девушка, до того лишь определявшая и направлявшая судьбы и жизни двух главных персонажей, сама стала третьим главным героем. Но, что важнее, связала все и всех. Огнем и страстью.

В общем, я думаю, Лев Николаевич бы одобрил. Надеюсь и вы, вы тоже, верные и неизменные мои читатели. Тем более, что сама глава перед вам. А новый вариант романа в процессе подготовки к публикации.

Впервые в жизни, среди своих, на митинге Сашу Кляйнкинд тошнило... среди флажков и ленточек, среди прекрасных лиц и слов, на свежем воздухе... в организме девушки накапливались... зрели и поднимались рвотные массы...

Прямо перед Сашей, на расстоянии всего лишь вытянутой руки, ленивого плевка, вполсили... бабка... в очках... в чудовищных очках с толстыми, жирными, сально блестящими на солнышке стеклами выкусывала из мяса живого, парного, еще теплого чебурека красно-желтые икринки... кусочки тыквы...

– Это очень, очень полезно... – при этом она еще мораль читала, когда не губами лезла в дрожащее, слово у рыбы, от носа до хвоста распоротое чрево желтого чебурека, а пальцами... с ногтями цвета мерзких... сиреневых... педагогических чернил...

– Как ты не понимаешь, Гриша, это же витамины... это же железо, магний, фосфор, кальций, калий... самое ценное... а мясо... что мясо... пустой белок... к тому же в данном случае полностью уже денатурированный...

Между тем, мальчик у шелестящей, волнующейся юбки бабки... маленький... лет шести, наверное, или пяти, с лицом, потухшим от неизбывной безысходности... с привычной... тупой тоской смотревший в небо, хотел именно этого самого... пустого и денатурированного... мяса...

– Бабушка, – повторял он с обреченным видом, с видом давно убитого и похороненного – Бабушка... не покупай, пожалуйста, больше узбекских... которые с железом... покупай, пожалуйста, только московские...которые с белком... пожалуйста, не покупай больше с железом...

¹ Сергей Солоух. *Love International*. М.: Эксмо, 2021. – (Русский Декамерон. Премияльный роман) – 352 с.

– Но это же настоящие... – долдонила свое зануда с глазами, плавающими в жидком стекле толстенных линз, – узбекские настоящие... а московские ненастоящие... а эти настоящие... и очень полезные для пищеварения...

– Я не хочу полезные... я не хочу с красными червячками... я хочу вредные без червячков...

– Я сейчас всех червячков уберу... уже не осталось... – сдаваться и не собиралась клуныя в самошитом платье и самовязанной летней шали-неводе... крупноячеистой... настырная, диктующая, требующая... вся правота и ясность... какого-нибудь нии...гипро- и гидро-маша... зубами, пальцами, и даже, казалось, носом, продолжавшая орудовать в безжалостно раскрытой миру требухе, чудовищные ее очки с перископическими, танковыми линзами ныряли и выныривали из слегка еще дымящейся утробы чебурека и от этого казались еще крупнее, жирнее и маслянистее.

Саша Кляйнкинд ничего не ела со вчерашнего дня, и пытку, которой подвергался ее несчастный организм, бесконечно отягощало и усиливало отчаяние... отчаяние и понимание полной... абсолютной безнадежности... Вырвать из рук внучка... из пасти мелкого... похожего одновременно и на моль... и на почиканный ей же самой носок... этот... едва надкушенный, лишь только-только сок сладкий давший чебурек, Саша могла... она была готова... но после очкастой бабки... и всех ее чудовищных манипуляций... прикосновения пальцев и омовений слюной... нет... невозможно... никогда...

И Сашу тошнило. Сводило скулы что-то кислое и едкое. И голова кружилась.

Когда-то она очень этого хотела. Именно этого. Простого токсикоза. Обыкновенной беременности. И эта мысль... воспоминание тоже лезло в голову... замешивалось в общий набор... в калейдоскоп дня...

Природа пышно увядала,
Нога Петрова усыхала
И локоток стоял сучком
На древе жизни молодым

Поэт писал много, необыкновенно много, легко, красиво, ярко, особенно сейчас, но это было первое стихотворение, которое Саша услышала в его собственном исполнении. Живом. Из этих уст... этих же самых, что она видела сейчас, поверх голов, очков и чебуреков, там, на импровизированной сцене, возвышении, среди прочих, похожих на чаек, галок и просто ворон, крылья раскинувших или сложивших под саблей, кнопкой или сушеной сливой носа. И только у Кирилла был греческий – прямой и тонкий... и губы как молнии... не птицы спящие, усталые...убитые... а быстрые, подвижные как две искры... как электричество в чистом его виде...

Даже когда он молчал... Ничего более выразительного Саша в своей жизни не видела... Губы молчащего Кирилла Рыкова. И на том давнем вечере в музее Маяковского... На который ей не слишком хотелось идти... Орден авторитарных чинаристов...

Какая глупая претенциозность.

Конечно... Саша знала, что когда-то... сто лет тому назад... в пору учебы Рыков принадлежал этому странному кругу... этим манерным и неверным людям из Литинститута... вычурным и неестественным... Но с тех... с тех пор он... Рыков... стал другим... совсем другим... самым простым, ясным и точным на этом свете... глашатаем, символом... маяком... буквально... ее собственным го-лосом...

Сложились уши, руки пали,
Ножки свернулись в две спирали,
Закрылся пуп как рыбий глаз
И в рот отправлен про запас.

Но поразительно, что запомнилось, запало в душу, как в детстве западали моментально строки матерных частушек, услышанных случайно во дворе, краем уха... как запоминались гадкие

анекдоты, рассказанные быстрым шепотом на ухо в классе, мгновенно, сразу... навсегда... самое стыдное... именно это стихотворение... из его давних... из его старых... из очень, очень древних... из тех, что он не читает больше нигде и никогда... и лишь для них... чинариков и чинарей... авторитарных-мажоритарных... но в сущности, бездарных... позеров-больше-ничего... стишок в той форме, которую они могли... обязаны были понять... примерить на себя...

В багрец и золото оделся хобот,
Грудь опоясал крепкий обод,
Стал виться копчик как вопрос
И словно ключик запер нос.

Прекрасно так преобразившись,
Зеленым теплым мхом покрывшись,
На семь поставивши часы,
Уснул Василий до весны.

Такие строчки... для людей... приятелей всех поголовно уже бывших... но позвавших, пригласивших... по старой памяти... в музей-квартиру Маяковского... и вызывавших теперь... требовавших... Кира... Кирилл... ну, выйди... выйди и ты к микрофону... давай... где пламень пунша голубой и няня с кружкой... в розовых чулочках...

Ну, рыкни... рыкни... Кирка... не ломайся... самое место... музей поэта-главаря... будь ты как дома... как дома будь... или занесся... загордился, а?

Нет, не занесся и не загордился... другим стал, но встал... встал и прочел, прочел... только не так, как делал всегда, напористо и энергично, все... небо и землю немедленно собою заполняя... все телевизионное поле какого-нибудь ток-шоу или же круглого стола... как может быть положено... уместно было бы... и правильно... в музее Маяковского... трибуна, громовержца, достающего... из широких штанин всегда и везде... а с нежным... с нежным, но очевидным ядом... негромко... прочел для людей, играющих в бирюльки... в игру, а не живущих жизнью... настоящей... малявок, карапузов, которых целый вечер слушал... как выросших детей... слушал, посмеиваясь... сверкая губами... горевшими... искрившимися, переливавшимися... одна в другую...

Встал... и сказал им правду. В лицо.

И тогда... именно тогда, в тот самый отпечатавшийся на веки в памяти со всеми ненужными словами и деталями вечер... вечер в доме-музее Маяковского... Саше Кляйнкинд захотелось, чтобы он ее узнал... Кирилл Рыков...

Но она к нему в тот вечер даже не подошла. Хотя это было так легко... совсем несложно сделать. Предельно просто. Элементарно... В фойе после концерта. Изящный, маленький, как пуля... и весь в черном... безукоризненный... Рыков стоял в нескольких метрах от Саши... человек из подлинного радио и телевизора... из телевизора будущего, где правда... только правда... а не понты и ложь отца... и позы, позы... па-де-катр дня... где все как надо... естественно и ясно...

Он... этот заряженный, как пистолет, человек, стоял совсем рядом... рядом... и снова ничего не говорил... опять лишь слушал... слушал... каких-то девушек в кавалеристских сапогах и юношей крикливых, словно лампасы галифе... и губы его, губы играли... светились в полутьме фойе... как будто кто-то непрерывно в толпе щелкал... крутил колесико зажигалки...

Кира... Кирилл. Всесильный, способный небо разорвать... или поглядить... нежно... поэт, который уже не может стать отцом Саши... Саши Кляйнкинд, но мог бы... мог стать отцом... отцом ее ребенка... Два шага только сделать... три...

– Здравствуйте, Кирилл...

Но Саша Кляйнкинд не сделала... эти простые два... три... четыре... Она ушла... пошла к метро... двести шагов или же триста... совсем в другую сторону... прочь... потому, что была зима... а зимой она никого и никогда не могла очаровать... не ее время... маленького лягушонка... кусочка непропекшегося теста... тля-ляп... нужно ждать лета... лета... открытой шеи... открытых плеч... рук обна-

женных... черт знает отчего заставляющих внезапно голову терять тех, кто и не должен... от воска, мыла... от Саши Кляйкинkind... и рваться в провожатые... в попутчики...

– Куда вам... о... так и мне в тут же сторону... сейчас такси закажем... одно мгновение... ну, или давайте на метро... конечно... еще лучше...

И эти двести или триста шагов, что вели ее к лестнице, к провалу, к перилам на стрелке улицы Мясницкой, к сквознякам всегда и неизменно зыбких московских подземных переходов, Саша Кляйкинkind думала... Она думала о борьбе... И о внезапном желании не просто соединиться с кем-то... а не выпустить... в последнее мгновение... всеми мышцами и жилами... ног, живота... спины, груди... и даже рук... втянуть и задержать... зубами... не отпускать, не дать уйти... не дать отпасть... чтобы оставить... оставить в себе... в себе... всю силу взрыва...

Что это? Уступка природе или очередной вызов ей? Часть поступательного движения к преображению себя и мира... Или отказ от борьбы... бабское бабство... тупая гормональная пурга... или же вдохновение... предвестие... предчувствие какой-то... вот-вот готовой родиться мысли... революционного, бунтарского откровения...

И в это мгновение, в этот миг тотальной слепоты и погружения в саму себя, глаза, функционировавшие все это время независимо от мозга, бродившие и шлявшиеся сами по себе, мир поедавшие без толку, для собственного удовольствия, как хулиганы-мальчики мороженое, эти глаза послали Саше Кляйкинkind странный сигнал, в ее состоянии духа буквально инопланетный:

«Непокоева Марина Федоровна»

Что, что?

«Непокоева Марина Федоровна. Аксиологические константы драмы “вечной” любви (на материале русского классического романа). Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 10.02.01».

На одном из складных столиков торговцев потрепанной, выдавшей виды литературой, расставленных в случайном, воровском порядке на тротуаре, от угла черного Библио-глобуса до столба с красной буквой «М», лежали тетрадки цвета промокашки. Много. Голубенькие, зелененькие, желтенькие. В навал и стопочками. И среди этого веера была одна с именем матери. Непокоева Марина Федоровна. Автореферат диссертации. На правах рукописи.

«Москва – 1989».

– Почему они у вас? – механически спросила Саша, у которой денег было ровно на одну пачку самого дешевого молока... мокрую и скользкую пластиковую медузу.

– Стольник любой, – охотно ответил некто в странных нитяных перчатках, с отрезанными по самый корешок пальцами. – Что-то заинтересовало?

– Нет... – ответила Саша. – Пока нет... Спасибо...

Вот... вот... это... это чистое бабское бабство... оно... когда ты в колее... когда все за тебя расписано и прописано... предпрешено... кем-то и где-то... и ты послушно следуешь... соответствуешь вот этим... вот именно, что аксиологическим константам... а взрыв в себе оставить... принять назло тупому и расчетливому миру... и вырастить того, кому уже не стыдно будет за родителей... за папу с мамой... за их аксиологию и позу... это борьба... это вызов... жизнь подлинная... настоящая, а не ваша... на птичьих правах... да, да... «на правах рукописи»... на вечных правах рукописи... на правах чего-то... чего-то неродившегося... не решившегося ни на что... ни в какой жизни... ни в этой... ни в другой...

Да... да... не убить кого-то... себя... или другого... по правилам, по предписаниям... тупо шагая в ногу... не противясь... как там... злу... добру... чужому, главное... чужому, постороннему... а самому... родить, вот например... родить и перебить ритм повседневности... взорвать... дать жизнь... дать жизнь другому... прямому и правильному... своему... всем строевым и главным песням вопреки... назло...

Красные пальцы торговца ВАКовскими подтирками и промокашками шевелились перед глазами Саши, как сгнившее вымя этого мира... соски, полные прогорклой банальщины и скисшей пошлости...

Так и остались в памяти и теперь были частью стыда. Обиды за себя и за Кирилла. Маленького, изящного, как бюст Вольтера из черного металла. Фигурка чертика или же Дон Кихота. Только

стоящего сейчас не на книжной полке, в тиши томов, а на ветру, на сцене, там, впереди, над головами, плечами и чебуреками, как всегда в черном с головы до ног, рядом с огромным человеком, во всем цветом, поэтом-горой, несерьезным во всем, от ежедневных газетных стишков-фелетонов до игрового псевдонима – Кот Худой.

– Ну, если Лев Толстой, то кот, безусловно, должен быть худой... – это сказал Кирилл. Объяснил Саше в тот день, когда все стало стыдным. Любовь к его губам, любовь к его глазам... вообще, любовь...

Потому, что в ней не было правды... не оказалось. А лишь ирония... все то же шутовство...

Природа пышно увядала,
Нога Петрова усыхала
И локоток стоял сучком
На древе жизни молодом

Саша думала, что это только форма, такой вид издевательства приговора, а это оказалось содержанием. Сутью. И самое ужасное в тот самый миг, когда он приобнял ее за плечи... наконец... и ласково повернул к себе в свете вечерних фонариков Чистопрудного бульвара. Единственный из всех ее провожатых последних лет, что был Саше вровень и впору... мог не за шею ее вести... не у ноги, как песика, а приобняв за талию... прижав плечо к плечу и глядя глаза в глаза...

И было лето... сарафанное лето... лето открытой шеи... открытых рук... двух теплых, светящихся в полумраке припухлостей под легкой, полупрозрачной тканью... и девушке, подошедшей к столу с вином и книгами, охотно говорят:

– Присаживайтесь... хотите кофе или, может быть, коньяку...

Разговора... разговора о главном, о самом важном...

– Кирилл, а кем были ваши родители... как вы справлялись с этим... как вы преодолели...

И губы, которые так выразительно молчали, заговорили... еще выразительнее... заулыбались, засверкали... открылись... для нее... лишь для нее одной... Саши Кляйнкинд...

Но кончилось это ужасно. Отвратительно. И не под низкими, душащими сводами старого, наверное, времен еще Ивана Грозного подвала, Пироги, Проект ОГИ, Билингва, Саша уже не помнила теперь название того клуба с ежедневной поэзией в Потаповском переулке, да и не важно, потому что стихи... и снова ей одной... только ей... Кирилл стал читать на Чистопрудном... на свободе... под бездонным небом... там, где вечерние фонарики, посланцы Млечного пути... звездочками переливаются в черных хрусталиках глаз...

– И все-таки... вы верите в преображение? В то, что можно самого себя сделать? Перековать в борьбе?

– О, Александра... конечно, можно в борьбе, в борьбе всенепременно можно... но можно и во сне...

– Во сне? Это в каком смысле?

– Ну, вечер уже... заметили? Время горизонтального положения... полетов в другие измерения... Хотите стишок прочитаю...

Сложились уши, руки пали,
Ножки свернулись в две спирали,
Закрылся пуп как рыбий глаз
И в рот отправлен про запас.

В багрец и золото оделся хобот,
Грудь опоясал крепкий обод,
Стал виться копчик как вопрос
И словно ключик запер нос.

Когда Саша услышал это вновь, и обращенное не к людям, весь вечер несшим глупости и чушь, кривлякам и позерам, а к ней, прямой и честной, весь вечер изливавшей душу как на духу, как перед богом... сердце ее остановилось...

– Вы шут, Кирилл... вы шут, оказывается... как все... как все...

И она сбросила его руку... скинула... и быстро... очень быстро пошла к станции метро... не обогнав... к узким колоннам и широким окнам бывшей Кировской... светившимся... манившим ненужным никому теплом... там впереди... там... среди лета... там...

А потом... потом она просто побежала, потому что вдруг послышалось... почудилось... девушке... Саше Кляйнкинд... что Кирилл Рыков стал ее догонять...

Через неделю или две Саше начало казаться, что это был не приговор, не оскорбление, а наваждение. Наваждение.

Прекрасно так преобразившись,
Зеленым теплым мхом покрывшись,
На семь поставивши часы,
Уснул Василий до весны.

Нет... не может быть. Так шутят только с чужими... со своими возможна только прямота... прямота и серьезность... И она вновь стала искать с ним встречи... с Кириллом Рыковым... И снова стала думать, что он обязан... просто должен... ее узнать... ее понять и оценить... Сашу Кляйнкинд...

Но больше не получалось... не удавалось...

Кира, Кирилл, казавшийся так долго доступным, близким, стоит только на лекцию пойти, на вечер, на концерт... в клуб... в дом-музей... квартиру-сквот... или поехать на дачу в Переделкино... словно уехал в другой город... в страну иную... и Саша его могла видеть теперь лишь в телевизоре... между отцом и новостями... или на сцене... как рок-звезду... всегда на возвышении и в окружении... то ли охранников, то ли поклонников, то ли журналистов...

Между тем, пришло время Кота Худого. Человека настолько большого и неумеренного во всем, что он мог ходить только в частично разобранный, распоротый и распатроненной одежде – в чем-то без рукавов, штанин или союзки – жилетах, шортах и сандалиях. Таким он и вышел к микрофону, с выпадающими из разных дыр объемными и волосатыми конечностями и пальцами. И стал, по моде этого сезона, читать чужие стихи:

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны.

– Высер сегодня в ударе, – кто-то радостно объявил за спиной Саши Кляйнкинд.

– Да, жжет, пархатый, не по-детски... – сладко поддакнули в ответ, и Саше снова стало тошно.

Она обернулась. Сзади стояли и криво ухмылялись, нет, лыбились, словно два рыжих брата, очкарики. Акробаты. Один с анекдотическим, горбатым, попугайским носом, а второй вообще с ермолкой на темечке. Подкладочкой под чашку кофе из ИКЕИ, круглой салфеточкой, приколотой к жестким кудрям парочкой черных, теткинских невидимок.

И это он... именно он... вот этот самый, с цветастой крышечкой от чайника на черепе сказал «пархатый»... Шуты проклятые... шуты... комедианты... идиоты...

Когда Саша ставила на всем крест. Когда уходила из семьи. Когда всю свою жизнь перекраивала и меняла, она думала, была уверена, не сомневалась ни одной секунды, что с этого момента, теперь, ее будут окружать только красивые люди. Только. Исключительно.

Хорошие, добрые, честные. И серьезные. Очень серьезные...

А не уроды и шуты. Коверкающие с дебильным вдохновением второгодников и двоечников фамилии товарищей или учителей. Или поэтов.

Виктор Цисер. Высер. Кот Худой. Как это мерзко. Мерзко и подло. И прямо у Саши за спиной. Здесь и сейчас.

Однако, и то, что происходило впереди, перед глазами, не прилетало из-за спины обрывками фраз, а развертывалось в объеме и цвете прямо под носом у Саши, было ничем не лучше. Нисколько. И вызывало тошноту уже физическую. Слюнотечение, потоотделение и головокружение.

У бабки оказались в запасе еще два чебурека. У гримзы в очках с линзами-колбами, лабораторными автоклавами, в которых болтались... плавали серая радужка и черный зрачок, как это самое... денатурированное мясо...

– Гриша, ты ел четыре часа тому назад... Мама тебе и мне сделает выговор... мама нас больше не отпустит в город...

Мама...

Как Немезида качалась перед лицом мелкого. В образе жареного, пупырчатого теста, к которому лип, хотел соединиться и впитаться, словно из сала сделанный полиэтилен прозрачного пакета.

– Ты съел совсем нисколечко... нужно еще один... еще один...

– Я не хочу с червячками... я не хочу с червячками... не хочу...

– А я их уберу... сейчас все уберу... не будет червячков... всех вытащим... смотри...

Толстые пальцы с чернильными ногтями раскрыли пакет... но испаскудить продукт питания не успели... залапать, обслунить... красу и гордость узбекских кулинарув с видом на жительство в Москве... два.. два желтых, свежих, еще теплых чебурека...

Движенья Саши Кляйнкинд были молниеносными и точными... А скорость пожирания чемпионской. Оп-ля... и изумленные глаза внучка стали таких звездных размеров, как будто теткинны очки слетели бабочкой и сели ему точно на нос.

– А кока-колы не брали? – спросила Саша, возвращая бабке в домашней летней шали пустой полиэтиленовый пакет. – Запить?

– Или айрана, кумыса, катыка? Бутылочку? Случайно?

Но, кажется, дар речи оставил женщину с трехцветным сердечком, ленточкой и яблочком значка на самошитом платье. Речи любой. Даже собачьей... нечленораздельной... Или же пузырьковой, рыбьей... Был выкушен надолго, может быть навсегда из ее тела, как червяки из мяса чебурека... Сашей Кляйнкинд...

– Не брали? И напрасно... честное слово... надо обязательно в следующий раз... в айране столько ценных веществ... железо, магний, фосфор, кальций, калий...

А митинг шел своим чередом. Кота Худого у микрофона сменил бард... Автор забытых песен, снова обретших вдруг смысл и актуальность:

У попа кухарка пела
Обещала ему смело
Долго, долго воду лить.

– Спасибо! – сказала Саша. – Большое спасибо...

И быстро пожала ошавевшей бабке без дела болтавшуюся руку с сизыми, старушечьими ногтями... а после, полуприсев, и внуку... царственно... и тому, и другому, как будто бы потерявшим вместе с речью еще и волю... и, кажется, готовым в добавок к этому – сознание...

А потом, такое дело,
Долго жить ему вела,
Приказала долго жить.

К черту. Саша развернулась. Раздвинула двух рыжих братьев, так и топтавшихся у нее за спиной. Очкариков в веснушках. Шушукавшихся. И двинулась отсюда... прочь... с идиотским и не понятным даже ей самой чувством удовлетворения. Глубокого и полного. Словно и в самом деле Кирилл Рыков ее узнал... Сегодня...

Сергей БОРОВИКОВ

ЗАПЯТАЯ-23

В русском жанре-83

«В ресторане Олеша, сидя за столиком по соседству с Клычковым, громко сказал:

– Квартиры у нас получают всякие контрики и кулачье, а Олеше, сыну человеческому, негде голову приклонить.

Клычков встал, подошел к Олеше и смазал его по щеке.

– Вот тебе за публичный донос, – промолвил он и, выдержав краткую паузу, съездил по другой, прибавив:

– А это тебе за кощунство». (Николай Любимов. Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний.)

У Сергея Антоновича Клычкова, талантливого писателя¹, друга Конёнкова и Есенина, как повелось с суда 1923 года по шумному делу четырёх поэтов, обвиненных в антисемитизме, так и сложилась репутация черносотенца без достаточных на то причин. Я не занимался этим специально, просто сама его близость с Мандельштамом говорит о многом.

Тогда, в двадцать третьем, товарищеский суд ограничился общественным порицанием, но Алексея Ганина расстреляли в 1925-м, Сергея Клычкова в 1937-м, Петра Орешина в 1938-м.

А Юрий Олеша как начал каяться-завидовать, так до конца жизни мужества и не обрёл, но литературно скукожился.

Хотя я и много лет числюсь по критическому ведомству, никогда не создавал эту якобы принадлежность. У меня не было, нет, и уж конечно не будет одной из главных родовых черт критика: определённости позиции. Мне и по жизни мешала и продолжает затруднять существование необходимость любого выбора, а в критической-то работе без позиции – никуда. Само слово противное, какое-то сексопатологическое. И когда в семидесятых я угодил из-за пребывания в редакции журнала «Волга» в национал-патриотическое стойло, то какое-то время чувствовал облегчение, достаточно знать *наш или не наш*, и – долой сомненья. Но, как говорится, науку природу не перешибёшь, и пришлось излечиваться от навыка сквернейшей определённости. Впрочем, этим опытом я уж делился, а вспомнил его, наткнувшись на текст Романа Арбитмана «*Cash из топора*»², о книге Виктора Топорова «Похороны Гулливера в стране лилипутов: Литературные фельетоны» (СПб.: Лимбус пресс, 2002. – 496 с. (Инстанция вкуса)).

Да... славное было времечко, когда еще не остыли перестроечные и последующие страсти и ещё не наступило царство общего патриотического единения вокруг власти. Я тогда отозвался на другую книгу того же Топорова «Двойное дно. Признания скандалиста» (М.: Захаров; АСТ, 1999.

¹ См., напр.: «Бездарному Лебединскому “Неделю” написал талантливый Клычков – неудачник-символист, очень образованный, приписанный к кулацким писателям. «Неделя» получилась. [Клычков –] былинный красавец XVII в.» (Харджиев. Разговоры. Публикация и примечания – Ильдар Галеев // Знамя. 2023. № 12).

² Знамя. 2003. № 11.

– 464 с.)¹ и позволю себе свою рецензию процитировать, нет, скажу по старинке – *поцитовать*, что на мой вкус благозвучнее.

«Мемуары в моде. “Вагриус” и другие издательства длинными сериями выпускают воспоминания известных актеров, политиков, литераторов.

Имя Виктора Топорова вряд ли знакомо большинству потенциальных читателей. Широкую известность в узколитературных кругах переводчик Топоров (переводил Байрона и Киплинга, Рильке и Уайльда) приобрел газетными выступлениями в “Независимой газете” и прохановском “Дне литературы”. Литературные недруги уподобляли его Невзорову и Коржакову. И вот перед нами книга скандалиста о себе. В рассказе о детстве, юности присутствует то, что называется “цветом времени”: ленинградско-питерская атмосфера 50-60-70-х годов, нравы студенческие и писательские, круги неформалов, переводчиков, трагические или трагикомические судьбы поколения молодых шестидесятников, спившихся, позбиших, уехавших. Однако, нрав мемуариста таков, что не склонен пролить слезу над ранней урной, его взгляд едок и ироничен. К тому же, даже и при ностальгических воспоминаниях, скажем, о функционировании знаменитого кафе “Сайгон”, Топоров не устает подчеркивать собственную особость, отдельность от любой тусовки: “меня пребывание в стайке не устраивало”.

Этот принцип распространяется им и на политические воззрения, которые, тем не менее, на деле приводят его в стан “патриотов”, что писатель мотивирует неизбежностью государственной идеологии, полного отказа России от прозападного пути развития. “У меня нет ни союзников, ни тем более начальников ни в патриотической среде, ни в коммунистической... нет, строго говоря, и единомышленников. Нет по элементарной, хотя, может быть, и своеобразной причине: я воспринимаю как неизбежное, а значит, и обязательное, то, что политикам и политическим публицистам левой ориентации представляется желательным и оптимальным. <...> мысли противоположные, искренние или нет, представляются мне пагубными. Я хотел бы проголосовать за Явлинского, а вернее, я хотел бы жить в стране, в которой можно было бы проголосовать за Явлинского”.

Значительное место в книге занимает тот вопрос, с которым Советская власть якобы покончила еще в 20-е годы (см. роман И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок»). Еврей Топоров позволяет себе не только отличные от либерального мейнстрима взгляды, но и полностью противоположные, враждебные ему. Порою и впрямь кажется, что делает это он единственно ради скандала. Но только порою, ибо скандальный характер высказываний писателя если не снимается, то отодвигается на задний план его поисками не сиюминутных и, тем более, не конъюнктурных ответов. “Есть вопросы, для взвешенного ответа на которые следовало бы уродиться марсианином. Слишком сильно небеспристрастие отвечающего. <...> Слишком велик соблазн подойти к явлениям одного порядка, но разной направленности с двойным стандартом. <...> Осложняет разговор и беснование – на обоих краях авансцены – людей, на “пятом пункте” раз и навсегда помешавшихся. В их насадных заполошных выкриках, причитаниях и проклятиях взаимоуничтожаются правда и ложь, добро и зло, любовь и ненависть, сострадание и обида”. Топоров хочет быть до конца беспристрастным (всегда ли удастся это ему – другое дело), он во всем и всегда стремится разглядеть *pro* и *contra*, может быть, отсюда название его книги? Насколько убеждают независимость и беспристрастность Топорова в “глобалке”, настолько неустойчив он там, где пишет о бытовом, личном, о знакомых и близких, друзьях и недругах. Удивляет его мелочная нередко злопамятность по неадекватным поводам, как, например, подробная личная история козней и интриг на пути вступления автора в Союз писателей. Много эпизодов, где автор в драке, на любовном фронте, в злослычии непременно победитель. В злослычии он и в самом деле мастер, но стоило ли приводить столько пусть лихих, но и оскорбительных эпиграмм на здравствующих людей, чьи фамилии любезно сообщаются читателю? Стоило ли в качестве характеристик употреблять немудрящие определения вроде дурак, сволочь, жулик? Что ж, *noblesse oblige* – положение обязывает, и надо оправдывать и сложившуюся репутацию, и рекламный подзаголовок книги. Впрочем, вся бытовая панорама, где в причудливом

¹ Общественное мнение. № 10 (15), октябрь 2000.

хороводе промелькивают подворотни, портвейн, КГБ, кафешки, лекции, барышни, педики, стукачи, драки, блёв и прочая, тоже и не в последнюю очередь придаёт повествованию ярко выраженный привкус эпохи того, что в начале рецензии я назвал цветом времени, где каждая краска – и черная, и голубая, – может быть временно определяющей и необходимой».

А поскольку мой земляк Арбитман, увы, не так давно унесённый ковидом, в принципе иначе отнесся к питерцу, я позволю себе и его почитать, но покороче, поскольку номера «Знамени», в отличие от «Общественного мнения», есть в Сети.

«Скандальные инвективы стали теперь не просто безопасны (максимум дадут в морду), но и довольно прибыльны: из всех разновидностей литературной критики читатель массовый признавал только крутое “мочиловое”, которое неплохо оплачивалось...»

Так на петербургском горизонте возник экс-переводчик (говорят, раньше недурной), ныне профессиональный литбуян Виктор Топоров, начавший с ходу устанавливать в литературе свою табель о рангах, звезда левых, правых и виноватых. Родовая фамилия критика-киллера сразу стала выглядеть эдаким мрачноватым псевдонимом, зримым напоминанием о другом жителе Петрополя, выползшем на берега Невы с целью нарубить немного бабок». (Я ни тогда, ни сейчас, не знаю кто это.)

«Статьи в прохановских “Завтра” и “Дне литературы” не остались незамеченными. “Хорошо ругаться можете!” – по-ленински радовались патриоты, прощая Топорову за размашистость ударов и остроумие даже знание иностранных языков и неарийское происхождение». (А здесь я не понял отсылки критика к Ильичу, но вспомнил удачное обыгрывание Семановым фамилии критика с кличем Чернышевского: «К Топорову зовите Русь!»)

И, скажем, если и меня, как и Арбитмана, корбила грубость Топорова по адресу питерских коллег, то нижеследующий возмутивший его перечень имен мне по душе.

«Андрей Сергеев “извлечен из литературного небытия нелепым присуждением Букеровской премии” (Сергеев несколько лет назад трагически погиб, но траурной сносочки-2002 мы не дождемся). Что стихи Бориса Чичибабина “лишь по неразвитости общего поэтического вкуса сходят за поэзию”. Что Александр Кушнер “всегда писал плохо”. Что Лев Рубинштейн – “тихая картотечная зануда”. Что Анатолий Найман – “некондиционный стихотворец”. Что Генрих Сапгир – “никак не фигура”. Что Даниил Гранин – “не совсем писатель”. Что Михаил Веллер – “самовлюбленный и самоуверенный подражатель” Довлатову. Что Юрий Любимов – “показушник и мастер политических и кулуарных спекуляций”. А есть еще “сграфоманившийся Саша Соколов”, “никому ни в каком качестве не интересный Пьецух”, “какой-нибудь Эмил Бразинский”, “человеконенавистник” Владимир Маканин и прочие, живые или мертвые, но одинаково виноватые перед Топоровым».

Только ведь и сам Арбитман ругатель был не из последних. Его либерально-демократический ригоризм не менее государственно-патриотического содержит опасное отрицание любой справедливости суждений из принципа *наш-ненаш*. Однажды мне пришлось задать Роману неудобный для него вопрос, когда, выступая в аудитории Фединского музея он аффектированно уличил в плагиате Алексея Н. Толстого, якобы буквально списавшего своего Буратино с «Приключений Пинокио» Карло Коллоди. Он не ответил мне, читал ли сказку итальянца. И к чему читать, если знаешь заранее, что Толстой бяка, какашка, сталинский прихвостень, какому и воровство к лицу. Но двойной или более комизм ситуации был в том, что я-то знал, насколько разны во всем две сказки, и ещё я знал и про явно неведомый Арбитману случай реального плагиата Толстого у Карела Чапека. Поначалу он объявил, что хочет лишь приспособить к русской сцене чешскую пьесу, но при публикации в 1924 году представил свою роль уже иначе. «Написанию этой пьесы предшествовало мое знакомство с пьесой “Рур” чешского писателя К. Чапека. Я взял у него тему. В свою очередь тема “Рур” заимствована с английского и французского. Мое решение взять чужую тему было подкреплено примерами великих драматургов». Здесь граф юлит, что с досадой воспринял Горький: «С его (Чапека) пьесой “RUR” случилось, на мой взгляд, нечто нехорошее и, пожалуй, небывалое в русской литературе. Посылаю Вам пьесу Алексея Толстого “Бунт машин”. Хотя Толстой и не скрывает, что он взял тему Чапека, но он взял больше, чем тему, Вы убедитесь

в этом, прочитав пьесу. Есть прямые заимствования из текста Чапека, а это называется словом, не лестным для Толстого, и весьма компрометирует русскую литературу. Лично я очень смущен» (М. Горький И.И. Калиникову. 1 июня 1924 года)¹. Я это к тому, что у Арбитмана были основания порассуждать о моральной, скажем безразмерности Алексея Николаевича, и жаль его спешки в неведомой ему области.

С Топоровым мы сошлись не только во многих литературных оценках, что обнаружилось при нашем недолгом, но плотном пивном общении в гостинице «Олимпийская» (1999), где мы находились как члены жюри премии Аполлона Григорьева, учреждённой Академией русской современной словесности АРСС. (Годом раньше в жюри, определяемым жеребьёвкой из 38 её членов, входил и Арбитман).

Давно уж упразднена вместе с премией академия критиков после того, как от неё отказался Росбанк, не бывает уж жеребьёвок, нет среди живых ни Топорова, ни Арбитмана, и не возьмусь гадать об их возможной *позиции* в наше новое и смутное время, когда Росбанк-то жив, а вот критический задор, и не только у критиков, безнадежно испарился.

*Напрасно Вы мне не сказали,
Что наши чувства надо скрыть,
Что Вы другой уж обещали
Навеки верность сохранить.
И пишете мне в утешенье,
Что вечно ведь нельзя любить,
Что это было увлечение,
И я должна о Вас забыть.*

*Быть может, правы Вы глубоко,
Разумно поступили Вы,
Но это было так жестоко,
Что, не простившись, Вы ушли.*

*Пройдут года, и мы забудем
Случайный, радостный порыв,
Мы никогда не скажем людям
Про нашу встречу и разрыв.
Но с тайной болью сожалея,
За эти годы много раз
Еще я вспомню то мгновенье,
Когда увидела я Вас.*

1944

Не смог здесь придраться ни к одному слову. Образцовый романсовый текст. Но как сумел его написать не русский поэт, а родившийся и живший не в России еврей-музыкант Оскар Строк? Ну, ладно, его же слова к исполняемому по шалашинскому определению «глупым песенкам» Петра Лещенко, но танго «Былое увлечение» написано специально для Клавдии Шульженко и долгое советское время было редким обращением к запретным чувствам слушателей.

¹ Цит. По: А.Н. Толстой. Материалы и исследования. М., 1985. С. 158.

””

Однажды нетрезвое хулиганство моих приятелей могло обернуться делом политическим.

Хоронили деда моего друга. Что это было в 1980 году я сейчас узнал из интернета, где есть фото могилы его бабушки, мамы и деда на Еврейском кладбище Саратова.

Поминки Илья устроил в кафе «Ветерок» на Набережной, а назавтра меня вызвал в свой кабинет Шундик, и я, ещё не понимая причины, но чутко пересрав, на вопрос, был я вчера на каких-нибудь похоронах, на всякий случай стал подробно врать про еврейские поминки на еврейском кладбище, живописными деталями отводя от себя вероятность причастности к происшедшему. А случилось то, что придя поздно вечером в редакцию, Николай Елисеевич увидел висевший на ручке входной двери похоронный венок с черными траурными лентами. Чтобы не гадать, он тут же вызвал соседа, старого кагэбэшника Бердова, чтобы тот занялся поиском врагов «Волги».

И хоть вскоре дело заглохло, я рассказал о нём тоже сразу пересравшему Илюшке, который уже знал от авторов опасной шутки – Сашки Лебедева и Вовки Тартера, как они, возвращаясь из «Ветерка» по набережной, увидели на стене дома №3 редакционную вывеску, решили для потехи использовать венок, захваченный из кафе. Илья последними словами крыл шутников, да и меня за бдительного шефа.

””

В те годы каждой осенью в Саратове случался табачный дефицит, и объяснялся он тем, что на «Табачке» плановый ремонт. И снабжались мы с Илюшей у торговки по имени Наденька, безногой говорливой женщины, сидевшей у входа в домишко на задах Сенного рынка, у которой был комментируемый ею выбор, так, на вопрос о болгарских сигаретах «Дерби» и «Джебел» (с медовым вкусом) она отвечала, что лошадки прискакали, а пчелки ещё не прилетали.

2023

Татьяна ГРАУЗ

АЙГИ – МАНДЕЛЬШТАМ:
КОГДА ЭТА БОЛЬ – НЕОТЛИЧИМА ОТ ВЕРЫ¹
(разрозненные листы осени)

Холодные ноябрьские дни, обездвиженные неожиданным морозом. Первый снег, покрывающий ещё зелёную траву. Голые деревья, обнажившие свою природную графическую красоту. Эта осень, казалось бы, мало чем отличается от осени десятилетней давности. Вот только что-то сдвинулось непоправимо – и треснувший на наших глазах мир, и медленно растрескивающаяся красота саднят неотступной болью.

*

...Мысль о том, как помещается человек в мире, как он пребывает – в нём; это можно выразить ещё следующим образом: «Мне больно, как больно миру», между этими болями есть связь – без различия огромного и малого, ибо боль не мерится как нечто «большее» или «меньшее»; эта сострадательно-неотменимая связь и есть сущность человека, короче, то, «в качестве» чего он пребывает, «держится», – кажется, ему не гарантирован даже какой-либо конец, – может быть, даже и желаемый им². Г. Айги.

*

По определению БМЭ³ боль представляет собой своеобразное психофизиологическое состояние человека, возникающее в результате воздействия сверхсильных или разрушительных раздражителей, вызывающих органические или функциональные нарушения в организме. В связи с развитием системного подхода в физиологии и медицине боль рассматривают как интегративную функцию организма, которая мобилизует самые разнообразные функциональные системы для защиты организма от воздействия вредящего фактора и включает такие компоненты, как сознание, ощущение, память, мотивации, вегетативные, соматические и поведенческие реакции. Боль может носить острый, хронический, соматический характер, может быть внутренней, фантомной и т. д.

*

В поэтическом словаре О. Мандельштама слово *боль*, а также производные от неё (*больной, болезненный, болея, болеет*) появляются, казалось бы, не так часто и сопровождаются эпитетами *мировая, туманная* («Воздух пасмурный влажен и гулок...», 1911), *торжественная* («Есть ценностей незыблемых скала», 1914), *светлая* (Стихи о неизвестном солдате, 1937).

В стихотворении «Есть ценностей незыблемая скала...» Мандельштам отстаивает не только преимущества классической литературы в целом, но и, по справедливому замечанию Лекманова, «собственное право на витиеватость и торжественную боль»⁴, то есть на пафос и катарсис-

¹ В названии использован фрагмент строки из стихотворения Г. Айги «В декабрьской ночи» (1957).

² Айги Г. Н.: Собрание сочинений в 4-х тт. – Шупашкар, 2019. Т. 4. С. 242.

³ БМЭ – Большая медицинская энциклопедия (главный редактор Б. В. Петровский; издание третье, онлайн-версия).

⁴ Лекманов О. А. Книга об акмеизме и другие работы. Томск, 2000. С. 510.

ность. Не случайно сюжет о процветшем посохе из миндаля соотносится не только с жанром трагедии, но и с фамилией Мандельштам, что означает миндальное дерево (замечание Немировского¹) – таким образом Мандельштам включает себя в ряд русских писателей классиков. Классицизм, при таком понимании, не может быть ложным, как не может быть ложной «трагическая боль»: «<...> ложноклассицизм – кличка, данная школьным невежеством и прилепившаяся к большому стилю» (Мандельштам)². А. Веселова³.

В поэтике Мандельштама *боль* имеет многообразные силовые [смысловые и семантические] поля. Это и физическая *боль*, проявленная через метафору «очи ест», когда «...*белый снег до боли очи ест*» («Кому зима арак и пунш голубоглазый», 1922); *боль* может выявлять психофизическое восприятие объекта, через *боль* человек может постигать сверхмерное бытие, его метафизику.

Какая боль – искать потерянное слово,
Больные веки поднимать⁴
И с известью в крови, для племени чужого
Ночные травы собирать.

Через поэта известковый слой времени обретает свой голос (стихотворение «1 января 1924»). Процесс этот может быть болезненным не только для того, через кого к нам приходит не замечаемое прежде мерцание мира, но и для тех, кто воспринимает этот пророческий звёздный огонь. Поэт позволяет нам, читателям, с помощью слов почувствовать запахи и звуки, цвет и свет, вещность и невещественную (морозную соль) суть раскрывшегося перед ним бытия. В «Стихах о неизвестном солдате» (1937) прошитый звёздным рубчиком мир трещит и колыхается, разваливается и вновь собирается в густое звёздное варево. Для Мандельштама трагичность малого, человеческого, обретающего своё сокровенное имя и смертное [бессмертное] бытие так же важны, как вселенский масштаб и вневременной контекст апокалипсических событий, пронизывающих мироздание.

*

В тридцатых годах почти никто не знал о «Воронежских тетрадах» Мандельштама. В известной мере они были сопряжены с учётом достижений футуризма при вполне возможном неприятии самого футуризма⁵. Г. Айги.

*

Боль (общеславянское, имеет родственные слова в индоевропейских языках: древне-восточно-немецкое *balo* – беда, болезнь; древне-индийское *bhal* – мучить, умерщвлять; готское *balwjan* – мучить, терзать), *большеголовый*, *большеротый*, *большевея*, а впоследствии и *большевик* (как полагают, *большевик* происходит от русского глагола «большевить», что означает «идти по большому пути» или «предпочитать большинство»), несмотря на разную этимологию этих слов, в поэтике Мандельштама соединены незримой связью. Это связь возникает не столько из-за сходства по звучанию (паронимической аттракции⁶). В поэзии (законы которой, как известно, «спят

¹ Там же. С. 509

² Мандельштам О. Э. Слово и культура. М., 1987. С. 65.

³ Веселова А.: Стихотворение О. Э. Мандельштама «Есть ценностей незыблемая скала...» и репутация русских трагиков XVIII века // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia X: «Век нынешний и век минувший»: культурная рефлексия прошедшей эпохи: В 2 ч. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006. Ч. 2. С. 282–296. <https://www.ruthenia.ru/document/542094.html>

⁴ Здесь и далее подчёркивания Татьяны Грауз.

⁵ Айги Г. Н.: Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. С. 190.

⁶ Паронимическая аттракция – стилистический приём, состоящий в намеренном сближении слов, имеющих звуковое сходство.

в гортани»¹⁾ может происходить совершенно особая селекция языка, могут появляться невиданные прежде скращения||сращения слов, не зависящие от их происхождения, благодаря чему возникает фонетическое (звуковое) богатство стиха. Мандельштам прежде всего – *смысловик*, так он именoval не только себя, но и своих коллег по Цеху поэтов. Пребывающий в невидимом для окружающих, но для себя в предельно [даже тактильно] ошутимом вареве языка, поэт способен извлекать отсюда то, что, на первый взгляд, не является очевидным и научно доказанным.

Куда как страшно нам с тобой,
Товарищ **большеротый** мой!
Ох, как крошится наш табак,
Щелкунчик, дружок, дурак!
А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом –
Да, видно, нельзя никак...

Октябрь 1930

Если воспринимать это стихотворение как трагически-страшное свидетельство, данное нам, правда, с некоторой «домашней» подсветкой (полушутливо||полусерьёзно), то в *большеротом товарище* просвечивает не только образ жены-подруги, но и наслаивающийся на этот образ от-рефлексируемый автопортрет самого Мандельштама. (Не зря здесь возникает местоимение «мы»: *нам с тобой, наш табак*.) Трагический накал и стоический пафос [греч. πάθος – страдание, страсть, возбуждение, воодушевление] общего строя этой семистрочной драмы снижены интимно-бормочущей интонацией, завершающейся сослагательным наклонением. Однако если прочитывать это стихотворение как акrostих (иногда можно позволить себе такую «вольность», даже если поэтический текст не маркирован подобного рода признаками), – по вертикали возникает просто кручёныховская [футуристическая] заумь: устрашающее «ктошазд», в котором опознаются слова: «кто», «то», «тош», «аз», «ща» (что-то типа просторечного «сейчас»). Дешифровку можно продолжить... Уместна ли она – кто знает?.. Однако в поэтическом словаре Мандельштама довольно много неологизмов, а в его восьмистишиях 1933 года, как мы помним²⁾, появляются окказионализмы. Так что подобная интеллектуальная «игра» может быть вполне тождественна духу [тайной и] явной поэтики Мандельштама. Своим чутким ухом он мог слышать странные ка-кофонические смещения слов||букв и фиксировать какие-то иные способы репрезентации языка, выявляя через них потенциальность стихотворного текста. (А ещё в поэтических текстах Мандельштама довольно много букв Щ и Ш, что может сигнализировать, как в этот период менялся язык /вспомним также прозу Андрея Платонова/, а также о том, что поэт чувствовал глубинное корнеловие, лежащее за этими изменениями.)

*

Если продолжить такого рода ледяные звенья, тогда и в мандельштамовском *большевике* может быть скрыта *боль* (хотя этимологически это совершенно разные слова, конечно). Возможно поэтому в стихах после 1934 года *боль*, *большевея*, *большевик* – это то, что можно было бы определить как точку, где *ледяная рождается связь*³⁾ между несвязанными, казалось бы, понятиями.

¹⁾ Мандельштам О. Э. «Заметки о Шенье» (1915).

²⁾ Грауз Т. Айги – Мандельштам: «...будет иное отныне – пространство-и-тело Поэзии...» (разрозненные заметки на пороге зимы) // Волга. 2023. № 1–2.

³⁾ Мандельштам О. Э. «Голубые глаза и горячая лобная кость...» (1935).

Эта связь вызревает постепенно, выявляя и проявляя трагизм удушающей эпохи, формирующей поэтический голос Мандельштама, где **большевик пластами боли поднят**¹.

Стихи Мандельштама – всё слышащие стихи. В них заключена драма всеслышания, когда «...Я должен жить, дыша и большевая»²,

Часто пишется – казнь, а читается правильно – песнь.
 Может быть, простота – уязвимая смертью болезнь?
 <...>
 Меж тобой и страной ледяная рождается связь –
 Так лежи, молодей и лежи, бесконечно прямясь.
 Да не спросят тебя молодые, грядущие – те,
 Каково тебе там – в пустоте, в чистоте-сироте...³

Скрытая *боль*, перерастающая в *болезнь*, неприкрытая горестная ирония (*лежи, молодей*), обнажающая страшное время, его гибельные законы, освещающие сирым ледяным светом жизнь поэта, внутренний строй его стихов (прошитых плотным звуком формирующегося на наших глазах нового языка) и все те мучительные испытания, что были посланы ему судьбой и привели к преждевременной смерти.

Ты должен мной повелевать,
 А я обязан быть послушным.
 На честь, на имя наплевать –
Я рос **больным** и стал **тщедушным**.
 Так пробуй выдуманный метод
 Напропалую, напрямик:
Я – беспартийный **большевик**,
 Как все друзья, как недруг этот.

Апрель-май 1935 (?)

Стихотворение, в моём представлении, – небольшая область жизни, где, по возможности, должно быть «всё»: и жизнь природы и вещей, становящихся, протекающих «на глазах», и душевная боль, и умозаключения, и еле уловимые, неопределённые ощущения...» Г. Айги.

Болевое восприятие мира пронизывает всё творчество Г. Айги от самых ранних его текстов до стихов конца 90-х годов. Однако в последний период его творчества *боль* как зона (внутри или вне человека), освещённая или погружённая в тёмноту, как будто отступает перед иными силами: единством горения, общностью, тихо сияющим братством мира, когда нет горького цветения боли, а только – прозрачность дыхания||общения.

¹ Мандельштам О. Э. «Мир начинался страшен и велик...» (1935).

² Мандельштам О. Э. «Стансы» (1935).

³ Мандельштам О. Э. «Голубые глаза и горячая лобная кость...» (1935).

⁴ Айги Г. Н.: Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. С. 293.

Слово способно стать нашей сущностью, страдающей в равновесном жизневыдерживании со всем тем, что существует в природе, вводя, таким образом, скрепляющие «моменты» в человеческий мир, словно в некий извечный Атлас Поэзии – для встреч, узнаваний и постижений нами извечного человеческого братства¹. Г. Айги.

*

В пространстве поэтических текстов Айги, особенно в его ранних стихах, *боль* – это не только и не столько описание физиологической симптоматики. Даже *боль в висках* в стихотворении «Распределение сада» (1963) – это, скорее всего, проявленная здесь-и-сейчас чувствительность пространства, луч которой направлен внутрь человека, к экзистенции его неповторимой личности, к многообразию и полноте проявлений её существования, где происходит завершение огромного процесса познания. В поэтическом мире Айги этот процесс объединяет в себе не только конкретное бытие, но и движения памяти, и еле уловимые движения сознания, и почти незаметные (незамечаемые) движения жизни.

Распределение сада

<...>

сегодня победу хранит
день присутствия всех и всего:

совместности облака солнцестояния голоса матери
(светится соприкасается)
лестницы к астрам направленной
боли в висках²

В момент осознания и восприятия эти движения (*облака, солнцестояния, голоса матери*) кажутся на долю мгновения как будто остановившимися, как бы соединёнными незримыми нитями, а *боль* представляет собой последнюю точку|укол – фиксацию, именуемую как *день присутствия всех и всего*.

*

С помощью слов и характерной пунктуации³ Айги создаёт особую форму стиха, которую можно назвать **мета-кинетической**. (*Пунктиры ритма <...> определяются нашими внутренними жестами, внутренней скоростью нашей психической энергии, особенностями её ритма*⁴.) В *мета-кинетической* форме стиха благодаря особой графике текста, чутко реагирующей на малейшие колебания образов, возникает неожиданная визуальная зыбкость, разреженность, при необычайной энергетической плотности и накале самого стихотворения. Здесь можно вспомнить кинетические объекты и инсталляции художника В. Ф. Колейчука⁵. При помощи выверенных креплений кинетические объекты Колейчука статично «парят» в пространстве, но при малейшем колебании воздуха они приходят в движение, реагируя на любое смещение воздушных слоёв. (В основе кинетического искусства, как известно, лежит идея движения формы, причём не просто

¹ Там же.

² Айги Г. «Распределение сада» (1963).

³ Более подробно о визуальных особенностях поэтики Г. Айги в статье Т. Грауз «Слово. Буква. Образ. О визуальном в поэзии» (сайт «Дискурс», 18 января 2016 г. <https://discours.io/articles/theory/slovo-bukva-obraz-o-vizualnom-v-poezii>).

⁴ Айги Г. Н.: Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. С. 295.

⁵ Колейчук В. Ф. (1941–2018) – советский и российский художник, представитель кинетического направления в современном искусстве.

физического перемещения объекта, но любого его изменения, трансформации – любой формы «жизни» произведения, в то время как его созерцает зритель.) Так и в стихах Айги: при всей кажущейся статике (всякий записанный на бумаге текст воспринимается, прежде всего, как статичный) его поэтические произведения представляют собой своеобразные архитектурные формы (поэт сравнивал их с домом), обладающие неповторимой жизнью. Айги стремится к тому, чтобы через сложную *мета-кинетическую* форму стиха проявилась *реальность существенного*¹, её бесконечные и почти неуловимые изменения.

Лес – сразу за оградой

белеет лес как Города-во-сне:

:

белеет – из глубин – усиливая что-то дорогое:

свое – и наше: чем-то! –

свое-не-человека-моцарта... –

о больше чем наигрывающего!

<...>

и вот – меняется
как лик как чувство:

туманами – все больше – сердца
и-раня-вглубь-и-отдаляясь:

дрожит щемяще... – словно там
Страдая Действует
освобождение:

от зримости... от местности... – как будто
от боли – нашу боль включающей:

в его – не только личных – тайниках:

как в некоем самосознании

1970

В этом стихотворном тексте происходит взаимопроникновение, взаимовлияние внутреннего состояния и мерцающей внешней реальности, сообщающей психофизике поэта слова, благодаря которым происходит фиксация даже слабых изменений реальности. С помощью зыбких мест памяти (обретающих слово) поэт воскрешает глубину мира, просвечивающую сквозь пространство

¹ Айги Г. Н.: Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. С. 294. Айги определял подлинное искусство как стремящееся к реальности существенного.

душевной боли, и освобождает запрытанное в глубине (*в некоем самосознании*) прошлое: детство, лес, чистоту и всё то первозданно-высокое, что составляет для Айги суть [сущность] человеческой личности.

: болит как будто воздух) –
и что сказать тебе?
есть в этом для тебя
мое такое место: просто больно! –

да так – бескрайно!
будто боль разрыва
с тоской Отцовской – по-людски проходит:

сквозь душу – словно сквозь Вселенную¹

В поэтическом мире Айги *боль* может формировать пространство между «я» и другим, между я-как-личностью и родом, выявляя в этом взаимодействии структуры личности, её первоосновы, а также сущностно важные формы жизни рода, когда *всё на земле живёт через таинственное касание мирам иным*².

Снова – спящая

вновь
тишиной беспокоя
особою
(будто
из духа).....и дорога мне
как рана..... склоняюсь..... и рдеет
перекрещением
Склона – как Матери..... вея троичностью
боли..... воздушный тот Склон
чуть
на меня
излучая

1983, июль

Образ матери как воплощение родового и кровного, страдальческого и всегда беспокоящего света. Можно предположить, что в возникающей *троичности боли* сквозят и христианские коннотации (их особая тишина). Однако впрямую здесь об этом почти ничего не сказано, а дано через слабо, но явственно ощущаемые следы прошлого (личного и над-личного), проступающие сквозь обрывочные и обычные, казалось бы, слова. В этом небольшом тексте Айги создаёт особую звуковую среду, близкую и к тишине, и к тревожному нарушению этой тишины (тихо скрежущие согласные *ск, сп, кр* и обилие гласных *о, и, у, а*), когда возможно проявление чего-то необычайного. Поэтический текст как рентгеном просвечивает *рану*, невидимую, но дорогую *рану-тишину*, в которую мы (вслед за Айги) вступаем как в некую фоническую медитацию. Мы продвигаемся по ней, как по дороге, ведущей к скрытой (сокрытой где-то в глубине) реальности,

¹ Айги Г. «Сыну сентябрьские звёзды» (1976).

² Цитата из Ф. М. Достоевского.

как к Склону (не забываем, что он написан с заглавной буквы). И этот Склон воздушный *рдеет перекрещением боли* (как некий болевой крест) и излучает свет, преображающий того, кто приближается к нему, **склоняясь**.

*

В одном из эссе 1989 года Айги с горечью восклицает, что «...верность слов-заповедей, – назовём их “вифлеемскими”, – продолжает доказываться сегодня, *минусоидным образом*, самым нашим миром, со всеми его “энтропически”-перерождающимися сферами, заражёнными саморазрушением»¹. Возможно поэтому для поэта онтологически важно понятие и принятие боли как формы неотвердевшего [неотвердевающего] живого восприятия, пронизанного лучами сострадания, и человека, проходящего сквозь страдание, сострадание и боль, благодаря чему в нём кристаллизуются крупницы истинного, подлинного человеческого облика, который в наше смутное время так сложно бывает сохранить.

*Оказалось, что Айги пришел, чтобы ответить голоду современного читателя по высокой, серьезной, созерцательной, «таинственной» поэзии – и ответить при этом взыскательному позднему вкусу, который не переносит тривиальностей, пустой патетики и слишком прямолинейных путей чувства и мысли. Который сосредоточен преимущественно на переживании «бесконечно малых» величин – в их соотносительности с «бесконечно большими»*². О. Седакова.

Возможно, поэтому в поэтическом мире Айги *боль* может быть *непреходящей, зрячей*, может существовать *до ума*. В боли может сиять возвышающее, стоящее *над болью единство мира*. Боль может быть *озарением и музыкой*. Всё предельное значимое может проявлять себя *где-то над болью* или быть, как *дух / где боль уж не содержится*, и быть *до боли безвинным*, когда пространство и воздух *расцвечены до боли*, а бого-красота окружена идеей нищенства и *болью цвета / болью – может быть – души*.

...Что ещё? – пока что всё – печаль. Стараюсь работать; пишется же всё труднее (с такой болью, как будто кости болят). Г. Айги, из письма к В. Лосской³ от 23 июля 1975, Москва.

*

В поэтике Айги существует многообразие болевых мест||точек соприкосновения здесь-бытия и того, что за ним стоит. Чувствительность пространства к боли, его заряженность болью, иногда его заражённость болью, благодаря чему проступают места, где *боли нет*. В ранних текстах Айги отсутствие болевой восприимчивости сигнализировало о некой мертвенности мест, лишённых сострадания, лишённых эмпатической чувствительности, а следовательно, и подлинного человеческого пребывания. Это были места без **со-бытия** человека и мира – онемевшие, претерпевшие некроз места.

я – осыпаюсь: будто в мире су-ще-ству-ю-щем
все ту же нечтость тьмы-и-анонима
«господней» – по привычке – именуя

¹ Айги Г. Н.: Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. С. 24.

² Седакова О. А. Айги: отъезд // Новое литературное обозрение. 2006. № 3 (79). <https://magazines.gorky.media/nlo/2006/3/ajgi-otezd.html>

³ Лосская В. К. (1931–2018) – одна из самых известных французских славистов, доктор наук, проф. литературы Парижского университета «Сорбонна», занималась творчеством М. Цветаевой. Была другом Г.Н. Айги, с которым вела переписку в течение многих лет, благодаря её деятельному участию в парижском издательстве «Синтаксис» вышла книга Г. Айги «Отмеченная зима» (1982).

в видениях без боли сотрясаю
отвалами моими и паденьями:

как черноту безвидности-безмира! –

а бездна никакая – а удары
из ни-ка-кой-то-сти! и с чем – разрыв? –

когда во всем – безместно – но во всем
лишь безымянность и отсутствие¹ –

В поздних стихотворных текстах болевая чувствительность пространства постепенно отступает и – уступает место тихо сияющему братству мира.

*

Вспоминая последние дни Айги, отмеченные тяжёлой болезнью, которую поэт переносил смиренно и мужественно, помню, как Галина Борисовна² попросила меня побыть с Геннадием Николаевичем в палате, чтобы она смогла на какое-то время уйти по делам. Помню зимний белый свет за больничным окном, голый белый сад с высоты четвёртого||шестого (точно не помню) этажа, лежащего под ИВЛ-аппаратом Айги, дремлющего в забытии. Помню, как его навещали (уже в другой какой-то день) его любимый друг-поэт Юра Милорава и издатель и поэт Евгений Степанов. Айги улыбался, был, казалось, счастлив. Хотя было понятно, что ни боль, ни болезнь уже не отступят, но не отступали и человечность, и свет этих тихих – близких к прощанию – встреч.

«...О нашей современности принято думать более всего в связи с утратами и деградацией, – писал швейцарский читатель Айги художник Маркус Штеффен, – но у нас есть и некоторые приобретения. Никогда еще человек не различал так ясно всеобщей хрупкости мира и его всеобщей связности. И, тем самым, никогда не хотел в такой мере избежать любого насилия – в виде действия, мысли, формы». Этому новому опыту защиты и хранения как места человека – на месте прежнего бунта и страсти – отвечает поэзия Айги³. О. Седакова.

ноябрь, 2023 г.

¹ Айги Г. Н. «Всё дальше в снега» (1986–1987).

² Куборская-Айги Г. Б. – вдова поэта Г. Н. Айги, переводчик и преподаватель немецкого языка.

³ Седакова О. А. Айги: отъезд.

Ольга БАЛЛА

К ИСТОРИИ ВНУТРЕННЕГО ЗРЕНИЯ

Владислав Дегтярев. Память и забвение руин. – М.: Новое литературное обозрение, 2023. – 256 с.: ил. – (Очерки визуальности).

В своей новой книге Владислав Дегтярев – культуролог, историк искусства, старший научный сотрудник РГПУ имени А.И. Герцена – говорит об истории зрения. Правда, главным образом – об истории зрения внутреннего (эту книгу, принципиально бегущую системного изложения, я назвала бы *сюжетами из истории внутреннего зрения*).

Основной предмет его внимания – история восприятия и моделирования мира – притом именно мира в целом. Собственно, тем же самым Дегтярев, как мы помним, занимался и в изданных в той же серии книгах «Прошлое как область творчества» и «Барокко как связь и разрыв». Вообще, в силу наличия в этих книгах перекрестных тем (например, отношения человека с прошлым и их историческая изменчивость), перекрестных цитат («Ламарк» Мандельштама, «Автомобиль» Ходасевича...), сквозных героев и собеседников (ну, скажем, ярчайшая фигура эпохи барокко Атанасиус Кирхер), глубинной общности проблем (связь между прошлым и настоящим; аналогии между ними и ситуации, в которых эти аналогии обнаруживаются; способность созданного в одном времени пригосудариться в других временах и отвечать на их запросы...), их стоило бы отнести к одному континууму и, может быть, однажды вообще издать под одной обложкой. Только, по моему разумению, эти части в известном смысле одной трилогии не то чтобы выстраиваются в линию, на которой каждая последующая книга развивала бы сказанное в другой в некотором одном направлении – и тем самым как бы преодолевает его; здесь сложнее и интереснее: отношения между частями другое – оно не линейное, но объемное. К одному и тому же комплексу проблем, во-

просов, смысловых интриг Дегтярёв подходит с разных – иерархически не подчиненных друг другу – сторон, с разных же сторон наращивая его понимание, в результате чего получается не линия, а, куда скорее, шар.

Более конкретным предметом новейшей книги о руинах стоило бы назвать историю принципов проведения границ – разного порядка (что, впрочем, и само по себе – давняя тема Дегтярева, прослеживаемая и в двух предыдущих его книгах). В данном случае это границы между *природой и культурой* (или, иначе формулируя, *естественным и искусственным*); между *прошлым и настоящим*; между *чужим и своим* (скажем: руину как «свое» можно растаскивать на камни для нового строительства – как и поступали народы, обитавшие на развалинах городов Древнего Рима, а «чужое» – уже нет, его надо, например, оберегать, консервировать, изучать... оно вызывает благоговение и почтение; с ним надо выдерживать дистанцию... – как случилось с античностью и тем, что от нее осталось, с наступлением эпохи Возрождения). А также: между *красивым и некрасивым, интересным и неинтересным, между иллюзорным и подлинным, между порядком и хаосом...* (Руина, пребывая на всех этих границах сразу, делает каждую из них одновременно и видимой, и проблематичной – то есть оспариваемой, то есть способной быть проведённой совсем иначе.) Вполне вероятно, этот ряд можно продолжить – и таким образом, пожалуй, выстроить вокруг приключений руины во времени целую историю культуры – по меньшей мере западной. И то, что сейчас написал о руине Владислав, – тоже окажется в ряду признаков очередного этапа ее истории.

Однако легко заметить, что руина как таковая занимает в его теоретическом поведении не такое уж большое место – может быть, центральное (или все-таки нет?), но количественно не доминирующее. В книге есть обширные пространства, занятые рассуждениями на совсем другие темы (и они тут не случайны). Например – о чудовищах; о живописи, об архитектуре; о ностальгии и меланхолии; о железной дороге; вообще о технике и

механизмах и об особенной их разновидности – автоматах, которые еще в XVIII столетии дерзнули с максимально возможной точностью моделировать человека... На самом деле, разбросанности в этом нет: при внимательном всматривании становится понятно, что все перечисленные предметы его исследовательского внимания чем-то родственны друг другу вообще и руине в частности. Например, своей пограничностью – точнее говоря, своей связанностью с феноменом так или иначе понятых границ. Кроме того: тут читатель начинает догадываться – точнее, получает подтверждение давним своим догадкам о том, что разные области бытия – не только культуры, бытия вообще, по крайней мере, в том их модусе, в каком они имеют отношение к воспринимающему их человеку – связаны между собой таинственной, далеко не всегда уловимой, но непрерывно действующей связью. А уж культурные явления и события – в том числе весьма далекие, по видимости, друг от друга, – и подавно. (Это, по-моему, принадлежит к числу ведущих интуиций нашего автора.)

Руина в книге – не то чтобы главная тема ее, но, скорее, скрепляющий принцип; умственно-оптическое устройство – по аналогии с «машинами зрения», которые не раз упоминает автор (и одной из которых она сама не раз оказывалась). Руина – именно в силу ее чрезвычайного, парадоксального статуса, – ее культурная, интеллектуальная история, изменения ее роли в этой истории для Дегтярева – «машина понимания», позволяющая понять некоторые существенные аспекты отношений человека с миром. В руках автора она получает значение ключа к этим отношениям. А избрана она для этой роли именно в силу ее пограничной – притом подвижно-пограничной – природы, ее неполной – или вообще никакой не – укладываемости в устоявшиеся ниши.

«...руины, как и чудовища, – говорит автор, – относятся к числу промежуточных, пограничных объектов: можно сказать, что они заполняют разрыв между сохранившимся и разрушенным (или даже – между существующим и несуществующим)». Руина (не только напоминает человеку о бренности и хрупкости всего создаваемого его руками – а также и его самого, это-то конечно, но и) оспаривает гра-

ницы, проводимые между этими областями, выявляет их безусловность, проблематизирует саму человеческую способность проводить такие границы; способность формулировать категории, в которых описывается мир (да, в некотором пределе она становится вопросом к человеку о нем самом). Она – скандал в приличном семействе (и всей собой напоминает приличному семейству о его принципиальной и неустрашимой скандализируемости). Она – воплощенный подрыв основ.

Именно этой ее способности и посвящает свое исследование Дегтярев.

В основе каждого текста, явно или неявно, лежит некоторый внутренний вопрос. Внутренний вопрос книги Владислава (в самом общем его виде) я бы сформулировала так: как человек воспринимает и изображает мир? Это, так сказать, «вечная» часть вопроса. Такие «вечные» вопросы по-настоящему становятся интересными тогда, когда садятся на конкретный материал и начинают решаться на нем, применительно к его особенностям, – так происходит и в книге Дегтярева. Соответственно, более конкретная часть такова: что руина и то, как менялось отношение к ней во времени, помогают прояснить в человеческих отношениях с миром – эмоциональных, когнитивных, эстетических (а то вдруг и каких-то еще)?

Рассуждение, таким образом, получается по существу гораздо шире своей явно сформулированной темы и создает возможности говорить о смыслообразующей роли некоторого объекта: о том, как вообще какой бы то ни было предмет своим существованием направляет и формирует видение, внимание, мышление, воображение. (То есть, условно говоря, сопоставимое исследование способно быть написанным и об автомате, и о паровозе, и т.д.) Говоря о руине, Дегтярев расширяет и разрабатывает возможности теоретического мышления и теоретического воображения. Он культивирует их многоуровневость и стереоскопичность.

Ныне обсуждаемая книга, подобно своей героине, тоже принципиально и всласть нарушает границы и соединяет по видимости противоположное друг другу. Дегтярёв мыслит культурным целым – причём как диахронически, так и синхронически: разные части этого

целого и разные его временные состояния он видит не иначе как в соотносённости друг с другом, в подсвеченности друг другом, в прозрачности друг для друга.

По существу его книга, подобно двум предыдущим, – антропологическое исследование в обличи исследования искусствоведческого и историко-культурного (об устройстве человеческого восприятия), и теоретическое построение в обличи эссе (которое затем и уклоняется так упорно от строгой теоретической выстроенности, чтобы быть восприимчивее, не упускать из виду связей нежестких, тонких, предположительных, не слишком, а то и вовсе не аргументируемых. Нестрогость этого построения, то есть, сама по себе инструментальна). Ну или даже так: это культурный очерк эмоционально, образно и телесно пережитой, разлитой по культуре в целом онтологии.

Владимир КОРКУНОВ

ПРОБУЖДЕНИЕ МЕДУЗЫ И ПРЯХИ

Татьяна Бонч-Осмоловская, Эллада и другие женщины. – Алматы: UGAR.kz, 2023. – 78 с.

Античность как некая исходная точка, в том числе связывающая нас с сегодняшним днём (и которая оттеняет, а то и проясняет контуры нас сегодняшних), интересовала авторов и исследователей разных поколений. Это могли быть тексты, напрямую говорящие *про* и *от* лица античных героев или реальных персонажей, как, например, у Борхеса («Рука Вергилия минуту медлит...»¹), Одена («Она глядит, как он ладит щит...»²) или, например, Брюсова («Рим золотой, обитель богов, меж градами первый...»³) и др. Или стилистически сближающиеся с греко-римскими текстами,

как у Максима Амелина «Безымянного страж именитый сада...»⁴) или Алексея Пурина («Всё сохраняется – гербарий / и драгоценный саркофаг...»⁵) и др.

Античность в русскоязычной поэзии сравнивали то с Ренессансом⁶, то с освоением (например, как у уже позабытого Востокова, о чём пишет Эткинд⁷), в том числе компромиссным⁸. Однако всякий раз оптика их текстов, как подражаний/стилизаций, так и обращений к мифу, была выстроена с точки зрения особой, мужской логики. Даже – и особенно! – когда речь шла о женских персонажах. Книга Татьяны Бонч-Осмоловской «Эллада и другие женщины» в этом аспекте уникальна. Она и о мифе, с одной стороны, и о конфликте мужского и женского, решённого не социальными или политическими средствами, а – литературными. По словам Анны Голубковой, автор (отметит отказ Бонч-Осмоловской от феминитивов в отношении себя) переосмысляет штамп в плане репрезентации женского образа: «Женское с точки зрения патриархальной культуры ближе к хтоническому, природному, по своей сути – страшному, которое угрожает светлomu человеческому (=мужскому) разуму»⁹. Речь не о том, что женское подаётся как *светлый разум*. А о некоем отзеркаливании мифа, когда он подан через фильтр феминного восприятия

⁴ Амелин М. Изваянию Силена в Капитолийском музее // <http://www.litkarta.ru/russia/moscow/persons/amelin-m>

⁵ Пурин А. Всё сохраняется – гербарий... // Знамя. 2020. №2. (<https://magazines.gorky.media/znamia/2020/2/podle-zaliva.html>) Подробнее о новых текстах Алексея Пурина, в которых есть и стилистические античные мотивы, и прямые обращения к героям Рима и Греции, см. наш текст: <https://magazines.gorky.media/znamia/2017/12/pochtovyj-golubok.html>

⁶ Успенская А. Античность в русской поэзии второй половины XIX века. Автореферат к докт. дисс. – 2005 // <https://www.dissercat.com/content/antichnost-v-russkoi-poezii-vtoroi-pолоviny-xix-veka>

⁷ Эткинд Е. Русские поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина. – Л.: Наука, 1973. – С. 48.

⁸ Там же. С. 49.

⁹ Голубкова А. Бесконечная античность Татьяны Бонч-Осмоловской // Бонч-Осмоловская Т. Эллада и другие женщины. С. 71.

¹ Борхес Х.Л. Стихотворения. Пер. с исп. и посл. Б. Дубина // Иностранная литература. – 1990. № 12. С. 50–59.

² Оден У.Х. Щит Ахилла. Пер. П. Грушко // <https://predanie.ru/book/216709-stihi-i-esse/>

³ Брюсов В. Рим // <https://www.culture.ru/poems/15538/rim>

мира, выравнивающего патриархально изогнутую иглу мужского одобрения.

Именно это мы и видим в монологе Медузы «подруги считали меня ведьмой...» (весь текст – трансляция страданий обречённой героини: «сколько ни убегай в вечнозелёную рощу, ни открывай грудь ветру...», не избежишь от проклятия, которое, добавим, наложили на девушку создатели мифа-мужчины); в словах Эвридики: «даже в бездну спускался вослед за мной / когда же оставит меня одну» (речь об Орфее и переосмыслении «роковой» страсти, предъявленной Бонч-Осмоловской в виде античной формы stalking); в плаче Елены: «Ей было двенадцать, когда Тезей с Пирифоем / выкрали ее из дома отца...» (о судьбе женщины, решённой за неё; как справедливо пишет автор, «Елена не разбиралась в мужчинах» – просто потому, что *каждый* выбор был сделан за неё) и т.д.

Это не вывернутая история; Бонч-Осмоловская отталкивается от мифа и *не противоречит* ему. Она реконструирует не[до]сказанное, даже не вполне замолчанное: на что раньше не обращали внимания, ведь женщина в мифе, как правило, не героиня, а функция.

При этом мир патриархального насилия автор не разрушает, у Бонч-Осмоловской нет цели вложить в уста своих героинь некие формулы и [в]ыстроить деконструирующий нарратив. Она оживляет архетипические статуи, наделяя женщин сомнениями и переживаниями, радостью и горем, – делая их максимально живыми, обращаясь не к разуму, а к чувствам читателя. Что подтверждает и Голубкова, сравнивая коллизии, например, Метиды с феминистскими принципами («естественное положение вещей и истинная роль женщины») Льва Толстого, однако: «она <Метиды. – В.К.> всё-таки испытывает тёплые чувства к обманувшему и использовавшему её мужу»¹. При том, что напрямик о *тёплых чувствах* не сказано – текст напитан ощущением обиды, но идущей от глубокой духовной, а потом уж физической близости.

Однако только на греко-римских персонажах Бонч-Осмоловская не закичивается; её интерес к античной культуре выходит за рам-

ки мифологических архетипов. Конечно же, дополнить (отредактировать?) миф не было её *единственной* целью. Книга «Эллада и другие женщины» написана от любви – к истории и культуре, к образу жизни и стилю речи. А что на пути исследования встретились белые пятна – это лишь повод заселить их образами и смыслами, причём с той же любовью. Неслучайно и смещение от конкретных персонажей к общей архаичной стилистике в разделе «По спирали», в котором буквально схлопываются время и пространство. Бонч-Осмоловская на высоком языке прошлого говорит о сегодняшнем, реактуализируя этот регистр речи.

Когда ты впервые вошел ко мне,
ложом стал нам луг цветущий,
или луг покрылся цветами, когда
мы легли на нем

<...>

Ты не спросил мое имя,
и я не знала, как тебя называют боги.

Подобный архитектурный метод сближения, когда читатель *ощущает* во внешне архаичном тексте собственные чувства, одновременно рушит четвертую стену в восприятии мифологических героинь; они перестают быть столь же далёкими, как Хлоя Лонга или Медея Софокла; Персефона Бонч-Осмоловской может быть нашей соседкой, Каллисто – случайной знакомой, Эвридика – героиней телешоу и т.д.

Развивая эти ассоциации, в разделе «Другие женщины» Бонч-Осмоловская показывает фрагменты судеб множества самых разных женщин: от пряхи, чья монотонная песня звучит в такт её изнуряющей работе, до Полины, в которой, кажется, хранится вся историческая женская память, что показано Бонч-Осмоловской и на стилистическом, и на нарративном уровнях:

Когда на город у моря приходит мгла
гарь колющий заржавленный снег
Невозможно дышать сквозь тучи льется
хрустальный багровый свет

¹ Там же. С. 73.

Поломана кнопка звонка посланец из

Порлока настойчиво колотится в дверь
От первого мама прошли миллиарды лет

<...>

Стюардесса объявляет подъем завтрак та-
моженные декларации на высадку

сорок секунд

Позабыв название города переставляя
строки открыток буквы К Л Г Р наобум

Попрощавшись с девой из Абиссинии
вытряхивая из волос застрявшую

во сне ерунду

На выходе из аэропорта Полина
отправляет домой фотографию Ксанаду

Что-то подобное, но через образ, а не сюжет, мы видим и в тексте «девочка играет на флейте...», на фоне которого Голубкова видит разрастающуюся воронку катастрофы: «и если посидеть в тишине минут десять, даже может показаться, что ты слышишь эту музыку, под которую мощно и последовательно разрушается мироздание...»¹ Однако это не державинский снегирь, внутри этого локального апокалипсиса не слышны бравурные марши. Эффект поэзии Бонч-Осмоловской ещё и в том, что она не только *показывает* распад, но и *воссоздаёт* пространство. Ведь в конце каждого мифа герои_ни побеждают. И тут уместно стереть гендергэп, что и делает Влада Баронец:

«Героини текстов даны в своей максимальной осязаемости, уязвимости – но читаются на фоне мифа (даже если они безымянны и даже если сюжет стихотворения, кажется, современен), – пишет критик². – Это и наделяет их образы трагизмом, и даёт им новое измерение – свободу иметь голос, пусть только внутренний».

Это зыбкое *пусть* последовательно разрушается от первого к последнему тексту книги: от внутреннего монолога Медузы к песне пря-

хи; и если раньше её слышала только она сама (да разве что пряжа), то теперь она сама может удивиться: так громко её голос никогда не звучал.

И это уже не очередной – 13-й – подвиг Геракла, а первый – Пряхи (а уж какой – Медузы или Береники – сказать сложно), совершенный не по приказу некоего короля, царя или бога, а потому что момент *их голоса* и *их подвигов* пришёл, продиктованный временем и записанный Татьяной Бонч-Осмоловской.

Борис КУТЕНКОВ

ГДЕ ВСЕ СЛОВА НАОБОРОТ

Павел Лукьянов. Название: Пятая книга стихотворений. – М.: Водолей, 2024. – 140 с.

В аннотации к книге Павла Лукьянова «Название» говорится об «ожившей традиции русского авангарда, оборвавшейся вместе с классической Россией сто лет назад». Но ничего, конечно, не исчезает – только трансформируется; «кончается то, чему дадут кончиться; возьмёшься продолжить – и не кончится», если вспоминать слова Пастернака из письма Мандельштаму. Такова и тонкая интертекстуальная работа внутри регулярного стиха – продолжающаяся традиция, в которую Лукьянов привносит дополнительные обертоны. Такова – не «оживание», а обновлённое продолжение, – сама книга Павла Лукьянова: «удачная попытка преодолеть постмодернизм на его поле и его же средствами»³, говоря уже словами современного критика Артёма Скворцова по отношению к Игорю Иртеньеву. Правда, в отличие от иртеньевской, работа эта не смеховая – а способная показаться даже чрезмерно трагической и серьёзной. Разговор о поколении сорокалетних внутри 2020-х и аллюзивность как источник эстетической полноценности – всё это мы найдём в книге с осознанно тавтологичным названием. (В такой тавтологичности есть и намёк на честное именование времени, которое присутствует в каждом стихотворе-

¹ Там же.

² Баронец В. Рец. на кн. Т. Бонч-Осмоловской «Эллада и другие женщины» // <https://articulationproject.net/15543>

³ Скворцов А. Едкий лирик. Об Игоре Иртеньеве // Арион, 2002. № 4.

нии, и в то же время оставленность целого без названия как важное свойство стиля – так знаменуется беспомощность выбора в мире, полном цитат).

Стихи написаны в начале 2020-х – и удивительно, что по сравнению с предыдущими книгами усилились апокалиптические мотивы. «как хороши, как свежи розы – напишет кто-то до тебя», – цитирует Лукьянов; обращение с интертекстом здесь тонкое и характерное. Сам вздох позднего Северянина – уже намёк на апокалиптичность, на очередной закат культуры и цивилизации (как всегда, оказывающийся только переходным этапом, но гиперболизируемый лирическим сознанием). Павел Лукьянов меняет в цитате прошедшее время на настоящее, слегка иронизируя над пишущим о сегодняшних «свежих розах» (а не вздыхающим о них прошлых, как в предыдущем тексте). Такая трансформация проблематизирует культурную перенасыщенность мира вслед за Северяниным (уже сказавшим своё вслед Мятлеву, Романову и Тургеневу), но и заставляет пробиваться к собственному высказыванию через двойной аллюзивный слой – трудная и всё же необманная задача в лирике. Одновременно фраза отсылает и к известным словам Умберто Эко¹: автор остав-

ляет цитату без продолжения, лишая её «постмодернистского» совета («как хороши, как свежи были розы», по выражению Мятлева, Северянина etc.), – сказать уже не получится; фразу произнесли многие и многие, мир наполнен осколками чужих цитат, и остаётся вести собственную подрывную деятельность на этом минном поле). Но тонкая путаница настоящего и будущего времени (автор хрестоматийной цитаты ещё только «напишет») сама намекает на возможность плодотворности, на способность органично существовать в мире таких осколков, несмотря на кажущееся усиление трагизма; банальность тяготеет к вечному переосмыслению и утрате качества банальности – что заставляет вспомнить уже Мандельштама² и вновь встраивается в сюжет оплодотворяемой интертекстуальности.

Постмодернистская работа Лукьянова, попадающая в нерв времени, дополнительно усиливает апокалиптичность, отталкиваясь от классического первоисточника:

Смерть стоит, как витязь на распутье,
позади кремнистый путь блестит,
жизнь темна, душа не видит бога
и сама с собою говорит.

Здесь скрещено фольклорное, лермонтовское и пушкинское – и всё это вновь трансформировано до состояния «конца». Однако разговор души «с самой собою» оказывается самодостаточным (язык ли играет с поэтом, давая надежду вопреки авторскому стремлению привести читателя к ощущению крайнего мрака, или такая «двойственность» входит в сознательную задачу?). В любом случае, только из такого разговора «души с собою» рождаются стихи; из него появилась и книга «Название» – вся утверждение надежды сквозь нагнетаемый ужас.

¹ Эко У. Заметки на полях «Имени розы»: «Постмодернистская позиция напоминает мне положение человека, влюблённого в очень образованную женщину. Он понимает, что не может сказать ей “люблю тебя безумно”, потому что понимает, что она понимает (а она понимает, что он понимает), что подобные фразы – прерогатива Лиала. Однако выход есть. Он должен сказать: “По выражению Лиала – люблю тебя безумно”. При этом он избегает деланой простоты и прямо показывает ей, что не имеет возможности говорить по-простому; и тем не менее он доводит до её сведения то, что собирался довести, – то есть что он любит её, но что его любовь живёт в эпоху утраченной простоты. Если женщина готова играть в ту же игру, она поймёт, что объяснение в любви осталось объяснением в любви. Ни одному из собеседников простота не дается, оба выдерживают натиск прошлого, натиск всего до-них-сказанного, от которого уже нигде не денешься, оба сознательно и охотно вступают в игру иронии... И всё-таки им удалось ещё раз поговорить о любви» // Цит. по: <https://www.booksite.ru/fulltext/0/001/005/138/001.htm?ysclid=lr5r9zt0x1494961408>.

² Мандельштам О. Слово и культура. «Часто приходится слышать: это хорошо, но это вчерашний день. А я говорю: вчерашний день ещё не родился. Его ещё не было по-настоящему. Я хочу снова Овидия, Пушкина, Катулла, и меня не удовлетворяет исторический Овидий, Пушкин, Катулл» // Цит. по: https://rvb.ru/20vek/mandelstam/01text/vol_1/03prose/1_263.htm?ysclid=lr5qu487yn999032482

Часто Лукьянов усиливает прецедентный текст, осовременивая его и заземляя; так, в качестве одного из «Палимпсестов» видоизменяется стихотворение из набоковского «Дара» («Люби лишь то, что редкостно и мнимо...»), помещённое тут же, перед палимпсестом. Лукьянов использует бесприигрышный приём сталкивания лбами исторического и современного контекстов: первый, как бы ни был зрим и конкретен, – абстракция, прошлое, страница хрестоматии. Второй – невыученный урок, нагнетаемая наглядность. Слова Набокова «небылица», «вымысел» («О, поклянись, что веришь в небылицу, / что будешь только вымыслу верна») на фоне подобного усиления невольно смотрятся как некие приблизительности. У Лукьянова:

О, поклянись, что веришь ты в столицу,
что будет наша жизнь отомщена,
что не запрёшь свою страну в темницу,
не скажешь, руку протянув: война.

Набоков (очевидно, близкий автору ещё и в контексте прошлой – многолетней – его эмигрантской жизни) вообще часто появляется в этой книге как значимый оппонент: «Бывают ночи – только сяду, / в Красково движется состав». Предельно заземлённое, конкретизированное Красково здесь выступает как усиление зримости по сравнению с набоковской «Россией» (в географический состав которой, разумеется, входит упомянутый топоним, – будучи её частью, он важен для эмигранта и как подчёркивание сближения с набоковской тоской, и как способ присвоения, очерчивание территории авторского мира. К нему, Красково, сводится общая для Набокова и Лукьянова Россия в данный момент стихотворного времени). В то же время это «сяду», где набоковская эмигрантская кровать заменена на российский состав, невольно приводит на память Гандлевского («Я жил и в собственной кровати / Садился вдруг во тьме ночной») и семантику ночного озарения, которая подчёркивается далее («И нас слова вдруг одолеют, / как неизбежный кислород»).

В другом стихотворении снова появляется Набоков – на этот раз в виде игры с эпиграфом из «Дара»:

Слова – не слива, мысль – не миска.
Смерть неизбежна, воробей.

Призыв в этом же стихотворении «вернуть порядок слов» требует обозначить их бессмысленные, фонетически обманчивые значения, чтобы сразу же расставить всё на свои места («не слива», «не миска»). Тут, однако же, чувствуется полемика с самой природой поэтической речи – но характер времени призывает вернуться к рациональному порядку. Умаление же адресата до воробья указывает на человеческую малость и уязвимость. В такой аллюзии есть и скрытая полемика с Набоковым (у которого слова о «неизбежности смерти» выступают в виде затверженных банальностей, здесь же – как обращённая напрямую к адресату-воробью грустная данность).

В другом палимпсестуальном тексте (с лукавым названием «Антипалимпсест»), с прямой аллюзией на известный текст Горюхиного, «атланты» превращаются в «сектантов», строящих «склепы в разрушенных сердцах». Здесь вновь чувствуется полемика – на этот раз с гигантоманией, с «праздником подростковым». Нагнетаемые мотивы апокалипсиса на протяжении 140-страничной книги, однако, в какой-то момент уже становятся избыточными – автор сполна выговорился в этой книге, и следующая должна быть принципиально иной.

Мотивы потери, утраты, конца всего варьируются из стихотворения в стихотворение, часто помещаясь в иронический контекст: «И там, где память прочно держит былого времени меню» (мне одному чудится здесь печальная гримаса, отсылка к известному анекдоту про «тебе меню, что ли?» и «тебя тоже» – как язвительное обращение к невозвратному себе, неузнаваемое искажение облика на месте «былого времени меня»?). Грустная иллюзия, утрата детской сказки – довольно распространённый мотив – порой возникает у Лукьянова в контексте фольклорного первоисточника: «Жизнь утекла, как мёд и пиво, / висят печальные усы, / и я там был, и праздник лживо / смеялся, глядя на часы». В такой аллюзивности есть спор с романтизмом (понимаемым как предельная возвышенность; лукьяновские усы – вновь конкретны и остранены игрой с кон-

текстом) и свобода от абстракций. Неизменна акмеистическая попытка вернуть словам их рациональные (сказал бы «первоначальные», но нет – в мире расплывшихся смыслов понадобится немаленькое уточнение об этих первоначалах) значения: «Какая глупость, это просто пруд». (На память приходит предельно далёкая от Лукьянова Татьяна Бек: «Больно – поэтому без метафор: / Просто осина и просто вяз»). Мне кажется, лучший – и не требующий комментариев – ответ про обусловленность такого интертекстуального слоя проскальзывает у Лукьянова однажды:

И человек на грани горя
идёт сквозь поле по цветам
и прикоснётся, с миром споря,
к бесспорно лучшему, чем сам.

Прикосновение к «бесспорно лучшему» через отталкивание, спор с первоисточником и его заземление – то, что мастерски получается у поэта.

Пожалуй, из современников этому бесстрастному, слегка театрализованному описанию апокалипсиса оказывается близок Андрей Василевский (о «депрессивном реализме» которого, отсутствии иллюзий в выговаривании

страшного писали разными словами Мария Галина и Ирина Роднянская)¹ – при всей экспериментаторской тяге последнего и верности автора «Названия» регулярному стиху (конечно, традиционному только внешне).

Книга Павла Лукьянова не утешает, хотя и не обманывает. И всё же одна строфа внушает надежду и на будущее героя, и на наше:

где замерзает лёд и тает,
где все слова наоборот
к себе из леса прибегают
и, улыбаясь, лезут в рот.

Поэзия и есть такие «слова наоборот» – прибегающие к себе, к встрече с собой, самопознающей сущностью (отметим тут двойное значение слова «прибегать», что отсылает к «душе», которая «разговаривает сама с собою»; «прибегание к себе» как указание на самодостаточность, хотя очевиден и намёк на детство). Лезущие в рот без спроса режущиеся зубы. Что-то помимо воли.

И пока они есть – не всё потеряно.

¹ См.: Галина М. Люди, хорьки, элиенсы, кошки. Послесловие к кн.: Василевский А. Трофейное оружие // М.: Воймега, 2013. С. 104.

Контакты:

Анна Сафронова (*гл. редактор, проза*): safronova-volga21@yandex.ru

Алексей Александров (*зам. гл. редактора, поэзия, критика*): alexandrov-volga21@yandex.ru

Алексей Голицын (*документальные исследования*): agolitzin@yandex.ru

Олег Рогов (*архивные публикации, критика*): rgv@mail.ru

Сайт журнала: <http://volga-magazine.ru/>

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:
<http://magazines.gorky.media/volga>

Подписано в печать 26 февраля 2024 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.